05
И681

ИНОСТРАННАЯ литература

6
1964

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ВАСКО ПРАТОЛИНИ — Постоянство разума (Окончание) 57

ПОВЕСТИ

ЮЛИАН КАВАЛЕЦ — К земле приписанный . 3

РАССКАЗЫ

ПУНЬЯКАНТЕ ВИДЖЕНАИКЕ — Жатва. Обещание. Третья женщина 159

ПЬЕСЫ

ЭДВАРД ОЛБИ — Смерть Бесси Смит . . . 179

СТИХИ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЭТЫ СКАНДИНАВИИ . 49
ПОЭТИЧЕСКИЕ ГОЛОСА ЯПОНИИ 155

КРИТИКА

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РОМАНА 198
Е. АМБАРЦУМОВ — Молодая Италия («Постоянство разума» Пратолини и итальянская действительность) 218

ПОЛЕМИКА

З. ПАПЕРНЫЙ — Технология неправды . . 227

6

ИЮНЬ

1964

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ПУБЛИЦИСТИКА

Н. ПАСТУХОВ – Цветок и семя (Заметки об индийской культуре) 235
ЖАК МАДОЛЬ – Девиз — человечность 242
МАЙК НЬЮБЕРРИ — Йеху со снайперскими винтовками (Окончание) 252

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

АВСТРИЙСКИЙ ХУДОЖНИК АКСЕЛЬ ЛЕСКОШЕК 246

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Ю. КОЖЕВНИКОВ — Правда сердца (К 75-летию со дня смерти Михаила Эминеску) . 265
Н. КРЫМОВА — Наш друг Мартин Андерсен-Нексе (К 10-летию со дня смерти писателя) 266

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

И. Брагинский — Новое в изучении литератур Востока (Библиографические заметки) 268

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

А. Романенко — Книга о писателе-революционере. ◇ Е. Бочарникова — «Мудрость» господина Полдини ◇ Н. Тульчинская — Земля уходит из-под ног... 271

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 275

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . . 287

На обложке линогравюра румынского художника ЮЛИАНА ОЛАРИУ из триптиха «Времена года в Добрудже».

ЮЛИАН КАВАЛЕЦ

К ЗЕМЛЕ ПРИПИСАННЫЙ

ПОВЕСТЬ

Перевод с польского
И. КОЛТАШЕВОЙ

I

Снова что-то потянуло меня к этой стопке бумаг — протоколам следствия и показаниям свидетелей. Я обратился к ней, хоть и без особой нужды, ибо дело Войцеха Трепы знал хорошо, до мельчайших подробностей и понимал, что эта стопка бумаг, столько раз уже мной перечитанных, ничего нового мне не скажет. Все-таки я протянул руку, чтобы подвинуть ее поближе. И вот опять передо мной чистый машинописный текст, несколько недель назад снятый с новой, электрической пишущей машинки, которую мы получили недавно, когда канцелярии прокуратур начали оснащать удобным современным оборудованием. Вместе с машинкой появился новый телефон и три пружинящих стула, сделанных из металлических трубок. На таком стуле я сижу сейчас и читаю уже известные мне первые фразы протокола следствия и свидетельских показаний по делу Войцеха Трепы, 1906 года рождения, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны,— читаю еще раз то, что уже знаю на память, в чем нисколько не сомневаюсь и что для меня, прокурора, не может иметь большого значения. Впрочем, теперь все факты, относящиеся к делу Войцеха Трепы, подтвердились, и оно не представляет сложности. Да и сам Войцех Трепа уже ничего не путает и ничего не отрицает. Пожалуй, между судьями и обвиняемым возникло взаимопонимание и согласие, то согласие особого рода, какое может возникнуть только между судьей и обвиняемым. Осталось выслушать показания нескольких свидетелей, речь защитника и речь прокурора, последнее слово обвиняемого и — приговор. Разве только обвиняемый еще что-нибудь выкинет, но, кажется, он уже больше ничего не выкинет. Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, как будто успокоился. В первые дни процесса он вскакивал с места, часто начинал говорить, когда его не спрашивали, прерывал судью, и тому приходилось призывать его к порядку, и только после строгого замечания снова усаживался на широкой удобной скамье подсудимых между двумя милиционерами. Но теперь он успокоился, так как все выяснилось, и убийства он не отрицает,— все было именно так, как показало судебное разбирательство.

Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, признал себя виновным во всем, что предъявлялось в обвинительном акте, и ему, пожалуй, стало

легче, поэтому и держится он спокойно; лишь иногда откинет со лба темные, уже с проседью, поредевшие волосы или проведет рукой по худощавому застывшему лицу. И только. Сидит спокойно на широкой скамье подсудимых и смотрит.

Протоколы следствия кончаются страницей, на которой четким шрифтом новой электрической машинки напечатано, как и где его арестовали. Само собой разумеется, речь идет о втором, последнем аресте, который привел его на скамью подсудимых, а не о том, давнишнем, первом, о котором тоже упоминается в протоколе, когда обвиняемый за недостатком улик отделался предварительным заключением. Я знал, что после протокола этого второго ареста открою страницу с показаниями болтливого старика свидетеля, который во время допроса совсем некстати углубился в историю семьи Войцеха Трепы и вспомнил его деда Матеуша. Этот экскурс старика свидетеля не мог иметь большого значения в деле Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, и потому должен рассматриваться судьей и прокурором как нежелательный отголосок прошлого, ибо факты подтвердились и юридическая сторона дела ясна. История деда обвиняемого занимала две странички машинописи и начиналась со слов: «Я хорошо знал семью Войцеха Трепы, хорошо знал его деда Матеуша, который уехал в Америку, когда Войцеха еще не было на свете». А потом шло пространное описание того, что произошло с этим дедом, как он вернулся из Америки и как обменял доллары, привезенные оттуда, на австрийские деньги и положил их в банк, чтобы набежали какие-нибудь проценты, пока он присмотрит землю. Деньги в банке пропали из-за девальвации, а того, что деду Матеушу выплатили, могло хватить на теленка или самое большее на телку.

В этих показаниях болтливого свидетеля содержалось еще немало и других сведений о старом Матеуше, но мне было достаточно упоминания о деньгах, заработанных им в Америке. Казалось, кто-то написал о марках моего деда Яна, который тоже положил в банк все, что скопил, работая по строительной части в Саксонии. Я быстро подсчитал, что мой дед умер двадцатью двумя годами позже, чем дед обвиняемого; подсчитал, хотя мне это было ни к чему. А потом прикинул, что сам я моложе обвиняемого Войцеха на двадцать три года. Вот как получилось, что я произвел эти «обмеры времени» и нашел в нем место для деда обвиняемого и для моего деда, а также для себя, прокурора, и для обвиняемого Войцеха. Так получилось, что, сидя за дубовым прокурорским столом, я взял на себя труд, хотя как прокурор мог не делать этого, разместить во времени двух дедов и двух внуков. Когда умер мой дед, я был ребенком, а когда он потерял в банке свои марки, меня еще на свете не было, и я не мог ничего знать и ничего не узнал бы, если бы позднее, уже став подростком, не услыхал об этом от своего отца. Однажды отец подробно рассказал мне, как дед отдал эти марки, заработанные в Германии, в банк. Если бы он не отдал этих денег в банк, то мог бы купить клочок земли на угоре — превосходном склоне холма, где ни дождь, ни засуха и никакая другая напасть не погубят посева. Он мог бы купить и владеть не двумя, а четырьмя моргами. И у него было бы четыре морга, не отправься он в тот памятный день в город и не отдай деньги банковскому служащему. Но он отдал, а ведь мог не отдавать и сразу купить эту полоску земли. Если бы он по необходимости отдал деньги в банк, ему было бы легче, но его не неволили. Страшнее всего было именно то, что его никто не принуждал, что он располагал свободой выбора. Десять лет он пролежал на спине под старыми железнодорожными вагонами, потому что ремонтировал подвижной состав. Никто не хотел за это браться, а он брался, потому что поле на угоре никогда не подмокало и не пересыхало. Он мог стать хозяином этого поля, но не стал и уже не будет им. Лучше бы вовсе не

существовало этой возможности, но вся беда заключалась в том, что она была, и от этого помутилось у моего деда в голове. То, что в банке он сунул руку в карман, вытащил деньги и отдал их в кассу — а мог не отдавать,— было хуже всего, из-за этого он и лишился разума. Дед смеялся и везде искал свои деньги: в бороздах на поле, на чердаке, взбирался на стропила в риге и шарил в соломенной крыше, ему казалось, что он там их спрятал. Он любил уйти тайком из дому ночью в бурю и дождь; ждал, когда сверкнет молния, чтобы при вспышке ее увидеть то место, где спрятаны деньги. Его больной мозг отказывался примириться с тем фактом, что он сам отдал деньги в банк и они там пропали. И у него родилась мысль, будто можно найти деньги, те самые деньги, на которые он хотел купить поле на угоре, мысль о том, что можно вернуть то время, когда он еще не отдавал этих денег в банк и мог купить на них два морга. Он кротко улыбался и говорил: — Ну, вот я и вспомнил, куда их спрятал.— И тогда, счастливый, он бежал на своих тощих, скрипучих, как сухие сучья, ногах в дровяник или на конюшню, вытаскивал там мох из щелей или, согнувшись, искал под кормушкой; не найдя ничего, кроме пыльной паутины, он становился задумчивым до следующего приступа счастливого озарения.

Пожалуй, можно сказать, что болезнь подарила ему на склоне лет много счастливых минут, полных веры и надежды. Последние свои месяцы, а может, только недели или даже дни — отец не сказал мне об этом определенно — дед проводил на пригорке за гумном, откуда открывался широкий вид на поля. Сидел он на этом пригорке, окликал людей и, показывая рукой на бескрайнюю равнину, говорил: — Поглядите-ка вон туда, далеко-далеко.— Когда люди спрашивали, что же он там увидел, дед только повторял:— Посмотрите туда, вон туда, далеко-далеко.— Умер он внезапно, на этом пригорке; смерть была легкая, ведь он, наверно, даже не знал, что умирает, а может, знал...

И все-таки мне пришло в голову, что было бы лучше, если бы у обвиняемого Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, дед был такой же, как у меня; то есть если бы дед Матеуш помешался, потеряв доллары, которые привез из Америки. Сойди он с ума, болтливый старик свидетель рассказал бы об этом на следствии. И тогда обвиняемый очутился бы в выгодном положении, ведь защитник не преминул бы ухватиться за этот факт и уж знал бы, что делать. Сумасшедший дед — находка для обвиняемого, ибо всегда можно сказать, что он весь в деда и страшное преступление совершил, будучи не в своем уме. Прокурор и судья обычно оспаривают это, так как подобные обстоятельства мешают им действовать быстро, четко и сурово. Но защита не уступила бы и настояла на необходимости психиатрической экспертизы. Судья вынужден был бы принять это во внимание, разбирательство отложили бы, и возникла бы надежда, надежда не для меня, а для обвиняемого Войцеха, сына Юзефа и Катажины.

Я перелистал еще несколько страниц обвинительного заключения и протоколов следствия и натолкнулся на показания других свидетелей, в которых тоже больше говорилось о Войцехе и о его семье, нежели о самом деле. Впрочем, о том, за что теперь судят Войцеха Трепу, лучше всего мог рассказать он сам, потому что преступление было совершено без свидетелей. В показаниях же больше говорилось о семье обвиняемого и о нем самом; были также даты, которые снова напомнили мне, что между мной, прокурором, и обвиняемым двадцать три года разницы в возрасте; это значит, что я, мой отец и дед, вся моя семья передвинуты на какие-то двадцать с лишним лет вперед по отношению к семье обвиняемого. Раздумывая об этом, я прихожу к выводу, что для дедов этот разрыв во времени не мог иметь существенного значения; но только для дедов.

II

Все, что было в материалах следствия о первом преступлении Войцеха Трепы, исходило от самого обвиняемого, он один знал, как все произошло,— свидетелей убийства не было.

Стоя перед судом навытяжку, он охотно и даже с воодушевлением рассказывал все. И когда он вот так стоял, было видно, что он высок ростом и слегка сутуловат. К самому факту преступления он приближался в своих показаниях медленно, останавливаясь на всевозможных подробностях. Порой на какой-нибудь мелочи он задерживался с таким увлечением, что могло показаться, будто никакого убийства вообще не было и идет не судебный процесс, а вечер воспоминаний о прошлых временах. И только замечания судьи: — Это не относится к делу.— Или: — Об этом вас не спрашивают, обвиняемый,— заставляли Войцеха Трепу возвращаться к мотивам преступления. Говоря о совершенном убийстве спокойно, так, словно это было лишь выполнение долга, он то и дело возвращался к годам детства и ранней юности, к тогдашнему Войцеху Трепе, который еще не убивал и даже не думал, что станет убийцей; или по крайней мере к тому Войцеху, каким был до того погожего дня 23 июня 1930 года, когда совершил убийство и выполнил — как он дал понять в показаниях — свой долг.

Войцех Трепа родился 15 мая 1906 года, а первое убийство совершил 23 июня 1930 года. Мне тогда не было и года, ибо я родился в августе двадцать девятого. Обвиняемый был вторым сыном в семье Юзефа и Катажины Трепов. Потом у них родилась дочь, которой дали имя Ядвига. После крестин дочери Юзеф Трепа, отец нынешнего обвиняемого Войцеха, а тогдашнего трехлетнего Войтуся, или Войтека, вышел из дому и тропинкой через сад направился к хлеву, чтобы подбросить охапку свекольной ботвы большой рыжей корове. И когда он задавал корм и, казалось, ничто не мешало ему в этом привычном, бездумном выполнении ежедневной череды хозяйственных дел, одно из которых состояло в том, чтобы подбрасывать скотине свекольную ботву, его единственная большая рыжая корова повернула голову, и он увидел в ее глазах едва уловимую тоску, повергшую его в ужас. В деревне начался падеж скота, и тоскливо поникшая голова коровы напомнила ему об этом. Не надо многого, достаточно такой едва заметной тени грусти в глазах коровы, чтобы крестьянин, хозяин всего двух с половиной моргов земли, почувствовал, что он-то жив и на свете живет ради того, чтобы поминутно протаптывать тропинку в саду, и заглядывать в хлев, и смотреть на тяжелую, опущенную голову коровы, и гадать, падет она или нет; не сдохнет, не околеет, а именно — падет, потому что о коровах в таких случаях говорится «падет» или «пала»; когда же говорят «падет», «пала», а не «сдохнет», «сдохла», то говорят как надо, ибо этим словом воздают должное милостивице-корове.

И Юзеф Трепа, отец Войтека, нынешнего убийцы, а также отец еще одного мальчонки, постарше Войтека, четырехлетнего Сташека, нынешнего Станислава Трепы, живущего в деревне близ западной границы, и отец только что родившейся Ядвиги, ныне фабричной работницы, живущей с внебрачной дочерью, несколько дней кряду бегал взад-вперед по этой узенькой тропинке в саду. В хлеву сгущалась тяжелая, почти осязаемая тоска, а в доме младенец сучил ножонками и улыбался бессмысленной и потому жестокой улыбкой.

Так появление на свет Ядвиги было отмечено событием, которое означало гораздо больше, чем просто рождение ребенка: гибелью коровы Юзефа Трепы. И в деревне будут помнить этот день не потому, что у Юзефа Трепы родилась дочь, а потому, что пала его рыжая корова. Долго крестьяне будут вести счет дням и определять время по тем да-

там, когда пала чья-то корова или случился пожар. Но корова еще не пала, хотя голова ее низко опущена и задние ноги дрожат. Передние пока твердо упираются в землю, а задние дрожат, словно струны, которые рванула чья-то сильная рука. Если бы задние так же твердо упирались в землю, была бы надежда, но они дрожат — и надежды нет. Надежды нет, и корова падет. Дни в ту пору стояли погожие; но это не имеет значения, когда нет надежды. И все-таки если выйдешь из хлева, где вот-вот должна пасть твоя единственная корова, то почувствуешь, как спину пригревает солнце, ибо нервы твои станут тогда особенно чувствительны к малейшему прикосновению; и может случиться, ты улыбнешься при мысли, что тебе так мало надо, и, вероятно, даже станешь подтрунивать над собой.

Жена Юзефа Трепы, Катажина, в то время, когда корова вот-вот должна была пасть, пыталась отвлечься хлопотами по хозяйству: она готовила корм свиньям, приносила и ставила на плиту чугун с водой и картошкой, разжигала печь, а потом снимала с плиты готовую картошку, высыпала в корыто, добавляла мякины, а может, и немного отрубей, толкла и уносила в хлев. Войтек и Сташек не хотели сидеть с Ядвигой и удирали за ворота в поле — они уже знали: если корова болеет и вот-вот падет, надо держаться подальше. Отец приходил из хлева, садился на лавку и говорил: — Корове еще хуже.— Его жена, Катажина, ничего на это не отвечала, только быстро толкла картошку в корыте или ставила на плиту большой чугун. Тогда муж повторял: — Корове еще хуже...— потому что хотел вырвать у жены силой хотя бы одно слово. И, подавленная его настойчивым «Корове еще хуже», она наконец отвечала: — Падет корова, — хотя и знала, что Юзеф ждет от нее иных, обнадеживающих слов. Но обнадеживающих не было. Они появились бы, если бы у коровы перестали дрожать задние ноги, но они дрожали все сильнее, и передние тоже начинали слегка дрожать. Корова пала у них на глазах. Стояла, пока могла; потом задние ноги подломились, и она рухнула на бок. Какое-то время она еще жила, но жизнь едва уже теплилась в ней и сразу оборвалась. Тогда Юзеф успокоился — свершилось то, что должно было свершиться. Он спокойно наклонился над коровой и принялся сдирать с нее шкуру, которую продал потом евреям, а мясо пришлось закопать — оно было дряблое, тощее...

Не знаю почему, но я подумал, что меня тогда еще не было на свете; это могло случиться в 1909 или 1910 году; впрочем, пожалуй, в 1909, так как Ядвига была моложе Войтека, ныне обвиняемого Войцеха Трепы, на три года, а обвиняемый Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, родился в 1906 году. В деревне сказали бы, что тогда еще даже воробьи не чирикали, предвещая мое появление, да и как им было чирикать, если я родился спустя двадцать лет после того дня, когда у Юзефа Трепы пала рыжая корова, ну и соответственно после дня рождения Ядвиги. Следовательно, обо мне тогда даже воробьи не чирикали в той деревне, где я увидел свет и которая находилась в пятидесяти километрах от родной деревни обвиняемого. Воробьи могли чирикать и предвещать мое, прокурора Анджея Табора, рождение не ранее 1928 года. Но пока что со дня, когда пала рыжая корова, минуло два года, идет год 1911, и у Юзефа и Катажины Трепов есть уже телка, которая через год станет коровой. Старший их сын пойдет в школу, когда эта телка станет коровой.

Все любуются телкой, гладят ее, чистят пучком соломы, заглядывают в глаза, ведь и года не пройдет, как она станет коровой. А когда уже год была коровой эта черно-белая телушка и Юзеф обнес новым ивовым плетнем маленький сад, пошел в школу Войтек. Через три года пойдет в школу Ядвига, которой исполнилось четыре года и которая стережет утят от ворон. Ей четыре года, и она знает, как безгранично

терпелива ворона; она знает, как белый день становится ночью, и все куда-то исчезает, и словно разверзается земля, когда отставшего утенка уносит ворона. Ядвиге четыре года, и она уже многое знает о жизни, ибо видала ворону, медленно и изящно, словно торжественно, скользящую в воздухе, чтобы похитить утенка; черную ворону с пепельной вставочкой на спине и крыльях. И хотя потом кричит вся деревня, и вслед этой черной вороне с обоих берегов несутся хриплые и визгливые голоса, и хотя порой ворона пугается этих криков, и роняет утенка в воду, и утенок остается жив и здоров — все равно навсегда останется в памяти эта изящная ворона, неторопливо уносящая утенка, ну и, конечно, эта красная царапина — кровавая полоска в том месте на бледно-желтой лапке утенка, где ее сжимал клюв вороны. Это навсегда остается в твоей памяти, если ты стерег уток, с этим пойдешь в жизнь, с этим будешь подрастать. Безразлично, кем ты станешь, можешь быть даже воеводским прокурором — все это остается в тебе, если в раннем детстве на тебя взвалили непосильное бремя, заставили оберегать утят от вороны.

Юзеф радовался, что Ядвига караулит утят, и это была какая-то чрезмерная, преувеличенная радость, словно умение караулить утят в возрасте четырех лет — нечто из ряда вон выходящее, он радовался, потому что четырехлетняя Ядвига не ела даром хлеба; а потом, нарадовавшись, отправлялся, шагая тяжело и вразвалку, на свою полоску, чтобы там покопаться, шел ладить изгородь, стругать рубанком штакетник или молотить на своем или чужом гумне... В ту пору Юзеф был еще молод, ходил в расстегнутой рубахе, а в марте или, самое позднее, в апреле снимал сапоги и ставил их за шкаф — с ранней весны он ходил босой и обувался только тогда, когда шел в костел или на ярмарку. Он был тогда молод, и эта появившаяся впоследствии вертикальная морщина на лбу была еще едва различима, словно только намечалось место, где позднее залегла складка. А ныне... ныне Юзефу восемьдесят лет, и ему пришлось ехать в город и идти в суд, чтобы видеть, как судят его сына Войцеха, которому уже пятьдесят четыре, а скоро минет пятьдесят пять лет, за первое убийство и за это, второе убийство. Он приехал в суд, хоть все ему говорили, что это ни к чему; но он заупрямился... заупрямился и крикнул: — Поеду! — Тогда его подвезли на подводе до железнодорожной станции, он сел в поезд и приехал. Я видел его на процессе, а также в моем кабинете — он пришел неожиданно,— и наверняка увижу его завтра или послезавтра, когда я, воеводский прокурор, буду произносить мою первую обвинительную речь. На суде он сидел среди публики. Я смотрел на него, потому что его блестящий лысый череп, отмеченный уже печатью смерти, притягивал мой взгляд. Чувствовалось, что у него огромное превосходство над людьми, среди которых он сидел, а может, и над всеми, находившимися в этом обширном зале. Этот знак, эта печать смерти, давал ему превосходство над другими и делала их бессильными перед ним. Судья тоже смотрел на него, потом взглянул на подсудимого, на его сына, и сказал: — Обвинительное заключение гласит, что судимый здесь Войцех Трепа, сын Юзефа и ныне покойной Катажины, урожденной Багелувны, поздним вечером 23 июня 1930 года совершил убийство,— так начал говорить судья; а позднее задал этот извечный, тысячи раз повторяющийся в судах вопрос — тот вопрос, который уже не должен исходить от флегматичного судьи, так как он давно висит в воздухе как нечто материальное, почти зримое и осязаемое, вопрос, а вернее, вежливый приказ: — Обвиняемый, расскажите суду, как все произошло...— Подсудимый встал, чтобы ответить, и отец, старый Юзеф, тоже встал, хотя его никто ни о чем не спрашивал и ему разрешалось только слушать. Несколько минут, показавшихся всем очень долгими, они оба стояли молча и

смотрели друг на друга. Они не смотрели на судей, хотя подсудимый должен смотреть на судью, да и отец, раз уж он встал самовольно, должен был обратить взор в сторону судейского стола: но они смотрели друг на друга, вглядывались с таким удивлением, будто прежде не были знакомы и только сейчас познакомились по-настоящему. Словно этот краткий миг в суде значил больше, чем пятьдесят с лишним лет, которые они прожили бок о бок; словно лишь в это краткое мгновение в зале судебных разбирательств обвиняемый узнал в лысом, иссохшем старце своего отца, а восьмидесятилетний старец в пятидесятичетырехлетнем обвиняемом — своего сына. И эти их годы, их возраст приобретали особый смысл здесь, в зале суда. Все было бы иначе, если бы в этом зале отец средних лет стоял вот так, лицом к лицу, с обвиняемым сыном-юношей; такому отцу суд, пожалуй, и не разрешил бы встать. Судья просто сказал бы ему вежливо: «Прошу сесть, пусть стоит только обвиняемый...» Но здесь стояли восьмидесятилетний отец и сын пятидесяти четырех лет, то есть уже, собственно, не отец и его сын — а два старых человека; и все-таки отец и сын. Этому старцу судья не мог сказать даже самым учтивейшим тоном: «Присядьте, пожалуйста». Ибо старик жил в своем, ином времени, и его лысая высохшая голова была уже отмечена печатью смерти, неизбежной в такой глубокой старости. Старик уселся сам, не проронив ни слова, а подсудимый начал рассказывать, что случилось в тот день, 23 июня 1930 года, то есть тогда, когда мне, нынешнему воеводскому прокурору, не исполнилось и года, ибо я родился в августе двадцать девятого.

Передо мной лежит обвинительное заключение, и я могу без труда, забавы ради, установить, сколько лет отделяет различные события моего детства от детских впечатлений обвиняемого Войцеха. Не знаю, как это получилось, но я увлекся такими вычислениями и сопоставлениями; зачем-то я вдруг подсчитал, что мне привелось сторожить утят от вороны в 1933 или 1934 году, то есть с того времени, когда так же караулила утят Ядвига, сестра обвиняемого, прошло двадцать лет или, вернее, двадцать один год. А с того времени, когда за утятами приглядывал Войтек, прошло еще больше лет, потому что Войтек пас утят раньше Ядвиги, а Сташек раньше Войтека. Я невольно улыбнулся при мысли, что воеводский прокурор занимается столь несерьезным делом, и даже пожурил себя за то, что пытаюсь уточнить, когда и кто караулил уток, словно это какие-то важные исторические даты, вроде дат объявления войны и заключения перемирия. Но тут снова стал припоминать, когда же я получил от отца покупавшиеся непременно «на вырост» сапоги с голенищами, какие в прежние времена покупали деревенским ребятишкам, поступавшим в школу; я снова принялся высчитывать, когда эти сапоги купили мне, а когда — Войтеку, ныне обвиняемому Войцеху Трепе, сыну Юзефа и Катажины. Я мог получить эти сапоги в 1936 году, поскольку тогда пошел в школу, а Войтек, ныне обвиняемый Войцех, получил эти сапоги в 1913, потому что он пошел в школу в 1913 году. Нынешнему дважды убийце, а тогдашнему семилетнему мальчонке, которого при крещении нарекли Войцехом, отец, вероятно, купил сапоги в городе, в ларьке на ярмарке. Сапоги висели рядком на жерди; отец купил ему тогда эти сапоги «на вырост», как мне, в другом маленьком городе, купил такие же сапоги мой отец двадцать три года спустя. Войтек был рад и радовался бы еще больше, будь сапоги ему впору, но они непременно были велики, чтобы в них поместилось еще по пучку соломы. Эти сапоги были велики — на радость отцу, матери, деду и бабке, чтобы все предки могли спокойно спать в сырой земле. Они должны были быть велики ради спокойствия многих поколений. Ныне, как воеводский прокурор, которому уже за тридцать и которого сразу же после войны, то есть в 1945 году, послали на учебу и научили всевозможным пре-

мудростям, я лучше разбираюсь в том, как обстояло дело с этими слишком свободными сапогами. Таков был наказ всей истории крестьянства, наказ, с которым рождались дети и умирали старики,— наказ покупать и носить сапоги, которые немилосердно велики, чтобы в них можно было натолкать соломы и после этого они еще оставались бы свободными; чтобы они были малость свободными даже после того, как сунешь в них ноги, обернутые толстыми портянками, а может, и старыми кроличьими шкурками. Но когда обуешься, натянув их за спрятанные в голенищах ремешки или холщовые ушки, впихнешь в них ноги со всеми портянками и кроличьими шкурками и зимой, в мороз, выйдешь со двора, то подумаешь степенно, как старик, что вот ты и обеспечен сапогами на долгие годы. А потом отправляешься кататься по льду на подковках с шурупчиками. И когда вдруг остановишься на минутку под корявой вербой, которую какой-нибудь прадед посадил для тебя, когда остановишься под этим черным, потрескавшимся деревом и посмотришь на свои тоненькие ноги в широченных голенищах, то подумаешь, что надо поскорее вырасти, чтобы ноги в сапогах не походили на «мешалки» в ушате; вообще надо быстро расти, и все должно быстро миновать, вся эта жизнь должна очень быстро миновать, чтобы не требовалось много сапог. Большие сапоги покупались не только детям, но и старикам, хоть ступни у них не растут, а, скорее, съеживаются и усыхают, но и старикам покупали просторные сапоги, словно и у стариков ступни могли еще вырасти.

В таких больших, с широкими голенищами сапогах и явился ко мне отец подсудимого Войцеха. Пришел он неожиданно, в первый же день процесса. Я не ждал его визита, ибо родственники обвиняемых не ходят к прокурорам, а держатся адвокатов; но он пришел. Я сидел за столом, как сейчас, когда дверь вдруг отворилась и на пороге появился Юзеф Трепа, отец Войцеха, обвиняемого в двух убийствах,— высокий, худой, лысый и мудрый, как старая птица, исполненный молчаливой мудрости. И тогда, стоя в дверях моего кабинета, он заговорил, преодолев все внутренние преграды и препоны. Он произнес старческим хриплым голосом: — Я по делу моего сынка,— он назвал «сынком» пятидесятичетырехлетнего, седеющего и уже немного сгорбленного человека. Не здороваясь, без обращения, прямо: — Я по делу моего сынка.— Начал сразу с этих слов. Я указал на стул и произнес банальную, избитую фразу:— Присядьте, пожалуйста.— Но он не сел. Только подошел ближе к удобному креслу, в котором я сидел, и снова заговорил:— То, первое, было ведь тридцать лет назад.— Он сказал «то, первое», что означало: то, первое убийство; но слово «убийство» он опустил — и так было ясно, о чем идет речь. Я поднялся, так как он стоял передо мной и должен был наклонять свою лысую голову, чтобы сказать мне это. И опять прозвучал его голос:— Второе получилось из-за первого, а с тех пор минуло тридцать лет.— Эта фраза была для старика слишком длинной и, очевидно, утомила его, так как он снова замкнулся в себе и умолк. Ему хотелось сказать еще что-то, наверняка хотелось, но все эти внутренние преграды не давали ему проронить ни звука. Поэтому он стоял и молчал; я тоже стоял и молчал. И лишь после длинной паузы я обратился к старику. Собственно, я лишь повторил те несколько слов, которые он уже произнес:— Да, то, первое, было тридцать лет назад.— Я тоже опустил слово «убийство», полагая, что в разговоре с ним не следует произносить это слово; достаточно уже самого факта — тяжелого, гнетущего,— слова тут не нужны. От одного такого тяжелого, гнетущего факта, вдребезги разбивающего жизнь, будто перехватывает горло, его нельзя определить словом. Потом меня вызвали к междугородному телефону, и старик сказал:— Так я пойду.— Он счел, видимо, что самое важное из того, о чем собирался говорить, он сказал — эту несколько

загадочную, но все же понятную, лаконичную и недоговоренную фразу:— То, первое, было ведь тридцать лет назад.— А затем:— Второе получилось из-за первого,— и немного погодя:— А с тех пор минуло тридцать лет.— Он счел, вероятно, что раз уж сказал это, то сказал самое главное, ибо еще раз повторил:— Так я пойду...— И, застучав своими сапожищами, вышел, а я направился в соседнюю комнату, к телефону. В окно я видел, как отец обвиняемого Войцеха Трепы в своих огромных сапогах шагал по рыночной площади; как дошел до противоположного конца рынка и свернул на улицу, ведущую к станции. Он остановился, посмотрел на что-то, потом пошел дальше; узкая спина старика все удалялась и мне вдруг захотелось открыть окно и крикнуть: «Погоди, старина, вернись, потолкуем еще, уж слишком мало мы разговаривали, ведь мы, собственно, и не говорили вовсе». Но его узкая спина виднелась уже на улице, которая вела к железнодорожной станции, а потом исчезла, так как улица делала поворот.

III

Потом старик сядет в поезд и сойдет на полустанке среди полей, где его будет ждать телега. Он сядет в телегу и окинет взглядом поля, ибо ничто не может помешать ему оглядывать поля.

А потом, наверно, телега повезет старика низиной мимо тех старых ив, таких же старых, как он, а может, еще постарше, где нынешний дважды убийца Войцех Трепа сорок с лишним лет назад играл и прыгал, лазал на деревья за воробьиными гнездами, качался на ветвях и мастерил из тонких веток свистульки. Эту низину деревенская детвора облюбовала для своих забав. Здесь ребятишки могли в полнейшей безопасности свистеть на пищалке, свернуть голову воробью, а также приглядываться к тому, что у них между ногами, и дрожать от нетерпения на этой грани между познанием и неведением. Но в конце концов их находила в ивняке бабка Антонина; старая Багелёва, мать матери Войтека, Сташека и Ядвиги, прозванная бабкой Антоськой. Она умела находить ребят в этой низине и загонять на работу. Это была высокая, костлявая старуха, внушавшая детям страх своим крутым нравом. Она, как и большинство деревенских старух, справляла малую нужду стоя; но делала это чаще других, так как у нее было неладно с мочевым пузырем; поэтому и вся жизнь ее в ту пору состояла из бесконечных остановок где-нибудь у вербы или забора. Она поступала так не из бесстыдства, а просто мирясь с необходимостью. Если она нагибалась, то лишь затем, чтобы поднять с ничейной общинной земли сухую хворостину, отнести ее домой и растопить ею печь. Суть была в том, чтобы эта сухая хворостина не пропала втуне, не истлела и не потрескалась от жары, чтобы она не почернела и не раскрошилась бы на ней кора, чтобы она не обратилась в прах и не оказалась втоптанной в землю, не стала бы землею; ведь тогда будет поздно, и ее уже не найдешь, не похвастаешь перед всей деревней тем, что несешь эту сухую хворостину и мудро, по-хозяйски употребишь ее на растопку.

Старуха жила и была злая оттого, что смерть ее не берет. Скрипела она, словно старое высохшее дерево, и часто скорбно сетовала:— И когда это смерть придет за мной? — а потом с надеждой: — Того и гляди, в сырую землю лягу,— а потом со злостью:— Не приходит смерть.— И тут же спешила к плетню или к дереву или прямо там, где стояла, справляла нужду. У нее где-то был припрятан новенький красивый резак; дети знали, что у нее есть нож, и предполагали, что он спрятан где-нибудь на печи; они охотно добрались бы до него и поэтому тоже ждали ее смерти. Все в доме ждали бабкиной смерти, вся деревня

ждала и желала бабке Антоське смерти, потому что желала ей добра, хотя бабка и была злющая. Но бабка жила себе да злилась. Без конца гоняла она ребятишек из низины работать, потому что была она радетельницей земли, пашни, полей, которые тянулись от околицы далеко до соседней деревни. Бабка Антоська была радетельницей коровника, конюшни и хлева, ясель и корыта для свиней, неубранного навоза. И поэтому неустанно заставляла ребятишек работать. Она все больше ожесточалась, становилась такой злой, что, казалось, любила только конский навоз, который находила на дороге и босой ногой подталкивала на свое поле, а вернее, на поле дочери и зятя; она подталкивала этот навоз ногой, уже не в силах наклониться; теперь она не нагибалась даже за сухими хворостинами; к мочевому пузырю и ревматизму прибавилась еще какая-то засевшая невидимым гвоздем в пояснице боль — то ли какая-то спайка, то ли растяжение,— которая не дает согнуться, колет и раздирает тело. Если бы бабка могла наклониться, она подняла бы этот сухой навоз руками и бросила бы на поле, чтобы его удобрить; на поле дочери, зятя, внучки и внуков, а вернее, как выяснилось позже, на поле внука Войцеха и внучки, нынешней фабричной работницы, Ядвиги Трепы — Ядвиги Трепы, ибо у нее не было мужа и она носит фамилию отца. А вернее говоря, большая часть этого поля принадлежит сейчас старому холостяку, дважды убийце Войцеху Трепе. Меньшая же часть досталась правнучке бабки Антоськи, Зофье Трепе; Зофья тоже Трепа, ибо она внебрачная дочь Ядвиги и носит фамилию матери. Станислав Трепа, старший сын Юзефа и Катажины, брат Войцеха и Ядвиги, получил большое хозяйство где-то на западной границе и отказался от своей доли в отцовском наследстве.

Если бы бабка Антоська могла наклониться, она подняла бы этот навоз и бросила его на середину поля, чтобы было понадежнее, чтобы он лежал там, размок от дождя и впитался в землю, чтобы потом на этом месте выросла самая зеленая, высокая и густая рожь или пшеница. Так она доказывала свою любовь к детям и внукам, эта злая бабка, доказывала для себя самой, не на показ и поэтому, идя по полю, она сталкивала сухой навоз на вспаханную и заборонованную землю и тотчас же забывала об этом.

Где-то на печи у нее был спрятан новенький нож. Ребята знали, что он на печи, но не забирались туда, боясь бабки; приходилось ждать, а бабка не умирала; она жила и злилась, оттого что жила. И лишь когда все уверовали, что бабка Антоська проживет еще долго-долго, пришла смерть. И этот переход, скачок из бытия в небытие совершился как-то неприметно. Словно судорогой свело и тотчас отпустило ее. Собственно, это была даже не судорога, а будто небольшое усилие, необходимое, чтобы перешагнуть узкий и неглубокий ров; или передвинуть на несколько сантиметров какой-нибудь предмет, или моргнуть глазом — не более того; остается еще затаенное, самое сокровенное, последнее содрогание; но вот и оно позади.

Дети забрались на печь и нашли нож с красным закругленным черенком. Ножи бывают разные, но такие, с закруглением на конце черенка, считаются самыми лучшими и красивыми. Если бы там, на печи, оказался нож с обычным желтым, сужающимся к концу черенком, с лезвием, на котором не выгравирована буква «Т», оставалось бы только усмехнуться, ибо такой нож не мог бы иметь никакого особого значения в твоей жизни, так же, как и нож с простым бледно-желтым черенком. И если бы случилось, что на этой печи ты обнаружил нож с темно-коричневым черенком, сужающимся к концу, с четырьми тоненькими, более темными полосками, то и этот нож не делал тебя важной персоной, ведь бывают еще ножи с красным черенком, выточенным утолщением на конце, с нержавеющим лезвием и буквой «Т» на нем. Именно

такой нож нашли ребята на печи, когда умерла бабка Антоська. А если ты нашел такой нож и завладел им, с этой самой минуты ты уже не просто кто-то; ты уже кое-что значишь для деревенских ребят, раз ты обладатель такого ножа и у тебя умерла бабка.

Отцу придется раздобыть вторую лошадь, ведь нельзя везти гроб на кладбище на одной лошади, тем более что гроб повезут на санях — время зимнее и намело пропасть снегу. Лошади почуют санную упряжь и рванутся с места, потому что они привыкли в санной упряжке идти рысью, но отец, шагая рядом, придержит вожжи, и лошади, как и подобает на похоронах, пойдут медленнее. Юзефу наверняка захочется сесть в сани и сказать этой горстке взрослых и детей, чтобы и они тоже сели или уцепились за сани и поддерживали гроб; ему захочется подхлестнуть лошадей и рысью въехать на кладбище, потому что холодно; но он так не сделает, ибо полагается ехать медленно — гроб может в крайнем случае лишь дрогнуть или слегка покачнуться на подложенных под него охапках сухой картофельной ботвы. Вот почему отец пойдет рядом с санями без кнута — когда едут на кладбище, кнут оставляют в конюшне, а провожающие, несколько взрослых и ребятишек, поплетутся следом. Юзеф будет поминутно покрикивать на лошадей, которые идут недружно, а это ему не нравится; незаметно — все-таки похороны — дернет то одну, то другую вожжу, разъяренный тем, что лошади его не слушаются. Потом из своего дома на минутку выскочит ксендз в шубе, благословит в костеле гроб и торопливо проводит его на кладбище, потому что зима и мороз, который хорош для мертвых, живым докучает. С кладбища уж все непременно поедут в санях. Усядутся на охапках ботвы, на которой стоял гроб, Юзеф огреет лошадей вожжами, и они помчат во весь дух в деревню, а люди прокатятся в свое удовольствие. Грусть, вызванная этой кончиной, будет грустью приятной, потому что в доме теперь не будет так тесно — в маленькой горнице и кухне сделается просторней. В доме станет посвободнее, и поэтому скорбеть будут скорее по обязанности.

Это было в 1918 или в 1919 году — значит, уже после войны; нынешнему обвиняемому Войцеху Трепе было тогда двенадцать или тринадцать лет, то есть до того послеполуденного часа, а вернее, до того вечера или даже до той секунды 23 июня 1930 года, когда он убил, оставалось еще тринадцать или двенадцать, а может быть, всего одиннадцать лет, ну и сколько-то там часов, минут и секунд. Стало быть, уже не двадцать четыре года и тридцать девять дней отделяло день убийства от того дня, когда родился младенец, которого окрестили Войцехом, потому что это имя понравилось его отцу Юзефу Трепе. Но уже с той минуты, когда Войцех родился, а может даже в те годы, когда его еще на свете не было и не было ни отца его Юзефа, ни матери Катажины, ни деда Матеуша, ни бабки Антонины — может, уже тогда время, постоянно урезающее и сужающее полосы пахотной земли, толкало Войцеха на это преступление, и он поддался, не в силах сопротивляться этому велению, и совершил преступление, о котором позавчера так исчерпывающе рассказывал на суде. Он стоял немного сутулый, смуглый, с седоватыми поредевшими волосами, с голубыми глазами ребенка. Ровным голосом он рассказывал, как шел из города до места убийства. В тот день он был в городе на ярмарке, куда отправился, чтобы купить цепь, которой обматывают груженную бревнами телегу — он вскоре собирался съездить в лес. И он поехал бы через несколько дней в лес, если бы не убил; он приготовил бы телегу, взял бы с собой короткий распор, поставил бы боковины, намотал бы на одну из них цепь, а потом поехал бы за бревнами. Но он убил, и поездку в лес пришлось отложить. Тогда, на ярмарке, он и не думал, что убьет; до убийства оставалось несколько часов, а ему и в голову не приходило, что он станет

убийцей. Он не собирался убивать и тогда, когда возвращался с ярмарки по насыпи вдоль реки, позванивая купленной цепью, и этот приятный звон сопровождал его всю дорогу. И даже когда до убийства оставался какой-нибудь час, он наверняка не думал о том, что убьет. Ибо это произошло внезапно и, пожалуй, заняло менее часа. На самое убийство потребовалось, разумеется, не более нескольких секунд, но предшествовавшие ему молчание, ирония и тихие, вежливые слова — вежливые, чтобы усилить иронию; и возрастающее возбуждение, все стадии отчаяния, вначале еще осознанного, а потом последняя вспышка, уже, пожалуй, в беспамятстве — на все понадобилось менее часа.

У меня нет оснований не верить, что все происходило именно так, ибо Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, признал себя виновным, а мог бы не признаваться, если бы не сдали нервы, а вернее, если бы он не почувствовал потребности признаться и, возможно, даже некоторого облегчения при мысли о чистосердечном признании, в противном случае было бы трудно доказать его первое преступление. А если уж он признался в убийстве, то есть в достойном наибольшего осуждения проступке, в котором мог и не признаваться, то и обстоятельства, при которых был совершен его проступок, конечно, изобразил так, как это происходило на самом деле. Он рассказал о них спокойно — быть может, это было спокойствие побежденного отчаяния; в таком случае он превосходно, хотя и слишком поздно, поборол отчаяние, так как о своем преступлении говорил спокойно, словно о переживаниях детства и ранней юности, когда ему было восемь, двенадцать, пятнадцать лет.

Рассказ о его юности напомнил мне время, когда мне было пятнадцать лет; кончилась вторая мировая война, и меня захватил круговорот событий: я попал в школу, на разные курсы, в том числе на подготовительный курс в университете, и наконец на юридический факультет.

Размышляя над этим, я пришел к выводу, что пятнадцать лет — это та точка, та грань, до которой жизнь обвиняемого Войцеха и прокурора, то есть моя, схожи. До этого времени разница в двадцать три года между мной и обвиняемым ничего не значила; а приобрела она огромное значение лишь на грани между пятнадцатым и шестнадцатым годом жизни прокурора и теми же годами жизни убийцы. Ибо дважды убийца Войцех Трепа, когда ему исполнилось пятнадцать лет, даже не заметил и не мог заметить этого рубежа, потому что в его жизни ничто не изменилось; доля многих поколений готовила его к двум преступлениям, и он покорно приближался к тем дням, когда совершил первое и второе убийство.

Я подумал о том, что если на протяжении пятнадцати лет жизнь обвиняемого и моя, прокурора, жизнь складывались одинаково, то и я, прокурор, мог бы пойти тем же путем, что и обвиняемый, а Войцех Трепа, вынуждаемый обстоятельствами и своим отчаянием, брел и добрел до преступления. Значит, и я мог бы прийти к тому же, если бы меня вдруг не выбили из этой колеи и не отправили из деревни, из тесной хаты и многодетной семьи в среднюю школу, а затем в университет.

Вот какое я сделал открытие, перелистывая обвинительный акт и показания обвиняемого и свидетелей. Я сделал это открытие внезапно, встал из-за стола и прошелся несколько раз от окна к дверям и обратно. Мне хотелось подумать еще немного об этом открытии, о том, что и я, прожив до пятнадцати лет в тех же условиях, что и Войцех Трепа, мог совершить преступление и меня могли толкнуть на это условия жизни моей семьи и моей деревни, как толкнули они на преступление обвиняемого Войцеха Трепу, сына Юзефа и Катажины.

Продолжая эту игру в сопоставления сходных ситуаций, теперь уже

не имеющих серьезного значения, скорее занятных, но все-таки страшных, я понял, что если бы год 1945 не перевернул всю мою жизнь, то могло статься, я разделил бы судьбу обвиняемого. И снова отдавшись воображению, я сделал еще одну перестановку во времени и представил себя на месте Войцеха Трепы, а Войцеха Трепу — живущим в мое время. Эта перестановка, лишенная, конечно, всякой реальной основы, породила в моем воображении возможную ситуацию: я, нынешний прокурор, сижу на скамье подсудимых между двумя милиционерами, а обвиняемый Войцех Трепа сидит на месте обвинителя, то есть на моем месте. Но все это, разумеется, не имеет значения и, скорее, просто игра в сопоставление некоторых фактов наших биографий — и я и Войцех начинали жизнь с того, что стерегли утят и гусей.

И все-таки, прохаживаясь от дверей к окну, я по-прежнему с увлечением сравнивал мою жизнь с жизнью подсудимого Войцеха Трепы, хотя мне это было не нужно и могло лишь внести путаницу в мою работу прокурора, обязанного считаться только с реальными фактами. Я улыбнулся, подумав, до чего можно дойти, когда мысленно переставляешь людей на шахматной доске времени.

Потом, читая и перечитывая обвинительный акт, я понял, что примерно на рубеже, прошедшем в жизни Войцеха совсем незаметно, ибо иные были времена, а для меня решающем, ныне обвиняемый Войцех, а тогда пятнадцатилетний Войтек впервые встретился с жившим в соседней деревне Стефаном Дураем, который был на год старше его и которого он через несколько лет убил. Они встретились между двумя деревнями на дороге, на которую им пришлось возить песок и щебень. Пожалуй, это было в 1921 году; Войцех тогда не знал еще его фамилии а позднее узнал фамилию и имя и стал звать его Стефеком; спустя годы он многое познал и убил Стефана Дурая. Там, на дороге, один говорил другому:— Подай-ка еще назад телегу.— Или:— Высыпай этот щебень здесь.— Или:— Заравнять надо эту рытвину, подсыпь сюда песку.— Или: — Подгони лошадь.— А все-таки потом, когда пройдет много лет — а время должно было пройти,— настанет такой день, час, а может быть, даже минута, когда один убьет другого. Собственно, уже тогда, на дороге, они могли потолковать об этом, если бы знали, что должно произойти позже, по прошествии некоторого времени. Будь им это известно, Войтек мог бы тогда сказать Стефеку: «Посмотри на меня, вглядись хорошенько, запомни мое лицо, запомни, как я улыбаюсь, как помогаю тебе возить щебень, посмотри на мои руки — руки обыкновенного человека, белые от каменной пыли, посмотри внимательно на эти руки — они убьют тебя». А Стефек тогда, на дороге, мог бы ответить: «И ты посмотри на меня, взгляни мне в глаза, видишь, как я радуюсь, когда лошадь перетащит через колдобины подводу со щебнем, как я улыбаюсь, приглядись — ведь ты убьешь меня». Но они не знали, что с ними будет спустя многие годы, и не задумывались над этим, занятые работой — они возили на дорогу песок и щебень.

IV

А потом ежедневно на другом краю поля появлялись две маленькие темные фигурки Юзефа Трепы и его старшего сына Сташека. Ежедневно в сумерки возникали эти две точки на другом краю поля — мужчины возвращались с работы на насыпи. А потом, огромные и обессилевшие, они валились в кухне на стулья, и слышались их точно разбухшие от гордости слова, обращенные к Катажине-жене и Катажине-матери: — Дай чего-нибудь поесть.— Только это и скажут работающие на насыпи. И стоило им бросить «Дай чего-нибудь поесть», как женщина, словно одержимая, начинала суетиться и стряпать. Жена Юзефа и мать Сташе-

ка, Войтека и Ядвиги начинала суетиться, как одержимая, исполняя обряд приготовления пищи для работников, вернувшихся с насыпи; это был именно обряд, и смысл его заключался не только в том, чтобы накормить двоих, развалившихся на стульях работников, а скорее в том, чтобы воздать должное работе на насыпи — этим тачкам, полным земли, которые нужно было вкатывать по доске на самый гребень насыпи. В старых штанах отца был карман глубокий и широкий, до самой прорехи, пропахший чем-то затхлым, землей, потом и мочой, в который вечно набивался песок; в нем хранились погнутые гвозди, бечевки, гайки и полученные за работу на насыпи деньги. Этот вонючий карман в старых штанах вместе с заработанными деньгами ежедневно в сумерки возвращался с другого края поля домой, а на рассвете уходил из дому и исчезал за этими полями. В воскресенье вонючие штаны с карманом лежали на старом столе в сенях, а в понедельник с восходом солнца снова отправлялись на насыпь.

А потом насыпь нарастили, и работа кончилась. Позже случалось еще много всякого; хворал Сташек, и тревожные, беспомощные и все же что-то прикидывающие взгляды домашних ощупывали больного. Бабы поставили ему банки и чем-то растерли, но это не помогло. Поэтому родные не спускали с него глаз, всматривались и что-то прикидывали. Нет хуже этой навязанной необходимости прикидывать, этих тайных, подспудных расчетов, от которых не отобьешься, этих беспомощных, слезливых взглядов, желания спасти жизнь и одновременно настойчивой мысли о том, что, умри он — два с половиной морга земли останутся только на двоих. Они страдали оттого, что приходилось так думать, но вопреки их воле два с половиной морга внушали им такую мысль, когда они смотрели на больного. Эти подсчеты властно овладевают тобой, и, хотя ты весь съеживаешься и знаешь, что уступить им подло, хочешь сохранить свое достоинство и отчаянно защищаешься, ты не в состоянии избавиться от них. Когда Сташек выздоровеет, эта настойчивая мысль перестанет преследовать его родных; эта арифметика, эти подсчеты — деление сначала на три, а потом на два — исчезнут, и вместо них опять начнутся другие, неторопливые дотошные хозяйственные подсчеты, связанные уже не с жизнью и смертью человека, а с жизнью и смертью животных и растений.

Довольная улыбка Юзефа Трепы и оживление в семье, когда к Ядвиге придет кавалер, еще впереди. До того, как на лице Юзефа появится эта улыбка, его исказит зависть, да и все лица в доме Юзефа Трепы побледнеют от зависти при виде новой красной черепицы на крыше соседа. И вспыхнет ненависть, но не к соседу, кроющему черепицей крышу, а к самому себе и к своим близким за беспомощность. Из зависти родится грусть, и ты будешь бесконечно долго сидеть, сложив руки на коленях,— покорно сидеть на пороге дома или на козлах в дровянике, когда в дремлющем мозгу медленно возникают исполненные трагического бессилия картины, которые так и не вырвут мысль из оцепенения: какая-то убитая птица с раскрытым навсегда клювом; сломанный крюк в бревне на сеновале; поверженный молнией вяз; загнанный собаками заяц; поросенок, которого сожрала собственная мать, сожрала из любви и боязни, как бы ему не причинили зла.

И будут еще, а собственно, уже были — ибо все это уже минуло и осталось позади — многочисленные и однообразные хлопоты по хозяйству, дни и месяцы, когда гнешь спину на пашне, на гумне, бьешь земные поклоны зерну и навозу; крестьянские босые ноги, корявые, почерневшие, покрытые трещинами ноги, ступающие по земле, воде и дерьму, униженные ноги, удел которых горше участи других частей крестьянского тела. Эти ноги, приближающиеся к ограде, которая отделяет сад от полей, эти руки, вцепившиеся мертвой хваткой в жерди изгороди,

это тело, распластавшееся на ограде, и глаза, жадно всматривающиеся в поля,— этот мужик, впившийся в забор, распятый на нем, как паук на паутине, мужик над густо исписанной страницей полей.

Все это было, миновало, и уже близок день, когда появится рослый красавец кавалер с великолепной фамилией Котуля и великолепным именем Кароль и в доме Трепы начнется почти не проявлявшееся внешне, затаенное оживление. Обвиняемый Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, рассказал суду об этом первом, а вернее, об этих первых визитах Кароля Котули в их дом. Судья и я, прокурор, выслушали его внимательно — показания обвиняемого имели значение, хотя все это происходило задолго до первого преступления, не говоря уже о втором. Шел год 1928 или 1929, то есть меня тогда еще не было на свете или я только родился; первое преступление совершилось в июне 1930 года. Описывая суду эти визиты Кароля Котули к Ядвиге, обвиняемый сказал: — Мы радовались, что он пришел.

Войцех употребил это бескровное, обтекаемое и безликое определение «мы радовались». Если бы он помнил все лучше и описал эту минуту подробнее, то сказал бы, что отец улыбнулся, когда светлый чуб мелькнул над плетнем, и улыбался все время, пока чуб двигался вдоль изгороди, пока не открылась калитка и не появился сам стройный кавалер Эта, казалось, бездумная улыбка, затеплившаяся после скрупулезных подсчетов, словно прилипла к лицу Юзефа и держалась до того вечера и ночи, когда выяснились некоторые другие обстоятельства. Но до этого вечера еще далеко, и Юзеф благосклонно и одобрительно улыбается. Говорит он мало и не о том, о чем хотел бы. Он, Юзеф, говорит: — Будет вёдро — свезем сено,— а хотел бы сказать: «Кавалер пришел к Ядвиге — первый сорт». Говорит: — Хорошо бы убрать сено,— а хотел бы сказать: «Нам ко двору такой зять, как этот Кароль Котуля; я бы поставил новую ограду и крышу покрыл заново, если бы только этот Котуля сказал: «Я женюсь на вашей дочери». На свадьбу заколол бы боровка, все равно уж; выволок бы из хлева этого боровка и ахнул бы его обухом между глаз, вонзил бы в него нож, а потом наделал колбас...»

Ядвига Трепа, фабричная работница, которой сейчас пятьдесят один год, а в то время девятнадцатилетняя или двадцатилетняя девушка, убежала в хату, едва красавец кавалер появился за забором, и там нетерпеливо ждала, когда он войдет.

Чтобы представить себе тогдашнюю Ядвигу, пришлось бы разгладить ей морщины на лице; надо было бы упрятать набухшие жилы на руках, сделать маленькими руки, убрать шишки на ступнях и распрямить сутулую спину. Пришлось бы, если бы это было возможно, повлечь ее против течения в потоке времени и вернуть из 1961 года в 1928 или 1929, когда появился этот красавец кавалер.

А едва он появился, снова начались неизбежные расчеты.

Четыре или пять голов — порой вместе с Ядвигой, а иногда без нее,— склонившихся над столом или над полом в кухне или в горнице, а в сущности склонившихся над этими их двумя с половиной моргами, прикидывали все пока еще благодушно, не торопясь. У этого Кароля Котули земли не густо, но он единственный сын, значит, хоть и беден, а все-таки, по сути дела, богат, потому что на него одного придется три морга, которые он унаследует от отца. Поэтому он, возможно, и не запросит большого приданого; может, не станет требовать многого, собираясь жениться на Ядвиге, красивой стройной девушке. Он наверняка не будет вырывать кусок из горла, и парням останется порядочный надел. А Ядвиге можно еще и телку отдать, потому что в хозяйстве теперь уже есть и корова, и телка: с 1910, а может, с 1911 года до года 1928 либо 1929, то есть за тот период, когда была война и много других событий, хозяйство Юзефа Трепы немного окрепло; они теперь прикупают траву, кото-

рая растет на насыпи, кроме коровы держат телку, и если так пойдет дальше, то, может, у них будут и две коровы.

Обвиняемый Войцех Трепа, рассказывая суду о первых визитах Кароля Котули, употребил выражение: «Мы радовались, что он пришел». Он даже улыбнулся, этот дважды убийца, когда произнес «мы радовались», он улыбнулся так, что на миг показалось — это еще тогдашний Войцех, Войцех в 1928 или 1929 году; убийца улыбнулся так, что в зале на какой-то момент все вздохнули с облегчением. Словно время повернуло вспять и возвратился 1928 или 1929 год, когда можно было надеяться, что красавец кавалер, сватая Ядвигу, не потребует много земли.

Но потом обвиняемого снова захватило монотонное течение судебного разбирательства, он уже не улыбался, он и себе и всем присутствующим напомнил, что сейчас 1961 год; апрель 1961 года — уже скоро год, как я женился на дочери профессора коммерческой академии и вошел в эту профессорскую, из поколения в поколение профессорскую семью. Я переступил порог блестящей профессорской квартиры в черном костюме и черных, уже не больших, а как раз по ноге узконосых ботинках, вернее, полуботинках. Приближается годовщина моей первой брачной ночи, годовщина тех минут, когда я переступил порог спальни, где меня ждала в постели дочь профессора торговой академии, жена Анджея Табора, еще районного прокурора, но уже получившего назначение на пост воеводского прокурора. Через минуту я войду в спальню и обниму мою жену. Я, зачатый на колченогой кровати, на соломе, покрытой грязным холстом, через минуту скользну в белую воздушную постель и обниму нежное тело моей жены, дочери профессора торговой академии. Моя любовь к этой женщине и ее любовь ко мне — возмездие за судьбу моего отца, матери, деда, бабки и всех моих предков. Я никому не признаюсь, что в моей любви к жене и в ее чувстве ко мне я нахожу частицу возмездия; и никому не признаюсь, что в моем праве любить жену, дочь профессора торговой академии, я вижу одно из благ, которые революция распределяет между людьми, рожденными на грязной подстилке. И в том не признаюсь, что наши объятия я считаю не менее веским доказательством перемен, происшедших после 1945 года, чем бумажка, извещающая меня о назначении на должность воеводского прокурора. И того никому не скажу, что на ребенка моего, который еще не родился и появления которого жду сейчас, когда идет процесс Войцеха Трепы, я тоже буду смотреть, как на возмездие за долю отцов, дедов и тех моих крепостных предков, что пахали на волах барские земли. И в том не признаюсь, что я еще не в состоянии вздохнуть с облегчением, ибо и в супружеских узах и в будущей обеспеченной жизни моего ребенка я вижу возмездие. Я не могу изведать того облегчения, которое станет уделом моего сына или дочери, ведь и я еще приписан к земле, но уже иначе приписан, чем Войцех Трепа, дважды убийца, чьи показания лежат сейчас передо мной, и я просматриваю эти страницы машинописного текста, повествующие о первых визитах красавца кавалера Кароля Котули. Из этого краткого и довольно общего рассказа обвиняемого следует, что весь 1928, и 1929 годы, и, пожалуй, еще отчасти 1930 год были удачными для семьи Трепы. Кавалер наведывался к Ядвиге, толковал с ее отцом, Юзефом Трепой, которому было уже под пятьдесят, иногда разговаривал со всей семьей, но пока о мелочах, не о женитьбе. Порой помогал матери Ядвиги, Катажине, принести охапку клевера. С Войтеком и Сташеком болтал о всяких мужских делах — и так постепенно врастал в семью Трепы этот красавец кавалер, единственный сын, который получит после смерти отца три морга, ибо у его отца столько земли. А тот вечер или, скорее, ночь, когда кое-что выяснится, пока довольно далеко, и кажется еще, будто ничто не может помешать этой незаметной смене поколений в доме Трепы.

То, что случилось позднее, достаточно подробно изложено в показаниях самой Ядвиги Трепы, некогда красивой и стройной девушки, которой ныне уже за пятьдесят и которая работает в городе и живет с внебрачной дочерью. Она, предмет ухаживаний Кароля Котули, знает больше других, и ее показания приняты во внимание судом и прокуратурой. В своих показаниях она не останавливалась на добрых временах первых визитов кавалера, а перешла к тому периоду, когда с лица Юзефа Трепы исчезла улыбка и оживление в доме сменилось нервозностью. Она давала показания без слез и той плаксивой многословности, которая зачастую присуща показаниям родственников обвиняемого. В ее показаниях, сухих и отрешенных, чувствовался человек, потерявший иллюзии и знающий, что ничего не вернешь, человек, который хочет сказать об этом напрямик и даже в назидание суду. Когда ей надо было коснуться того, что она отдалась Каролю Котуле — ведь не аист же принес родившегося позднее ребенка,— Ядвига сказала: — Потом я пошла с Каролем в рощицу, что за насыпью, и там все произошло.— Она произнесла это одним духом, не сделав паузы после слова «потом». Но дрогнула ее рука, не опущенная свободно вдоль тела, а напряженно и неестественно согнутая в локте; разумеется, это не занесено в протокол, ибо в протокол таких вещей не записывают, протоколист их, пожалуй, даже и не замечает, он записывает только слова. Дальнейшие показания свидетельницы Ядвиги Трепы втиснуты в несколько машинописных страничек и представляют собой хороший информационный материал для суда, так как рисуют довольно зримую, хотя разбросанную и неполную картину второго, то есть плохого периода визитов красавца кавалера. Однажды вечером во время веселого разговора Котуля вдруг выпалил: — Дайте за Ядвигой два морга.— Юзеф, его сыновья, Катажина и, наверно, сама Ядвига приняли это за шутку и заставили себя улыбнуться; но тут же они должны были спохватиться: а возможно, это и не шутка, и смекнуть, что в таком случае обоим братьям, отцу и матери останется только полморга. Пожалуй, парни тоже подумали, что если Котуля возьмет два морга, то им на двоих выпадет только полморга. В тот вечер Котуля больше не касался этой темы, а потом ушел, оставив их с этой шуткой, а может, и не шуткой: «Дайте за Ядвигой два морга». Они сидели в кухне, на стене висела закопченная керосиновая лампа. Дверь из кухни в сени была открыта, из сеней на улицу тоже — стоял теплый весенний вечер. Большой бурый кот лежал на пороге и смотрел во тьму, в сад, он что-то в этой темноте видел. Кот распластался на пороге и терпеливо всматривался в темноту, а темнота из сада вползала в сени и тревожила кота. Юзеф сказал: — Котуля сегодня пошутил,— и взглянул на Катажину; Катажина поняла, что должна ответить, и все услышали, как она сказала, а вернее, повторила слова Юзефа: — Котуля сегодня пошутил.— Сыновья тоже кивнули головами, подтверждая, что Котуля пошутил; а потом вдруг все четверо посмотрели на Ядвигу, которая сидела на пороге горницы; в их взглядах был вопрос: «Шутил Котуля или нет?» Но Ядвига сказала только: — Почему вы на меня так смотрите? — те четверо не настаивали, тогда в кухне боялись слов, чтобы ненароком не спугнуть шутку и не обнаружить правду. Бурый кот спрыгнул с места и бесшумно скользнул в сад, а они отправились спать. Сташек и Войтек — на сеновал, а Юзеф, Катажина и Ядвига — в горницу. На одну кровать уляжется Юзеф и, прежде чем уснуть, скажет: — Пошутил сегодня Котуля.— Мать и дочь лягут на другую кровать и притворятся спящими. Им многое надо бы сказать друг другу, но они не в силах выдавить из себя ни слова. Одна будет долго размышлять о том, как спросить, да и другая поломает голову над тем, как признаться; но наконец уже нельзя будет вынести этой не дающей заснуть мысли, что так много нужно сказать друг другу. Среди ночи запищит птица, до которой доберется бурый кот.

а Катажина прикоснется своим холодным телом к горячему телу дочери и спросит: — Почему не спишь?

В показаниях на следствии Ядвига упоминала об этом ночном разговоре с матерью и немного остановилась на нем, но на суде она сказала коротко: — Я призналась матери, что у меня будет ребенок.— О том, что мать, узнав эту новость, разбудила отца, на суде Ядвига тоже не сказала, хотя на следствии и упоминала. Суд, конечно, знал это обстоятельство, но не настаивал, чтобы она вспоминала о нем: оно не имело большого значения и было не самым важным дополнением к тому существенному факту, имевшему место весной 1930 года — того года, когда обвиняемый Войцех Трепа совершил первое убийство,— что двадцатилетняя Ядвига Трепа была беременна. То, что ночью Катажина разбудила мужа, было для суда сущим пустяком, и то, что она крикнула глухим и сдавленным голосом: — Проснись, старик! — И то, что она еще раз или два крикнула: — Проснись, старик! — так как он не просыпался и продолжал храпеть, не вносило ничего существенного в дело, и суд не настаивал на подробном изложении того, что произошло весенней ночью 1930 года в горнице Трепов. Не было существенным дополнением и то, что отец, разбуженный наконец криком Катажины, сел на кровати и тотчас же услышал: — У Ядвиги будет ребенок! — И то, что он долго молчал, молчал до той минуты, когда в окне обозначается черный крест рамы, и бурые коты, насытившиеся птицами, укладываются спать на сене, а птицы, которым повезло — уцелевшие, несъеденные птицы,— начинают петь; и то, что он молчал вплоть до этой минуты, не было учтено при сборе вещественных доказательств преступления. Все это самое большее может лишь стлаться, как выплывший из прошлого туман, где-то наряду с вещественными доказательствами. Но сказанное Юзефом, эти три слова, произнесенные после долгого молчания, этот вывод: — Котуля не шутил,— имели, пожалуй, какое-то значение в ряду вещественных доказательств, ибо судья обратился к свидетельнице Ядвиге Трепе со словами: — Сперва отец, а потом все в доме пришли к выводу, что Кароль Котуля, требуя два морга, не шутил.— Это было так очевидно, что Ядвига даже не ответила «да», а лишь утвердительно кивнула головой; и суд, который в принципе не признает ответа на языке жестов, простил Ядвиге — она в тот момент слегка повернула голову и взглянула на обвиняемого, на этого дважды убийцу, на своего брата Войцеха, и суд понял ее молчание, когда она смотрела на брата. Немного погодя судья заговорил снова: — Кароль Котуля не шутил, когда потребовал два морга,— на что Ядвига ответила: — Кароль тогда не шутил.

Позднее, размышляя над этим, я пришел к заключению, что Котуля находился в том выгодном положении, которое позволяло ему правду выразить в форме шутки, он мог позволить себе такую роскошь, красавец кавалер мог позволить себе это, однажды ночью в рощице обеспечив себе выгодное положение, которого уже никто не мог его лищить. Поэтому он с улыбочкой и вроде бы шутя сказал Юзефу и Катажине: — Дайте два морга.— А Юзеф, Катажина и их сыновья могли только растерянно и беспомощно улыбаться.

V

Так думал я об этом, хоть и знал, что, размышляя подобным образом, я превышаю свои полномочия и осложняю себе задачу как прокурору. Но я именно так представлял себе происшедшее и по-прежнему размышлял на эту тему, мысленно перемещая людей из одного времени в другое, я опять вернулся к той ночи, когда выяснилось, что Ядвига беременна. Видимо, Юзеф той ночью понял все преимущества положе-

ния красавца кавалера, потому что после долгого молчания он сказал:— Котуля не шутил.— Когда эта ночь минет, Юзеф пойдет в дровяник, сядет на козлы и примется стругать штакетник, дожидаясь момента, когда можно будет взглянуть на живот Ядвиги; Катажина, как всегда, постарается отвлечься, возясь с кормом для свиней, и тоже будет подкарауливать Ядвигу, чтобы посмотреть на живот дочери; а Сташек запряжет кобылу, уже с высоты телеги увидит проходящую по саду Ядвигу и уставится на ее передник; Войтек будет выбрасывать навоз из хлева, но и он разогнется и, не выпуская из рук вил, внимательнее, чем обычно, посмотрит на Ядвигу. Когда Ядвига придет наконец за дровами, Юзеф подымется с козел и шепнет ей:— Поди сюда, ты, стельная,— но не станет ждать, пока она приблизится к нему, а сам подойдет и ударит ее по лицу, и еще раз шепнет: — Ты, стельная, ты, супоросая! — Ядвига, не проронив ни звука, выйдет из дровяника, а Юзеф молча сядет на козлы, чтобы не наделать шуму в деревне. Ядвига вернется с дровами на кухню, Юзеф снова начнет стругать штакетник.

Но невозможно до бесконечности стругать штакетник, ведь нельзя же вечно сидеть верхом на козлах, настанет минута, когда подумаешь: «Пойду в поле», а потом мелькнет мысль: «Делать там нечего, моросит затяжной дождь, а все-таки пойду», затем скажешь себе: «Я должен пойти и увидеть поле, которое вижу каждый день, должен пойти, хоть и льет дождь, потому что Котуля потребовал за Ядвигой два морга. Я отдал бы Ядвиге, моей дочери, этой суке, два морга... но у меня всего два с половиной морга и два парня — Сташек и Войтек». А если этот красавец кавалер потребовал два морга, то на тебя в дровянике могло снизойти озарение, ты должен был подумать: «Пойду в поле поглядеть, что к чему, пусть себе льет дождь», ты должен был крикнуть самому себе: «Пойду, потому что надо пойти». И ты пойдешь, ибо требование красавца кавалера покажется тебе достаточной причиной для того, чтобы пойти под дождем в поле. Ты согнешься, набросишь на голову мешок и пойдешь. Встанешь под невысокой дикой грушей и окинешь землю оценивающим взглядом. И самая твоя большая, на целый морг, полоса на пологом склоне покажется тебе превосходной. Тебе она очень понравится, эта полоса, ты сравнишь ее с другими наделами и решишь, что твоя все-таки самая лучшая, и улыбнешься. Ты пожалеешь, что сюда, под грушу, не пришли с тобой красавец кавалер и его отец: будь они тут, ты показал бы им этот участок в целый морг, им это поле наверняка понравилось бы. Тогда ты бы сказал: «Я отдам этот морг, но больше не дам ничего». Они могли бы в ответ одобрительно кивнуть головами. А тебе, когда ты стоишь под грушей, ничего другого и не надо — только бы красавец кавалер и его отец кивнули головами, сказали бы «да», когда ты им покажешь полосу на угоре и скажешь: «Этот морг я отдам Ядвиге и Каролю».

О том, что ты, Юзеф, в тот дождливый весенний день 1930 года стоял под грушей, никто из свидетелей не обмолвился ни на следствии, ни на суде. Но о встрече двух семей под этой самой грушей тоже весной 1930 года говорили и обвиняемый Войцех Трепа, и свидетельница Ядвига Трепа, и еще один свидетель, который, правда, не был при этом разговоре, но видел, как несколько человек шагали туда по меже, а позднее отец красавца кавалера, Миколай Котуля, рассказал ему, о чем шла речь там, под грушей. Свидетель запомнил даже, в каком порядке шли они к этой груше. Сомнительно, чтобы он так хорошо помнил, кто за кем шел, но сказанное им было правдоподобно и потому занесено в протокол. По его свидетельству, первым шагал Юзеф Трепа, за ним его жена Катажина, затем Миколай Котуля, красавец кавалер, потом Ядвига, а в самом конце Войтек. Когда они подошли к маленькой дикой груше — об этом рассказал уже не тот свидетель, который

сообщил, в каком порядке они двигались, а обвиняемый Войцех Трепа и свидетельница Ядвига Трепа,— Юзеф поднял свою заскорузлую тяжелую руку, показал на морг земли — самую лучшую, удобно расположенную полосу, и сказал отцу красавца кавалера:— Я им отдам этот морг,— и Катажина повторила за ним: — Мы им отдадим этот морг,— чтобы поддержать заявление мужа и чтобы Миколай Котуля и красавец кавалер не сомневались, что эта полоса будет принадлежать Ядвиге. Тогда Миколай Котуля улыбнулся, и его сын, обеспечивший себе выигрышное положение, тоже улыбнулся, а Юзеф опустил руку, которой все еще показывал на поле; он опустил ее рывком, спохватившись, что слишком долго держит руку протянутой в сторону этой полоски земли. А Миколай Котуля, ничего не говоря, только по-прежнему как-то загадочно улыбаясь, повернулся и показал на другую полосу Юзефа Трепы, полосу в полморга, и сказал:— Давайте еще и это.— А потом, все так же вкрадчиво улыбаясь, он повернулся в другую сторону и показал еще одну полосу в полморга и снова проговорил:— И это тоже.

Судья и прокурор, то есть я, понимаем, что эти подробности, сохранившиеся в памяти,— лишь частица длинного разговора, который произошел весной 1930 года под маленькой грушей-дичком и который, как показали свидетели, ни к чему не привел и только подчеркнул разницу в положении обеих семей. Теперь красавец кавалер, его отец, а также наверняка и мать доподлинно убедились, что Юзеф хочет отдать дочери, которая должна войти в их дом как жена и сноха, только один морг, а Юзеф, Катажина, Ядвига и парни поняли, что Кароль и его родители не уступят и будут требовать морг земли на угоре, полморга у большого выгона и еще полморга на опушке, то есть всего два морга. Они могут настаивать и не спешить, могут молчать целыми месяцами, потому что у них есть преимущество, о котором позаботился их сын.

А семейство Трепов должно поторопиться со своими попытками убедить Котулей ограничиться одним моргом, им нельзя мешкать, потому что Ядвига ходит в свободно повязанном фартуке и для отвода глаз держит под ним сложенные накрест руки — будто из-за них и оттопырился фартук. Эта четко определившаяся разница в положении обеих семей была заметна уже в тот раз, когда они кончили разговор под карликовой грушей-дичком и молча возвращались с поля. Свидетель, помнивший, в какой последовательности они шли межою к груше, пожелал снова блеснуть памятью и рассказал, что, когда они возвращались, первым шагал Миколай Котуля, за ним мать Ядвиги Катажина, потом красавец кавалер, Ядвига и ее отец Юзеф, а Войтек плелся последним, как и поначалу, только отстал еще больше. Свидетель говорил об этом с огромным волнением — вероятно, по его мнению, то, что возвращались они в другом порядке и Войтек отстал еще больше, уже тогда имело свое значение, свое глубокое значение.

Однако о том, что делалось в доме Трепы после возвращения с поля, ныне могут поведать, да и то в общих чертах, лишь Ядвига Трепа, обвиняемый Войцех Трепа, Станислав Трепа, брат обвиняемого, ну, и может быть, восьмидесятилетний старик, их отец. Моя фантазия, фантазия крестьянского сына и прокурора, воссоздала наиболее правдоподобную картину событий тридцатилетней давности, собрав воедино эти показания и восполнив пробелы в памяти свидетелей и обвиняемого.

Тишина и безмолвие царили в доме Трепы в первые минуты после возвращения семейства с поля. Катажина тотчас же принялась готовить корм свиньям и толочь в корыте картошку — ее пугала тишина, а более того мысль, что эта тишина будет продолжаться вечно. Наконец глава семейства решился произнести слова, нелепые и беспомощные и, может, именно потому испокон веков повторяемые всеми людьми, слова по-человечески понятные и такие бесчеловечные:— Что теперь

будем делать? — и взглянул на Ядвигу, которая стояла, слегка откинувшись назад, с уже заметно округлившимся животом, будто напоминавшим, что фартук пора сделать свободнее. Юзеф посмотрел на нее и плюнул, а она с плачем убежала в горницу и захлопнула за собой узкую дверь, отделяющую горницу от кухни. Тогда Юзеф позвал:— Ядвига, иди сюда! — И когда она не откликнулась, позвал еще раз:— Вернись на кухню, Ядвига! — Она вошла уже не плача, только с красными пятнами под глазами, и тогда впервые за несколько месяцев посмотрела отцу прямо в глаза, и, хотя ничего не сказала, было понятно, что теперь она станет вырывать у него эти два морга, что она на стороне красавца кавалера, что она может еще больше откинуться назад, хлопнуть рукой по своему выпяченному животу и крикнуть: «Дайте два морга, чтобы не было безотцовщины! — Или может произнести мягко, улыбаясь:— Вы должны дать два морга, чтобы не было байструка». Она может даже ничего не говорить, а просто бесстыдно выпятить свой живот, и это будет означать то же самое, что и слова: «Дайте два морга, а то будет байструк». Ибо она уже сделала этот единственный решающий шаг и оказалась за пределами плотины, барьера или границы, создаваемой стыдом, богобоязненностью, семейными узами и с детства впитанным суеверием, мешающим преступить линию, очерченную вокруг человека краской ангельской белизны,— линию, которая и есть эта плотина, барьер или граница. У нее уже развязаны руки, и она может пойти на поле, поднять ком земли, поцеловать его и ударить им отца, мать, брата — каждого, кто приблизится, чтобы отнять у нее землю. Юзеф, очевидно, все это понял, и, когда Ядвига вернулась в кухню уже не заплаканная, а с холодным, решительным взглядом и сурово посмотрела ему в глаза, он сказал:— Ядвиня.— Он не называл ее так уже несколько месяцев, а может, и лет, а может, с того самого времени, когда она четырехлетней девчонкой стерегла утят от вороны. Он сказал «Ядвиня» этой суке, так как ему, наверно, пришлись по сердцу ее отвага, бесстыдство, с каким она выпятила свой набухший живот, ее дерзкий взгляд. А может, он просто побоялся, побоялся неплачущей, неотчаивающейся Ядвиги. Может, он пожалел ее, пожалел эту злую, вырывающую у него землю Ядвигу, Ядвигу, готовую ударить мать и отца комом священной земли с полосы, что занимает целый морг на склоне, с полосы в полморга, что у большого выгона, и с полосы в полморга на опушке. Может, он пожалел свою дочь именно сейчас, когда она больше не плакала, пожалел, ибо слезы — это слишком мало, ведь не плач, а богохульная и бесстыдная решимость была высшей формой отчаяния.

Разумеется, на суде об этих подробностях не было речи. Для суда они не представляли интереса, и потому судья не прибегал к тем мягким настойчивым уговорам, которые он обычно применяет, когда заинтересован в детальном выяснении каких-либо обстоятельств. Он не обращался к обвиняемому Войцеху Трепе и свидетельнице Ядвиге Трепе, учтиво убеждая: «Пожалуйста, расскажите об этом детальнее.— Или, чтобы было понятно:— Прошу рассказать суду подробнее, как все было». Суд отказался в этой части показаний, как, впрочем, и в некоторых других частях, от мягких и настойчивых просьб и убеждений, всегда сопутствующих подготовке приговора и необходимых для наиболее точного воссоздания самих фактов. Суду было достаточно того, что Ядвига Трепа стала на сторону красавца кавалера и тоже вырывала у родителей и братьев эти два морга. И уж вовсе он не интересовался тем, что вся деревня знала о событиях в обоих семействах, и окружила дом Котули, а особенно дом Трепы, настоящей стеной из глаз и ушей. Суду было совершенно безразлично, что деревня знала об этом споре из-за поля, о беременности Ядвиги, об иронии красавца кавале-

ра, которую отточила и обострила жажда получить два морга. Все это не имело для суда большого значения, не мог же он вникать во все мелочи — достаточно моментов и поважнее в этом развивающемся вместе с жизнью и, как жизнь, длинном деле Войцеха Трепы. Поэтому суд не принял к сведению, а если бы и принял, то ему было бы безразлично твое, Юзеф, единоборство со всей деревней, разгоревшееся из-за того, что она хотела дознаться обо всем, происходящем в твоем доме, а ты не хотел с ней делиться; суд не принял в расчет твою отчаянную и тщетную попытку сохранить в тайне то, что невозможно уберечь, попытку, которая, увы, не более чем бессмысленный героизм, ибо деревня уже пядь за пядью обнажила твою тайну, сорвала с нее все покровы, а ты, все еще выполняя свой долг, заслоняешь лицо руками. Но люди уже отрывают от лица твои руки, хотят заглянуть в глаза, ведь им хочется знать все о тебе и твоем доме. И в конце концов ты оказываешься лицом к лицу с деревней, хранящей молчание, но всеведущей,— деревней, которая вдруг обрушивается на тебя со своими советами и подавляет ими; а потом люди снова точно воды в рот набирают, они прохаживаются мимо словно бы равнодушно, но все знают, они снуют вокруг тебя вроде бы с сочувствием, но все им известно; деревня любопытная, наглая, взбудораженная всевозможными догадками, а потом угомонившаяся, удовлетворенная, довольная своей осведомленностью. Конечно, в судебном протоколе твоя, Юзеф, борьба с деревней за сохранение тайны заслуживает лишь такого краткого упоминания: деревня знала о положении в семье Трепы и в семье Котули и в основном была на стороне Трепы, хотя некоторые считали, что прав Котуля.

Но еще один разговор, состоявшийся позднее в доме Трепы,— если его можно назвать разговором,— до некоторой степени мог бы, пожалуй, заинтересовать суд, ибо он был лучшим доказательством того, что всех их, то есть семью Трепы и семью Котули, тиранили эти два морга — полоска на угоре, полморга у большого выгона и полморга на опушке.

Юзеф поднялся и замер, широко расставив ноги, посреди кухни, и все поняли, что он будет говорить об этих двух моргах. Он обратился к Сташеку и тихо, но быстро и, словно стараясь застигнуть врасплох, спросил:— Ты бы дал ей эти два морга? — и, не дожидаясь ответа, обратился к Войтеку с теми же словами:—Ты бы дал ей эти два морга?— И опять, не дожидаясь ответа, повернулся к лохани, в которой Катажина мыла картофель для свиней, и спросил жену:— А ты бы дала ей эти два морга? — Но все молчали, вынужденно молчали, ибо не могли ответить на этот вопрос, уж слишком он был труден, чтобы дать на него ответ. Может, Юзеф расценил их молчание как знак согласия или только сделал вид, ибо крикнул:— Тогда ступайте и разберите или сожгите хлев, конюшню и овин — все это не понадобится, когда у вас будет полморга земли; чего ждете, ступайте, сорвите скобы с крыши, повалите стены овина, конюшни и хлева, ведь мы будем хозяйствовать на клочке в полморга, и все, что соберем, уместится на повети.— Юзеф особенно подчеркнул слово «хозяйствовать», ибо сказано это было с иронией. Смешон и горек был тот несколько шутовской пафос, с которым он призывал их вершить черное дело, ломать хозяйственные постройки; он возлагал на них разрушительную миссию, посылая уничтожить собственное хозяйство:— Берите корову и телку и идите с ними на базар, выведите кобылу и продайте ее, продайте телегу, плуг и бороны, потому что будете хозяйствовать на полоске в полморга.— На кухне стояла тишина, а он читал проповедь и измывался над своими сыновьями, над женой и особенно над собой. Тебе, Юзеф, очень хотелось поиздеваться над собой, ведь ты полагал, что владелец половины морга достоин лишь издевки, такой хозяин должен сам посмеяться над собой, пойти к людям

и сказать им: «У меня полморга, можете издеваться надо мной». Ты считал, что люди вправе смеяться над тобой, раз у тебя только полморга, да и сам ты имеешь на это полное право, если остался всего-навсего с половиной морга.

Раздумывая над этим, я не могу избавиться от мысли, что время опоздало для этих двух семей или, может быть, напротив, обе эти семьи слишком поздно добрались до 1961 года, с тридцатилетним опозданием вошли они в тот год, когда я, воеводский прокурор, выступаю обвинителем по делу Войцеха Трепы.

Красавец кавалер в том году, когда я стал воеводским прокурором, мог бы отказаться от земли своих предков, на которой в 1930 году он преклонял колени перед началом сева, чтобы осторожно пересыпать зерно из мешка на холстину. Он мог бы поступить так, как мои братья, которые оставили отцовский надел и ушли на заводы. И теперь их только коробит при виде покосившихся, обветшалых стен хлева, прогнивших кормушек и сломанной веялки в овине моего отца; их раздражает родительское хозяйство, и, возможно, они, как, пожалуй, и я, предпочли, чтобы его не было, ибо оно уже не последняя спасительная соломинка, а скорее бремя, от которого трудно избавиться.

И если бы старец с голым черепом, отец обвиняемого Войцеха Трепы, Юзеф Трепа, мог сбросить с себя тридцать лет и сегодня, то есть в 1961 году, быть пятидесятилетним мужем и отцом, ему не пришлось бы так смирять себя и так нелепо и вымученно улыбаться, потребуй какой-нибудь нынешний красавец кавалер, собирающийся жениться на его дочери, два морга. Юзефу Трепе не пришлось бы больше так смирять себя и опасаться, что шутка окажется правдой; для него это не имело бы такого огромного значения, окажись он ныне, то есть в 1961 году, в таком же положении, как ранней весной 1930 года. Но сейчас Юзеф вряд ли попал бы в подобное положение, ведь уже нет или осталось совсем немного таких красавцев, которые вырывали бы из горла у будущего тестя два морга земли, улыбались иронически и требовали: «Дайте за дочерью два морга». А если бы даже нашелся такой красавец, унаследовавший от отцов преклонение перед землей, яростную отцовскую страсть к приобретению земли и столь же яростное желание гнуть спину на своей полоске, то ты мог бы такому кавалеру, берущему в жены твою дочь, дать эти два морга; потому что тебе дали бы еще, прирезали земли из бывших господских угодий, как дали ее моему отцу и твоему сыну Войцеху, ныне обвиняемому. Но ты замешкался и слишком поздно пришел в эти годы, все твое семейство запоздало, а Катажина, твоя жена, не дошла даже с опозданием — ты похоронил ее в 1944 году. И если бы я снова рискнул в своем воображении переставить вас во времени и захотел бы увидеть твою жену в 1961 году сорокапятилетней, как в 1930 году, мне пришлось бы не только отнять у нее тридцать один год, но и воскресить ее, ибо семнадцать лет нет ее на белом свете. Игра фантазии допускает многое, значит, я мог бы представить твою жену Катажину, перенесенную из 1930 года в нынешний, и она даже могла бы предстать перед моим мысленным взором, согбенная над корытом и размешивающая корм для свиней, но уже отвечающая на твой, Юзеф, вопрос: «А ты бы отдала Ядвиге эти два морга?» Сегодня твоя работящая жена Катажина могла бы ответить: «Давай отдадим им эти два морга, пусть потрудятся, нам будет легче». Сегодня она могла бы оказаться в таком положении, как моя мать, которая уговаривает моих младших братьев, чтобы они остались в деревне и обрабатывали землю, а они не хотят оставаться, так как предпочитают работать на заводе.

Меня уже не развлекают, как прежде, а утомляют и угнетают воскрешение и омоложение людей, эта привычка выхватывать из глубины

времен и перебрасывать в мое время; признаться, меня даже пугает, что столько их, этих опоздавших, а вернее, что для стольких запоздало время. И все же я мысленно пробегаю десятилетия и снимаю бремя тридцати с лишним лет с Ядвиги, которой сейчас уже пятьдесят один год, чтобы увидеть ее двадцатилетней в 1961 году. Могло бы вовсе не быть этой беременности у двадцатилетней девушки, а если уж и была бы, то не у двадцатилетней девушки, а у двадцатилетней замужней женщины, так как не было бы причин откладывать свадьбу. И если бы даже двадцатилетней девушкой Ядвига была беременна, а красавец кавалер не захотел жениться на ней, то это нежелание сразу бы обнаружилось, ведь в 1961 году его нельзя было бы объяснить требованием двух моргов земли.

В подобном случае в 1961 году ее, по крайней мере, так долго не терзали бы несбывшиеся надежды.

Мне трудно отказаться от этой дьявольски грустной игры со временем и перестановкой в нем людей; да и как откажешься — ведь сними я бремя тридцати лет с обвиняемого Войцеха Трепы и представь его в 1961 году таким, каким он был ранней весной 1930 года, я избавил бы его от бремени тех минут, когда совершилось преступление, то есть снял бы с него бремя двух убийств.

Кажется, фантазия уводит меня, прокурора, слишком далеко; уводит слишком далеко прежде всего как прокурора, а не как крестьянского сына, сына деревни, земли, сына деревенских околиц или как еще там можно сказать. Долг повелевает, чтобы я вникал в суть дела Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, обвиняемого в совершении двух убийств, до конца придерживался только основных фактов, не отклоняясь от них слишком далеко.

Сейчас я просмотрю еще две страницы протоколов и свидетельских показаний и снова остановлюсь на показаниях сестры обвиняемого, Ядвиги Трепы, которая упоминает о том, как они вместе с отцом были в доме Котули.

Состоялся этот визит примерно через неделю после встречи обеих семей в поле под карликовой грушей-дичком. Юзеф сказал: — Ядвига, пойдем к Котуле...— Он произнес только это, но и для этого требовалось большое мужество; Ядвига поднялась с порога, и они пошли, без дальнейших слов, не задумываясь, не обсудив дела. Катажина и Войтек — Сташека тогда не было — остались в кухне и слушали, как затихают их шаги на лестнице, а потом прислушивались к тишине, воцарившейся в кухне, прислушивались к тишине и звукам — к стуку, позвякиваниям и шорохам, доносившимся со двора, и в этой тишине снова и снова мысленно воскрешали шаги Юзефа и Ядвиги, а потом они действительно послышались на лестнице, и отец с дочерью вошли в кухню. Юзеф и Ядвига могли не рассказывать, как там все происходило и о чем толковали; Ядвига и ее отец Юзеф могли избавить себя от отчета о визите, нанесенном Котуле,— Катажина и Войтек и без того уже поняли, как прошла встреча, они поняли это из молчания Юзефа и Ядвиги. Говоря точнее, тишину, царившую в кухне и во дворе, нарушали только шаги Юзефа и Ядвиги, когда они уходили и когда возвращались; ничто больше не нарушало ее, никто не проронил ни слова, только эти шаги спугнули тишину; и все-таки Катажина и Войтек знали, что произошло у Котулей, потому что Юзеф и Ядвига молчали. Это означало, что ни выпяченный живот Ядвиги, ни грустное лицо Юзефа, словно бы демонстрировавшее в тот вечер сознание позора всего рода Трепов, не помогли добиться уступки. Старый Котуля, его жена и их сын, вся эта троица, одержимая жаждой заполучить два морга, увидев отца и дочь такими, какими они явились, лишь явственнее ощутила аромат земли, той полосы на угоре, полоски у большого выгона и другой полоски в полморга на

опушке; увидав грустного Юзефа и его беременную дочь, все трое пуще прежнего воспылали надеждой на то, что земля Трепы сольется с землей Котули; и, наверно, с трудом сдерживали улыбку при виде отца и его дочери, пришедших напомнить о ее беременности и о позоре семьи. Теперь уже старый Котуля и его жена могли с большей развязностью и упорством требовать этих двух моргов, и они наверняка требовали, потому что Юзеф и Ядвига молчали, вернувшись от них в тот вечер. Они несомненно подавили Юзефа и Ядвигу своим упорством; но, собственно говоря, не было ни подавляющих, ни подавленных, потому что обе семьи жили под бременем борьбы за два морга.

Тот вечер, когда Юзеф и Ядвига вернулись от Котулей, был, верно, самым тихим вечером в семье Трепы. Все молчали. Бурый кот снова уселся на пороге сеней в углублении, вытоптанном ногами нескольких поколений, и смотрел умными мерцающими глазами на этих странных молчаливых людей; потом он уставится в темноту, будет вслушиваться и ждать, пока уснут птицы. Немного погодя он метнется в сад, подождет там на ветке груши, пока птицы и люди погрузятся в сон, а когда убедится, что все спят, встрепенется, встанет на лапы, распластается на ветке и бесшумно поползет вверх; потом прильнет брюхом к ветке, затаится, облизнется, высунув короткий язычок, шевельнет хвостом и, прежде чем минет секунда, сделает резкий прыжок; птицу, которая спала на самом конце ветки, он сперва схватит когтями, затем поднесет к морде, вопьется в нее зубами, чтобы заглушить писк. Утром снова встанут люди, и никто не догадается, что кот сожрал птицу.

Утром Юзеф сказал, что не желает больше видеть Котулей, а Ядвига закричала, что должна получить эти два морга; Катажина подняла голову от лохани и долго смотрела на дочь, а Войтек и Сташек отправились с лошадью в поле.

VI

Все, что творилось в доме Трепы после визита Юзефа и Ядвиги к Котулям, живо интересовало суд, который старался теперь не упустить ни одной подробности, и, разумеется, если это было возможно, так направлял показания обвиняемого и свидетелей, чтобы, сохраняя хронологическую последовательность, представить себе возможно более полную картину событий, непосредственно предшествовавших первому убийству. Но после визита к Котуле в доме Трепов, собственно, ничего не происходило и не могло произойти, ибо все попытки поладить были сделаны, и уже прошло то время, когда еще можно было пытаться что-либо предпринять или хотя бы надеяться, что один, а не два морга, уйдут вместе с Ядвигой; и хотя, в сущности, ничего не происходило, суд упорно старался заполнить событиями пустоту, предшествовавшую первому убийству; но у суда ничего не получалось, да это было и невозможно — ведь ничего не изменилось, а если что-то и происходило, то в душах человеческих, каждой порознь. А то, что в них творилось, не проявлялось внешне даже тогда, а тем более не могло обнаружиться теперь, на суде, спустя тридцать лет.

Время, непосредственно предшествовавшее первому убийству, совершенному обвиняемым Войцехом, было спокойным, семейство Трепы с обычной обстоятельностью, без помех вело хозяйство. Можно сказать, что это семейство доверчиво вручило свою судьбу бегу времени, доверилось сменяющим друг друга минутам и наконец выбрало ту форму отчаяния, которая не превращает человека в посмешище. Однако суд, все еще алчущий фактов, хотел заполнить этот пустой период, насильно заполнить его событиями, и потому снова и снова повторялись настой-

чивые требования судьи: — Постарайтесь вспомнить, обвиняемый.— Или: — Постарайтесь вспомнить, свидетель.— Постоянно слышались растерянные, а потом все более уверенные ответы обвиняемого и свидетелей, сформулированные кратко: — Не помню.— В конце концов бесплодная настойчивость утомила судью, а поскольку у прокурора, то есть у меня, никаких вопросов не было, он перешел к самому преступлению; подробно и даже несколько напыщенно судья напомнил о некоторых обстоятельствах убийства, а потом, словно отказавшись от этой скрупулезности и торжественной позы, мягко, даже просительно предложил обвиняемому дать показания.

После тянувшихся довольно долго показаний Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, которые были, собственно, беседой между обвиняемым, судьей и прокурором, то есть мной, я часто раздумывал над тем, помышлял ли обвиняемый об убийстве раньше или произошло оно в результате минутного возбуждения, выключающего здравый смысл. И всегда приходил к выводу, что первое убийство не замышлялось заранее. Никакого замысла не существовало, пожалуй, даже в тот момент, когда обвиняемый Войцех, возвращаясь домой с цепью, купленной на ярмарке, подошел к реке и увидел вытащенную на берег лодку, а подле нее Кароля Котулю. Другими словами, можно поверить обвиняемому, и я, как прокурор, склонен верить, что, оставшись один на один с красавцем кавалером в тот вечер, он и не думал воспользоваться создавшимся положением. Я отдаю себе отчет в том, что не должен так легко этому верить, сам удивляюсь и спрашиваю: «Почему?» — и сразу не могу себе ответить, ибо и меня гнетет бремя тех времен, которые коснулись меня в детстве и ранней юности; ответ на вопрос, почему я склонен верить показаниям обвиняемого, я нахожу, лишь выкарабкавшись из-под тягот тех лет, лишь стряхнув пыль той эпохи, с которой совпала молодость обвиняемого Войцеха. Тогда я нахожу ответ, почему верю обвиняемому, почему готов поверить, даже если он солжет, и почему не рассердился бы на него, если бы изобличил во лжи.

Перевозчика тогда на берегу не было, Войцех и красавец кавалер вскочили в лодку, чтобы переправиться на другой берег; кто умел править веслом, мог перебраться на другой берег без перевозчика и там оставить лодку; у перевозчика была другая, поменьше, и в случае необходимости он добирался до большой лодки. Так даже удобнее, когда на каждом берегу по лодке, поэтому ничто не мешало без перевозчика переплыть реку в большой лодке.

Обвиняемый рассказал суду, как они стояли в лодке — это ему запомнилось: он стоял на корме и правил веслом, а красавец кавалер с шестом стоял на носу. Обвиняемый помнил и то, как в тот момент, когда оттолкнулся от берега, лодку подхватило течением и понесло вниз — было половодье, и река взыграла. Однако он погрузил весло глубоко в воду, сопротивляясь течению, а красавец кавалер помогал шестом, и нос лодки медленно повернулся, куда следует, и лодка заскользила к противоположному берегу. Стемнело, вода сделалась черной, хотя на самом деле была мутно-коричневой и вспененной. В тальнике начали отзываться ночные птицы; оба они гребли хорошо, и лодка быстро двигалась к берегу. Потом, когда лодка выплывет на середину этой широкой реки, где она особенно глубока и стремительна, Войцех и Котуля не выдержат молчания и тьмы, спустившейся на воду и окружившей их лодку. И красавец кавалер задаст до смешного нелепый в такую минуту вопрос; он выберет самый нелепый, самый неподходящий в такой тьме и на глубокой бурной реке вопрос: — Как поживает Ядвига? — Войтек ему ответит, но, прежде чем ответить, коротко улыбнется, пристально посмотрит на него и вдруг перестанет

владеть собой; можно бы предположить, что, и перестав соображать, он сохранит улыбку вплоть до той секунды, когда ответит. Но, пожалуй, улыбался он только мгновение. Он впился глазами в красавца кавалера, прежде чем ударил его веслом, и тот упал в глубокую реку, откуда его извлекли только через несколько дней; этот мимолетный взгляд был необходим, чтобы красавец кавалер в последнюю минуту жизни ясно понял, что́ послужило причиной этого удара, и не обижался в этот последний миг, чтобы он успел простить того, кто ударил его веслом и столкнул в воду, и чтобы признал, что Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, вправе совершить этот поступок, выполнить свой долг.

Мне, как прокурору, пожалуй, не следует так думать, я даже обязан предостеречь себя от склонности к подобным мыслям и фантазиям; и я предостерегаю, но тщетно, ибо мне снова становится горько при мысли, что для тех двоих, оказавшихся на глубокой и быстрой реке июньским вечером 1930 года, время запоздало, и все, что произошло на этой реке, тогда еще имело свои причины, не было лишено смысла и потому свершилось. Войцех слишком поздно явился в годы моей молодости, слишком поздно пришел в мое время и, словно узелок с грязным бельем, принес в него свою жизнь.

Эта детская, возможно, несерьезная игра моего воображения, занятого перестановкой поколений во времени, произвольно обращающегося с годами, часами и секундами, которые я пересыпаю, как разноцветные горошины из одного горшка в другой, наверняка завершится чувством грусти, ибо вечно сталкиваешься с теми, кто опоздал в лучшие времена, кто слишком поздно доплелся, дополз и доволок свою жизнь, завязанную в грязный узелок. И это чертовски грустно, что постоянно кто-то опаздывает, что всегда на подходе какой-нибудь обладатель замызганного узелка. Да и ты, хоть обитаешь в светлую эпоху и считаешь, что тебе повезло и твое время лучше, чем время Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, все-таки знаешь, что текут дни, часы и секунды, а ты бежишь, мчишься во весь дух к лучшим временам и тоже опаздываешь, ибо они всегда впереди.

Кароль Котуля мертв, его ударили веслом по голове, и он упал в воду, и лишь несколько дней спустя его труп вытащили из реки и похоронили на кладбище, и уже выяснено все, что произошло в этой лодке, и суд переходит к дальнейшим фактам, а меня мысли снова оттесняют назад, к тому времени, когда первое убийство еще не было совершено. Я снова вижу Кароля Котулю — стоит этот красавец кавалер с шестом в руках и помогает Войцеху вести лодку к противоположному берегу. Я вижу его и хочу предостеречь, чтобы он не задавал Войцеху этого нелепого вопроса, ведь это наивный и глупый вопрос, слишком наивный и глупый, принимая во внимание кромешную тьму, глубокую реку и тяжелое весло в руках Войцеха. Но он задал этот вопрос, и Войцех уже поднял весло из воды, чтобы описать им в воздухе круг и ударить красавца кавалера по голове и этим ответить ему; и лопасть весла уже над водой, и с нее падают в реку последние капли, но еще есть время, и Котуля может избежать удара, и вот я ему советую сказать такие слова: «Греби дальше, Войтек, ведь я не виноват, я только очень близко к сердцу принял наказ моего времени и хочу выполнить его любой ценой; а наказ гласит: держись за клочок земли и желай земли». Но Котуля так не скажет, ибо ему неведом смысл этих слов, и умрет. Войцех тоже не понимает, что и он, подобно Котуле, обуреваем жаждой и готов яростно, до последнего вздоха, отстаивать маленький клочок пашни и убить; он убьет, мстя за опозоренную сестру, но на самом деле по необходимости, ради навязанной ему страсти к клочку земли. Убьет себе подобного, убьет союзника, который должен был стать врагом.

Тогда, во время следствия, Войцех Трепа не признался в убийстве Котули, доказательств не было, но подозрения падали на Войцеха, и он просидел под арестом несколько недель. Свидетелей не было, а он не признался — хватило выдержки не признаться, и его освободили.

Тридцать лет он скрывал эту тайну; тридцать лет жил со своей тайной, то есть жил только наедине с собой, а следовательно, бывал особенно одинок на людях, даже когда ему случалось разговаривать с людьми— этот факт вдруг угнетающе навис над залом, и надо было поскорее задать вопрос обвиняемому, краткий и четко сформулированный, чтобы узнать о том, как жилось Войцеху Трепе со своей тайной, как спалось, как он стругал при этом штакетник, убирал хлеб и пахал; как он сидел с этой тайной на пороге, запрягал лошадь и зачесывал падающие на лоб черные, преждевременно поседевшие волосы. Это было любопытно, волнующе и к тому же важно для пользы дела. Но суд, конечно, не обнаружил своего любопытства, ибо он обязан задавать вопросы с предельной объективностью. Обвиняемый отвечал как-то странно, несвязно, торопливо подыскивая слова, которых ему не хватало. Но суд не любит молчания, и обвиняемому приходилось в спешке подыскивать слова — неожиданные и неподходящие слова,— наброски, контуры, силуэты, которые я только теперь стараюсь оживить для себя, наполняю смыслом и увязываю между собой; я размышляю об улыбке Войцеха Трепы, тридцать лет не сходившей с его лица, об этой пытке, которой он подвергал себя, заставляя постоянно улыбаться; ты должен улыбаться все время, ибо ты убил и только один знаешь об этом, только тебе одному дано знать об этом убийстве. Ты должен улыбаться, тебе нельзя быть грустным и подавленным, ибо ты боишься, что тебя заподозрят; и это тяжелее всего — нельзя позволить себе грустить, ты лишен возможности предаться грусти и отчаянию. Самое скверное, что ты обязан радоваться, а предпочел бы грустить, впасть в отчаяние; но не можешь позволить себе такой роскоши, как отчаяние, ибо приговорен к улыбке, сам обрек себя на эту вымученную улыбку, чтобы сохранить в тайне убийство. А хуже нет держать такое в тайне — тогда, даже обтесывая какое-нибудь бревно, привезенное из лесу, приходится работать особенно чисто и аккуратно: ведь ты убил, и люди смотрят на тебя и могут заподозрить; значит, ты не можешь позволить себе кое-как обтесывать балку, кое-как стругать штакетник или ставить изгородь, потому что на тебя смотрят; может, и не смотрят, но ты знаешь, что могут смотреть из-за забора, сквозь щели в стене овина, из-за вербы. Если бы ты не убивал, мог бы сделать это как бог на душу положит, распрямиться, и передохнуть, и непринужденно оглядеться вокруг. Но ведь ты, Войцех, сын Юзефа и Катажины, ты убил, и теперь суд хочет знать, как тебе жилось с этой тайной, как ты уживался с ней целых тридцать лет.

Хорошо, что уже осталась позади та минута, когда в зал суда вошли отец и сестра Ядвига и увидели тебя сидящим на широкой скамье между двумя милиционерами; ведь они тридцать лет не знали, что ты убил, потому что ты держал это в тайне, и узнали об этом только тридцать лет спустя, когда ты убил вторично; и они пришли в зал суда, узнав тебя теперь с новой стороны; они не заговорили с тобой, а только все приглядывались к тебе, и ты оказался сообразительным и сразу понял, что они этими взглядами говорят тебе о том, что им стало известно, словно тебе невдомек, что ты убил и ждал этого известия от них. Но хорошо, что это уже миновало.

И снова я должен напомнить Анджею Табору, воеводскому прокурору, то есть себе самому, что отклоняюсь от сути дела и, впадая в какое-то ребячество, все усложняю. Я одергиваю себя, но заранее знаю, что это предостережение ни к чему не приведет и я буду по-прежнему делать перестановки во времени и описывать слишком широкие круги

возле этого банального убийства, точнее, двух убийств, совершенных Войцехом Трепой, сыном Юзефа и Катажины; и постараюсь перехватить этот взгляд Ядвиги Трепы, сестры обвиняемого, новый взгляд, брошенный на брата, после того как тридцать лет спустя она узнала, что он убил ее жениха, обворожительного кавалера, отца ее внебрачной дочери, ныне уже взрослой девушки Зофьи Трепы. Хорошо, что уже остался позади тот взгляд сестры, в котором она передала брату приговор времени и сказала ему, хоть не проронила ни единого слова, что время лишило убийство, а вернее, два убийства всякого смысла, что время посмеялось над ним. Она говорила ему этим взглядом, а пожалуй, это я так объяснил себе ее взгляд, облек его в слова: «Зачем ты убивал, если по воле времени причина убийства стала нелепой? И ты утратил также свой грозный ореол убийцы и сделался смешным: ведь убивая первый раз, ты якобы мстил за бесчестье сестры, на самом же деле вся суть заключалась в морге земли, а второе преступление вытекало из первого, значит, и тут замешан лишь морг земли».

Так я объяснял себе взгляд сестры обвиняемого; в нем уже можно было прочитать глубокое понимание причин убийства, и поэтому выразить другими словами: «Я знаю, что ты покорился своему времени, что время твоими руками совершило убийство и погребло моего жениха, заставило меня страдать, отчаиваться и с сиротой на руках каждый вечер приходить на могилу возлюбленного и отца моего ребенка. А новое время, наставшее слишком поздно — ибо ты уже убил, и могила разверзлась,— предало осмеянию первопричину твоих убийств, уготовив совсем иную роль моргу земли, в том числе и нашим полоскам на угоре, у выгона и на опушке. По воле нового времени ты, ныне владеющий пятью моргами, которые получил из господских угодий, и двумя отцовскими — ведь Сташек перебрался в другие места, а я живу в городе и мне, вернее, моей дочери, принадлежит лишь небольшая часть отцовской земли,— ты, хозяин семи моргов, отвечаешь за свои давнишние деяния, за деяния владельца клочка земли менее одного морга — столько пришлось бы на твою долю при разделе,— то есть отвечаешь не за себя, а как бы за поступки кого-то другого,— словно Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, отвечает за два убийства, совершенные другим Войцехом Трепой. И все-таки Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, отвечает за свои преступления, ибо нет двух Войцехов, сыновей Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, а есть только один — сначала хозяин неполного морга, а позднее — семи моргов земли.

Но хорошо, что у обвиняемого уже позади и этот взгляд сестры, и вопрос судьи, заданный мягким, очень мягким тоном, скорее даже не вопрос, а утверждение: — Обвиняемый знал, что сестра брала ребенка на руки и вечерами ходила на могилу Кароля Котули? — Войцех Трепа ответил: — Да,— ведь иначе он и не мог ответить, так как действительно знал, что Ядвига, когда ребенок родился, часто брала его на руки и под вечер или в сумерках отправлялась на кладбище и подолгу просиживала там у могилы своего жениха. Свидетели рассказали, что она посадила цветы на этой могиле, и они выросли большие и красивые, она часто поливала их, а воду приносила из колодца со двора ксендза; а еще свидетели рассказали, что, уходя за водой, она оставляла ребенка на подстилке у могилы, и девочка играла землей и цветами, а когда мать долго не возвращалась, она сползала с подстилки и взбиралась на могилу, и порой ее видели сидящей в цветах на могильном холмике и улыбающейся, как выразились свидетели, «очень умно». Иногда Ядвига приходила на кладбище поздней порой, когда уже было темно: с тех пор как похоронили красавца кавалера, она перестала бояться кладбища ночью и, если задерживалась по хозяйству, приходила к моги-

ле в потемках. В таких случаях девочка, пока мать приносила воду, сидела в темноте на могиле, но не плакала, а только копалась в земле, глядела по сторонам или что-то лепетала на своем непонятном полуптичьем-получеловечьем языке. Свидетели рассказали также, что ей полюбилась могила, ведь там было красиво, и когда девочка подросла, она протягивала ручонки по направлению к кладбищу, напоминая матери, что пора туда пойти.

Обвиняемый, конечно, знал, что сестра ходила на кладбище, да и мог ли он этого не знать: ему не раз доводилось видеть, как она с ребенком на руках открывала калитку и выходила на дорогу, которая вела не только на кладбище; прислонившись к стене хлева, он долго смотрел на стройную спину сестры и наблюдал, куда та поспешно направляется, и, хоть знал, что она свернет на тропинку, сокращая путь к кладбищу, все же его не оставляла слабая надежда, что Ядвига не пойдет туда. Но она всегда сворачивала на эту тропинку, чтобы побыстрее попасть на кладбище.

Суд терпеливо, а вернее, нетерпеливо, с какой-то ненасытной жадностью выслушивал показания об этих хождениях Ядвиги на могилу красавца кавалера — ведь это проливало свет на то, как обвиняемому жилось со своей тайной. Все это имело для суда большое значение, ибо суд уже задал себе существенный вопрос: что привело обвиняемого ко второму убийству, совершенному через тридцать лет после первого убийства — второе убийство произошло в декабре 1960 года.

VII

Я думаю сейчас о 1934, 1935 или же о 1936 годах. Мне было пять, шесть или семь лет, и я гордо выходил из возраста, когда караулят гусей и уток, и начинал интересоваться лошадьми, телегой, плугом и цепами, а обвиняемый Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, уже прочно сжился со своей тайной и как бы приспосабливался отвечать на вопросы, которые осторожно задавали ему здесь, в зале суда, в 1961 году.

Войцех ехал на телеге за снопами мимо кладбища и сидел, прислонясь к боковине; он натянул вожжи, и лошади пошли медленнее, хотя дорога была ровная и можно было ехать быстрее; но Войцех натянул вожжи, потому что его тайна велела сделать так, будто не он, а кто-то другой его руками натянул вожжи, и телега медленно проехала мимо высоких берез, растущих на краю кладбища; и тогда перед его глазами проплыла могила, невыносимо пестрая, утопающая в цветах; собственно, не могила проплыла перед его глазами, а телега медленно проехала мимо могилы; потом он вдруг заметил, что кобыла мотнула головой, и вожжи зацепились за хомут; и то, что вожжи запутались и перекосились, ему не понравилось, он стегнул кобылу. Так ему это пришлось не по нраву, что он стегнул кобылу еще раз, и она вся напряглась от боли, потом опять стегнул и постарался быстрее высвободить вожжи, зацепившиеся за хомут. И этот пустяк, какая-то безделица,— перекосившиеся вожжи — внезапно приобрел огромное значение. Но не надейся, что, распутав их, ты почувствуешь облегчение; вот ты уже их высвободил, а тебе не лучше, и ничего, собственно, не изменилось, кроме того, что теперь у тебя перед глазами две ровные линии да набрякшие на крупе кобылы следы ударов кнутом, и ты только диву даешься, почему тебе не терпелось распутать вожжи.

На суде обвиняемый Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, рассказывал иначе о том, как проезжал мимо кладбища и смотрел на могилу красавца кавалера; сказанное выше — мои

слова, а вернее, домыслы. Обвиняемый же сказал только, что неоднократно видел и эту могилу и цветы на ней, проезжая на телеге или проходя мимо кладбища на поле. Он не особенно распространялся и тогда, когда судья спросил его, ходил ли он к той широкой реке и переправлялся ли через нее на лодке. Вопрос о реке также был задан судом ради того, чтобы выяснить, как жилось обвиняемому с его тайной.

Войцех Трепа много раз после той ночи видел реку — ведь ему приходилось смотреть на нее, приходилось показывать людям, что он не боится этой реки, что приближается к ней спокойным, ровным шагом, а на воде видит лишь хлопья пены да плывущие по течению сухие черные ветки, только это видит и ничего более. Он вынужден был делать так, чтобы люди не заподозрили, будто он видит еще что-то, когда смотрит на реку, когда переплывает ее на лодке и держит в руках то самое весло, которым убил.

Так медленно, но последовательно суд узнавал, как обвиняемому жилось с его тайной, от которой разламывалась голова; как с ней работалось на своей усадьбе, как спалось. Спалось неспокойно, будто не один человек лежал на постели, а двое — один спал, а второй караулил спящего и бодрствовал, ибо и во сне можно было что-то видеть. Летом Войцех спал на сеновале в конюшне. Ночью к нему иногда приходил большой бурый кот, разъевшийся пожиратель птиц, и укладывался возле его подстилки; и тогда на сеновале оказывалось двое убийц, каждый со своей тайной. Войцех протягивал руку, прикасался к его шерсти и был счастлив, потому что мог наконец отдаться горю; но он тотчас же представлял себе людей, их лица, бледные, розовые, красные, гладкие и в морщинах, лица как двери, запертые на замки, засовы и задвижки, лица, за которыми ничего не разглядишь. Нет хуже этих человеческих лиц, спокойных, неразгаданных, словно наглухо запертые двери, словно запотевшие стекла. Там, за ними, что-то есть, но ты не знаешь что, и это просто невыносимо; невыносимо, так как ты не можешь заглянуть и узнать, что кроется за этими лицами, хоть и очень хочешь разгадать, ибо это для тебя важно, ведь ты же убил. Это так важно, что порой кажется, ты готов разбить вдребезги такое лицо, словно запотевшее стекло, полагая, что тогда сможешь увидеть, что за ним скрывается; порой у тебя чешутся руки разбить ничего не говорящее, каменное лицо отца и склоненное над вонючей картошкой сморщенное, всегда одинаковое лицо матери; ты не пощадил бы и замкнутого лица брата и словно бы довольного своим горем, кичащегося своим горем, но также наглухо запертого лица сестры. Порой тебе кажется, что ты мог бы разрушить и сжечь все постройки на своем дворе, разрыть и иссушить землю на своем поле, лишь бы дрогнули, лишь бы открылись человеческие лица и люди показали себя.

Во время следствия и на процессе не было, конечно, таких патетических признаний и никто в такие подробности не вдавался, но кое-что обвиняемый сказал, и можно было заключить, что, совершив убийство, он уже иначе, с подозрением, вглядывался в человеческие лица, тщетно ожидая, что хоть один мускул дрогнет в них и он уловит скрытые от него мысли.

VIII

Тщательно знакомясь с фактами, которые так или иначе говорили о двойной жизни обвиняемого, оберегавшего свою тайну, суд не мог обойти периода войны и не задать вопроса:— Что вы делали в те годы, обвиняемый? — Войцех долго думал, не зная, как ответить: во время войны он, собственно, ничего не делал, просто жил со своей тайной.

Война не страшила его — во время войны не было необходимости особенно оберегать свою тайну, она словно затерялась среди множества убийств, тяжесть бесчисленных преступлений как бы поглотила ее. И все-таки он носил в себе эту тайну, она продолжала жить в нем, и потому даже война не принесла ему избавления.

Суд, обязанный придерживаться фактов в хронологической последовательности, перешел к 1945 году и первым послевоенным годам, когда тайна Войцеха Трепы снова стала непомерно тяжелой и мысли его были полны только ею; когда эта тайна начала угнетать сильнее, чем прежде, и еще труднее было с ней жить.

Если у тебя прибавляется земли, тебе прирезают пять моргов из господских владений, и это большое поле ты присоединяешь к своему ничтожному наделу, тебе хотелось бы радоваться и не иметь никаких тайн, которые обрекают тебя на притворную, необходимую для прикрытия этих тайн радость. Но у тебя есть горькая тайна, и даже пять моргов господской земли не приносят тебе радости, оттого что ты обречен и дальше хранить ее от людей. Тебе нужно оберегать ее особенно чутко именно теперь, когда ты обрел лучшую жизнь, когда прирезали пять моргов из барских угодий и можно на рассвете подойти к изгороди и полюбоваться своей землей. На рассвете твоя земля кажется белой, потому что она подернута туманом, и ты боишься ее, ибо не радуешься по-настоящему и любишь даже этот страх, который охватывает тебя, когда велят протянуть руку, и прикоснуться к земле, и взять себе большой надел. Эта земля внушает страх, так как она слишком легко тебе досталась и ты можешь приблизиться к ней не с залитым потом лицом и натруженными руками. Тебя даже пришлось уговаривать взять ее, и ты сейчас страдаешь оттого, что эта земля, как тебе кажется, не принадлежит тебе — слишком уж легко ты можешь свернуть со своей межи на эту бывшую господскую землю и сказать: «Моя». «Моя» ты говоришь о ней не очень часто — ведь для этого нужна большая смелость; нужно быть очень смелым, чтобы о наделе в пять моргов, не разделенном межами, сказать: «Это моя земля».

Настает время, и ты отправляешься на свое поле, ведя корову и лошадь, а твой отец и все семейство тебя сопровождают, все идет своим чередом, как и должно быть, когда ступаешь по полю, по пашне: земля подается под твоими ногами, мелкие комья вдавливаются глубже, крупные остаются на поверхности, черви скрываются под ними, по борозде промелькнет, прижимаясь к земле, заяц, или перелетит на другое место встревоженная птица, все идет своим чередом, и ты перестаешь бояться, останавливаешься, готовый отдаться наконец огромной чистой радости, протягиваешь за ней руку и вдруг спохватываешься — тебе нельзя радоваться, ведь ты Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, и ты не в праве по-настоящему радоваться, ты обрек себя на притворную улыбку. Именно теперь, когда у тебя много земли и ты можешь вспахать межу, отделяющую твою полоску от господских угодий, можешь завести трех коров и двух лошадей, теперь ты еще больше страшишься, чтобы люди не разгадали твоей тайны, и оберегаешь ее любой ценой. Ты должен сохранить в тайне убийство, которое вдруг, когда ты получил господскую землю, потеряло всякий смысл; ты понял, что, если бы весна 1930 года была весной 1945 года, ты не совершил бы этого преступления, ибо для него не было бы оснований: земли хватило бы и для тебя и для твоей сестры Ядвиги; может быть, ты когда-нибудь подумал, что время, эти пятнадцать лет, казнило тебя и миловало, но даже это милостивое время оказалось суровым, так как запоздало и пришло к тебе уже после убийства. Для тебя, Войцех, запоздало то туманное утро, когда мужчины, что посмелее, взяли колышки и вышли делить господскую землю. В полях тогда было тихо и ту-

манно, делившие землю то появлялись, то снова исчезали во мгле; а робкие, прильнув грудью, животом, всем телом к изгороди, сгорали от желания обладать этой землей, но боялись прикоснуться к ней, хотя те, на поле, делили землю для них. Потом туман рассеялся, открылись просторы полей, и притаившиеся за плетнями не выдержали и покорились желанию обладать землей; затрещали изгороди, заскрипели калитки, и крестьяне бросились на господскую землю, чтобы взять ее.

Суд, выслушивая показания свидетелей и обвиняемого, касающиеся первых послевоенных лет, был терпелив и не прерывал, когда события жизни Войцеха Трепы давались на широком фоне, хотя, конечно, слушание дела затягивалось. Но это было необходимо для получения исчерпывающего ответа на интересующий суд вопрос: как обвиняемому жилось с его тайной, особенно в послевоенные годы. Суду это не было безразлично, напротив, так как он уже обратился к фактам, имеющим отношение ко второму преступлению, совершенному Войцехом Трепой, сыном Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны; суд кое-что заметил, за что-то ухватился и уже не упустит; а это, разумеется, связано с тем, как обвиняемому Войцеху Трепе, сыну Юзефа и Катажины, жилось с его тайной; ибо это кое-что объяснило суду, облегчило его задачу и помогло направить разбирательство по удобной и не слишком извилистой тропинке прямо к 29 декабря 1960 года, то есть к тому дню, когда обвиняемый Войцех Трепа убил во второй раз. Поэтому, когда речь шла о том, чтобы получить такие сведения, суд становился то мягким, то решительным, то очень терпеливым. Поэтому, когда в ответах обвиняемого и свидетелей попадались любопытные подробности, судья вежливым жестом просил протоколиста тщательно их записывать; протоколист яростно набрасывался на страницы и острым карандашом быстро засевал белые полосы бумаги равнодушными и жестокими черточками, завитушками, узелками и змейками стенограммы, которые становились знаками преступления, убийства и крови.

Меня раздражало холодное, равнодушное, замкнутое и послушное лицо протоколиста, его чисто вымытая рука, держащая остро отточенный карандаш, и невозмутимость, с которой он жил в бесстрастном мире стенографических знаков. Но я недолго думал об этом, потому что обвиняемый, отвечая на какой-то вопрос, рассказал, как крестьяне боялись делить и брать господскую землю, а мне вспомнилось, как я, тогда пятнадцатилетний парнишка, боялся города. В 1945 году я неожиданно попал в город. Учитель считал меня способным, и меня отправили в учебное заведение, куда я был принят так же легко, как легко Войцех Трепа получил землю. Разница между мной и обвиняемым Войцехом Трепой заключается в том, что 1945 год, переломный год моей жизни, наступил, когда мне было пятнадцать лет, а обвиняемому — под сорок, и он давно уже был убийцей, поэтому все перемены в жизни Войцеха Трепы после 1945 года не только не могли зачеркнуть случившегося в июне 1930 года, но даже не были в состоянии помешать второму убийству. Обвиняемый Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, вошел в жизнь, которая началась после 1945 года, отмеченный 1930 годом, и с этой отметиной неуклонно шел к совершению второго убийства. Меня же 1945, вернее, даже 1944 год застал с тем жизненным опытом, который приобретается, когда караулишь утят от вороны, разбрасываешь на поле навоз, пашешь, молотишь, ешь кисловатый ржаной хлеб; это был весь багаж, с которым я вошел в 1945 год, и этот год, может быть, уберег меня от иного, более тяжелого опыта, но не смог спасти обвиняемого Войцеха Трепу, который уже взвалил на себя самую тяжелую ношу.

В 1945 году я оказался в школе в большом городе. О деревне мне напоминала только земля в цветочных горшках на окне общежития,

несколько больших старых деревьев в парке и две белки, вернее, их мелькавшие среди деревьев шубки — белки были собственностью всех горожан, и до них трудно было добраться.

Мне довелось пережить мимолетный испуг, продолжавшийся до того момента, пока я не простился с парнишкой, которому была мила деревенская нищета, то есть простился с самим собой, когда я многое понял и сказал этому парнишке, то есть самому себе: «Прощай, приятель, я ухожу от тебя».

Но вот на этом процессе дважды убийцы Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, я снова встретился с этим парнишкой, влюбленным в свою деревенскую беду, то есть с самим собой, и внимательно пригляделся к нему; я убедился, что он не ушел, хотя я и сказал ему: «Прощай». Нас двое, мы удобно устроились в прокурорском кресле, и вдвоем обвиняем Войцеха Трепу.

Я боюсь себя, парнишки, ибо он говорит мне, прокурору, что надо простить Войцеха Трепу, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны; а я, прокурор, отвечаю, что должен наказать Войцеха Трепу, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны. Но я, подросток, влюбленный в трухлявые балки дома и конюшни, сержусь за такой ответ на себя, прокурора. И снова я, прокурор, уступаю, хотя и боюсь этой уступки и хотел бы снова сказать себе, подростку: «Прощай, приятель». Я прощаюсь, но безуспешно, потому что этот подросток не уходит, и я, прокурор, слышу его горький шепот: «Прокурор Анджей Табор, обращаюсь к тебе я, босоногий пастушонок, маленький погонщик лошадей во время пахоты и малолетний молотильщик Анджей Табор». Смешно, что он говорит мне об этом и обращает мое внимание на руки восьмидесятилетнего старца Юзефа Трепы, отца обвиняемого Войцеха, обращает внимание на его изуродованные узловатые большие руки, такие большие, что ими можно прикрыть две страницы уголовного кодекса.

В суде пока еще не говорится подробно об обстоятельствах второго убийства, которое совершил обвиняемый. Суд пока еще осторожно приближается к этому второму убийству, но уже не может избежать искушения и не употребить слов «второе убийство», конечно, произнесенных пока в соответствующем контексте, во время показаний обвиняемого Войцеха и свидетелей; суд не избегает и другого искушения — напоминать время от времени дату второго убийства, 29 декабря 1960 года. Собственно, суд уже осторожно и внимательно знакомился с фактами, приближаясь ко второму преступлению Войцеха, и, пожалуй, скоро перемахнет через те годы, которые еще не затронуты в показаниях. Он поступит так, поскольку ничего важного в те годы уже не происходило, а если что и случалось, то было лишь повторением пережитого после первого преступления.

Но прежде, чем перейти ко дню второго убийства, той минуте, тем секундам, а может быть, единственной секунде, когда совершилось это второе преступление, суд узнал о смерти Катажины Трепы, матери обвиняемого Войцеха, которая скончалась в 1944 году. Катажина умерла до раздела господских земель, ей не суждено было прийти на свое, не разделенное межами поле в пять моргов, поглядеть на землю и наговориться о ней досыта. Она умерла, и пошли прахом все те многие годы, что она молча готовила корм для свиней, как бы сознательно приберегая слова для долгого разговора на захватывающую тему. Она могла бы наговориться досыта, получив пять моргов господской земли; но она умерла раньше, чем представилась эта возможность, которой, наверно, ждала всю жизнь, склоняясь над лоханью с дымящейся картошкой и тихонько обещая себе наговориться вволю, когда подвернется случай. Она умерла, немного не дожив до такого случая, и уже не ступила на господские поля, когда все осмелели и бросились на эту землю, чтобы находиться по

ней досыта, а потом вспахать ее и забороновать. Всю жизнь приберегая слова впрок, она так и не поговорила ни разу, умерла до того, как появилась возможность нарушить молчание и наговориться вволю. Так кончилась эта нелепая жизнь, сплошное ожидание повода для разговора о добрых делах; так кончилась молчаливая трагическая жизнь этой женщины, приберегавшей и хранившей слова до подходящего случая.

Хорошо, что мать умерла раньше, потому что обвиняемый Войцех Трепа, вынужденный вечно хранить свою тайну, почувствовал облегчение: не было больше матери, склонившейся над корытом и лоханью, молчаливой, невозмутимой, но словно настаивающей: «Скажи, Войтек, это ты убил Кароля Котулю?» Теперь он мог не бояться тщедушной и худенькой матери, которая бесшумно сновала между домом и хлевом, держа лохань с дымящейся вареной картошкой двумя или тремя пальцами за ушки и склонившись от ее тяжести немного вбок; теперь он мог не бояться молчаливой матери, которая даже молчанием своим спрашивала: «Войтек, это ты убил Кароля Котулю?» Он уже мог не бояться матери, всегда носившей широкую длинную юбку, матери, которая наклоняется в хлеву над перегородкой и высыпает из лохани корм свиньям, матери, которая не смотрит на него и ничего не говорит и все-таки постоянно словно преследует его взглядом и вопросом: «Войтек, это ты убил Кароля Котулю?» Трудно было не ответить на ее молчаливый настойчивый вопрос, который так и не прозвучал и поэтому был еще требовательнее, но он должен был выдержать и не ответить, он не мог сказать матери, что убил Кароля Котулю, потому что она, конечно, простила бы его, а он не вынес бы ее прощения, да и ей не по силам была бы тяжесть этого прощения. Поэтому хорошо, что мать умерла, и он может не бояться ее доброго, спокойного, всепрощающего лица. Да и для нее лучше, что она умерла, ибо ей не придется прощать своего сына-убийцу, она никогда не узнает, что в минуту ее смерти сын Войцех, обвиняемый в совершении двух убийств, почувствовал облегчение, потому что мог уже не отвечать на ее молчаливый вопрос: «Войтек, это ты убил Кароля Котулю?» — на вопрос, который он мысленно задавал себе, так истолковывая ее молчание.

Конечно, на суде никто подробно и много не говорил о матери обвиняемого — ни он сам, ни свидетели; это я, воеводский прокурор Анджей Табор, узнав о смерти Катажины Трепы, дополнил для себя краткие и сдержанные показания обвиняемого и свидетелей.

Так же для себя я расширил и дополнил лаконичные показания, относящиеся к отъезду брата обвиняемого, Станислава, на западные земли.

Станислав Трепа уехал из родной деревни осенью 1945 года и вместе с другими крестьянами поселился неподалеку от западной границы. Там он женился и получил довольно крупный надел.

Из скупых показаний можно было заключить, что Станиславу Трепе, сыну Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, и брату Войцеха Трепы, была в тягость родная семья и родная деревня и он ждал случая, чтобы уехать. Он принадлежал к тем, кто был сыт по горло убожеством и ничтожностью мирка, ограниченного горизонтом, и им владела жажда преступить эту линию. Пожалуй, он сознательно отступился от окружавшей его нищеты и убожества, от трухлявых бревен, соломенной стрехи и гнили. Станислав уехал, а Войцех остался, и на него записали пять моргов господской земли. Войцех не хотел покидать родную деревню. Он сказал об этом на суде совершенно определенно. Когда судья спросил, не собирался ли обвиняемый уехать из деревни, тот ответил просто: — Нет.— Ничто не могло заставить Войцеха уехать из деревни: ни разливающаяся время от времени река, которая несет на своей поверхности клочья пены и становится тогда мутно-коричневой, а ночью кажется

даже черной; ни лодка с веслом — его перевозчик все еще не выбросил, хотя оно давно уже выщербилось; ни раздающееся каждой весной пение ночных птиц в тальнике; ни весь заросший цветами могильный холм, нестерпимо выделяющийся среди других могил; ни гибкая и стройная фигура сестры, которая так и не насытилась любовью и старалась возместить ее, как-то странно и болезненно ухаживая за могилой, постоянно приходя с ребенком на кладбище. Войцеха не заставил уехать даже этот незаконный ребенок Зоська, которая с детства привыкла играть на могиле и полюбила одиночество на кладбище, когда мать уходила за водой, чтобы полить цветы. Напротив, Войцех словно дал какой-то нелепый обет, запретив себе и думать об отъезде: ты не можешь оставить эту реку, могилу, сестру, племянницу. Наверно, он дал такой обет, потому что не оставил свою деревню, хотя и мог это сделать, взял пять моргов господской земли и радовался им, но радость была бы полнее, если бы не его тайна.

Суд, незаметно, постепенно и все-таки с жестокой последовательностью приближающийся ко второму преступлению, совершенному 29 декабря 1960 года, узнал и о том, что сестра обвиняемого, Ядвига Трепа, и ее незаконная дочь Зоська тоже уехали из родного дома. Это произошло в мае или июне 1950 года, спустя пять лет после отъезда брата Станислава и через двадцать лет после первого убийства, совершенного Войцехом. Ядвиге было тогда уже лет сорок, а ее незаконной дочери Зоське — двадцать. Казалось, что Ядвига никогда не расстанется с могилой своего возлюбленного, будет жить неподалеку от праха любимого, память о котором с безнадежным упорством она словно бы старалась оживить в цветах. И все-таки она уехала в ближайший город вместе с дочерью, осталась там и начала работать на ткацкой фабрике. Женщина не первой молодости, привязанная к деревне, уехала, оставила могилу своего возлюбленного — и это нельзя было объяснить только тем, что она знала ткацкое ремесло, которому научилась в ранней юности. Суд хотел знать настоящую причину такого решения и забросал ее множеством вопросов, которые все вместе значили: «Почему свидетельница уехала из своей деревни?» А все ее ответы сводились к одному: — Как-то так сложилось, что я уехала.— Суд не удовлетворился ни этим ответом, ни объяснением, что в городе у Ядвиги были лучшие условия жизни, там же начала работать и ее дочь; суд не находил это объяснение исчерпывающим и хотел знать, не было ли решение об отъезде как-то связано с обвиняемым Войцехом Трепой, ее братом. Суду, однако, пришлось удовлетвориться тем, что она ответила раньше.

Но меня это не удовлетворило, и позже я довольно долго думал об отъезде Ядвиги Трепы; и вот сейчас, сидя над протоколами показаний, снова думаю об этом, хотя и знаю, что не приду ни к какому определенному решению. Был ли это внезапный бунт против отчаянного поклонения могиле, против болезненного, языческого служения воспоминаниям или вдруг вспыхнувшая ненависть ко всему окружающему: к деревне и к своему замшелому двору, к участкам земли, к ступе и невыносимо скрипевшей калитке, ко всем своим близким, к отцу и матери, к могиле любовника, к цветам на ней и к покоившемуся в ней праху... А может быть, из отчаяния вдруг родилась надежда, безумная надежда, которая приказала ей бежать от воспоминаний, не желать их и даже возненавидеть...

Мне казалось, что так можно понять причину внезапного отъезда Ядвиги Трепы, и, как обычно, я совсем не по-прокурорски усложнял все, раздумывая над этим решением Ядвиги, да и вообще над всей ее жизнью. Я думал о ее судьбе особенно много, когда она давала показания перед барьером, отделяющим зал от суда, когда говорила о своей тяжелой жизни, о своем горьком уроке и самоотречении, и суд чувствовал себя

обязанным спуститься с высоты закона из уважения к ее горькому опыту и горькому знанию жизни. Такое же чувство внушал суду ее отец, восьмидесятилетний старец, он возбуждал это чувство уже отметившей его печатью смерти, которую носил с достоинством, а она, его дочь,— любовница красавца кавалера,— горьким опытом, о котором она говорила открыто, искренне и тоже с достоинством.

Думая о сестре обвиняемого, Ядвиге Трепе, я понял, что она любила своего красавца, любила его одного, любила страстной, животной и потому безрассудной любовью, прекрасной и верной. И мне кажется, что она вырывала у отца те два морга и была готова целовать комья земли с того клочка пашни и бросить их в каждого, кто посягнет на те два морга, только ради того, чтобы сохранить любовь красавца кавалера, которого всегда ждала с нетерпением и радовалась, когда его великолепная шевелюра плыла над изгородью, пока он приближался к калитке и входил во двор; чтобы не потерять этого красавца кавалера, который столько раз приходил на свидания в зарослях тальника за насыпью, у широкой реки, где потом был убит.

Я думал и о Кароле Котуле, который тоже, вероятно, любил Ядвигу, но не мог освободиться от коварно и насильно навязанной ему временем власти маленького клочка земли, не мог избавиться от языческого почитания земли. Он не был способен сбросить тяжкое бремя этого долга и вслепую брел, чтобы исполнить его на радость родителям, дедам и прадедам, покоившимся в могилах. Он любил Ядвигу, но боготворил и клочок земли; он делил свое чувство к Ядвиге с первобытной любовью к земле, которая родит пшеницу, рожь и другие злаки и щедро одаряет сладостной усталостью и заботами — этой долей непрозревших.

В своих мыслях, совсем не подобающих прокурору, я опять вернулся к той далекой поре, когда обвиняемый Войцех Трепа еще не совершил первого преступления и когда я только что родился или мое появление предвещали воробьи. А ведь я, прокурор, выступающий обвинителем по делу Войцеха Трепы, должен думать сейчас, скорее, о той солнечной и теплой осени, когда обвиняемый начал подозрительнее, чем всегда, всматриваться в лица людей; ему казалось, что люди хотят выведать его тайну и каждое непроницаемое или улыбающееся лицо словно спрашивает: «Войцех, это ты убил Кароля Котулю?» — либо даже не спрашивает, ибо в вопросе может быть еще тень сомнения, а выражает уверенность: «Это ты, Войцех, убил Кароля Котулю!» Или бросает жестокое обвинение: «Ты — убийца!»

Но была возможность ежедневно видеть большое, сплошное поле, раскинувшееся на семь моргов, которое уже не разделяла узкая межа, поросшая пучками травы. То была граница между его участком и господскими угодьями; в свою очередь разделенная на две узкие зеленые полосы невидимой чертой, она, однако, служила вполне реальным целям, ибо одна кромка межи принадлежала помещику, а другая — мужику; ведь помещик «по справедливости» делил межу на две полоски и одну из них присоединял к своим обширным владениям.

И это ежедневно открывавшееся взору большое, неразделенное межами поле делало тайну Войцеха еще тягостнее, он готов был любой ценой защищать ее от любопытного мира, задушить даже тень подозрения, только бы не лишиться возможности смотреть из-за ограды на свое поле.

Когда он видел свою землю, это широкое ровное поле весной, видел, как земля дышит, будто уставшее животное, и от нее валит пар, он, наверно, думал: «Никто не должен знать, что я убил».

Когда он, прищурив глаза, смотрел на свою землю летом, а летом она напоминала окраской засохшую и порыжевшую на солнце кровь, он, наверно, думал: «Никто не должен знать, что я убийца».

Когда осенью он смотрел на свои семь моргов и видел туман, а после того, как туман рассеивался,— картофельное поле с жухлой ботвой, кое-где еще зеленые стебли, испещренные ржавыми полосами и зелеными прожилками, сухие свернувшиеся листья, которые чуть шевелил ветер, он, наверно, думал: «Никто не должен знать, что я совершил преступление».

Зимой, когда все живое пряталось в земле, под снегом, он тоже часто смотрел на поле, на свои семь моргов. И, глядя на эту мертвую землю и утаптывая сапогами снег или разрывая его, он, наверно, думал: «Никто не должен знать, что я убил Кароля Котулю, что я веслом ударил его по голове и не помешал ему свалиться в воду».

Войцеха, хозяина семи моргов, тайна угнетала сильнее, чем Войцеха, обладателя крошечной полоски земли — менее одного морга, которой он владел бы, если бы все осталось по-старому.

Я снова вернулся к этой солнечной теплой осени 1960 года, когда обвиняемый особенно настороженно и подозрительно всматривался в лица людей и чувствовал себя затравленным, потому что у него бывали — как определил эксперт, вызванный по требованию защиты,— приступы страха и маниакального состояния. Случалось, что, обрубая ивовые ветви, он вдруг прерывал работу и бежал за угол конюшни или хлева — ему казалось, что там кто-то стоит и смотрит на него; только проверив и убедившись, что там никого нет, он мог заставить себя вернуться и продолжать работу. Порой он бросал работу во дворе, уходил в темный дровяник, закрывал за собой дверь и долго сидел в потемках; позже он и здесь не находил покоя из-за щели, эдакой светлой полоски в стене, сложенной из неотесанных и непригнанных бревен. Узкая полоска света между бревнами в стене дровяника беспокоила Войцеха, поэтому и в сумраке дровяника он не мог отдохнуть. Лучше уж было сесть на чурбан для колки дров, который стоял во дворе под широким навесом, сесть так, чтобы можно было свободно наблюдать за окружающим, видеть проходящих людей, а с тыла чувствовать себя защищенным безразличием жующих солому и сено животных: лошадей, равнодушно уставившихся на край навеса светло-карими навыкате глазами, испещренными ржавыми точками, и коров, взирающих на мир большими блеклыми глазами с невозмутимостью мудреца, которого ничем не удивишь.

Сидеть на этом чурбане под навесом было лучше, чем в сумраке дровяника, где в стене между бревнами просвечивала полоска света; еще лучше сесть на пороге коровника или конюшни, где все щели были тщательно законопачены мхом,— тогда сзади была совсем надежная темнота, да и перед собой он видел немного — небольшую утоптанную площадку, куда выбрасывали навоз, прежде чем сгрести его в кучу. Сидеть на пороге конюшни или на чурбане под навесом гораздо лучше, чем прятаться в сумраке дровяника, но спокойнее всего пойти в чистое поле; в поле Войцех не боялся, что его застанут врасплох, потому что было видно далеко вокруг — расплывчатые очертания изгородей с одной стороны, дорога и ровная линия деревьев — с другой, насыпь — с третьей и чистая линия горизонта — с четвертой; со всех сторон его защищало пронизанное светом открытое пространство, и ему здесь было лучше, чем в темноте. Но, видимо, в мире есть места и получше, их можно найти — ведь должны же они быть, и там, по всей вероятности, гораздо безопаснее, нужно только искать, идти, бежать и искать, тогда, может быть, и найдешь.

Но, кажется, я опять слишком увлекся и забыл об этой погожей осени 1960 года. Я должен все время помнить об этой сухой и, как ее бездумно называют, золотой осени, потому что обвиняемый тогда чаще, чем прежде, приходил на берег реки к перевозу и из кустов наблюдал за перевозчиком, который переправлял людей с одного берега на другой.

Из рассказа свидетелей и обвиняемого об осени 1960 года суд узнал, что обвиняемый зачастил тогда к берегу широкой реки — разумеется, для суда это было важное обстоятельство. Обвиняемый ходил на реку уже не время от времени, когда в этом действительно появлялась необходимость, он зачастил туда по каким-то ему одному известным соображениям. Суд и прокурор, то есть я, подозревали, что эти хождения были связаны со вторым преступлением и свидетельствовали о том, что второе преступление было подготовлено с тщательной и болезненной последовательностью, а в самом моменте убийства словно сконденсировалось все то время — дни, часы, минуты и секунды,— которое вело Войцеха к преступлению. Обвиняемый терпеливо подготовлял убийство, поэтому так часто ходил на реку уже со второй половины сентября 1960 года, хотя преступление было им совершено только 29 декабря 1960 года, когда река уже покрылась льдом, то есть эти частые прогулки к берегу реки продолжались свыше трех месяцев.

Суд и я, прокурор, попытались, конечно, мысленно сопровождать обвиняемого Войцеха Трепу в его — пользуюсь этим слащавым словом — прогулках сначала к мутно-коричневой реке, а потом к реке, покрытой неровным, бугристым, в полыньях льдом. Нам необходимо было выяснить, что обвиняемый делал в кустах у реки уже после того, как принял необдуманное и нелепое решение спросить перевозчика Стефана Дурая, знает ли он, кто убил Кароля Котулю. Стефана Дурая, того самого Стефана Дурая, который тридцать с лишним или, может, даже сорок лет назад вместе с обвиняемым Войцехом возил песок и щебень на дорогу, а с 1929 года без перерыва был перевозчиком в течение более чем тридцати лет, до декабря 1960 года, и провел на воде почти всю свою жизнь. Стефан Дурай был перевозчиком и в 1930 году, когда Войцех Трепа совершил свое первое преступление. Суд, конечно, интересовало, почему только через тридцать с лишним лет обвиняемый вдруг решил задать нелепый и бессмысленный вопрос перевозчику, по своей нелепости и неосторожности напоминавший другой вопрос — тот, который задал Войцеху красавец кавалер за несколько минут до смерти: «Как поживает Ядвига?»

Суд удивило, почему обвиняемый спустя тридцать лет вдруг спросил Стефана Дурая, не известно ли ему, кто убил красавца кавалера; ведь обвиняемый знал, что на следствии, которое велось в 1930 году после его первого преступления, Стефан Дурай показал, что ни на берегу, ни в лодке он не видел Войцеха вместе с Котулей. Показания перевозчика подтвердили свидетели, но даже без них было совершенно очевидно, что Дурай сказал только это, потому что Войцеха Трепу освободили из-под ареста за отсутствием улик.

Условия, в каких Войцех Трепа убил Кароля Котулю, суд признал способствующими для человека, который уже самим стечением жизненных обстоятельств, отсутствием силы воли и самообладания был как бы подготовлен к совершению преступления. О том, что обстоятельства способствовали совершению преступления, говорит и еще один факт. Деревня, где люди умеют пронюхать обо всем, даже о мелочах, на этот раз так ничего и не узнала и могла лишь кое-что подозревать, но о своих подозрениях, естественно, не болтала — слишком уж серьезным было дело.

Суд учел все это, и вопрос обвиняемого, заданный Стефану Дураю тридцать лет спустя, показался тем более лишенным смысла. На помощь суду пришел эксперт-психиатр, его заключением на последней стадии процесса суд воспользовался по предложению защиты.

Я, конечно, не отклонил предложения защиты, хотя как прокурор, пожалуй, и должен был это сделать. Эксперт заключил, что вопрос, заданный обвиняемым перевозчику, был вызван, как он выразился, со-

стоянием усилившегося страха и болезненной подозрительности, вполне понятной у человека, совершившего убийство, и в принципе вовсе не свидетельствует о его невменяемости, как пыталась представить дело защита. На второе преступление обвиняемого толкнуло естественное опасение, что кто-нибудь может узнать о первом убийстве, тем более что такие опасения усилились после 1945 года, когда он зажил лучше, превратился в настоящего хозяина и перестал играть роль шута, перестал, словно баба, ходить с холстиной за травой и чувствовать себя бессильной мухой, запутавшейся, как в паутине, среди межей, отделяющих его участки от огромных господских угодий; на новое преступление его толкнула постоянная мысль о первом убийстве, самобичевание, вечное единоборство со своей тайной и болезненно развившаяся неестественная подозрительность.

Эксперт подчеркнул, что эта неестественная подозрительность, усилившаяся, конечно, из-за постоянных опасений, что кто-то может проникнуть в его тайну, во многом объясняется тем, что после войны он стал солидным хозяином и хлебопашцем, пользующимся в деревне уважением.

Он, как и другие, начал сносить старые подгнившие постройки, сбрасывать с крыш прелую солому, поставил кирпичный дом и новый коровник, покрыл все строения красной, хорошего качества, черепицей, завел трех коров и двух лошадей. Так Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, стал наконец настоящим хозяином; в коровнике — цементированный желоб, у колодца — насос, в дом ведут каменные ступеньки, выкрашенная коричневой краской дверь на веранду, оттуда белая дверь в сени, еще одна белая дверь в комнату и тоже белая дверь в кухню, а из кухни еще одна дверь в комнату. И все это делал Войцех Трепа, солидный хозяин и убийца в одном лице. И Войцеху Трепе, солидному хозяину, каким он стал в течение пятнадцати послевоенных лет, было гораздо труднее хранить свою тайну, чем Войцеху Трепе, каким он был до войны,— нелепому шуту, который, как баба, ходит с холстиной за травой на межу и лишь разыгрывает из себя хозяина.

Эксперт так охарактеризовал состояние обвиняемого, и я с ним согласился, когда позднее обдумывал дело, соглашаюсь и сейчас, сидя в своем кабинете. Мне тоже казалось, что именно после войны, обновив свое хозяйство, он начал подозрительнее относиться к людям. Конечно, ему было очень тяжело, когда его выбрали в комитет по строительству школы и он выступал на заседаниях этого комитета и говорил о том, что деревне нужна школа. Солидный хозяин Войцех Трепа говорит о том, что в деревне нужно построить новую школу, современную, двухэтажную школу; говорит об этом солидный хозяин — его с уважением слушают все присутствующие. Оставшись один, он, солидный хозяин и убийца, спрашивает себя: может ли убийца строить школу, а если он может возводить стены, то имеет ли на это право, имеет ли право тот, кто убил отца ребенка своей сестры, спокойно обмерять участок, где будет выстроена школа, возить кирпич и разговаривать с каменщиками, которые будут строить школу?

Так суд, эксперт и я, прокурор, опираясь на крайне лаконичные показания обвиняемого, пытались понять смысл этого нелепого решения задать вопрос перевозчику Стефану Дураю, знает ли он, кто убил Кароля Котулю. Обвиняемый задал этот вопрос, потому что — как довольно примитивно, на мой взгляд, объяснил эксперт — в нем зародилось сомнение, действительно ли Стефан Дурай не знает, кто убил Кароля Котулю. Чрезмерная и уже болезненная подозрительность подсказала ему, что перевозчик Стефан Дурай мог в тот вечер стоять в тальнике у реки, когда они оттолкнулись от берега; перевозчик мог заподозрить неладное, он мог услышать сильный всплеск и привычным ухом человека, прожив-

шего на реке почти весь свой век, отличить этот всплеск от других всплесков, например, от удара веслом по воде или от падения большого камня. И хотя у Войцеха Трепы были все основания верить тому, что сказал Стефан Дурай тогда на следствии, его продолжала преследовать мысль, что перевозчик не все рассказал и знает правду или во всяком случае догадывается о ней.

Подозрения Войцеха особенно усилились осенью 1960 года, когда на первом заседании комитета по строительству школы Стефан Дурай один выступил против избрания Войцеха Трепы председателем; и хотя он объяснил свое возражение тем, что Войцех холост и у него нет детей школьного возраста, тем не менее обвиняемый еще больше утвердился в своем подозрении, что перевозчику известна его тайна.

Суд нашел, что причина частых прогулок Войцеха к перевозу достаточно понятна, и перешел к заслушиванию показаний о том дне и часе, когда произошел разговор Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, со Стефаном Дураем, начавшийся, как потом выяснилось, не только нелепым, но и трагическим по своим последствиям вопросом обвиняемого: — Скажи, Стефан, ты не знаешь, кто убил Кароля Котулю? — Так примерно звучал вопрос, заданный обвиняемым солнечным днем в конце октября 1960 года, если, конечно, обвиняемого не подвела память, когда он давал показания. Войцех воспользовался затишьем предполуденного часа, когда движение на перевозе прекращается, потому что все желающие уже переправились утром, а возвратятся только под вечер. Редко кто-нибудь переправляется через реку в полдень. Перевозчик Стефан Дурай сидел на доске, положенной поперек лодки, когда Войцех вышел из тальника и направился к нему. Перевозчик заговорил о чем-то, но разговор не клеился — обвиняемый торопился задать свой никчемный и даже бессмысленный вопрос; он торопился, ведь каждую минуту мог кто-нибудь подойти, и хотя в полдень, особенно по воскресеньям, люди почти не приходили к перевозу, на берегу царила тишина и очень редко раздавался напевный крик «Перево-о-оз!», словно напоминающий, что вода течет и время уходит,— все-таки мог кто-нибудь помешать. И подгоняемый болезненной подозрительностью и много лет преследовавшей его мыслью Войцех задал свой вопрос.

Все это произошло октябрьским днем 1960 года, который в моей жизни был одним из дней, как это банально называют, медового месяца. В тот день я, может быть, ехал в машине моего тестя, профессора, на воскресную загородную прогулку, а обвиняемый Войцех Трепа был вынужден задать этот решающий вопрос, ибо окончательно изнемог под бременем тайны своего преступления, совершенного в июне 1930 года, совершенного непреднамеренно и все-таки тщательно подготовленного обстоятельствами жизни его семьи, семьи Котули и всей деревни. И в ту минуту, когда он был уже рядом с перевозчиком и собирался задать роковой вопрос: — Знаешь ли ты, кто убил Кароля Котулю? — я мог сидеть на поляне в лесу и смотреть на мою молодую жену, бегающую по траве, и видеть проступающие сквозь платье очертания ее стройных ног; а в ту минуту, когда Войцех уже задал Дураю вопрос, я мог думать о том, что ночью увижу эти ноги обнаженными и буду прикасаться к ним.

Значит, я должен упрекнуть себя, разгуливавшего по живописной поляне, упрекнуть в том, что слишком рано отправился на беззаботную прогулку в лес, и уж совсем излишней роскошью была мысль о стройных обнаженных ногах моей жены. Значит, нельзя сбросить с себя груз прошлого, как сбрасывают тяжелый мешок с зерном — заученным движением, поведя плечом вниз и немного в сторону; я должен еще влачить за собой прошлое — и свое, и обвиняемого Войцеха Трепы, и прошлое всех деревень; и если я не хочу потерять к себе уважение, следует не

только влачить за собой это прошлое, но и стараться понять его — ведь там коренилось преступление Войцеха Трепы, который в детстве тоже стерег гусей и уток, потом погонял во время пахоты лошадь, потом молотил цепом. Разница между нами в одном — он делал все это двадцатью тремя годами раньше меня, и в этом его несчастье.

Суд проявил большую гибкость, задавая обвиняемому вопросы о его разговоре со Стефаном Дураем. Этот разговор сейчас особенно интересовал суд, поскольку суммировались последние факты и причины, толкнувшие обвиняемого на второе преступление,— судебное разбирательство подходило к заключительному этапу, то есть к периоду, который непосредственно предшествовал убийству. Стефан Дурай на вопрос обвиняемого: — Знаешь ли ты, кто убил Кароля Котулю? — ответил, что не знает, он ничего подозрительного на реке в июне 1930 года не видел, и, видимо, Котуля утонул, когда его на берегу не было. Дурай, конечно, удивился, почему Войцех спросил его об этом; он удивился и пристально взглянул на Войцеха, и тогда Войцех понял, что задал никчемный, бессмысленный и опасный вопрос. Обвиняемый понял это и решил убить Стефана Дурая, иначе Стефан Дурай, когда пройдет удивление, спокойно обдумает этот нелепый вопрос и придет к выводу, что Кароля Котулю убил Войцех; тем более что, спрашивая, Войцех употребил слово «убил», перевозчик же сказал: «Котуля утонул». Он сначала сказал: «Котуля утонул», и только потом испытующе посмотрел на Войцеха, и в этом взгляде уже мелькнуло подозрение, что Котуля не просто утонул, ибо в вопросе Войцеха было слово «убил». Правда, в этом разговоре обвиняемый не сказал прямо о том, что он убил Котулю, но его подозрительный вопрос, да и весь этот неожиданный и странный разговор натолкнул перевозчика на мысль, которой Войцех боялся.

Суду было ясно, что обвиняемый не выдержал тридцатилетней борьбы за свою тайну и допустил ошибку, обратившись к перевозчику с таким щекотливым и откровенным вопросом; он попытался исправить эту ошибку, а исправить ее можно было, лишь убив перевозчика Стефана Дурая, то есть совершив второе преступление.

Теперь уже все было ясно, и суд, разобравшись, почему был задан этот нелепый и нелогичный вопрос, подошел к концу целого пятидесятилетия, в котором старательно разместил события жизни обвиняемого Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны.

До второго преступления, которое совершил обвиняемый, оставалось два с лишним месяца — оно было совершено 29 декабря 1960 года. Эти два месяца, как выяснилось из показаний, были потрачены на лихорадочные поиски благоприятного момента, чтобы проще и незаметнее убить Стефана Дурая. В тот период, как показали свидетели и сам обвиняемый, его паломничества к реке участились. Он мало занимался тогда своим хозяйством. Скотину на клеверное поле выгонял старый отец, с которым обвиняемый уже несколько лет жил в большом новом доме.

IX

Тишина царила в этом просторном новом доме, ибо нынешний обвиняемый Войцех Трепа был занят своими мыслями, самыми сокровенными, и, разумеется, не мог сказать о них отцу; впрочем, и старик думал только о своем и не испытывал никакой потребности делиться своей горькой мудростью с сыном; Юзеф словно понимал, что, поговори он с кем-нибудь, даже с сыном, о своих думах, исчезнут величие, почти святость, которую придает молчание этой горькой мудрости. Поэтому в гор-

ницах, а вернее, в комнатах нового дома чаще раздавались тяжелые шаги, чем слова. А если отец с сыном и разговаривали, то о хозяйстве, особенно когда ими овладела неведомая до 1945 года страсть к истреблению на своей усадьбе гнили, плесени и тлена, унаследованных от предыдущих поколений и полюбившихся этим поколениям любовью, которая навязана необходимостью есть хлеб, спать и снова есть хлеб. А если на лицах старого Юзефа и его сына Войцеха появлялась улыбка, то какая-то вымученная и словно ущербная; пожалуй, и улыбались они с горечью, понимая, что радость пришла к ним слишком поздно. Порой отец говаривал своему сыну, старому холостяку: — Женись, ведь годы-то твои уходят...— Он говорил так, думая, что раз уж к Войцеху перешло все отцовское наследство и земля, нарезанная из господских угодий, надо, чтобы он женился и обзавелся семьей. А сын, уже с поредевшими и седеющими волосами, отвечал ворчливо и неискренне:— Никогда не поздно.— Или: — Еще успею.— Или попросту махал рукой. Чувствовалось, что в такие минуты его охватывало какое-то нервное возбуждение; ему наверняка хотелось жениться, иметь семью, жену и детей, ведь он не прочь был бы сказать жене: — Пойдем сбросим снопы с фуры.— Он предпочел бы сказать это жене, а не всяким родственникам, помогавшим ему по хозяйству; конечно ему хотелось бы принести своим детям зайчонка, который порой запутается в высоком клевере, или перепелку, или маленькое яичко жаворонка. Но приходилось отпускать на свободу зайцев и перепелок, так как он не женился и у него не было детей; он считал, что так и должно быть, и все откладывал решение, наверняка лелеемое втайне, откладывал, словно боясь достигнуть желаемого, чтобы то, что свершилось в июне 1930 года на широкой реке, не стало угнетать его еще пуще.

Так много лет и жили они вдвоем в большом новом доме — Юзеф Трепа и его уже немолодой сын Войцех, обвиняемый в совершении двух убийств; и дом постепенно перестал быть домом, он напоминал скорее некий храм, возведенный для того, чтобы оберегать глухие тяжелые шаги двух молчаливых людей, их горечь, и с силой вспыхнувшую страсть к уничтожению всяческой наследственной гнили и тления, и минуты счастья, ущербного счастья, ибо слишком поздно пришло для них время, которое принесло им в дар право на радость.

Новый дом Трепов совсем опустел, когда в декабре 1960 года Войцех был арестован и в просторных комнатах остался один Юзеф, восьмидесятилетний старец, этот осиротевший патриарх рода, рассеянного по кладбищам, городам, весям и тюрьмам. Большой новый дом, где обитал и готовился к смерти восьмидесятилетний старец, стал роскошным надгробным памятником в центре деревни. Если старик умрет, что может случиться в любую минуту, и если в доме не поселится никто из его родных, то новым просторным и пустынным домом завладеет прошлое. Даже сейчас, хотя старый Юзеф еще жив, в этот вполне современный дом и обновленную усадьбу настойчиво вторгается прошлое — времена молодости старого Юзефа и тех, что были до него и ходили по земле, потому что в хатах вместо пола была плотно утоптанная земля. Старший сын Юзефа не приедет сюда — ведь у него есть свой кирпичный дом где-то у западной границы, Ядвига тоже не приедет — у нее квартира и работа в городе, куда она уехала вместе со своей внебрачной дочерью; домом младшего сына, обвиняемого в двух убийствах, старого холостяка Войцеха, стала камера предварительного заключения, а в будущем, вероятнее всего, станет тюрьма — ведь суд должен придерживаться законов. У родственников старого Юзефа свои дома, и они тоже не захотят поселяться здесь. В этом новом доме будет жить одинокий старик, будет жить до тех пор, пока у него хватает сил передвигаться, когда же силы иссякнут, он переберется или к сыну Стани-

славу или к дочери Ядвиге. Но пока он еще живет в своем новом доме, еще слышны его шаги, покашливание, стук посуды и скрип дверей, на которых теперь медные ручки, а не железные скобы с засовом как прежде.

Суд не сомневался относительно того, что после разговора со Стефаном Дураем обвиняемый только искал случая, чтобы убить его, ибо тот невольно стал человеком, которого Войцех так глупо навел на след своего первого преступления. Суду было ясно и то, что бессмысленный вопрос, заданный Стефану Дураю Войцехом Трепой, был вызван не случайностью или фатальным стечением обстоятельств, а порожден всем его прошлым. Я твердо знаю, что в деле Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, виноват не случай и не судьба — все зависело от условий, которые его окружали в молодости и дважды привели в такое возбужденное состояние, когда рассудок вдруг теряется и действует лишь правая рука, сжимающая предмет, которым можно убить.

Периодом, прошедшим с момента разговора обвиняемого со Стефаном Дураем до второго преступления, суд занимался недолго; период этот длился целых два месяца только потому, что обвиняемый Войцех Трепа не находил удобного случая, которого обычно ждет убийца.

Такой удобный случай для обвиняемого представился вечером 29 декабря 1960 года, когда река уже покрылась толстым слоем льда, в котором рыбаки сделали проруби.

Когда река покрывается льдом, роль перевозчика меняется — он следит за тем, чтобы пешеходная тропа с одного берега на другой была проложена по безопасным местам.

Судья несколько патетически, словно радуясь возможности сообщить собравшимся обстоятельства второго преступления Войцеха Трепы, зачитал ту часть протокола следствия, которая непосредственно относилась к происшедшему вечером 29 декабря 1960 года:

— «Обвиняемый Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, пришел на берег реки поздним вечером 29 декабря 1960 года; в это время перевозчик Стефан Дурай, сын Казимежа и Малгожаты, урожденной Зарембской, находился на льду в нескольких метрах от берега и расчищал от снега тропинку, ведущую через реку. Обвиняемый Войцех Трепа быстро подошел к нему и ударил по голове железным болтом, а когда Стефан Дурай упал, сбросил его в находившуюся поблизости прорубь, проделанную рыбаками».

Зачитав этот отрывок, судья спросил обвиняемого, так ли все действительно было в тот декабрьский вечер, и обвиняемый ответил: — Да.— Потом судья спрашивал обвиняемого о следах крови на снегу, о которых тоже упоминалось во время следствия. Обвиняемый, несмотря на темноту заметил на снегу пятна крови,— он собрал снег и сделал из него ком.

Второе убийство не удалось сохранить в тайне, ибо, когда Войцех Трепа был еще на льду и собирал в комок окровавленный снег, к реке спустились рыбаки, отправлявшиеся на ночной лов, и, хотя Войцех быстро ушел, унося в руках ком окровавленного снега, один из рыбаков узнал его и окликнул: — Войтек!..— Войцех, разумеется, не ответил и скрылся в темноте. Сначала он шел по льду, затем свернул в оголенные заросли тальника, все еще держа в руках окровавленный ком, только где-то глубоко в зарослях он носком сапога вырыл ямку, положил туда красный ком, забросал мерзлыми листьями и снегом и заровнял сверху.

Торопливый уход Войцеха и то, что он не отозвался на оклик, удивило рыбаков; они осветили фонариками место, где стоял Войцех, заметили следы между тропинкой и ближайшей прорубью, увидели черные пятна, оказавшиеся каплями крови, и поняли, что здесь, на льду, что-то

произошло. А потом забросили в воду сеть и начали выбирать ее из проруби.

О том, как рыбаки выловили сетью тело Стефана Дурая, на суде говорилось мало, ибо все это подробно разбиралось во время следствия. Суд ограничился лишь констатацией факта, что подозрения пали на Войцеха Трепу и он был арестован вторично спустя тридцать лет. Во время следствия обвиняемый во всем признался, он рассказал о двух преступлениях с удивительной правдивостью, которая приносила ему явное облегчение и, может быть, даже какое-то удовлетворение, ибо он сбросил наконец с себя бремя тридцать лет оберегаемой тайны; и признание в преступлениях, подлежащих суровому наказанию, впервые за все эти годы ослабило нервное напряжение, хотя, признаваясь, он уготовил себе суровую кару.

Пожалуй, через два дня закончится судебное разбирательство по делу Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, ведь остается совсем немного: показания какого-то свидетеля, речь защитника и моя обвинительная речь. Потом последнее слово обвиняемого, и суд удалится на совещание, но приговор, наверно, в этот день не будет оглашен. Его огласят на следующий день, а может быть, приговор будет объявлен в тот же день, когда прозвучат моя обвинительная речь и последнее слово обвиняемого.

Сейчас я как раз просматриваю протоколы допросов и готовлю свою обвинительную речь. Я начну традиционным обращением: «Высокий суд...» Потом мне полагается произнести: «Я обвиняю». Обвиняю... Кто обвиняет? Я, обязанный выступить обвинителем по делу Войцеха Трепы, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, задаю себе этот вопрос, ибо сомневаюсь, могу ли быть обвинителем, сомневаюсь в моем праве на эту должность, на положение, которое дало мне мое время, завоеванное и созданное героизмом других; время, сквозь которое в ходе этого процесса я научился проникать, словно сквозь глыбу льда, и становиться современником обвиняемого и страшиться того, что у нас было так много общего с Войцехом Трепой, сыном Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны. И он и я подолгу просиживали на берегу канавы или пруда, вдыхали застойный запах низины, караулили от ворон перепачканных в грязи утят и испытывали ужас при появлении серой вороны, медленно и изящно скользящей в воздухе, чтобы похитить утенка.

И вот я задал себе этот короткий и, как мне подсказывает карауливший уток и гусей парнишка, которым я был, здравый вопрос: «Кто обвиняет?» Во время процесса Войцеха Трепы я научился не только чувствовать себя во многом современником обвиняемого, представлять себя на его месте, я научился дерзко обращаться с самим временем: углубляться в прошлое, подменять мое время тем временем, когда жил обвиняемый, чувствовать себя на месте Войцеха Трепы, то есть на широкой скамье подсудимых между двумя милиционерами, а его, обвиняемого, представлять на возвышении, на месте общественного обвинителя.

Признаюсь, что этот вопрос: «Кто обвиняет?» был вызван воспоминаниями моего детства и ранней юности, этот вопрос мне задал деревенский паренек, которым я был; в течение всего процесса я находился во власти воспоминаний детства, и мое детство домогалось права голоса у того взрослого человека, которым я стал. Позже, вернувшись из этого грустного путешествия в минувшее, я добрался и до того времени, когда мне исполнилось пятнадцать лет и произошел этот внезапный скачок из худших времен в лучшие; с сожалением я вынужден был оставить Войцеха Трепу, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, далеко позади, ибо он опоздал и уже навсегда лишен возможности спокойно и радостно принять дары этого лучшего времени, потому что он убил.

Когда мне исполнилось пятнадцать лет, я мимо поросшего камышом

болота поехал в город учиться, а ты, Войцех Трепа, сын Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, когда тебе было пятнадцать лет, позабытый своим временем, ехал этой дорогой на плотину в надежде немного подработать, а может быть, просто шагал здесь мимо камышей, не зная, к чему приложить щедрые силы своей юности, которая влекла тебя куда-то из того крохотного мирка с его малыми делами, где ты жил.

Я подумал о том, что слишком уж поддаюсь этим неподобающим прокурору мыслям, ибо они мешают мне четко выполнять установленные обязанности, мешают сохранять юридическую логику, которая требует придерживаться прежде всего виденного, услышанного и осязаемого. Я не могу не упрекнуть себя как прокурор, даю себе нагоняй и снова произношу: «Я обвиняю,— хочу продолжить: — Войцеха Трепу, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, который совершил два преступления». Но не могу заставить себя продолжать и после слов «я обвиняю» задаю себе вопрос: «Кого я обвиняю?» Этот вопрос задают мне тот мальчонка и тот подросток, которыми я был когда-то.

И вот опять фантазия рисует возможные ситуации, которые, пожалуй, не должны занимать воображение прокурора, ибо может получиться, что я, прокурор, подумаю: обвиняя Войцеха Трепу, сына Юзефа и Катажины, урожденной Багелувны, я в чем-то обвиняю и себя. Не хочу так думать и все-таки думаю, разрешаю себе так думать, а замечания в свой адрес, упреки и попытки чувствовать себя прокурором дают обратный результат, толкают меня к таким размышлениям, которые, может быть, и не лишены смысла.

Но потом я снова ограничиваю себя рамками уголовного дела Войцеха Трепы — он совершил два преступления, убил двоих людей, и на деревенском кладбище возвышаются два лишних могильных холмика: один, некогда буйно заросший цветами, а теперь травой, чьи геометрически четкие линии уже исчезли,— могила Кароля Котули и другой — еще не успевшая порасти травой могила Стефана Дурая; на кладбище среди других крестов стоят и эти два креста: уже покосившийся, растрескавшийся, которого коснулось тление,— на могиле красавца кавалера и новый, прямой, коричневый крест — на могиле перевозчика.

Чего же я хочу, что мне еще нужно, ведь есть эти две могилы и есть убийца? Что нужно мне, прокурору? Я все ищу того подростка, а вернее, это он ищет меня, ищут оба подростка, те дети, которыми мы были и которые стерегли утят от вороны у пруда,— я и Войцех, обвинитель и обвиняемый. Оба подростка вместе и каждый в отдельности ищут меня и находят на прокурорском месте в зале суда, или в удобном пружинящем кресле в прокуратуре, или в теплой квартире возле молодой жены, или на прогулке в лесу. И один говорит мне: — Ты обвиняешь меня в том, что я засмотрелся на ветку ивы, на ивовый листок, который понравился мне, и, пока я смотрел, ворона унесла утенка; почему ты обвиняешь меня, а не ворону?..

А второй говорит: — Ты предаешь меня, когда обвиняешь этого мальчонку, караулившего утят и гусей, в том, что ворона унесла у него утенка.

Я пытаюсь отделаться от этих мыслей и возникших в воображении картин, чтобы все-таки подготовить обвинительную речь. Но смогу ли я? Хватит ли у меня сил? Смогу ли я устоять и не поддаться воспоминаниям? И что я скажу после этого процесса: «Я устоял...» Или: «Воспоминания о прошлом сильнее меня...»?

Современные поэты Скандинавии

Скандинавия... Неизменен интерес советского читателя к литературе наших северных соседей. Литературные связи, установившиеся еще в прошлом веке, были в веке нынешнем прочно закреплены Максимом Горьким, знавшим и любившим скандинавскую литературу. К сожалению, современная поэзия Норвегии, Швеции, Дании известна у нас меньше, чем проза, чем драматургия. Между тем за последние годы в поэзии этих стран происходят интересные явления; пожалуй, модернизм нашел на скалах Скандинавии наименее подходящую почву для своего сорнякового расцвета. Он столкнулся с реалистическими традициями, с глубоким гуманизмом многих мастеров.

Недавно я побывал в скандинавских странах, встретился со многими писателями и поэтами, беседовал о путях развития поэзии. Друзья из Швеции, Норвегии, Дании передали нашему журналу стихи для перевода и опубликования. Это разные поэты, люди различных воззрений и направлений. Но если искать общий знаменатель для их творчества, я бы назвал таким знаменателем спокойную прозрачность мысли и чувства, любовь к людям, веру в человека. Все это не может быть нам безразлично, это нам близко и дорого. Пусть сегодняшняя встреча с поэтами Скандинавии кратка, но она не оставит читателя равнодушным. Хочется верить, что писатели Швеции, Дании и Норвегии станут более частыми гостями на страницах наших журналов и что это будет явным свидетельством роста и укрепления наших культурных связей.

Евг. Долматовский

ВИЛЬЯМ ХЕЙНЕСЕН

Весенняя песня больного эскимоса

Длинные-длинные дни.
Ночи еще длиннее.
Много времени у меня, чтобы думать.
Много печального у меня, чтобы думать,
а радостного совсем мало.

Но когда я в прошлое ухожу,
я все-таки чувствую радость.
Я иду к Колутангуаку.
Колутангуак — это мой прапрадед.

Колутангуак
был другом солнца.
Он пел при светильнике в хижине
ночью, тянувшейся месяцами.
А когда приходила весна,
он смеялся и спрыгивал с ложа
прямо в синее утро.
Он пел и льду, и солнцу,
и талым сверкающим водам.

Колутангуак и его друзья
были веселые люди,
играли они у подножья горы.
Любили они своих женщин,
любили тучность и плодородье.
Своею тоской, надеждами, страхом
душу камня они наделяли,
душу воды и метели.
А потом постигали
их страшную суть колдовскую
и все превращали в богов и духов.

Да, такими они были.
И хотя они много трудились
и всегда стерегла их опасность,
в их сердцах были звонкие струны,
в их сердцах пела звонкая радость,
побеждавшая одиночество,
побеждавшая самую смерть.

Да, такими мы были,
когда утро светило над нашей страною
и в наших сердцах.
Теперь мы больны и разбиты,
не один я, но все мои братья и сестры
больны и унижены.
Хворый народ на краю света,
побежденный без боя одним лишь оружием —
христианством белого человека,
его болезнями и презреньем.
Незачем жить нам
и не во что верить.

Сгинула радость.
Может ли она возвратиться?
Я в это не верю.
Но все-таки иногда я мечтаю,
что радость к нам снова вернется
и я спрыгну с постели,
и со мной засмеются солнцу
Колутангуак и его друзья.
И тогда темнота отступит
и длинные тени съежатся и замерзнут.

И тогда соберутся в сугробе тоски моей белые птицы
и взлетят на сверкающих крыльях
в синий воздух!

Перевод с датского Ю. ВРОНСКОГО

Время ожидания

В зеленом, как море, зимнем небе
мчатся трепещущие скворцы.
Смотри-ка: буря живых крыльев
штурмует голые кроны рябин,
и в бездну зеленую бьют фонтаны
волшебного птичьего щебетанья.

И на миг лишь одно существует в мире:
светлая песня черных деревьев
в пещере сумерек зимних.

И на миг лишь одно существует в мире:
древо Надежды! Древо Надежды,
протянувшее к свету темные почки
из жаркого трепетного сердца!

Перевод с датского Л. ГОРЛИНОЙ

ИНГЕР ХАГЕРУП

Все мне так близко

Все мне так близко
этим чарующим днем.
Виден мне Сваберг,
сколько спокойствия в нем!
Волны прилива
влагой горячей у глаз...
Все мне так близко,
счастлива я еще раз.

В трещинке каждой —
давнего детства цветы.
Как мне знакомы,
как мне милы их черты!
Может быть, бродит
девочка здесь до сих пор
та, что с цветами
громкий ведет разговор?

Долго казалось
небо пустынею мне.
Что же открылось
в сердце моем, в глубине?
Все, что мне близко,
веет такой чистотой...
Руки тяну я
к прошлому, к девочке той.

Перевод с норвежского Ю. ВРОНСКОГО

АРТУР ЛУНДКВИСТ

Десять и тысяча

Десять не смеют править жизнью тысяч.
Тысяче должны подчиняться десять.
Тысяча встанет и сбросит десять
и сделается свободной,
от самих себя освободив десять.
Идиотская красота идеала
десяти, отраженная в лужах,
будет втоптана в землю,
чтобы тысячи жили, как жили десять.
Крокодиловыми слезами
оплаканы бедные десять,

о трагически гордые десять,
навсегда наделенные правом
управлять и господствовать десять!
Знай — без боя они не сдадутся,
их можно сломить лишь насилием,
тех гордых, заносчивых десять.
Но знаем мы цену насилию
и руки чистые тянем вдаль.
Кто скажет, будто право тысяч
лучше прав, что имеют десять?
Те десять вам всем известных,
те, кто отвечает за все?
Нет, пусть тысячи любят тех десять,
возносят их, верят им, служат им!
Как сравните вы тысячи те и десять?
Невозможно достоинство цифрами мерить.
Разве тысячи не должны трудиться,
чтобы десять избранных в блеске жили,
чтоб те, десять, вздымали факелы
на празднике жизни, всю мощь человека являя?
Бросьте же восстания тысяч!
Спасите же десять! Так бог велел!
Кровь и земля так велят!
Миропорядок не троньте!
Ведь десять — назначены, обязательны,
как природа. Славьте их,
слуги их! Все розы для них.
Пусть мозг и плоть возьмут десять —
да, десять! —
от недостойных тысяч!

Перевод со шведского Ал. СУРКОВА

ЭРИК БЛОМБЕРГ

* * *

Ни веры, ни счастья в жизни моей.
И все же мне хочется быть средь людей
и прожить свою жизнь без счастья.

Страдают они, но им жизнь все милей.
Как я могу оставить людей,
живущих всю жизнь без счастья?

Перевод со шведского Л. ГОРЛИНОЙ

Дом людской

Ночь над землей распласталась.
Звезды уходят ввысь.
Дали миров — бесконечны.
Тьмы — бесконечна близь.

Как я люблю эту землю,
тьму эту и поля!
Звездная даль — бесконечна.
Дом наш людской — земля.

Сокол

О мысль, ты залетною птицей,
ты соколом бьешься в груди,
колотишься больно о сердце
невольницей в тесной груди.

И в плоть мою впившись когтями,
птенцов ты выводишь во тьме.
Ты к свету дневному стремишься,
барахтаясь в черной тюрьме.

Утихни! Но будь наготове
и, крылья сложивши, крепись.
Ты в сердце, облитое кровью,
в час смерти моей окунись!

И на окровавленных крыльях
ты вырвешься гордо на свет,
вверх к вечности, в нем
растворенной,
где твой потеряется след.

Перевод со шведского К. БОГАТЫРЕВА

ХАРРИ МАРТИНСОН

Природа и человек

Не просит море, чтоб сладка была его волна,
Не просит лес, чтобы его древесный сок был
солон.
Свой вкус и линию свою природа бережет.
Так береги же, человек, и ты свое искусство
Быть добрым, а не злым.

Осень

Когда листва с осенних кленов облетела
И на полях погас ее багряный пламень,
Трава поблекла и похолодела,
Морозом разрисован каждый камень.

В конце садовой тропки, где безлюдно,
Кузнечик стал испытывать свой пыл,
Но песню летнюю он потерял, как лютню,
В песке и все, что помнил, позабыл.

Воспоминания детства

Живут воспоминания детства
Девять жизней, подобно кошке.
Идут за тобою, мяукая,
Просят: дай молока.
Заброшенных сонных усадеб
Деревья давно повалились,
Плоды их желты, как луны.
Шелестящие кроны проходят
Сквозь все осенние вехи
И нашептывают про колодец,
Где девушка утонула,
Отправилась к принцу Хатту,
Живущему под землею.
Воспоминания — это колодец.
Они глубоко залегают,
Они — из страны сказок.
Там они — истинно наши
И глубинно твои.
Все те же деревья, все тот же
колодец
На той же вечной земле...

Замерзшие слова

Властен мороз над вещью, над речью,
Но слова имеют особую силу.
Вмерзшие в лед, они будут ждать,
В оцепенении сна сохранятся
До той поры, когда время взорвется
И песнь затрепещет в горлах птичьих,
Как в пору Феникса голос зари.

Перевод со шведского ЛЬВА ОЗЕРОВА

ЛАРС ФОРСЕЛЬ

Десять солдат

Десять солдат собрались на войну...
Мигом один очутился в плену.

Девять солдат залегли в блиндаже.
Залп... Их не девять, а восемь уже.

Восемь орали: «В атаку, ребята!» —
И в одного угодила граната.

Семеро полем ползли среди мин...
В клочья разорван был парень один.

Шестеро видели дом свой во сне,
и застрелился один по весне.

Пятеро время теряли, молясь.
Носом уткнулся один из них в грязь.

Четверо стали готовить побег.
Струсил один — и умолкнул навек.

Трое покинули ночью окоп.
Старший был ранен и в речке утоп.

Двое гуляли с подружкой одной —
парень дружка убил кружкой пивной.

Он на подружке на этой женат,
и народят они десять солдат.

Перевод со шведского ОЛЬГИ БЕРГ

КАРЛ ВЕНБЕРГ

Прощание

Это — час одиночества горький,
Крик несчастного сердца живого,
Не встречающего ответа
Кроме эха могильного склепа.

Это — час для воспоминаний,
Что стоят на пороге забвенья;
Лишь глотнув безвозвратность утраты,
Понимаем, что мы потеряли.
Это — час тишины и молчанья,
Когда темные волны волненья
Утихают и вдруг замечаешь
Золотое сияние солнца.

Это — час бесконечный прощанья,
Время строгой и светлой печали.
Это — час той весны непреложной,
Что врывается в радость и горе.
Счастлив я, что весна, а не осень
Твой последний покой окружает.

Это — час вдохновенного чуда,
Даже смерть ты любовью своею
В жизнь, весну и любовь превратила,
И она закипает в деревьях,
Соком движется в жилках растений,
В бедном сердце моем расцветает,
В сердце нашего звездного мира,
В сердце вечности — края молчанья.

В память матери сказано это...

ТОМАС ТРАНСТРЁМЕР

Поездка

Станция под землей.
Давка среди реклам.
Пристальный мертвый свет.

Поезд пришел и забрал
Портфели и лица с собой.

В сумраке мы сидим,
Как статуи, а вагон
Тянется средь пещер...
Мечты... Покорность... Мечты...

Все — как на дне морском...
Но тут продавец газет
Ловит печальных людей
Под циферблатом часов.

Поезд пошел и забрал
Пальто и души с собой.

Тревожно глядим вокруг,
Вонзаясь в сердце горы.
Но все на своих местах.

Скоро поверхность земли.
Шмели свободы жужжат —
Мы вырвались вдруг на свет.

Земля взмахнула крылом
И захлебнулась собой,
Прозрачна и зелена.

Будто бы на перрон
Колос влетел золотой.

Дальше дороги нет,
Но все-таки я пойду.

Много ль пойдет со мной?
Не больше пяти человек.

Тропинки... Дома... Облака.
Синий залив... Гора...
Мир открывается нам.

Перевод со шведского Евг. ДОЛМАТОВСКОГО

ЙЕНС БЬЁРНЕБУ

Реквием в честь погибших на войне школьных товарищей

Снова весна — но без них — на земле.
Вот почему омертвелым
кажется небо в оконном стекле,
будто замазано мелом.

Снова мы школьники, снова втроем.
С заднего ряда нам видно окно,
мелом натертое перед мытьем.

Где-то, наверно, хранятся
вещи, не нужные им:
галстук, рубашка, перчатки —
все это пахнет чужим,
все от хозяев далеко.
Вещи не помнят тех,
кто уходит до срока.

Память вещей коротка —
какой-нибудь жалкий месяц.
Потом же наверняка
хозяйственная рука
их вычистит и развесит.

Странно, но никогда
ни вещи, ни чья-то воля
в меня не врезались так,
как врезались эти двое.

Как же выдержать боль
весен и мыслей стольких
и ледяных вечеров,
ясных, пустых, жестоких?

Перевод с норвежского ТАМАРЫ ЖИРМУНСКОЙ

ВАСКО ПРАТОЛИНИ

Постоянство разума

РОМАН

Перевод с итальянского
Г. БРЕЙТБУРДА и Евг. СОЛОНОВИЧА

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

Глава 19

В ту зиму стояли сильные холода: на окнах изморозь — даже речки не разглядеть, прозрачной коркой покрылись фасады домов, обледенела дорога, казалось, едешь по обломкам стекла и вот-вот врежешься в стену.

Я ехал быстро, насколько это было возможно, но плавно, без рывков Дышать было трудно. Капли пота на лбу быстро замерзали. Переехав через мост, я мчался по Виа-дель-Ромито, впереди маячила освещенная бензоколонка «Шелл», желтевшая подле нее лужа была как полоска финиша.

Поворачивая, я, как положено, опустил одну ногу на мостовую, но мотоцикл бросило в одну сторону, меня — в другую, и я растянулся на мостовой в полуметре от резко затормозившей «джульетты». Все обошлось без единой царапины, меня лишь слегка оглушило. В этот час к перрону подходил ее поезд.

Прежде я думал, что знаю про нее все, потом вообще о ней забыл. Мы еще были детьми; ясно — это было за год до выборов; к тому времени, как они состоялись, я уже ушел из типографии и поступил в техническое училище, там не раз вспоминал я часы, проведенные в Борго Аллегри, за типографским станком «меркер Б-2», за ним я приглядывал, покуда ее отец толковал с заказчиками или выходил, чтоб выпить стакан вина. Он возвращался, спрашивал: «Дочка не приходила?»

Нам с ней никак не удавалось встретиться, словно мы бегали по коридорам дома с двумя выходами. Меня почти никогда не оказывалось на месте, когда она приходила. То посылали платить по векселю, то заказы относил, то хозяин отправлял на ипподром узнать про скачки или проверить, не выиграл ли он в лотерею. Как-то раз он получил письмо: «От дочки». Так я узнал, что она уехала. Мы и раньше наверняка видели друг друга в Борго Аллегри или на виа Гибеллина. И не исключена возможность, что мне хотелось бросить ей вслед один из тех комплиментов, которые пускаешь в ход, когда на улице попадается хорошенькая. Но я ни разу этого не сделал, у меня на это никогда не хватает духу. Иное

Окончание. Начало в № 5.

дело теперь, когда мы вместе, я бережен с ней, ведь слова — словно камни, которые могут ранить.

Помню, ее отец как-то вынул из конверта и показал мне ее фотографию, и я подумал, что, встретившись с ней, я бы ее узнал. На снимке она была точь-в-точь такой, как в тот вечер, когда, распахнув дверь, подошла ко мне. Я тогда возился с мотором в коридоре и услышал ее голос:

— О, извините, ради бога!

Что-то не ладилось с карбюратором, я его разбирал, руки были в масле. Выпрямившись, я обтер ладони о комбинезон. На дворе стояли зимние сумерки, с речки подымался туман, кто-то включил телевизор, до нас донеслись позывные «Последних известий», чей-то голос произнес: «Ты только послушай, как они заливают!» Она в нерешительности остановилась на пороге.

— Входите,— пригласил я.— В этом доме вот уж двести лет, как не живут людоеды.

— О, я не сомневаюсь.

Сначала все было как в кукольном театре. Я считал себя обязанным острить, она — изображать чрезмерное смущение. Ей захотелось передохнуть, и она поставила на пол свою дорожную сумку. На ней пальто цвета мальвы, сужающееся книзу. На шее шарф, губы чуть-чуть подкрашены, волосы не длинней моих, золотистые, с отливом. Ее глаза, взгляд — все это я постиг позже. Пока же мы изучали друг друга и медленно оттаивали. Она еще не перевела дыхание; гляжу на свои измазанные руки, протягиваю ей мизинец:

— Что у вас там в сумке, не чугун?

— Извините, ради бога, кажется, я не туда попала. Может, ошиблась этажом?

— А может, домом? Здесь сменили номера, вам, должно быть, не сообщили...

— Вот как? Но...

— Типография по-прежнему на Борго Аллегри, но отец ваш, как видите, теперь переехал поближе к нам.

Мне хотелось ее подразнить. Я играл свою роль паясничающего мальчишки:

— Это квартал Рифреди. Я здесь родился. Вокруг — заводы, поблизости — большая больница, недавно построили новые дома для беженцев из Истрии и Греции. Вам здесь понравится, туман бывает не обязательно. Если захочется пойти к мессе, тут рядом церковь Сан-Стефано.

— Как интересно! — воскликнула она, поправив упавшие на глаза волосы, и потянулась за своей сумкой.— Но я...

— Вы — Лори. Вы вернулись из Милана.

На лбу у нее появилась морщинка — так бывает всегда, когда она чем-то встревожена. Мы слегка пожали друг другу руки, она на мгновение задержала мою руку в своей.

— Вот теперь вы испачкались,— сказал я. Тут я вспомнил о снимке, с которого как бы началось наше знакомство. Она слушала меня чуть-чуть насмешливо, но не без интереса. Диктор телевидения что-то бормотал насчет Кеннеди и Никсона, говорил об Алжире, потом зазвучала музыка рекламных передач. Я подумал, что многое потеряю, если сейчас же не добьюсь свидания. Она стояла, обхватив себя руками, опираясь плечом о дверь, и улыбалась.

— Все понятно,— сказала она.— Теперь я знаю, где живу и куда должна прийти завтра вечером. Нет, не провожайте меня,— запротестовала она.— Не беспокойтесь.

Спускаясь по лестнице, она повторяла мои слова: «В семь часов у фонаря. Фонарь там один, не ошибетесь, он у самого моста, там, где кончаются заросли камыша; в этом месте в речку сбрасывают мусор».

Я глядел ей вслед из окна. Она уходила в ночь, словно бежала от меня. Но мы уже познакомились. Нам теперь не уйти друг от друга.

На другой день я сказал:

— Знаешь, за кого я тебя поначалу принял? За одну из тех девушек, что разносят по домам для рекламы образчики стирального порошка.

— Там, в Милане,— сказала она,— приходилось заниматься и этим.— Она пристально взглянула на меня, по своей привычке чуть-чуть наклонив голову.— Ты знаешь, я сперва даже испугалась.

Мы смотрели только друг на друга, как бы отделенные от остальных стеклянной стеной.

— Еще до того, как ты заговорил о доме с двумя выходами, я вспомнила про мальчика из типографии. Мой отец то и дело тебя расхваливал. Подумала: «Может, это он и есть». Ведь четыре года прошло. За все эти годы я ни разу не вспомнила о тебе. Даже не знала, каков ты собой. Ничего про тебя не знала.— Она вздохнула, покачала головой.— Платили так мало, а ноги по вечерам гудели от усталости. Ты даже не представляешь, каким скудоумным выглядит человечество, если судить о нем по домашним хозяйкам. Сначала они так недоверчивы, но стоит подарить им безделушку — и можно смело очистить весь дом.

Следуя необычному ходу своих мыслей, к которому я привык не сразу, Лори сказала:

— Странно, кажется, со вчерашнего вечера столько воды утекло.

Я не удержался:

— Одна жизнь кончилась, началась другая.

Тут я вытащил сигареты из кармана. На ветру пришлось зажечь три спички сряду — так дрожали руки, покуда она закуривала! Мы сидели у речки под фонарем подле мостика, где расходятся дороги к горе Морелло и Горэ. Туман рассеялся, над нами, над окутавшим нас мраком — конус света, ветер с холмов заставляет шептать камыши.

— Лучше скажи что-нибудь, чем так на меня глядеть.

Зеленые и черные осколки светятся и пляшут в ее глазах, на сером, почти стальном фоне. Все слилось в ее взгляде — насмешка, жестокость, нежность. Когда я гляжу ей в глаза, мне кажется — я непобедим, и в то же время мной овладевает беспредельная усталость. Так у меня бывало с Электрой, с Розарией, даже с Паолой, с девушками, которые приходили на танцы; мы с друзьями сняли комнату, которую я прозвал «берлогой». Но сейчас это не пантомима, сейчас не до притворства и ложного смущения, которые можно отбросить одним взмахом руки. Она настоящая, нет на свете ничего подлинней ее присутствия. Нужна вся моя сила, чтоб глядеть на нее.

— Ты ждала, что я тебя поцелую? — спросил я.

— Больше не жду.

— А я хочу! Только сначала должен тебе объяснить, чего я хочу.

— Можешь не объяснять.

— Это было бы вполне естественно...

— Зачем торопиться?.. Еще не время... Ты знаешь, мы могли бы — не сейчас, а попозднее — зайти погреться в кафе, возле моего дома. Впрочем, и дом не мой. Все там кажется чужим, но только оттого, что он — новый, недавно построен, нет телефона и еще не включено отопление. Я должна воевать и за шкафчик в ванной, и за право слушать пластинки по вечерам. Видишь, какая я рассудительная. Поначалу и не подумаешь.

Она машинально открыла и закрыла сумочку. Прошлое вторглось в настоящее, я еще был для нее чужаком, который ей во всем поддакивал.

— Я сразу должна найти работу,— добавила Лори.— За эти годы изменился лишь номер дома. Теперь я заново привыкаю к прежней жизни. Утром была у сестры, она замужем и живет на самой набережной Арно, только, конечно, в полуподвале. Если не работать, худо мне придется с этой занудой, на которой женился отец.

— Помнится, твоя сестра иногда заходила в типографию. Она как будто на тебя непохожа.

— Нет, похожа. Когда-то мы были совсем одинаковые.— Она молча покачала головой, словно освобождаясь от неведомых мне мыслей.— Значит, ты говорил о жизни. Это серьезная штука.— Она положила мне руки на плечи, прижалась ко мне лицом, потерлась своим носом о мой.— Ты меня проводишь домой? Давай. Я разрешаю,— и тотчас же спрыгнула на землю и, отступив на два шага, протянула мне руки. Мы расстались с ней у домов, где живут греки, по ту сторону рва. Окна у Розарии светились, я видел, как она сидит и дожидается.

— Взгляни на это окно. Стоит мне только свистнуть под ним, и сегодня вечером я бы избавился от одного желания.

— Ты сделаешь это?

— Нет. Только так говорю, чтоб тебе объяснить, что я имел в виду.

— Думаешь, не поняла? — сказала Лори.— Может, все оттого, что я здесь в Рифреди новенькая,— и она убежала, помахав мне рукой.— Пока, до завтра!

Я даже не зашел в Народный дом. Не стал искать ни Дино, ни Армандо, ни Бенито. На мостовой стоял оставленный мной мотоцикл. Я умчался на нем, чтоб в этой гонке найти разрядку.

— Отчего так поздно? — встретила меня Иванна на пороге кухни. Мы вместе поужинали.— Целыми днями друг друга не видим.

Вот натерты полы, вытерта пыль с мебели и окон, и она перед уходом готовит суп, жарит картошку с овощами, отваренными заранее. Потом семь часов в кассе. Подсчитана выручка, несколько шагов от кино до автобуса, еще несколько от автобуса до дома, знает — ее ждет накрытый стол, зажженная газовая плита.

— Бруно! — раздается ее голос еще с лестницы. Я открываю дверь, мы обнимаемся.

Я возвращался домой раньше ее, в десять, в половине одиннадцатого.

«Условный рефлекс,— говорил Дино,— мама и суп». Да еще усталость после дня, начатого в семь утра. Ей, как всегда, хотелось разговаривать. Такой иронией насыщена ее болтовня о всяких пустяках, что мне иной раз даже интересно послушать. В последнее время постоянным персонажем ее рассказов стал господин Сампьери, директор кинотеатра, ее начальник.

— Выглядит, как старый дед, медлителен, как улитка, капризен... Еле волочит свое толстое, как бочка, брюхо. Его разнесло от жадности, но он-то жалуется на водянку.

Потом шли невзгоды билетерш:

— Ведь у каждой своя жизнь! — Иной раз она, словно роман с продолжением, пересказывала историю ревнивого киномеханика, заставлявшего свою жену сидеть в партере от первого до последнего сеанса.— Ну, о самом Сампьери лучше не говорить! А чего стоят дни, когда люди суют в кассу одни бумажки по пять или десять тысяч лир! В субботу, двадцать седьмого каждого месяца, такие деньги водятся даже у тех, кто на стоянке сторожит чужие машины... Что у нас сегодня на ужин?

Она мгновенно переодевалась.

— Вот теперь мне полегче. Утомительно работать стоя, но высидеть столько часов на табуретке, даже с подушкой, тоже тяжело! — Она выхо-

дила из ванной в комнатных туфлях, в переднике.— Минутка, и все готово! — Возилась у плиты, накладывала еду на тарелки.— Ну, а что у тебя?

Я рассказывал ей про дела в мастерской, про друзей.

— У Бенито голова все еще забита этими странными идеями.

— Его заедает чувство неудовлетворенности, мама. Нужно его понять.

— Неудовлетворенности, а может, он просто свихнулся?

— Он поэт.

Видя, как я серьезен, она со мной соглашалась. Мы сидели друг против друга за столиком в кухне, толковали о работе, а чаще о разных преступлениях и процессах, которыми старики увлекаются даже больше, чем мы спутниками или спортом.

— Я за Инноченти *,— говорит она. Потом вдруг, словно делая открытие: — Эти девочки гречанки действительно такого легкого поведения?

— Они работают в наилегчайшем весе, мама!

Она на мгновение отводит взгляд в сторону.

— Знаю, ты ждешь свою Эву-Мари. За тебя я спокойна.

Я отправлялся к себе почитать, она убирала со стола и потом приходила ко мне выкурить последнюю сигарету, молча посидеть у края кровати.

— Уже полночь,— мягко говорила она,— раздевайся.— Я рассказывал ей о только что прочитанной книге или статье.

— Теперь, мама, пора спать. Спокойной ночи!

— Ох, у меня еще столько работы!

— Представляю себе, сколько времени ухлопаешь на одни бигуди, не говоря уж о косметике...

— Да ну, просто смягчаю лицо кремом. Я ведь сижу перед публикой, ты это должен понять.— Она приоткрывала дверь.— Смеешься? Разве я и вчера то же самое говорила?

Порою мы вместе отправлялись в бар — пили кофе, пиво, пунш, ели мороженое, смотря по времени года. Приходили мои друзья. В баре — проигрыватель. Она заставляла себя упрашивать. Танцевала, как девушка, просто класс, в очень четком ритме.

— Ты сегодня нарочно не смыла косметику,— говорил я.

— А ты уж и заметил, господин прокурор?

Дино говорил, что оба мы «невероятные существа». «Вам даже позавидовать можно — производите впечатление».

Словом, в конце концов что-то вроде Джо с его матерью. Мы не скрывали друг от друга свои слабости, это приводило к нежной, честной откровенности. Наша общность мне казалась естественной. Думалось, я ее этим вылечу. Улеглась и тревога, которую внушали новые вспышки ее навязчивой идеи, они бывали все реже, но эти мысли еще гнездились в ее мозгу, «терзая по ночам». Я ее утешал, и она успокаивалась. В конце концов все не так страшно, раз уж ей без этого не обойтись. Мы уважали друг друга. Ее любовь к недомолвкам ни в чем не уступала моему желанию знать все. Возникло равновесие, но его легко могли нарушить даже несколько неосторожных слов.

— Я беспокоилась. Ты не подумал об этом.

— Есть что-нибудь горячее? Я голоден, как сто чертей.

— Ты знаешь, скоро двенадцать.

— Не впервой!..

— Ты всегда оставлял мне записку.

* Обвиняемый на одном из сенсационных судебных процессов в Италии.

— Я, мама, сегодня веселый. Ты меня не расстраивай.
— Ясно, значит, я тебя только расстраиваю.
— Да нет же!
— Значит, ты ничего мне не скажешь?
— Я проголодался.
— Поспорил с Бенито?
— Я го-о-о-лоден!
— Поссорился с кем-нибудь в мастерской, может, с Паррини?
— Да нет же.
— Что же с тобой случилось?
— О, господи!.. Перестань меня терзать...

Мне пришлось улыбнуться. Я и сам не понимал, почему не хотел ей обо всем рассказать. Но я ничего не сказал ей вчера о появлении Лори, а сегодня потребность молчать еще усилилась. Мы поели, не проронив ни слова, она даже не зашла пожелать мне спокойной ночи.

Глава 20

Говорят, будто счастье — вроде сошедшей на тебя благодати, которую хочется распространить на весь мир, что оно подобно снегу, укрывающему от холода брошенные в землю зерна, или лучам солнца, под которыми золотятся колосья. Это ложь. То, что человек привык называть счастьем, лишь пародия на него, отождествлять душевное равновесие с материальным благополучием свойственно нищим духом. Превосходный тому пример — Паола, так быстро вошедшая в роль хозяйки трактира. По-своему счастлив и Джо, но привязанность его к матери, все эти прелести домашнего уюта отнюдь не развивают разум, навсегда удерживают его на грани детства. Этого не скажешь о моих отношениях с Иванной — всегда, даже в минуты настоящего покоя, они оставались напряженными, сложными, тем самым способствуя формированию моей личности не меньше, чем дружба с Милло и похождения у крепости или на берегу Терцолле с Дино и Бенито. Теперь мне ясно: счастье — всегда тайна, всегда исключение из правил, всегда испытание, оно — сама нежность, сама жестокость. Оно может быть прочным и светлым, как здание из железобетона с огромными стеклянными окнами, и зыбким, подобно отражению в воде. Не только порыв ветра, но даже тень случайного прохожего способна разрушить его. Счастье — многолико. У моего счастья — лицо Лори, полное тайны.

Лори утверждает, что счастье «старо как мир», однако оно с каждым днем молодеет, приобретая наши черты, черты нашей любви, известной лишь нам одним и все же временами скрытой и от нас туманной завесой. Нас словно разделяет стеклянная стена: мы видим друг друга, оставаясь недосягаемыми; оцепенели руки, погасли взгляды, онемели губы. Так бывает, когда в наш мир вторгается нечто чуждое, подчас вынуждающее нас сматывать веревочку бумажного змея, за которым мы стремились в облака. Правда, после третьей встречи этого с нами почти не случается.

Она пришла вовремя, сказала:
— Мне хочется сегодня повеселиться. Куда пойдем?
— В кино?
— Нет. На глупом фильме соскучишься, на интересном — придется... размышлять...
— А если смешной?

Она взглянула на меня исподлобья, как бы желая понять, шучу я или нет.

— Что ж,— сказала она,— не грех и посмеяться.— Но тотчас же добавила: — А почему бы нам не потанцевать? Конечно, я не рассчиты-

ваю, что ты за пять минут устроишь для меня вечеринку... Но должно же быть такое место...

— Где, здесь, в Рифреди?

— Я подумала о «Красной лилии».

— На шоссе?

— Ну да,— улыбнулась она.

— Я никогда там не был.

— Раньше я там бывала, как у себя дома. Поехали! — Она уже сидела на мотоцикле и держалась за меня.— Есть у тебя чудесное свойство: ты не любопытен.

Кончили рокк и начали медленный танец. В этот субботний вечер зал был переполнен. В перерыве между танцами мы сели за столик. Она заказала виски, я — негрони*. С нашего места можно было различить трибуну старого стадиона, откуда при свете луны открывался чудесный вид. Мы чувствовали себя как в душной теплице. Сходство это усугублялось зелеными растениями, окружавшими оркестр; на столике стояла пепельница и вазочка с цветами, которую Лори сразу же от себя отодвинула. Залитая асфальтом большая площадка еле вмещала танцующих, теснота особенно сказывалась во время танцев, требовавших четкого ритма. Я держал Лори за талию, она положила мне руки на плечи.

— Не могу понять — ты меня стесняешься или всегда такой сдержанный? Ты мне в тот вечер понравился оттого, что держался куда свободнее,— сказала она.

— А каким ты желала бы меня видеть?

— Ну... Таким, как есть.

— Это смотря по обстоятельствам,— ответил я.— Если б ты захотела...

— Значит, ты бы себя повел нечестно.— Она остановилась, заглянула мне в глаза, и я с трудом выдержал этот взгляд, в котором веселость смешивалась с непривычным вызовом.— Думаешь, я не могу уйти, оставив тебя здесь одного? Разве хорошо ловить меня на слове? Разве от этого крепнет наша дружба?

Нас влекло друг к другу. Мы боялись вспугнуть зарождавшееся в нас чувство, предвидя, что оно не будет ни ложным, ни обычным. Мне уже верилось, что любовь моя столь же естественна, сколь необычна, но в то же время я понимал, что любая мелочь, любая неосторожность могли привести к утрате, которую я бы не перенес.

— В тебе, кажется, только и есть, что ты хорош собой,— добавила она.

Я не нашелся, что ответить. Ее стремление к ясности было и моей потребностью. Я сам, пусть и бессознательно, взял себе за правило быть честным в отношениях с другими (с друзьями, с Иванной). А вот с ней, из желания понравиться, повел себя двусмысленно, банально, в одно мгновение разрушив доверие, зародившееся в первый вечер. Она по-прежнему держала руки у меня на плечах и пристально на меня глядела. Но теперь я ощущал в ней настороженность, словно она ждала моего ответа, который бы мог решить все. За ее внешним безразличием скрывался вызов, так я понял. (Позже она призналась: «Меньше всего ждала от тебя такого. Понравился ты мне с первого взгляда, но до той минуты мне казалось, что это простой флирт, а потом все стало очень серьезным».)

Я был вынужден подавить свой гнев.

— Итак, я хорош собой,— заметил я не без язвительности,— что ж,

* Итальянский коктейль.

слышу это не впервые! — Но музыка звучала громко, вокруг нас шумели, и Лори могла меня не расслышать. Руки мои дрожали, было неимоверно трудно оторвать их от ее талии и нежным движением коснуться запястий — таким сильным было желание схватить ее, сжать в объятьях. Мускулы напряглись так, будто я только что ворочал тяжелые детали, лоб покрылся испариной, ворот рубашки прилип к шее. Прикосновение к ее коже, к нежным кистям маленьких рук меня успокоило, успокоил и взгляд, теперь снова доверчивый, приветливый, и голос, промолвивший:

— Я ошиблась.

Мы вернулись к столику. Я залпом проглотил остаток негрони, она медленно потягивала виски. Потом достала сигарету, зажгла спичку и тут же задула ее, чтоб воспользоваться зажигалкой, которую я, чуть замешкавшись, предложил ей.

— Специально купил нынче утром.

— Какая прелесть. Серебряная?

Я назвал цену. Это было очень глупо, но мне ужасно хотелось намекнуть ей, что сегодня не только суббота, но и день получки за полмесяца. Вот откуда у меня деньги.

— Если хочешь,— сказал я,— можно взять напрокат машину — на мотоцикле будет холодно! — и съездить к морю.

— Но это же очень далеко! — Она одернула жакетик своего коричневого спортивного костюма с короткими рукавами, выше локтя. Ее белая кожа благоухала так тонко, голос звучал так насмешливо.

— Сто километров, доедем меньше чем за час. У меня уже полгода права, а водить я давно умею. Просто изумительно вожу машину. Сначала научился водить грузовые «доджи» — дружил с шоферами грузовиков,— потом легковую. Давай поедем! У Чинкуале теперь должно быть так хорошо. Говорят, летом все побережье от Виареджо до Форте * кишмя кишит людьми. Я там не был с самого детства. С субботы на субботу откладывал эту поездку, теперь самый подходящий случай. Когда наступает жара, мы купаемся в Арно, наша Терцолле ведь вся пересыхает, ты видела; впрочем, и зимой в ней воды не сыщешь — столько туда кидают всякого мусора. Что ж, в утешение нам говорят, что Florence Beach все равно что Сен-Тропез, Санта-Моника ** или Сочи. Знаешь, я ведь ни разу никуда не ездил. Мне через год с небольшим исполнится двадцать. Обо всем сужу, обо всем болтаю, а сам даже в поезд ни разу не садился. Расскажи мне про Милан, что за город?

Вместо ответа она спросила:

— Ты сказал: «Мы купаемся». Кто это «мы»?

— Друзья. Те, что три вечера подряд ждут меня в Народном доме или в баре. Я тебе про них говорил.

— Они подумают, ты нашел себе девушку и не хочешь ее никому показывать. Разве не так?

— Разве не так? — передразнил я ее.

Она покачала головой, стряхнула табачинку с уголка рта. Тут я не выдержал — о чем Лори потом не раз вспоминала. Когда снова заиграл оркестр и она стала подниматься из-за столика, я удержал ее, положив ладонь на ее руку.

— Послушай,— сказал я,— давай поставим на этом точку и начнем все сначала. Мы остановились на том, что я нелюбопытен. А на самом деле я любопытен. Может, к тому же и застенчив, не знаю. В тот вечер я вел себя нагло, потому что ты казалась призраком, я должен был за тебя ухватиться, чтоб ты не исчезла.

— Но я здесь.— Она снова села и, откинувшись на спинку стула, сложила руки на коленях.— Понимаю,— сказала она.

---

* Виареджо и Форте-деи-Марми — известные приморские курорты.

** Флорентийский пляж *(англ.)*, Сен-Тропез и Санта-Моника — известные курорты.

— Ты ждала, что я поинтересуюсь, почему здесь, в «Красной лилии», ты чувствуешь себя как дома?

— Боже мой! — воскликнула Лори.— Меня узнала только гардеробщица!

— Но она спросила: «Где вы так долго пропадали?»

— Она еще добавила... ты просто забыл.

— Нет. «Думала, вышли замуж»,— вот что она добавила.

— Да, и взглянула, ношу ли я обручальное кольцо.

— Этого я не заметил.

Я сидел лицом к ней, облокотившись на стол, подперев ладонью висок; она словно замерла. Так мы с ней и беседовали.

— Кто он? — спросил я.— Мне это не так уж важно, но раз ты сама настаиваешь...

— О, Бруно!— проговорила она, вспыхнув.— Мы с тобой настоящие друзья.— Она вскочила и поцеловала меня в щеку.— «Его» никогда не было, меня окружали такие же безразличные мне люди, как те, кого ты здесь видишь. Не мрачней, дурачок. Я никогда не была ничьей собственностью. До сих пор жила сама по себе.

— Ну, а теперь?

— Может, буду жить для кого-то.

— Я так этого хочу!

— Что ж, посмотрим...

— Чего смотреть?

— Подойдем ли мы друг другу,— сказала она.

Мы уже могли разговаривать с ней совсем просто, без намеков, без обиняков. Мы оба свободны, молоды, нежность наша превращается в любовь, как чугун становится сталью в негаснущем мартене.

— Впрочем, был и у меня «кое-кто»,— продолжает Лори,— вернее, не у меня, у сестры. Жених ее. Я, по старому обычаю, всюду за ними таскалась, так сказать, присматривала: вертелась у них под ногами. Все ради отца, чтоб жена его не ворчала. Это наша скучная семейная история. Я сбежала в Милан, чтобы от этого избавиться. Теперь вот вернулась.

— Чудесно, что вернулась.

— Да, теперь чудесно,— согласилась она.— Не то, что раньше. Впрочем, в Милане у брата тоже было невесело. Знал бы ты, до чего обуржуазилась его жена! Все напоказ, как на выставке. В доме стиральная машина, соковыжималка, голосуют за социалистов, ходят в церковь. Сам понимаешь — «Большой Милан»... По воскресеньям Корсо Лоди совсем как деревенская улица. Знаешь, они такие порядочные, такие надежные, настоящие герои телевизионных передач...

— Ну, а брат?

— Женился и ничем не отличается от остальных: ходит на охоту, вступил в клуб «Интер», купил «сеиченто»*, а потом и моторку.

— Он что, типограф, как и отец?

— Нет, бросил это занятие, устроился в газету корректором, а теперь служит в администрации. Любит «чистую» работу, никогда бы не встал за наборный станок. Отцу некому будет передать дело. Брат о сурьме говорит, как о проказе.

Я еще не привык к переливам ее мыслей, к внутренней логике ее мышления. Стремясь высказаться до конца, она движется к цели как бы концентрическими кругами и, дойдя до сути, запечатлевает ее в нескольких словах, врезающихся в память.

Несмотря на показное безразличие, этот начатый и неоконченный разговор не давал мне покоя, и я снова к нему вернулся.

---

* Малолитражная машина фирмы «Фиат».

— А до отъезда ты приходила сюда?

— Приходила каждую субботу и воскресенье вечером вместе с Дитой и с Луиджи. Он, кстати, обижается, когда его зовут Джиджино*. В сезон здесь бывает открыта еще одна площадка, вдвое больше этой... Неужели ты тут впервые? Так по сравнению с тобой я настоящая старуха! Подумать только, что мы сюда ходили три или четыре года назад, и я уже была такая, как теперь, только, может, чуть потоньше. Джиджино ел меня глазами, но я танцевала со всеми, кто приглашал. Бывало, ни одного танца не пропущу.

Она закашлялась от дыма. Так было и в первый вечер, губы ее стали влажными.

— Только никогда не говори, чтоб я меньше курила, прошу тебя. Так говорят старики. Стоит повторить их слова, как сам постареешь.

— Верно... Значит, ты бывала здесь с сестрой и ее мужем?

— Да. Иногда приходил и Франко, его брат. Мальчик всегда меня стеснялся. Такой маленький, сущий сморчок. Теперь он в армии.

— Ну, раз его взяли в солдаты...

— И рост крохотный, и мозги куриные. Разве возраст соответствует тому, что в метрике значится? Красота, ум, восприимчивость — вот по чему можно судить о возрасте! Поженившись, Джудитта и Луиджи поселились у его отца, портье в особняке на набережной Арно. Луиджи работает, он электрик. Не просто монтер: он изготовляет неоновые вывески, устанавливает сложное оборудование — словом, мастер.

Когда они перестали проводить вечера вместе и связь с сестрой, к которой Лори очень привязана, оборвалась, ее отношения с мачехой совсем испортились. Все страдали от этого, особенно отец.

— Он хороший человек, ты ведь знаешь его. Только слабый, бесхарактерный. На ней он женился через год после смерти матери, когда я еще в школу ходила. Мачеха оказалась ханжой с допотопными взглядами. Она всерьез считала, что призвана быть хозяйкой дома и воспитательницей. Ради общего спокойствия мне оставалось только уложить чемодан.

— Почему же ты вернулась?

— Плеврит,— сказала она.— Я о нем, кстати, и думать забыла. В первую же зиму в Милане перенесла болезнь на ногах, это и подорвало мне здоровье. Впрочем, все это ерунда, снимки у меня великолепные, я даже раза два была донором. Но послушал бы ты брата с женой. Они уверяли, что еще одна зима на севере меня угробит, тем самым давали понять, что мое присутствие им в тягость... Видишь, я не так романтична, как тебе представлялось,— закончила она.— Девушка, которая ссорится с мачехой и со всей родней, вряд ли выглядит привлекательно. Прости, я тебе наскучила, но мне хотелось как-то отвлечься, поговорить о другом.

— Значит, мы друзья, это твердо? — спросил я.

И как в первый вечер, так же подчеркнуто, но придавая своим словам иное, определенное значение, она спросила:

— Ты все еще думаешь о любви?

— Конечно. Я не стыжусь сказать тебе «люблю». Это правда.

— И тебя тянет ко мне?

— Есть и это. Но не только.

— Начнем с того, что ты меня поцелуешь.

Нежная, полная ласковой силы, в минуту поцелуя она напоминала Электру и Розарию и в то же время была иной — простой и чистой. Прикосновение ее руки к моему затылку было легче пуха и вместе с тем пронизывало тысячью игл...

Музыка умолкла, снова зажглись огни.

---

* Джиджино, Джиджи — уменьшительное от Луиджи.

— Как ты думаешь, зачем я рассказала тебе о своих маленьких невзгодах? — спросила она потом.— Это ведь далеко не самый лучший способ развлечься... Но ты так помрачнел!.. Скажите, пожалуйста, мальчик только и делает, что прикидывается ревнивым. Эх ты, несмышленыш. Думаешь, отбил меня, похитил... Тоже мне, похититель! Просто у меня выбора не было. Да и денег тоже. Я решила тебя довести, чтобы заглушить чувство стыда (сама ведь напросилась на приглашение!). А когда поняла, что у нас с тобой все так всерьез, то решила с самого начала избавить тебя от сомнений насчет моего прошлого. Сама я тоже была не в себе, ты во мне все перевернул.

Глава 21

В то воскресенье мы встретились ранним утром, а в девять уже мчались навстречу сильному ветру вдоль по Камерате. Потом свернули у Сан-Доменико и, как заправские туристы, устроили привал у Панорамы. В пути она сидела, съежившись за моей спиной. Лицо прикрыла косынкой, как чадрой, подняла воротник пальто, натянула шерстяные перчатки.

— Лыжи ты не захватила?

— Мерзну, как на Монблане. Честное слово!

Я растирал ей спину, помогая согреться; мы прыгали с ноги на ногу и хохотали.

— Может, пойдет снег,— сказал я.

— Первый снег всегда радует, но потом одна тоска.

Внизу сплошные крыши, колокольни, башни, купол собора походил на огромное яйцо, ко всему этому мы остались равнодушны, а вот вереница холмов с еще уцелевшей зеленью была поразительно хороша. Утопавшие в голубоватой дымке утра холмы тянулись своими вершинами к серым, стального цвета облакам, за которыми пряталось солнце.

— Какая красота! — сказала она.— Но как-то все замерло и словно недостает чего-то.

— Труб и цехов Рифреди.

— Город отсюда похож на кладбище, кажется, люди в нем погребены...

— ...как старики в бомбоубежищах, про которые они так любят вспоминать...

— ...как в катакомбах...

— ...как в противоатомных убежищах...

— ...как древние христиане.

Тесно прижавшись друг к другу, мы одним махом пересекли Фьезоле, помахали двум всадникам — Гарибальди и Виктору-Эммануилу II, увековеченным в минуту их встречи. Казалось, они приветствуют друг друга на берегу воображаемой Вольтурно *.

— Отцы родины! — воскликнул я.

— Нас арестуют! — прокричала она в шутку.— А теперь куда?

— Туда, где я как дома!

Это местечко мы обнаружили прошлым летом вблизи города, там, где от Винчильята до Сеттиньяно протянулась роща пиний. В одну из суббот мы проезжали мимо на машине Армандо, куда едва втиснулись между двумя девушками из универмага и подружкой Бенито по лицею. В ту ночь мы возвращались из своей «берлоги», там, когда собрались все съемщики, негде было повернуться; Джо отправили спать, а сами

* Место встречи Гарибальди с королем Пьемонта.

поехали наугад, куда глаза глядят,— и вдруг наткнулись на огни ресторана. Выключив мотор, услышали — здесь крутят пластинки. Светящаяся вывеска «Petit bois» * решила все.

Теперь я отправился туда вместе с Лори — это не могло запятнать нашей любви. Мы ехали сквозь начинающуюся метель; в холодный утренний час эта езда как бы очищала нас. В загородном ресторане ни души. Пусто на дорожках, выключена кофеварка. Бармен с помощником посыпал опилками пол в зале для танцев, они и не взглянули в нашу сторону, когда мы сели за столик посреди застекленной террасы.

— Как в кабине вертолета,— сказала Лори.— Внизу город, над нами небо. Его, конечно, не видно из-за потолка, но можно себе представить.

Я глядел на нее с восхищением. Она расстегнула пальто, развязала шарф, поправила челку на лбу.

— Наверно, надо привести себя в порядок?

— Ничего не надо. Ты просто прелесть.

— Попробуй скажи, какой ты меня видишь. Найди для меня слова.

— Ты вся светишься — как луна.

— Мало. На луну русские полетят раньше тебя. Хорошо, ты хоть не назвал меня солнцем.

— Ты красивая. Этого с тебя достаточно?

— Достаточно? С меня?

— Когда ты сказала вчера, что я красивый, мне захотелось тебя задушить.

Запрокинув голову, она засмеялась. В ней никогда не было вульгарности... Наклонившись ко мне, Лори меня погладила по щеке. Я взял ее руку, поцеловал в ладонь. Уже совсем серьезно, чуть надломленным голосом поделилась она своей вчерашней тревогой.

— Знаешь, я многое поняла,— тут она на мгновение опустила веки.— Мне понравилось, что ты воспринял мои слова, как мне того хотелось. В общем, оказался не куклой, а человеком.

Мы сидели за столиком друг против друга и держались за руки. Потом она поднялась, села рядом, прислонила голову к моему плечу:

— Ты сегодня спал?

— Да. Прости, даже ни разу не проснулся.

Ответ ей понравился, она потерлась лбом о мою руку:

— Я тоже. Значит, у нас все всерьез. Ни угрызений, ни тревог...

Наконец бармен удостоил нас вниманием, мы заказали горячий шоколад и пирожные, уничтожили все, что нам принесли, хотя оба до этого завтракали.

— Я тебя угощаю,— сказала она.— У меня сегодня куча денег.— Она покрутила головой, окончательно освободившись от шарфа.— Мне кажется, я снова стала маленькой, и, знаешь, это не такое уж приятное состояние. Теперь отец выдает мне деньги на карманные расходы. Он думает, что я сейчас у сестры. Я снова как будто прогуливаю уроки. К счастью, скоро начну работать.

— Где?

— У меня ведь есть специальность!

Я знал, она говорила мне: там, в Милане, у нее была работа по рекламе. Во время ярмарки она обслуживала стенды, позировала для снимков, рекламирующих холодильники. Еще я знал, что с полгода она простояла за конвейером на фабрике «Мотта», на упаковке кондитерских изделий.

— Что я, по-твоему, умею делать?

— Я только сейчас об этом думал. Девушки, которых я знал, ра-

---

* Лесок *(франц.)*.

ботали на заводе, торговали на черном рынке, служили продавщицами в универмаге, учились.

— Так много девушек? — улыбнулась она.

— Много,— ответил я,— им нет числа.

— Какой ты глупый. Ну, давай вместе подумаем: я могу быть...

— Скажем... цветочницей.

— Еще один вариант. Очень мило. Но с тех пор, как мать умерла, я терпеть не могу цветы. Она скончалась в больнице от рака, ее перенесли в часовню, вместе со всеми, кто умер в тот день. Не забыть никогда тошнотворный запах цветов.

Я не успел раскаяться, что вызвал эти воспоминания. Она помрачнела лишь на мгновение и тотчас вновь стала прежней.

— Я театральная костюмерша,— сказала она.— Меня опять приняли в театр «Коммунале», где я работала до отъезда. У них как раз уйма заказов — самый сезон. Ты и представить себе не можешь, как весело за кулисами! Как чудесно в артистических уборных! Теперь, когда наши сопрано походят на обычных женщин, а не на слоних, одевать их перед выходом — одно удовольствие! Конечно, у звезд свои портнихи, мое дело — кордебалет, но все равно мне ужасно интересно возиться с их нарядами. Наработаешься, конечно... Зато в вечер премьеры все так и кипит: всегда что-нибудь нужно поправить, пришить, приладить —перо, оборку... Поначалу мне доверяли самое несложное. Готова спорить...

— Незачем,— ответил я.— В жизни не бывал в опере, ни за кулисами, ни в партере. Разве опера — для молодых?

— Нет, конечно, только, если уж серьезно говорить, в опере нужно видеть выдумку, фантазию, тогда и музыка увлекает.— Она замолкла, словно тема эта и для нее самой не была ни ясной, ни легкой. Потом обняла меня.— Воображаю, как это все тебе интересно...

— Интересно — раз это твоя работа, раз это нравится тебе.

— Да, нравится. Хочу получше изучить дело, обеспечить себе заработок, а значит, и независимость — и вообще...— Мы поцеловались, губы ее хранили привкус шоколада. Она высвободилась из моих объятий.— Ну, а как ты, что у тебя с работой? Какая у тебя мать? И что за идеи в голове? До сих пор ведь ты все это обходил молчанием...

Тогда я заговорил о себе, о себе сегодняшнем, а не о том, как я стал таким, пробиваясь сквозь добро и зло; умолчал и о моих отношениях с Милло и о навязчивой идее Иванны. Только намекнул насчет друга семьи, который «в какой-то мере заменял мне отца». Она, должно быть, знает его: он приятель ее отца и устроил меня в типографию на Борго Аллегри; Иванну я описал ей, как «женщину волевую — со всеми достоинствами и недостатками матери». Сказал, что жизнь ее поневоле сложилась трудно: она осталась вдовой в двадцать лет. А вторично выйти замуж не захотела, оттого что слишком заботилась обо мне. В последнее время у нее нервы совсем расклеились. Но говорить обо всем пришлось вкратце: Лори слушала невнимательно, разглядывала свои ногти, не поощряла к настоящей откровенности. Наконец я понял, что углублять эту тему не стоит, что главу о стариках можно на этом закрыть, и принялся, то сдержанно, то горячась, излагать свои идеи, рассказывать о работе. Говоря в тот день о себе, я смутно желал, чтоб слова мои дошли до ее сердца, как дошли мои поцелуи...

— В типографию к твоему отцу я попал случайно, вроде как бы на практику, по специальности я фрезеровщик. Сейчас я в кустарной мастерской Паррини, который прежде был рабочим на «Гали», теперь же заботится только о собственных доходах, но дело знает. В мастерской восемь рабочих; вместе с хозяином девять, вместе со мной десять, но я

пока лишь ученик. Зарабатываю тысячу пятьсот — тысячу восемьсот лир в день. Для ученика неплохо. Конечно, работа моя приносит хозяину куда больше, но таковы уж порядки в нашем мире. Когда приходится кого-нибудь заменять, мне доверяют ответственные задания — например, нарезку гаек. Впрочем, наша мастерская только обрабатывает детали для ткацких станков и для чулочного производства.

— В чулках я б еще могла разобраться,— сказала Лори.— Все остальное, сам понимаешь, темней алгебры.

— У нас самая немудрящая работа на свете. Ты только представь: работаем на старых «цинциннати» — таких, как во времена Муссолини; а на «Гали» самое современное оборудование, например, «женевуаз», огромный фрезерный станок с точностью до одного микрона, он установлен в цехе с кондиционированным воздухом. Об этом станке я знал из книг и по рассказам Милло, хотя и он никогда на нем не работал. Работу на «женевуаз» доверяют только техникам, обслуживают этот станок люди в белых халатах, одетые, как врачи. Но у меня диплом, он мне поможет пробиться.

Два месяца назад меня вызвали вместе с тридцатью другими ребятами. Впервые переступил я порог «Гали», но нас сейчас же повели в цех, и я ничего не успел увидеть, кроме аллей, обсаженных олеандрами, да столовой. Диплом дипломом, а мне — впрочем, как и всем остальным,— пришлось еще раз обработать пробную деталь. Рядом со мной трудился Джо, он то и дело подмигивал мне... Был солнечный день. Металл под напильником казался мягким, как глина. Закончив свою деталь, я ответил на вопросы. Когда меня стали спрашивать насчет моих идей, я сказал, что стою за свободу и справедливость. Они не вдавались в подробности, все обошлось благополучно. Понятия не имею, собирали ли они обо мне сведения через полицию (как перед выдачей патента на торговлю). Теперь меня должны скоро пригласить на завод. Я объяснил Лори, что поначалу буду зарабатывать меньше, чем у Паррини, но зато поступлю на *свой* завод, который для Флоренции все равно что «Альфа», «Марелли» и «Фальк» *, вместе взятые; на «Гали» производят не только ткацкие станки и электросчетчики, но и усовершенствованную оптику.

— Наши бинокли, наши линзы славятся во всем мире.

— Да,— сказала она.— Это славно, что ты готов зарабатывать меньше, выполняя работу потруднее.

— Но зато я буду на большом предприятии, где есть все...— Я не мог найти нужных слов, мне хотелось сказать — «все, что я больше всего люблю», «о чем думаю», но она, наклонив голову, насмешливо взглянула на меня.

— Это идет от политики. Угадала?

— Нет. Это часть моей жизни.— Я закурил сигарету и почувствовал себя человеком, который взошел на трибуну и должен сказать нечто важное.— Я коммунист, хотя и не в партии. Если послушать тех, кто себя считает настоящим коммунистом, так я просто путаник. Есть такие, которые уже в двадцать лет напускают на себя важность, сами скучные и на других тоску нагоняют. Спорят и тут же уступают, боясь сыграть на руку врагу. Нашли чего бояться. Словно у нас, молодых, нет единой с ними цели — уничтожить врага. Про таких говорят, что у них высоко развито чувство ответственности; а на деле выходит — они просто седобородые старики, седина серебрит даже красные знамена.

Я все сильней увлекался своими речами. Лучи солнца прорвались сквозь иней, осевший на окнах, медленно падали призрачные хлопья снега, снежная пыль отливала всеми цветами радуги. Наклонившись ко мне, Лори взяла меня под руку и слушала.

---

* Крупные предприятия на севере Италии.

— Говорят, я анархист: закрываю глаза на действительность, не вижу соотношения сил, делаю тысячу глупостей... Что ж, это верно, мы еще пешком под стол ходили, когда война кончилась, тогда буржуазия была повержена, теперь она снова возродилась. Мы, рабочие, техники, производили все больше и больше техники, вливали ей в вены свежую кровь — золото. Так уж не раз бывало после французской революции. Итальянское «чудо» создали мы — своим разумом, своими руками, мы его задумали, мы же и осуществили. Мы — это индустрия, производство. А капитал? Капитал только сковывает нас, держит в плену. Не правы те, кто верит, будто капитал можно побороть изнутри, постепенно разрушая его сердцевину. Нет, и оболочку нужно разодрать, не то он раздавит тебя своей лапой в ту минуту, когда ты будешь глотать свою корку хлеба,— и тогда уж ничем не поможешь. Мир разделен на классы — вот истина, которую кое-кто пытается опровергнуть, но это единственно верная из унаследованных нами идей. Пусть нынче люди перекочевывают из одного сословия в другое, пусть ширятся ряды пролетариата — основа основ остается прежней: по одну сторону те, кто задумывает, созидает, по другую — обогащающиеся и контролирующие; те, кто потребляет, и те, кто накапливает; те, кем правят, и те, кто правит. Нас утешают словами о всеобщем благополучии, как будто мотоцикл или малолитражка, кино, путешествия, возможность одеваться по-человечески и бывать в «Красной лилии» — роскошь, а не насущная потребность. Нужно, как во времена Метелло,* добиваться всего постепенно, так они объясняют. Будто та «малость», которой добился Метелло и такие, как он, и в те времена не стоила крови. Нет, общественные блага либо должны стать действительно достоянием всех, либо ими окончательно завладеет небольшая кучка тех, на чьей стороне полицейские и попы. Да, они стреляют в нас, когда доходит до дела. Пули и святая водичка служат одной цели. А как вели себя наши старики в годы Сопротивления? Разве они не шли против танков с бутылками горючей смеси? Вот если бы остановить все производство, полностью парализовать его, а потом, выпустив дурную кровь, начать новую жизнь! Мы бы защищали ее с автоматами в руках, если нужно, ракетами бы защитили. Мы верим, что все можно создать заново. Вспомни Фиделя,— сказал я,— вспомни Лумумбу, вспомни Алжир... Они осуществили, они сейчас осуществляют свою революцию. Независимость — это не только освобождение национальной территории. Перед лицом фактов русские помогли бы нам знаешь как? Они сами научили нас революции. Теперь, когда умер Сталин, можно доказать: новый человек — это человек свободный, и чем он свободней, тем новее! Ты скажешь, американцы. Сегодня янки и русские ведут игру, а ставка — весь мир. Мы только подыгрываем, но ведь и мы что-то значим. От липового «благосостояния» мозги американцев затянуло жиром, они, конечно, варвары, но зато это молодая нация, способная на порыв. По сравнению с нами они просто новорожденные! Не сомневаюсь, они тоже нашли бы силы, чтоб убить заключенное в них самих зло, покончить со своим «Дженерал моторз», как мы покончим с нашим «Фиатом» и «Монтекатини», я уж не говорю про «Гали», который в руках у доверенных лиц акционеров. Конечно, «Гали» работал бы куда лучше, если бы вместо них заводом руководил совет, где на равных правах с инженерами были бы и такие люди, как Милло. Милло — старик, но дело он знает как свои пять пальцев.

Такая была у меня тогда мешанина в голове. *Советский Союз, перенесенный в США, но чтоб там была Италия,*— вот до чего мы додумались с Бенито. Мне хотелось, чтобы Лори узнала меня и с этой стороны, чтобы наша любовь включала в себя все.

* Персонаж одноименного романа В. Пратолини, рабочий-каменщик. Действие романа происходит в начале XX века.

— Ты уже упорядочил вселенную,— сказала она, взглянув мне в глаза.— Как ты хорош! Сейчас я могу тебе это сказать?

— Беда в том,— добавил я,— что понимает меня только мой друг Бенито. Конечно, мне с ним не по пути, раз он видит выход в восстановлении фашизма и иного не ищет — только фашизм, мол, способен разбудить уснувших на боевом посту. Нет, с Бенито нам не по пути, хоть он, может, по-своему и прав.— Теперь, посмотрев на нее, я подумал, доходит ли до нее смысл моих слов или она только слышит мой голос.— Ты меня слушаешь? — спросил я.

— Да.— Она сидела, облокотясь о столик.— Да,— повторила она, словно очнувшись от долгого забытья,— думаю, я тебя поняла. Ты из тех, кто верит. Мне это нравится. Хочешь, повторю? Тебе обеспечено место на «Гали» — это мечта твоей жизни, ты готов поступить туда, хотя платить тебе будут меньше.

— Место на «Гали» мне принадлежит по праву. Пусть даже заработок будет ниже...

— Ты уже говорил. Значит, у тебя мечта не расходится с делом. Это мне тоже нравится.

— Просто нравится, или ты в меня поверила?

— Когда мы рядом, я разделяю твою веру,— ответила она.— И сама я, конечно, не фашистка. Пусть твой Бенито на меня не рассчитывает, если ему хочется, чтоб мир стал еще уродливее.— Не без гордости она добавила: — На фабрике «Мотта» я тоже бастовала. Мы чуть не оставили Италию без сладкого на самое рождество! — Потом сказала:— Я почти ничего не слышала о твоей матери. Ты, кажется, все еще держишься за мамину юбку? Или я ошибаюсь?

Она меня застигла врасплох, и я не сразу нашелся.

— Возможно,— сказал я, смутившись.

Лори выручила меня, разрешив себя поцеловать.

Скоро снегопад прекратился. Наш мотоцикл проложил дорожку по заснеженному пути от Винчильята до Сетьиньяно. Когда мы вернулись в Рифреди, снег уже превратился в грязь. Я остановил мотоцикл, не доезжая мостика.

Она сказала, что встретимся вечером, только попозже.

— Хоть на минутку надо забежать к сестре. Подъедешь за мной к девяти. Я буду у статуи Гарибальди, там, где он один, даже без коня.

Глава 22

Памятник пешему Гарибальди, который стоит спиной к парку Кашине, картинно опершись рукой на эфес сабли, и глядит на уходящие вдаль мосты, чем-то походит на карикатуру. Как и многие подобные монументы, он выполняет функции дорожного знака, разделяющего два потока машин. Справа от него — последние дворцы набережной Арно, чуть дальше — рыбный садок Санта-Роза, слева — театр «Коммунале» и ведущие к заставе Прато улицы, названные именами героев Сопротивления. На том берегу — крепостные стены и здания квартала Сан-Фредиано. Эта аристократическая часть города прежде отличалась своим блеском и славилась тишиной. Арно отделяла ее от нищеты и шумных цехов «Пиньоне». Сегодня здесь все переменилось, по крайней мере внешне; движение тут такое, что подле Героя запрещено ставить машины.

— Ты давно ждешь, знаю.

— Уже начал прикидывать, как бы отсюда выбраться...

Казалось, она меня не расслышала.

— Поедем,— и она уселась на мотоцикл.— Отец тоже был у сестры. Хотел, чтоб мы вернулись домой вместе. А Дитта притворно вздыхала, не отпускала меня. Ты уж меня извини.

Зачем она оправдывалась? Это на нее непохоже, это ей совсем не к лицу.

— Давай быстрее,— настаивала она.— Сверни на виа Монтебелло, там, кажется, движение одностороннее.

Что-то не в порядке с зажиганием, может, карбюратор подвел. Сколько ни жму на педаль, мотоцикл — ни с места.

— Сойди-ка,— сказал я и начал подталкивать машину.

Метров через пятьдесят вдруг заработал мотор, и я повернулся к Лори. Она бежала за мной, поскользнулась в тот самый момент, когда я затормозил, повисла у меня на шее, и мы едва не перекувырнулись все трое — она, я и мотоцикл. Все эти пустяковые неполадки расстроили ее. Никогда, даже при обстоятельствах действительно драматических, я не видел ее такой взволнованной, растерянной. Подымаясь, она чуть не сбила меня с ног, уронила сумочку, хотела поднять ее, но помешал поток машин, наконец нам удалось достать ее, и я поставил мотоцикл у тротуара, однако Лори ко мне не подошла, а начала прохаживаться взад и вперед, покусывая губы и поглядывая на небо. Потом прислонилась к ограде и стала смотреть в сторону реки. А мотор все работал. Тут уж я не выдержал и подбежал к ней:

— Что с тобой, Лори?

— Ради бога, дай мне успокоиться,— прошептала она и отвернулась; мне показалось, что она плачет.

Вода в Арно поднялась высоко и пенилась в лунном свете, перехлестывая через запруду. Спустился вечер, похолодало, чистое звездное небо не отражалось в мутной реке. Я стоял рядом с Лори, озадаченный ее тревогой.

— Как река шумит! — вдруг воскликнула она.— Арно спешит к морю, а море ее поглотит.— На ее лице вдруг засияла улыбка, она посмотрела на меня пристально, с нежным лукавством и преувеличенной беззаботностью.— Давай-ка съездим к морю и мы. В Виареджо. Хочешь?

— Замерзнем на полпути.

— Возможно...— согласилась она и без тени насмешки и раздражения, скорее ласково, добавила:— Как ты рассудителен... А вчера вечером...

— Я думал взять напрокат машину. Вчера я мог это себе позволить.— Два виски, два коктейля, плата за вход — от пяти бумажек по тысяче лир ничего не осталось.

Она тяжело вздохнула.

— Я тоже осталась без единой лиры. Почти все ушло на подарок племянницам. Зашла в кондитерскую, решила купить какой-нибудь пустячок и вдруг влюбилась в двух кукол с шоколадной начинкой. До чего были хороши... О цене я, конечно, не подумала. Тут же захотелось купить. Особенно сорванца с шоколадными заплатами на коленях и рубашке. Прямо с ума сошла, говорю: «Заверните!» До чего девочки обрадовались... Нет, все же удовольствие я получила большое...— Мотоцикл тронулся с места. Лори предложила:— Давай вместе поужинаем. Сложимся, соберем всю мелочь.

Мы спустились к площади Республики. Подъезжая к «Киоску спортсмена», я вспомнил — сегодня воскресенье. Здесь было многолюдно и шумно, мы узнали результаты последних матчей, просмотрели театральные программы. Мы в лучшем случае могли себе позволить кино. Как оробевшие дети, прошли мы под портики, забрались в здание почты, в одном из уголков телеграфного зала подсчитали свои

скромные капиталы. Я вывернул карманы, она опорожнила сумочку. В общей сложности — две тысячи лир.

— Ты и в самом деле проголодалась? — спросил я.

— Да. А ты?

— Я могу дома поесть в любое время.

— Зайдем куда-нибудь, возьмем пиццу * или бутерброды, червячка заморим, тогда и на кино хватит. Почему ты на меня так смотришь?

— Послушай,— сказал я.— Может, с тебя хватит рюмки коньяку с леченьем?

— А что?

— Мы тут вместе с друзьями снимаем комнату в складчину. Каждый месяц кто-нибудь из нас по очереди закупает все, что нужно. Ходим туда танцевать. Сегодня воскресенье, может, мы их застанем.

— Чудесно. Отчего ты об этом раньше не подумал?

Не мог же я ей сказать: «Ты бы решила, что я хочу заманить тебя в ловушку». Так же как не мог сказать, что у меня эта мысль возникла внезапно или что я не до конца откровенен. Кого мы могли застать там в девять вечера? Конечно, не Джо и уж конечно не Армандо: он до одиннадцати занят в ресторане. Разве что Бенито с подружкой. Скорее всего там мог оказаться Дино, приходивший в «берлогу» с друзьями поиграть в карты. Мне казалось, что наперекор себе я совершаю что-то дурное, однако, униженный этим и недовольный, я все же чувствовал, как сильно бьется сердце.

— Да так как-то получилось...— пробормотал я, пытаясь исправить положение.

— Чудесно! — повторила она.— Лучше бы там никого не застать!

— У каждого свой ключ.

— Лучше нам быть там одним,— повторила она.— Поставим пластинку, выпьем по рюмке, перекусим.

«Берлога» оказалась в полном порядке — значит, сегодня там еще никто не был. Когда мы зажгли свет и очутились вдвоем в этой комнате с высоким потолком, почти полное отсутствие мебели особенно бросилось в глаза. Я включил проигрыватель «Вариетон», сначала поставил «Кое-что для других», потом долгоиграющую пластинку «Учитесь танцевать блюз» и «Танцуем вместе» с еще шестью или семью песенками — главный номер скромной музыкальной программы. Бенито держал дома свои пластинки, он их приносил и потом забирал обратно. Оставил нам только «Доброй ночи, любимая» в исполнении Эллы Фицджеральд с оркестром Гудмэна, потому что находил эту песенку слишком сентиментальной; а мне она нравилась.

Я сел на диван, Лори — в дряхлое кресло с бархатной обивкой, прозванное «балдахином»; оно нам обошлось в шестьсот лир. Сбросив с головы шарф, не снимая пальто, она сидела передо мной — волосы, как у Жанны д'Арк, коротко подстрижены, стройная шея, красивый нос, слегка очерченные помадой губы, темные с золотой искоркой глаза.

Нас разделяла электрическая печка; включенная всего несколько минут назад, она почти не давала тепла.

— Тебе холодно?

— Нет.

— Выпей чего-нибудь.

Шесть стульев, служивший нам баром и буфетом ящик, который Армандо стащил из своего погреба, стол, за которым закусывали,— на нем же стоял проигрыватель. Перед диваном ковер и кожаная коробка

* Пицца — слоеный пирог с рыбной начинкой.

для сигарет — вклад Дино — довершали убранство комнаты. Стол принес я, за ним прошли мои детские годы, годы, когда я учился читать и рисовать; я от него отказался в тот день, когда переселился в гостиную. Джо его заново отстругал, отполировал. Теперь он походил на мебель из красного дерева, купленную в антикварном магазине. Мы курили и молча потягивали коньяк. Печенья и виски не оказалось.

— Вот чудесная вещь. Заведешь — ноги сами танцуют. Только послушай:

Ты не спишь по ночам,
Плачешь день напролет,
Позабудь обо всем
И танцуй лучше блюз.

Она этой песенки не знала. Я переводил ей слова — те, что самому удалось разобрать. В комнате горели все лампы. Я зажег их нарочно— чтоб не было «альковной атмосферы», как выражался Дино. Но, входя, все же перевернул лежавший у наружной двери коврик. Это означало — комната занята, не мешать. Дверь в ванную была приоткрыта, я толкнул ее ногой и захлопнул. Меня одно беспокоило: она не из тех продавщиц универмага или гимназисток, отношения с которыми, как говорил опыт, могли ни к чему не привести. Те девчонки и выпьют, а ничего не позволят, их нужно покорять, то ли прикинувшись пьяным, то ли серьезными разговорами, обещанием вечной любви. Лори сама мне сказала: это серьезно. Лори — свет мой, Лори — луна и солнце! Вдруг кто-нибудь из ребят заявится с подружкой и захочет войти, несмотря на перевернутый коврик? Тогда мне придется представить ее, изображать перед всеми веселье... Меня терзала тайная тревога. Я хотел успокоиться и курил, сильно затягиваясь.

Я протянул ей руку.

«Ты знаешь,— говорила она потом,— я решила, что ты томишься, хотела тебя приласкать, мне тебя стало жалко».

— Ну, как ты теперь себя чувствуешь?

Она уселась на диване рядом со мной:

— Боже, ты все еще об этом? Что, здорово я распсиховалась?

— Понервничала, бывает такое.

— Я вышла из себя, были причины. Может, я неправильно вела себя. Иной раз чувствуешь свою вину и никак не можешь успокоиться, уговорить себя. Несколько минут — и все прошло. А тут еще эти машины — чуть не раздавили!

Теперь все в ней казалось иным — тон, поза, взгляд, манера держаться, улыбка.

— Перед тобой лес,— сказала она.— Каким он тебе кажется?

— Страшным, дремучим, заросшим лианами.

— Там есть тропинки?

— Да, там есть тропинка, только нужно ее найти.

Это наша игра. Мне она по душе, Лори, как видно, она тоже забавляет.

— На нашем пути река. Только где она течет — на опушке, в самой чаще или за лесом?

— В самой чаще. Разделяет лес надвое.

— Река полноводная или высохла? Дно каменистое?

— Паводок, как на Арно.

— Боже! — Она приложила руку к груди.— Ты молодец.

— Все?

— Нет, переберешься на тот берег и увидишь ключ. Какой он, большой или маленький? Возьмешь его или оставишь? Как ты с ключом поступишь?

— Ключ большой. Я отопру им ворота замка по ту сторону леса.

— Ты это раньше знал?

— Нет, клянусь тебе.

— Молодец,— повторила она.— За замком луг, огражденный стеной. Скажи, какая она? Высокая, низкая? Как ты поступишь: назад вернешься или стену обойдешь?

— Стена высоченная, но я с разбега вскочу на нее, перелезу.

— О, Бруно! — воскликнула она.— Это всего-навсего дурацкая игра. Девушки с ярмарки меня научили. Но ты просто молодец,— снова сказала она.— Ведь лес — это жизнь, река — любовь, ключ — разум. Он, если верить тебе, открывает ворота замка. А стена — все жизненные преграды.— Она положила голову мне на грудь, взяла мою руку, поднесла к щеке.

— Ты во все это веришь? — спросил я.— Веришь в гороскопы из газет?

— Ни чуточки,— прошептала она,— хоть они иногда и сбываются.

Памяти необходимо целомудрие, чтобы воскрешать некоторые минуты нашей жизни,— есть воспоминания, способные загрязнить самые чистые поступки. Память искажает и глушит даже вздохи, покрывает пеленой холода наши желания... Бывало, что этот холод проникал в «берлогу», окутывал белизну и тепло девичьей кожи ледяной голубизной, горьким становился мед нежных губ, металлом отдавало сладкое их прикосновение.

Я вернулся домой после часа ночи, из комнаты Иванны просачивался свет.

— Ты спишь?

Она не ответила.

На кухонном столе, в тарелке, накрытой сковородой, ожидал меня ужин, но его мне оказалось недостаточно. Открыв холодильник, я нашел в нем немного творогу, сделал себе бутерброд — хлеб в доме никогда не переводился. «Ты его уничтожал целыми центнерами!» Все еще не насытившись, я, с удивившей меня самого жадностью, отрезал себе еще ломоть, посолил его, сдобрил оливковым маслом и унес с собой в постель.

Докуривая последнюю сигарету, я думал о Лори, повторял про себя слова, сказанные ею в расцвете нашей любви: «Как я счастлива, Бруно. Ты даже не знаешь, как долго я тебя ждала». Сидя в пижаме на постели, в носках, которые позабыл снять, я курил и доедал хлеб.

Это моя комната, мною для себя отвоеванная, на стене портрет Эвы-Мари Сент. Я вскочил, сорвал его со стены, разорвал на мелкие клочья, открыл окно, выбросил их на улицу. Я понимал, что это ребячество, но вместе с тем совершенный мною поступок представлялся мне важным, значительным.

Вдруг мне показалось, что в комнату входит Иванна. Я натянул на себя одеяло, повернулся лицом к стене. Дверная ручка медленно поворачивалась.

«Даже не могу объяснить, в каком я была состоянии,— говорила она потом. Но тогда она не решилась меня разбудить.— Ведь тебе уже через несколько часов нужно было вставать».

Она прошептала:

— Заснул, а свет не погасил,— и, может быть, опасаясь разозлить меня, не произнесла больше ни слова. Выключив свет, Иванна не ушла из комнаты, а тихонько, ощупью, повесила мой костюм, сложила рубашку, потом села на стул. Шорох ее халата, сдерживаемое дыхание — все выдавало ее присутствие. Она осталась, чтобы стеречь мой сон. Кажется, даже закурила, но тогда я уже засыпал по-настоящему, как всегда — без сновидений. Но и во сне я как бы предвкушал радостное пробуждение. Завтра Лори снова пойдет на работу, завтра мы с ней снова встретимся у мостика, как условились.

Утром обычная пантомима. Зазвонил будильник, я встал, пошел в ванную, потом на кухню. Завтрак готов, Иванна наводит порядок, я ем.

— До свиданья!

— Плащ захватил? Счастливо поработать!

За ночь погода изменилась. Вчерашняя луна недаром так мутно светила — конечно, к дождю. Лило как из ведра. Я даже подумал, не оставить ли дома мотоцикл. Всего пять минут пути до мастерской Паррини, размещенной посреди старого дворика, граничившего с литейным цехом «Гали», который стоял особняком.

Я задержался у порога и посмотрел на небо. Из дырявой водосточной трубы во все стороны била вода. Сквозь водяную завесу я вдруг увидел прямо перед собой Лори. Она стояла по другую сторону улицы. Сердце радостно забилось от счастья и тревоги, когда она укрыла меня от дождя под своим зонтиком.

— Нет, ничего не случилось! У меня ничего нового,— сказала она, когда мы завернули за угол.— Только хотела тебя увидеть еще раз до вечера.

Она не глядит мне в лицо, она старательно смотрит под ноги. За этой принужденностью скрыта ее тайная радость, ее волнение. Я крепче сжимаю ее руку. Та же радость владеет мной, мне ли ее не понять? Я горд, я доволен собой, слишком доволен, слишком счастлив — вот что меня смущает. На ней плащ, голубой, как тот шарф, что она вчера надевала, сегодня ее голова повязана ярким платком, на мне темно-коричневый плащ, мы двумя разноцветными пятнами отразились в зеркале парикмахерской. Молча пересекли мы площадь Сан-Стефано, звук наших шагов сливался. Я вел ее под руку и долго не знал, что сказать. Наконец спросил о самом обычном:

— Они уже спали, когда ты вернулась домой?

Это ее развеселило.

— Ну да,— успокоила она меня.— Только им пришлось проснуться. Отец открыл мне, шепнул на ухо: «Ты была в кино вместе с Диттой и Джиджи». Я его обняла, хотя мне хотелось кусаться — так меня разозлило его участие,— а сама говорю, громко, чтобы услышала мачеха: «Дитта и Джиджи просили вам передать привет». Выпила молока и легла спать.

— Отец тебя любит. Помню, как он радовался, когда приходили твои письма. «От дочки»,— говорил он, и казалось, будто ему выпал самый большой выигрыш в лотерее.

Теперь она взглянула на меня. Лицо бледное и кажется страдальческим, а глаза, которых она не сводит с меня, сверкают от счастья.

Она задает тот же вопрос, что и вчера:

— А ты сегодня спал?

— Да!.. Ты меня презираешь?

— Что ты! — Мы стоим, не отводя друг от друга глаз.— Я тоже уснула, а утром вскочила, будто кто позвал. Так захотелось тебя увидеть,— повторяет она.— Ты не подумай, дело не в романтике, просто хотела убедиться, что все у нас было на самом деле. Ну, до свиданья!

Завыл гудок на заводе «Муцци», ему вторил гудок другого завода; вот раздалась сирена «Гали». Я под дождем бежал к мастерской.

Глава 23

С тех пор прошли недели. О счастье не расскажешь. Память может сохранить лишь те мимолетные мгновенья, когда удается заглянуть ему в лицо, покуда струи дождя не смоют его очертаний на стекле. Значит ли это, что я не мог бы рассказать даже о наших печалях?

Однажды Лори захотела подвергнуть испытанию силу и подлинность нашей любви, не боясь, что в наших отношениях может появиться трещина.

В тот вечер шел снег и берега Терцолле напоминали закамуфлированные окопы. Лед сковал Арно, чуть пониже запруды виднелась зажатая льдинами красная лодка, на которой перевозили песок. Отсюда, с набережной, освещенная луной лодка среди голубых льдов казалась мне красной палаткой Нобиле у самого Северного полюса (сегодня, спустя тридцать лет, мы увидели ее по телевизору). Передача вызвала у меня интерес, мы даже задержались из-за нее в баре на Виа-дель-Прато, где назначили свиданье. Теперь мы в «берлоге», лежим, обнявшись, на диване.

— Нужно только набраться терпения,— сказала она,— и печка в конце концов согревает. Но тогда, в первый раз, в воскресенье...

— Позабудь обо всем и танцуй лучше блюз.

— Не могу, хотя ненавижу воспоминания — они чем-то унизительны: вспоминая, всегда оправдываешь себя. Они укрепляют нас, лишь когда мы в ладу с самими собой...

Впрочем, все еще слишком свежо, чтоб стать воспоминанием, так как произошло всего три недели назад — почти что сегодня.

Мне казалось, ее бьет озноб; может, так оно и было.

— Я должна тебе объяснить...

— Что ж, послушаем.— Я наклонился к ней, поцеловал в лоб. Наступило молчание.— Ты же знаешь, я не девушка...— начала она. И снова пауза, словно что-то вкралось в наши отношения. До этого мгновения ни у нее, ни у меня как бы не существовало прошлого; сейчас она заставила меня задуматься о нем. Завязав узел, Лори сама же принялась его распутывать. Сомненья, в которых я раньше не отдавал себе отчета, хотя, возможно, и таил их в себе, теперь показались мне не стоящими внимания.

— Разве это имеет значение? — спросил я.

— Никакого. Но ведь иногда то, чему не придаешь значения, вдруг разрастается в гору, через которую перейти уже нельзя. Это угнетает.

— Точно я тебя допрашивал, любила ли ты до меня! Смешно! Я — человек современный.

— А я?

— Ты тоже. Кончим этот разговор. На, лучше выпей!

— Вот видишь,— сказала она.

— Что?

— Ты уже начал нервничать, потянулся к спиртному,— улыбнулась она,— боишься, как бы что не изменилось...

— Тебе просто нравится мучить,— не выдержал я.— Только неясно кого — меня или себя?

Она приподнялась на локтях, прижалась щекой к моей груди, подставив затылок поцелуям.

— Знаешь, почему ты меня ни разу не спрашивал?

— Потому что для меня это неважно...

— Нет, ты боишься.

— Чего? Уж не того ли, что недостаточно тебя люблю?

— Да, именно этого.

— А ты? Ты ведь тоже меня ни о чем таком не расспрашивала!

— Но я и так знаю все, а то, чего не знаю, легко могу вообразить. У тебя, наверно, была уйма женщин, и все же их было меньше, чем мне мерещится. Ты приводил их сюда, или на берег, или под мостик. Я хожу с тобой повсюду, повадилась в «Petit bois», как в молочную,— все для того, чтоб уничтожить их одну за другой.

— Ну, а я никого не уничтожил в «Красной лилии»?

Мы ласкали друг друга.

— Вот я и хочу, чтобы ты знал обо всем.

— Может, я сам догадаюсь. Последние месяцы в Милане?

— О нет. В Милане я жила, как монахиня.

— Ты кого-то оставила здесь? И ненавидишь воспоминания?

Она не ответила. Рука ее замерла у моего сердца. Она подняла голову, спокойно на меня взглянула, вынула у меня изо рта сигарету, затянулась и, глядя в потолок, сказала:

— Ты должен знать — это стало воспоминанием давно, когда я уезжала отсюда. Больше ничего не было. Уже тогда со всем было покончено раз и навсегда.

Я догадывался, что у самых истоков чувственной жизни Лори таилось ощущение смерти. Этого она не говорила, но я понял — в ней угасло что-то, большая печаль держала ее в плену, из которого теперь освобождала моя любовь. Я стал целовать ее губы, шею. Она противилась, хотела подняться, надеть лежавший рядом свитер. Я положил голову ей на колени, смотрел на нее снизу вверх. Она казалась спокойной, сдержанной, таким же, пусть немного сбивчивым, был и ее рассказ и ровным — голос:

— Мне не за что вымаливать себе прощение. Мачеха все толкует о грехах, и, когда я начинаю над этим смеяться, отец возражает: «Но ведь ты, дочка, тоже не святая»! В Милане, бывало, стоило мне вернуться домой попозже или заговорить о начальнике личного стола, как невестка тотчас делала страшные глаза, а брат начинал поучать: «Только веди себя достойно, слышишь?» Но с того вечера в «Красной лилии», когда я поняла, что наша любовь всерьез, мне захотелось — не из чувства долга, а именно захотелось — рассказать тебе все. Не выношу недоговоренности; может, это от бесхарактерности, но я не в состоянии оставаться наедине со своими мыслями. Хочу ясности, а вместе с тем все усложняю. Три недели назад, в ту самую ночь с воскресенья на понедельник, я внезапно очнулась от страшного сна, с пересохшим горлом, вся в поту. Вот тогда я пришла к твоему дому, помнишь то утро? Мне хотелось до тебя дотронуться, убедиться, что ты существуешь... Я не от холода дрожала, не от сырости: меня мучило сознание того, что я досталась тебе такой, что я обокрала тебя, отняла у тебя свою первую любовь. Как больно, когда сон длится наяву! — воскликнула она.— Понимаю, что это глупости, ведь я тогда еще не знала тебя... Но ты же существовал, а я отдалась другому, предала того, кому была предназначена...

Она приподняла мою голову, поднесла к моим губам рюмку коньяку. Свою поставила на пол, не допив.

— Он был женихом сестры, я так не хотела, чтоб она за него выходила! Дитта красива, умна, она для меня настоящая святыня, она должна была достаться не ему, а человеку, которого бы полюбила по-настоящему. Она так безрассудно согласилась на этот брак... Знаешь, как иной раз бывает: знакомство домами, встречи на танцевальной площадке, летом — поездки к морю, прогулки, не успеваешь оглянуться — уже связана обещанием. Мне было всего пятнадцать, но я уже знала, что на меня поглядывают. Мальчики проходу не давали, на улицах привязывались мужчины. Я не могла не замечать, как он смотрел на меня, понимала, что его ко мне тянет, и решила связать себя с ним, чтоб освободить Джудитту. Думала, если он пойдет на такое, Джудитта будет спасена. Сколько раз я слышала от нее: «Проходят века, а мы, женщины, не меняемся». Как дурочка, она могла твердить: «Нужно смириться. Раз нет любви, нас соединит привязанность». Смирение — вот чего я не выношу. Терпеть не могу этого слова. Поверила тогда слепо, как в

священное писание, в ее несчастье, не поняла, что это всего лишь поза, жалела от всей души свою сестричку, свою лесную царевну... Все у нас было тогда общим — вкусы, мысли, даже платья — я была высокой для своего возраста.

Однажды Лори сидела дома одна после только что перенесенного гриппа. Мачеха ушла в церковь, отец, как всегда, был в типографии, Джудитта — в конторе (она служила в Вальдарно вплоть до своего замужества). Под каким-то предлогом позвонил жених Джудитты. Лори пригласила его зайти, так, без всякого повода, просто сказала, что ей скучно одной, книги все перечитаны, журналов нет, подруги не заходят, и вообще никого нет. «Заходите,— сказала она,— побудьте со мной!» Он даже не удивился, сразу, видно, понял. Голос в трубке казался хриплым. Она была убеждена, что он не устоит перед искушением. Он посоветовал: «Включи проигрыватель, если скучно; раз нет температуры, выйди подыши воздухом». Однако не прошло и получаса, как он явился, она была ко всему готова.

— Он овладел мной, и я в те минуты не думала, что приношу себя в жертву. Он был ужасен, и все же меня влекло к нему... Так было и на другой день, и на третий, и все дни, пока длился пост и мачеха уходила по утрам к мессе в собор Санта-Мария-дель-Фьоре.

Лори так и не решилась осуществить свой план: этот человек убедил ее в бесполезности шантажа. «Если поднимешь скандал, тебя отправят в монастырскую школу, а на сестре я женюсь все равно, Дитта этого хочет, я с ней спал еще до тебя». Его твердость сделала ее покорной. Сестра лишь терпела его, Лори к нему привязалась.

— Попалась в свои же сети... Он был обязан исполнить свой долг перед Диттой, я вынуждена была оставаться его любовницей и пошла на это. Однажды мачеха вернулась раньше времени и застала меня с ним...

Мы сидели на диване, обнявшись. Я слушал Лори, не ощущая того, что она — героиня этой грустной повести. Все у нас было новым, свежим, нетронутым, она освобождалась от тайны, чтобы чувствовать себя достойной нашей любви. Любовь позволяла мне видеть ее такой, какою она и была на самом деле,— всегда и только моей; никто никогда не осквернил моей Лори. С той минуты, когда мы узнали друг друга, я сжег в своей памяти Электру, Розарию и всех, с кем развлекался в нашей «берлоге». Так было и с Лори — она хотела мне высказать все, словно в искупление того, что не могла подарить мне свою невинность. Однако ее мрачное прошлое казалось мне нереальным, я не мог себе его представить, как к этому ни стремился, а Лори стала мне еще желанней и дороже после этой исповеди.

Она умолкла, закурила, пламя зажигалки на мгновение осветило ее лицо, в ее глазах уголь плавился с золотом. Глядя на нее, я думал о том, что пора окончить этот мучительный для нее разговор, поставить точку.

— Потом Джудитта вышла замуж за Луиджи,— сказала Лори,— а «он» умер.

Я припомнил все, что уловил из ее рассказа. «Как же это случилось?» — хотел я спросить, но тут раздались шаги на лестничной площадке, кто-то вставлял ключ в замочную скважину. Сразу все изменилось, словно ночь пришла на смену дня.

— Помолчи,— сказал я,— должно быть, кто-то из моих друзей.

Я встал и на цыпочках подошел к двери, чтобы проверить, закрыта ли она на задвижку. Тут раздался голос Бенито:

— Нам не повезло, коврик перевернут.

И смеющийся голос его подружки:

— Пусть услышат, что кто-то пришел!

Бенито постучал:

— Кто там? Дино? Бруно?

Я оглянулся. На диване, скрестив руки, лежала Лори, она не бросила сигареты, не подняла головы: не могла отвлечься от своих мыслей.

— Бенито, лучше уйди,— сказал я,— попозже придешь.

— Почему не открываешь, друг? Неужели такой уж секрет, что и выпить вместе нельзя? Я тоже с девушкой. Мы вас не выдадим.

— Я Джермана,— послышалось из-за двери.— Откройте, мы до ужаса промерзли, и у нас обоих не больше ста лир. Раз отозвались, значит, не спите! Мы только чего-нибудь выпьем и уйдем. Даем вам три минуты, чтобы привести себя в порядок.

— Не уговаривайте!

— Неужели еще бывают такие девушки, которые не желают, чтоб их видели? — возмущалась Джермана за дверью. Потом захохотала, а Бенито сказал:

— Помолчи, трещотка! — А меня попросил:— Просунь в дверь хоть бутылку, Армандо пополнил запасы.

Я снова повернул голову, чтобы спросить Лори, как быть. Она по-прежнему лежала неподвижно. Я понял, что не должен открывать.

— Знаешь,— сказал я Бенито,— лучше просуну-ка я под дверь пятьсот лир, я как раз при деньгах.

Бенито ответил:

— Я не знаю, когда смогу их вернуть. Может, никогда. Я искал тебя все эти дни, но ты куда-то исчез. До свиданья!

— До свиданья, Бенито!

— Прощай, Бруно! — прокричал он, уже спускаясь по лестнице.

Я вернулся к Лори. Пока шли переговоры, я совсем продрог, она уложила меня на диван, укрыла одеялом.

— Мы могли бы их впустить,— сказал я,— ты бы познакомилась с поэтом.

— Который считает, что на свете слишком мало фашистов?

Только тут я заметил, что глаза у нее полны слез и она силится улыбнуться. Я прижал ее к себе. Я целовал ее, она же продолжала думать о своем.

— Прости, так что же случилось потом?

— Он погиб в автомобильной катастрофе.

В яростном порыве она бросилась обнимать и целовать меня. Теперь наше зеленое прошлое и впрямь осталось позади, больше мы к нему ни разу не возвращались.

Я узнал и кое-что еще насчет счастья. В своем совершенстве оно молчаливо, расспросам предпочитает немоту. Мерилом счастья, да и то неточным, может стать лишь его прямая противоположность — страдание, поглощающее яркий свет счастья, от которого можно ослепнуть.

Через несколько вечеров мы снова вернулись в «Petit bois»; уголок, который мы занимали в то первое утро, был свободен. Зал освещали низко повешенные лампы, все казалось фантастическим, странным. За стеклами во мраке ночи могли бродить колдуны и ведьмы, могли рыскать волки, прибежавшие из лесу, летать зловещие птицы, спустившиеся с горных вершин.

Как ни странно, но танцевать нам не хотелось. Мы были полны друг другом и нуждались только друг в друге. Моя рука, лежавшая у Лори на плече, ограждала ее от всего, так же как ограждала меня ее рука, покоившаяся на моей груди; мы разглядывали пары, ритмично двигавшиеся под звуки музыки, целовались, мы были как бы пришельцами с другой планеты: отрезанные от всех, сидели мы под стеклянным колпа-

ком у столика с оранжевой скатертью, за стаканом виски. Молчали о том, чего не могли выразить словами. Разве не все было сказано тем, что мы так вот сидели рядом? Достаточно было закурить, чтобы передать друг другу некий тайный знак... Немного погодя Лори нарушила молчание, и наше блаженство стало еще прочней, еще чудесней:

— А если с нами случится беда? Вдруг придет болезнь?

— Этого быть не может.

— Конечно, тогда мы уже не будем самими собой. Ты будешь стариком, я старухой. Это ужасно! — воскликнула она.— Обещай: если я заболею, ты подчинишься, когда я скажу: «Не хочу тебя больше видеть».

Улыбаясь, я закончил ее фразу:

— ...До тех пор, пока ты снова не станешь такой же прекрасной, как теперь?

— Мы любим друг друга, потому что мы молоды и полны сил. Болезнь нарушит наше совершенство, унесет красоту и силу, угасит дух — и тогда все будет кончено. Как у спортсменов, они выдыхаются к тридцати годам. Я не могу вынести даже мысли, что ты станешь любить меня из жалости.

— Лори, что значит вся эта горечь? — спросил я.

— Не знаю. С другими притворяешься, чтоб как-то выстоять в жизни, но с тобой мы должны быть откровенны во всем, не бояться даже глупости говорить.

— Вот сейчас ты боишься болезни. А тебе хочется, чтобы я тебя пожалел? — Я пытался ее понять.

— Болезнь — как и жалость,— сказала она,— они не делают человека лучше, они убивают в нем душу. Правда, с моей матерью было иначе, и все же я думаю, в болезнях виноваты сами люди. У кого есть воля к жизни, тот проживет до ста лет, умирает тот, кто не находит в себе сил преодолеть страдания. Болезнь — это кара за слабость, поэтому она всегда приносит душевные муки и страх...

— Послушай, что там играют,— сказал я.— Какую-то песенку Модуньо, кажется? Не от нее ли у тебя такие мысли?

— Нет, просто я поглядела в окно и испугалась тьмы.— Она поцеловала меня в щеку.— А может, еще и оттого, что у нас в мастерской готовят костюмы для «Макбета», а там, ты знаешь, сплошь убийства да отравления.

Нам удалось наконец развеять темные чары, мы развеселились. Я придвинул к ней рюмку.

— Пей, Розамунда! — сказал я.

Она уже с трудом сдерживала смех, теперь ее смешил любой пустяк, настроение ее передалось мне. Держась за руки, мы пересекли зал, купили в кассе целую пригоршню жетонов для проигрывателя, стали выбирать пластинки с самым бешеным ритмом.

— «Твой поцелуй как рок-н-ролл».

— Это Челентано! — крикнул я.— Пойдет?

Мы словно с цепи сорвались. На нас, должно быть, все глядели, танцевали мы отлично, да и сил у нас было в избытке. Нам даже нравилось общее внимание.

— Еще пластинку!

— Еще сигарету!

— Даже две.

Мы ушли из ресторана, в «берлогу» возвращаться не хотелось. На площади Фьезоле мы вновь обнаружили молодую луну и еще раз ощутили теплоту ночи. Гарибальди вместе с Виктором-Эммануилом глядели на нас застывшим взором из-за церковной ограды. Танцы не возбудили, а, наоборот, отрезвили нас. Теперь мы оба чувствовали себя силь-

ными и спокойными, и для полноты счастья нам достаточно было просто встретиться взглядом, просто пожать друг другу руку. Самые незначительные слова наши были полны любви и понимания.

— Спасибо, Бруно. До свиданья!

— До свиданья, радость моя! Спасибо... До завтра!

Глава 24

Никто не был свидетелем нашего счастья, за исключением Милло. Его уволили с «Гали», где он проработал восемнадцать лет (не считая четырех, проведенных в тюрьме и ссылке). За эти годы ладони его превратились в сплошные мозоли, а плоскостопие усилилось из-за многолетнего стояния у «деккеля» и «цинциннати». И вот теперь у Милло, опытного фрезеровщика и отличного токаря, достаточно свободного времени, чтобы разглядывать, сколько душе угодно, собственные трудовые мозоли и больные ноги.

Это случилось несколько месяцев назад. Рабочие «Гали», которым угрожали новые увольнения, заняли помещение и территорию завода и забаррикадировались там. Вся Флоренция, во главе с мэром, встала на защиту завода, которым дорожили как зеницей ока, в городе шли демонстрации протеста, так что полиции пришлось снять заграждение с заводских ворот у шоссе Морганьи и на виа Карло Бини. Такое единодушие объяснялось заинтересованностью всех партий в голосах избирателей, а также тем, что в квартале Рифреди доходы коммерсантов целиком зависят от рабочих «Гали». Главным залогом успеха забастовки было единство профсоюзов и прежде всего твердая решимость самих рабочих, не покидавших цехов. Даже священники, вроде отца Бонифация (о нем Милло сказал: «Не поп, а настоящий мужчина»), встали на сторону бастующих, а Милло, разумеется, как всегда, был в первых рядах.

Мы с Дино, Джо и Бенито приходили пожать его руку, которую он нам протягивал, стоя по ту сторону заводских ворот за красно-белым шлагбаумом. Эти легендарные дни Флоренции — они никогда не будут вычеркнуты из нашей истории — завершились победой рабочих (конечно, относительной) и судом над самыми «злостными» из забастовщиков. Но суд их оправдал. Частично перешедшие под контроль ИРИ *, заводы «Галилео» благодаря вмешательству государства вновь обрели силу. Требования рабочих были в какой-то мере удовлетворены, была разработана и новая программа производства — словом, руководители завода полагали, что все обошлось наилучшим образом в этом лучшем из миров, где царит демократия социалистов, к тому же еще христианская. «Мы,— говорили хозяева,— отнеслись к волнениям снисходительно, хотя, естественно, на захват завода должны были ответить локаутом. Но рабочие повели себя решительно, приперли к стенке само правительство — это пошло на пользу общим интересам фирмы и рабочих».

Теперь, когда страсти поутихли и работа на заводе возобновилась, пришла пора «чистки» — ее сочли необходимой во избежание новых вспышек. Как обеспечить нормальную жизнь предприятия, в котором засели агитаторы? Надо их устранить, на какое-то время обезвредить этого зверя, на разные лады изрыгающего одни и те же устрашающие слова: «требования рабочих». Значит, нужно избавиться от самых пламенных активистов, застигнув их врасплох, уволить, выплатив до по-

* «Институт промышленной реконструкции» — итальянское ведомство, контролирующее деятельность государственных предприятий.

следней лиры выходное пособие — тогда солидарность увянет за одну ночь, а если и начнет проявляться в дальнейшем, то каждый из оставшихся вспомнит, что у него — жена и дети, в крайнем случае простоит на следующий день у станка минут десять, сложа руки, а потом подпишет воззвание, которое напечатают только близкие к рабочим газеты.

Милло постигла участь самых главных зачинщиков. Его любили, он пользовался среди рабочих большим авторитетом, его уважали даже в дирекции, знали, что он из «твердых», но считали, что с ним можно вести переговоры; не прояви он себя так активно в дни забастовки, они бы ограничились еще одним переводом его в «Доччу», цех для ссыльных. Но на этот раз от него решили избавиться навсегда; судьбу Милло разделили еще два-три активиста.

Когда сформируются новые кадры рабочих, все начнется сначала. Как ящерица — отрубишь ей хвост, а он сто раз вырастет вновь, или тутовая роща — шелковичный червь пожрет листву, а настает весна, и деревья снова начинают упрямо зеленеть под лучами солнца,— так и рабочий класс: постоянно возрождается. «Можно, конечно, предположить, что у рабочих могут быть свои требования — разумеется, в профсоюзном, не в политическом плане», но они всегда выдвигают их почему-то в самый неудачный момент. Так пусть же «старики» и расплачиваются за это, пусть они попробуют устроиться, вдобавок они с таким трудом осваивают автоматику, не могут с ней свыкнуться. Конечно, они и после увольнения могут работать для «Гали» — Паррини, например, поставляет детали для ткацких станков. «Фирма никогда ни на ком не ставила окончательно крест». А не то пусть о них позаботится партия, во имя которой они заварили всю кашу, пусть она попробует их пристроить. «Прошли те времена, когда Внутренняя профсоюзная комиссия или Заводской совет обладали правом вето на заводе, как Россия в ООН...»

Вот уже десять лет, как рассеялись послевоенные иллюзии. Новички, ребята из технических училищ, особенно те, кто вышел из школы отца Бонифация, об этом никогда и не слыхали.

Партия устроила Милло на работу в ФИОМ *. Его усадили в одной из мрачных комнат Палаты труда. Но разве мог он, практик, заводской активист, превратиться в кабинетного работника?

«Дело еще и в том,— сказал он мне,— что как-никак годы подходят к пятидесяти». Он не мог привыкнуть к папкам с бумагами, к дискуссиям, пусть самым горячим, но зачастую проводимым без достаточного проникновения в суть проблем. Он мог дать толковый совет только рабочим «Гали». Напряженность заводской жизни оттачивала его ум, развивала целеустремленность. Идеология и мораль не были для него понятиями отвлеченными — на них основывалось его общение с людьми. Профсоюз был для него «рукой партии», «приводным ремнем», как говорили в годы его молодости. А теперь он вынужден сидеть в сырой комнатушке здания у Борго-де-Гречи, в стороне от родного завода. «Домина, конечно, внушительный, старинный, но разве ты не замечаешь, как здесь мрачно?» У него появились боли в коленях, и вообще он чувствовал себя не у дел. Он был окружен ореолом страдальца, старого коммуниста, изгнанного с «Гали». Желая использовать былой опыт Милло, Федерация поручала ему проводить в окрестных поселках воскресные митинги по случаю XX съезда, против американских баз в Италии, за мир во всем мире, за независимость стран Азии и Африки, за сосуществование и в честь годовщины Октября.

— Я теперь на пенсии,— сказал он, когда мы встретились в Народ-

---

* Итальянская федерация рабочих-металлистов.

ном доме на празднике газеты «Унита», куда я пришел на танцы.— Кому я нужен теперь? — Это было, конечно, преувеличением, он всегда любил немножко порисоваться. Стоило только взглянуть на него — так и брызжет здоровьем, полон такой решимости и энергии, что я тут же опровергаю его слова: ему бы лишь немного подышать воздухом нашего Рифреди — и он снова станет львом. Многие годы понадобятся тем, кто захочет превратить в немощных пенсионеров таких, как он, людей твердого ума и сильной воли, закаленных ссылкой, тюрьмой, изгнанием, Сопротивлением, подпольем и годами «культа». И героическое прошлое этих людей и сами они стали для нас легендарными.

Не прошло и минуты, как Милло, следуя вечной своей привычке, начал меня «воспитывать», не обращая внимания на начавшиеся танцы, на неуместность споров в праздничной обстановке.

— Может быть, тебе, Бруно, твоя «левизна» и кажется чем-то новым, а она от дряхлости давно уже хромает на обе ноги. Ленин еще сорок лет назад заклеймил ее как «детскую болезнь». Неужели это как корь, которой суждено переболеть каждому поколению, всякий раз решая те же проблемы?

— Разве ты тоже этим болел?

— Было немного,— ответил он.— Не только я один, вся партия. Мало книги читать, надо еще учиться у людей с опытом.— Он бросил мне вызов, я должен был его принять.

— Что до меня, то я прочел и изучил не одну книгу Ленина. Я тоже не за скороспелое восстание, не против парламента, если угодно. Но меня возмущают разговоры насчет полезных компромиссов. Для меня нет ни святых, ни евангелия. Мир изменился, мы живем не в социалистическом, а в западном мире, здесь мы и боремся. Может, буржуазия уже не нуждается в мировых войнах, чтоб удержать господство. Может, ей удастся сохранить свою гегемонию, усыпляя сознание масс потребительскими благами. Как же нам быть в таком случае? Ленин за меня,— заключаю я.— Он утверждает, что нам нужно научиться быть хозяевами во всех без исключения областях, без этого не одолеть силы традиции — он, вероятно, имел в виду догмы! — не одолеть нам в том числе и собственных буржуазных привычек. Так стоит вопрос, иначе все превращается в детскую забаву.

— Мадонна! Как у тебя, сынок, все в голове перемешалось. Где же ты во всем этом разберешься, если не в партии? Тебе уже восемнадцать лет, а ты еще вне ее рядов! Почему? Я сам отвечу — ты индивидуалист.— Он в шутку погрозил мне кулаком.

Не желая, чтоб наш разговор перешел в спор, который обоим испортил бы вечер, я сказал:

— У меня все станет на свое место, когда я заработаю у своего станка на «Гали».

— Не сомневаюсь. Знаешь, они уже начали набор. Там твоя жизнь приобретет новые краски,— сказал он в своей обычной вычурной манере.— На «Гали» еще остались наши люди, их немало... Ну, а как мама? — спросил он немного погодя.

— Вот-вот должна прийти сюда, как только кассу закроет, я ее уговорил.

Иванна выглядела превосходно в коричневом платье с вышивкой — меня удивило, что на этот раз она отказалась от своего традиционного цвета. Платье ей шло, молодило, да и косметика, и волосы, собранные в пучок на затылке, делали ее моложе своих лет.

Они поздоровались при мне без тени смущения. Милло все пытался пригладить свои давно исчезнувшие кудри. Между нами был заключен молчаливый мир. Они потанцевали, потом он отвез нас домой на своей недавно приобретенной малолитражке — барахло, а не машина, мотор

три раза чинили, но пока еще служит. Впоследствии я на ней учился водить.

Как-то раз в воскресенье он заглянул к нам, «как в доброе старое время». К обеду были макароны в соусе, жареный цыпленок. Я сказал им тогда: «Привет несчастным старцам»! Впрочем, еще раньше, в один февральский вечер я почувствовал, что наша дружба наполняется прежней теплотой.

В тот день я поджидал Лори у выхода из мастерской. Задула трамонтана, холодный ветер выл на виа Монтебелло (от парка Кашине до самого Арно), как в трубе. Внезапно я обнаружил прямо перед собой Милло, он остановил машину, едва на меня не наехав.

— Искал тебя.— Не дав мне высказать удивление, он заговорил так, словно у нас тут была назначена встреча:— Тебе прислали извещение о приеме на завод?

— Нет. А что?

— Плохо дело, мальчик. Они тебя вот-вот вычеркнут из списка. О тебе поступили неважные сведения. Ты, по их мнению, неплохо знаешь дело, здоров, предприимчив, активен, но зато коммунист и, значит, неблагонадежен, пожалуй. Мало этого, ты уж прости, я об этом первый сожалею, кажется, было установлено, что ты мой лучший друг, ученик и последователь. Это не мои слова, так считают полицейские и приходский священник. Словом, отдел кадров взял быка за рога.

Я взорвался:

— Ей-богу, всех бы их перестрелял!

Он подскочил на сиденье, надвинул на лоб берет, стараясь казаться спокойным.

— Этакой прыти я от тебя не ожидал, пожалуй!

— Как же теперь быть, скажи?

— Для того я и приехал, дурачок!

Мы не заметили, как подошла Лори. Она стояла в двух шагах и разглядывала нас.

— Поди сюда,— сказал я.— Это Миллоски.

Она не успела поздороваться, как он уже вышел из машины, сдернул с головы берет и первый протянул ей руку, другой поправляя волосы.

— Я тебя вот такой помню! Можно, я с тобой буду на «ты»? По воскресеньям твой отец таскал меня на скачки, хотел, вероятно, чтобы я всегда проигрывал. Помню твою покойную маму. С отцом мы учились вместе, потом потеряли друг друга из виду, снова встретились и разошлись, и я его отыскал, когда вы переехали в наши края.

Тут я вмешался, а то бы он никогда не кончил.

— Но нас вместе ты видишь впервые,— сказал я.— Как ты нас находишь?

— Выглядите вы счастливыми. Друг другу подходите. Она чуть ниже, чем надо, ну, всего на пару сантиметров, пожалуй. Ребята, смотрите, какой ветер! Почему бы нам не выпить чего-нибудь?

Мы зашли в бар на Виа-дель-Прато, там уже выключили телевизор, и в зале кроме нас никого не было. Мы сели за столик, Милло заказал три пунша с мандариновой настойкой.

— Раз уж ром не нравится. Я бы в такую погоду только и пил что ром, пожалуй, и за обедом и за ужином.

Теперь его внимание сосредоточилось на Лори. Как всегда, от него исходило обаяние. Правдивые, ясные глаза, высокий лоб, скрывающий высокие мысли, даже некоторые особенности его слога вызывали симпатию.

— Знаю: вернулась сюда после долгого отсутствия... Милан — вторая столица. У нас тут, пожалуй, поскучней, но это ведь твоя родина... Впрочем...

Лори перебила его:

— Мне безразлично, где жить, я никогда не привязываюсь к месту. Живешь там, где живется.

Он, казалось, растерялся:

— Ясно, живешь, где живется.— Но тут же нашелся: — Не к местам, так, пожалуй, к людям привязываешься?

— Да, пожалуй,— ответила Лори, сразу уловив его излюбленное словечко; чуть насмешливо, но с уважением она повторила: — Это, пожалуй, так.

— Ты, вижу, тоже хорошенькая штучка. С этим повесой недаром сошлась. Вы даже похожи друг на друга.

Я сидел рядом с Лори. Милло устроился напротив и разглядывал нас так, как будто мы были манекенами на витрине. Он нашел, что у нас одинаковая стрижка, только трудно решить, то ли ее волосы короче, чем надо, то ли, наоборот, слишком длинны мои.

— Видно, что за модой ты следишь; впрочем, и без всякой моды шейка у тебя прямо как у королевы. Вот только уши у вас непохожие: у него оттопыренные, у тебя — одно загляденье.— Он и о коже сказал: — У тебя бархатистая, у него как фарфор.— Зато нос и рот, даже цвет волос нашел одинаковыми. Мол, от моих светло-каштановых до ее золотистых, «тициановских» «всего небольшой переход, пожалуй...» Глаза у обоих «с искоркой, озорные». Ему оставалось только добавить: «С таким сходством — как бы вам не передраться!» Я бы взорвался. Но все обошлось, к моему собственному удивлению.

— Ты кончил развлекаться? — спросил я.— Я, правда, первый начал, но теперь хватит! Остряк из тебя не получится. Будь лучше Волком. И объясни мне, как обстоят дела.

Лори взглянула на меня. Теперь я держал ее руки в своих.

— Меня, видимо, просто не хотят принять на «Гали»?

Милло расстегнул плащ, вынул из кармана пиджака тосканскую сигару.

— Не видимо, а факт,— сказал он уже другим тоном.— Подумаем вместе, что предпринять. После работы приходи ко мне в Палату труда.

— В мастерскую я не пойду... Что же я, по-твоему, должен предпринять?

— Утро вечера мудренее.

Лори вмешалась:

— И вы хотите, чтобы Бруно после этого заснул?

Милло погладил усы, облизнул кончик сигары.

— Ты не боишься этих вонючих сигар? — спросил он ее.

— Да нет же, нет! — воскликнула она. В ее голосе звучало мое собственное раздражение. На лбу появились морщинки, как в тот вечер, когда она говорила о своей первой любви. Лори высвободила руки и взяла со стола пачку сигарет. Милло быстро дал ей прикурить, внимательно взглянул на нас обоих — казалось, он благословлял наш союз. Мы было смутились, но через мгновение улыбнулись ему. Лори сказала: — Да, конечно, я помню скачки. Вы еще мне купили мороженое, а я его уронила.

— Память у тебя хорошая,— заметил Милло.— Никак не мог уговорить тебя взять другую порцию. Ты все твердила: «Больше не хочу», будто хотела сама себя наказать. Ты уже тогда была, пожалуй, с характером. Сколько тебе было, шесть или семь?.. — Он закурил и начал со-

сать свою сигару, рукой разгоняя дым. — Рано или поздно у Бруно все пойдет на лад. Ты не сомневайся, он еще будет в белом халате стоять перед своей «женевуаз». Я знаю, есть у него такая мечта.

Я снова помрачнел. Даже присутствие обнявшей меня Лори не успокаивало.

— Скажи лучше,— настаивал я,— что мне делать? Они там все же малость перегнули палку, эти мерзавцы из кадров. Все-таки слишком нелепо считать нашу дружбу предлогом.

— Ты, пожалуй, недооцениваешь классового врага,— сказал Милло. Он теперь был спокоен, настораживающе добродушен.— Правительство захотело вернуть порядки восемнадцатого апреля *, железный кулак, дискриминация — вот их оружие. Теперь они особенно большие надежды возлагают на новичков... Чем стрелять, ты лучше, пожалуй, отрекись от меня. Может, этого будет с них достаточно?

— Такой дорогой ценой? — ответил я искренне, но тотчас, убоявшись, что слишком поддался чувствам, добавил:— Для меня, не для тебя.

— Нет, отчего же, попытайся обелить себя в их глазах, если, конечно, находишь это необходимым.

— Вот всегда ты так! — не выдержал я.— Считаешь, что без «самокритики» не обойтись. Впрочем, ты сталинист, тут уж ничего не попишешь...— Тут я понял, что слишком разошелся, но мне были невыносимы эти мучения, которые я терпел вот уже полчаса, мне хотелось одним ударом покончить с этим.— Отречься от тебя — все равно что отречься от своих идей, мы не во всем с тобой сходимся, но идея у нас одна. Это я готов признать.— Догадываясь, что он может сказать на это, я сам ответил за него: «Что ж, пожалуй, я и есть сталинист. Но вряд ли будет против правил революции в письменной форме изложить, что, мол, ты больше со мной не встречаешься, что я — обезумевший бунтовщик и что ты от меня отрекаешься. Пусть бы только это помогло тебе поступить на завод». Так бы ты сказал, Милло? Старики сшили себе мундир из подобных компромиссов...

— Тогда все обошлось бы без лишних препирательств... — согласился он.— Я для того тебе и предложил, правда, в шутку, боялся, что ты разозлишься. Но раз ты все понимаешь...

— Я прежде всего хотел бы разобраться в обстановке.

— Есть и другой выход, он, пожалуй, надежней любых объяснений с дирекцией или вмешательства Палаты труда.

— Пойти к отцу Бонифацию, что ли?

— Дело ограничится легким покаянием. Он даже поначалу не заставит тебя ходить к мессе и уж конечно не станет требовать, чтобы ты отказался от знакомства со мной. С него, пожалуй, достаточно будет, если ты к нему сам обратишься. Отца твоего на войне убили — его школа создана для таких, как ты. Стоит ему словечко замолвить, и ты войдешь на завод под звуки фанфар.

— Но я давно уже отверг этот путь.

— Однако он все же честней других. Хотя отец Бонифаций мой противник — но это не поп, а настоящий мужчина.

— Постараюсь как-нибудь обойтись без святой водицы. Я не Джо, который только и думает о боге и цвете кожи. Место на заводе принадлежит мне по праву, там работал мой отец, у меня диплом, мне поставили высокий балл за пробную деталь.

— Я тебе только советую.

— Твой совет для меня неприемлем.

— Что ж, учту.

---

* 18 апреля 1948 года — день поражения левых сил на выборах, приведшего к власти христианских демократов.

— Этого мало, ты мне должен помочь. Ты работаешь в профсоюзе, это твой долг.

— Разве я тебя не для этого разыскивал?

— До чего вы оба любите пошуметь! — воскликнула Лори.— Поцелуйтесь-ка лучше!

Милло словно только и ждал этого предложения, он вынул изо рта сигару, перегнулся через стол, я почти машинально подставил ему щеку, но что-то тотчас во мне возмутилось, и, желая сдержаться, я обратился к Лори:

— Видишь теперь, что это за человек? Он всегда так меня доводит! Даже не понимает, насколько все это важно для меня... Отказаться от «Гали», легко сказать...

Лори взяла меня за руку:

— Миллоски же шутит, разве не видишь? Вы меня простите, Миллоски, если я неправа. Вы, наверно, боялись, что Бруно себя поведет иначе, не выдержит испытания?

В который раз он привычным жестом пригладил волосы, расправил усы. Видно было, что разговор взволновал его.

— Пожалуй,— ответил он.— По правде говоря, ребята, надо бы мне почаще с вами бывать. Рядом с вами дышится легче.— В нем снова заговорил мужчина волевой и сильный, недаром прозванный Волком,— партизанский вожак с красным платком на шее, фрезеровщик с мозолистыми руками, человек, которого взяла на пенсию партия.— Я уже принял меры, какие только возможно... Боюсь, что он не откажется от меня и от идей, которые ему приписывают... — И, обращаясь непосредственно ко мне:— При данной обстановке, при теперешнем правительстве, при этой дирекции, боюсь, никогда тебе не войти в ворота «Гали». Я очень хотел бы ошибиться.

Опустили жалюзи. Официант унес стаканы, мы расплатились. Вышли, ветер еще усилился, он гнал облака, подметал улицы. В лунном свете серебрились ворота, за которыми виднелась карнавальная колесница, тротуар напоминал отгороженную домами беговую дорожку.

— Я мог бы тебя подвезти, пожалуй,— сказал он Лори.— Машина дрянная, конечно, но в ней все же не так дует. Впрочем, не знаю, окажешь ли ты мне эту честь?

— Почему бы нет? — сказала она.— Бруно нас будет эскортировать. Потом вы нас оставите вдвоем, нам с ним тоже есть о чем поговорить.

— Разумеется,— сказал он, хлопнув меня по спине.— Давай, давай! «No pasarán»*.

Временами он обгонял меня, тогда я жал на поворотах и снова оказывался впереди. Мы мчались наперегонки по опустевшим улицам и шоссе. Но вот я замедлил ход и первым подъехал к площади Далмации. Прощаясь, мы договорились, что встретимся завтра в Палате труда. Он дал задний ход, чтоб выехать на Виа-дель-Ромито. На прощанье крикнул: — С Лори я поговорил. Спокойной ночи, ребята!

— Что он тебе сказал? — спросил я у нее.

— Мы ему понравились, он видел нас однажды в воскресенье, когда возвращался с митинга во Фьезоле. «Мы с матерью Бруно неплохо его воспитали»,— так он сказал. Ты об этом помни. Порой с ним надо потверже, но не переусердствуй: он обидчив.

— Как он узнал, что я сегодня жду тебя у мастерской?

— Провел целое расследование. Побывал у моего отца — дескать, давно не виделись — и все разузнал: и что я вернулась, и где теперь работаю. Не меньше двух часов пришлось ему колесить по виа Монтебелло.

---

* Не пройдут *(исп.)*. Здесь в смысле «не выйдет».

— Какой он хороший,— сказали мы в один голос и поцеловались. Казалось, даже мотоцикл вздрагивал от порывов ветра. Она обняла меня.

— Потерять работу на «Гали» — твое первое настоящее горе? — спросила она.

Я вернулся домой. Под дверью Иванны виднелась все та же полоска света, на кухне ожидал все тот же ужин. За едой меня продолжали мучить мысли о заводе. Мне кажется, мечтать о «Гали» я начал чуть ли не со дня своего рождения. Я представлял себе, как вначале меня поставят к старому «цинциннати», тому самому, за которым, передавая друг другу инструмент и детали, работали Милло и Морено. Я подрастал в ожидании дня, когда это сбудется, осуществится моя мечта. Я провел на заводе лишь одно утро, но он был мне дороже родного дома. Для меня «Гали» что корабль для матроса, лаборатория для ученого, ленточка финиша для чемпиона. И вот мне не дали дойти до финиша, оставили в кустарной мастерской Паррини, я теперь как матрос, списанный на берег. Ярость во мне была сильней отчаяния. Даже вновь обретенная дружба с Милло не могла уменьшить боль, которую причинила мне несправедливость. Тут бессильно даже счастье, которое мне принесла Лори. Наоборот, мне казалось, что наша любовь станет полной и совершенной лишь тогда, когда я войду наконец в заводские ворота, что на шоссе Морганьи, и пробью свою карточку. К нашему счастью постоянно примешивалась тревога ожидания. Я только сейчас это понял и был удручен своим открытием. Не съев и половины ужина, я почувствовал, что сыт. Тоска напала на меня, страшная тоска, от которой не спасали ни мысли, ни привычно окружавшие меня предметы. Наоборот, они раздражали меня, все казалось негодным, пропыленным, ненужным — шар электрической лампы, эмаль холодильника, стекло стакана. Я был на пределе сил, как после бешеного рок-н-ролла, когда от слабости глаза словно застилает туманом. Мне сейчас было трудно одному. Но уже два часа ночи, Бенито и Дино, конечно, спят, Армандо подсчитал выручку и тоже отправился на боковую. Есть еще Джо, но к нему я зайду утром. Почему у нас дома нет телефона? Сейчас отсутствие его казалось невыносимым. Я бы мог позвонить Лори, хотя бы услышать ее голос, притворившись, что ошибся номером.

— Нам поставили наконец телефон,— сообщила она недавно,— но кто им может пользоваться, когда мачеха держит уши востро?

Я очистил себе яблоко, за окном слышны были гудки поездов и глухой шум тростника, доносимые ветром. Я подумал об Иванне, которая была рядом, в соседней комнате. Ведь дело касалось моей работы на заводе, об этом с мамой можно говорить спокойно. Я позвал ее, как, бывало, в детстве, когда оставался один, ожидая синьору Каппуджи. Прислонившись лбом к косяку двери, я спросил:

— Ты не спишь?

Полоска света под дверью исчезла. Меня не обидел ее отказ, наоборот, он пробудил во мне гордость, вернул чувство равновесия и силы.

— Я только хотел поздороваться с тобой,— сказал я громко.— Спокойной ночи!

Через полчаса я уснул.

На другой день я стал разыскивать друзей, которых совсем забросил,— может, и они искали меня. У меня было чувство, будто я нахожусь перед точными, выверенными весами: если стать на них, то стрелка, как бешеная, сначала подскочит — и, поколебавшись, остановится, наконец показывая твой точный вес.

Так бывает, когда обстоятельства заставят тебя подвести итог: тебе восемнадцать лет и пять месяцев. Сегодня вторник, февраль 1960 года. Ты можешь как угодно ненавидеть воспоминания, но раз уж вступил на этот путь, то на какое-то время они тебя одолеют.

Глава 25

Утром зазвонил будильник, поставленный мною на час вперед. Иванна вышла из ванной в халате, с сеткой на голове.

— Уже встаешь? — спросила она.

Вероятно, я впервые увидел ее в «естественном состоянии» — без кремов, пудры, краски для ресниц, без губной помады. Она показалась мне другой, необычной: губы почти бескровные, кожа молочной белизны, морщины на лице, на лбу, на шее. Взгляд напряженней, чем всегда,— может быть, из-за больших, темных, как запекшаяся рана, синяков под глазами. Она казалась старше и вместе с тем моложе, чем всегда: очевидно, детская тонкость черт придавала ее утомленному лицу изящество юности.

— Ты никогда не вставал так рано,— обратилась она ко мне, зажигая газ.— Здоров ли ты?

Резкий звук ее голоса подавил во мне порыв нежности.

— Сегодня мы начинаем на час раньше, — солгал я и тотчас же дополнил свой вымысел:— Нужно снять с одной машины детали, привести их в порядок до начала работы.

Через несколько минут, подавая мне тарелку с поджаренным хлебом, Иванна словно про себя сказала:

— Неужели ты решил, что я поверила? — Ее большие глубокие голубые глаза метнули искры. Лицо было уже густо намазано кремом.— Ты ее провожаешь и по утрам? Куда она ходит в такую рань, на работу или в школу?

Иванна вызывала во мне бурное чувство протеста, почти ненависти. Я покачал головой, из упрямства решив промолчать. Только надевая пальто, не удержался:

— Это очень серьезно, мама. Прощай! — Закрывая дверь, подумал, какой это был для нее удар.

Значит, даже к радости, которую мне принесла Лори, не могла не примешаться желчь. Значит, Иванна оказалась на стороне сил зла, рядом с теми, кто не хотел принять меня на «Гали», рядом с мачехой Лори, рядом с миланской невесткой, которую я заочно презирал. На нашей стороне пока лишь один Милло, но скоро к нему присоединятся Дино и Бенито. Я познакомлю их с Лори в следующую субботу. Мы можем вместе поужинать «У лисицы». Армандо нас примет как своих. Что касается Джо, то он находился в лимбе * «невинных» (а такие частенько умеют обстряпать свое дельце лучше других). Я шел сейчас к нему, чтобы узнать, получил ли этот любимый воспитанник отца Бонифация извещение о приеме на завод. Ведь я был старше его. Я лучше его ответил на предложенные вопросы, он что-то напутал с цветными квадратами. За пробную деталь мы с ним получили одинаковые баллы, и у обоих нас война отняла отцов; таким образом, у меня были по меньшей мере равные с ним права для поступления на завод, и я должен был войти в ворота «Гали» рука об руку с этим шустрым негром. Ускоряя шаг, я мысленно говорил ему:

«Впрочем, ты совсем не такой уж черный... Еще не нашел себе девушку? Да, да, знаю, они все охотно танцуют с тобой, а потом обнимут,

* В лимбе, по католическим верованиям, пребывают души младенцев, умерших до крещения.

поцелуют и усадят в кресло — менять пластинки на нашем проигрывателе, когда «берлога» превращается в ночной клуб, похлеще «Акапулько» и «Лас-Вегас», вместе взятых. Советую тебе приглядеться к Джермане, это я тебе говорю. У тебя с ней дело пойдет, как только она наскучит Бенито. Стоит ей чуть выпить — и она глаз не может от тебя отвести. Разве ты не заметил? Эх, кролик! Знаешь, как трудно вставать так рано в такой холод! Твоя мать, наверно, удивится, что я пришел в эту пору, она уже небось готова и сейчас уйдет в свой цех, где делают счетчики».

Резкий холод раннего утра, как всегда, возбуждал меня. За речкой и со стороны Муньоне подымался туман. С трудом можно было различить шоссе Сесто, по которому навстречу мне мчались с зажженными фарами троллейбусы, переполненные рабочим людом. Сигналя, я пересек площадь Кастелло, чудом не столкнувшись с повозкой зеленщика; на полном ходу объехал грузовик с прицепом (такой мог бы водить и я). Мерзли ноги и руки, но свежий воздух прочищал мозги.

Неожиданно на другой стороне мостовой показались на своих велосипедах Джо и его мать. Они были тепло одеты. Я повернул обратно, хотел было догнать их, но что-то меня удержало, и я поехал за ними следом. Джо то и дело тормозил, чтобы поравняться с матерью, но ревели грузовики, сигналили троллейбусы, машины — и им двоим приходилось снова ехать в затылок. За Рифреди туман начал рассеиваться. Солнце, с трудом пробиваясь сквозь него, осветило виа Реджинальдо Джулиани. В его тусклых лучах я отчетливо видел желтый платочек на голове у Неаполитанки и черные кудри Джо. На площади Далмации я потерял их из виду — там большое движение — и снова обнаружил лишь у въезда на шоссе Морганьи. У меня больше не было сомнений. Они сошли с велосипедов, приподнявшись на цыпочки, она оглядела его, как солдата перед парадом, как ребенка, которого в первый раз ведут в школу. Джо наклонился и поцеловал мать. Они вместе прошли в ворота «Гали». Я остался на мостовой перед воротами и благодаря своему отличному зрению увидел, как они дошли до заводской площади и разошлись в разные стороны задолго до того, как завыла сирена.

Я совсем продрог и вопреки своему обычаю выпил в баре рюмку граппы*.

Работа отвлекла меня от мрачных мыслей, а через несколько часов, сразу после полудня, я уже был у Милло.

Старинное здание, средневековый портик, лестница точь-в-точь как в замке Барджелло — это Борго-де-Гречи, Палата труда. Я зашел в полутемную комнатку на третьем этаже, там стоял заваленный бумагами стол с двумя стульями и стенной шкафчик. На стене — портрет Ди Витторио**.

Милло жевал огрызок своей тосканской сигары. Он сразу сказал:

— Бруно, нас обвели вокруг пальца; они сработали лучше нас. Письмо тебе выслали вчера вечером. Ты из него узнаешь, что покуда твое поступление на завод отложено. Они приняли ровно столько, сколько им было нужно — тридцать из пятидесяти двух кандидатов, двадцать два пока остаются дома. Ты шестой среди непоступивших. Чтобы не показаться пристрастными, они не приняли во внимание баллов, брали по алфавиту — от «а» до «м». Тебе бы другую фамилию, не Сантини, а Маффеи или Альбрицци.

---

* Виноградная водка

** Джузеппе Ди Витторио—видный деятель Итальянской коммунистической партии, до своей кончины — председатель Итальянской конфедерации труда и Всемирной федерации профсоюзов.

Я только и мог сказать:

— Ну и что же теперь будет?

— Я выяснял. Ничего не поделаешь, придется нам вернуться к этому через несколько месяцев.

— Но все же, что ты думаешь?

— Они сделали это нарочно, чтобы не пустить на завод тебя и еще кое-кого из тех, кто им не по душе. Может, хотели выгадать время. Раз они говорят, что было только тридцать свободных мест для шестидесяти процентов поступавших, тут Палата труда мало что может сделать. Разве что остается протестовать на словах. Если они не сдержат слово, через несколько месяцев возобновим атаку. Мы своего добьемся. В конце концов, пока что тебе у Паррини не так уж плохо.

Он пригласил меня пообедать в закусочной у заставы Росса. День был базарный, здесь толпились крестьяне. Мы наспех поели из-за тесноты и спешки — к часу я должен был быть в мастерской,— едва обменявшись несколькими словами.

— Ну, как настроение? — спросил он.

— Ничего. Если речь идет только о нескольких месяцах.

Я не знал, верить ли в это, но так хотелось, чтоб снова зажглась надежда, и я утешал себя самым примитивным способом. Пока все шло нормально, главное — никто не оспаривал мое право на работу. Виновата во всем фамилия. Грусть сменилась приливом бодрости. Не в мае, так в августе войду я в ворота «Гали». Пока же постараюсь все разузнать у Джо.

— Лори мне показалась хорошей девочкой,— сказал Милло.

Я улыбнулся, доел второе и закурил. Мы понимали друг друга без лишних слов.

— Хочешь знать, как поживает мама? — спросил я.— Ты ее давно не видел?

— С того воскресенья, когда обедал у вас. Уж несколько месяцев прошло.

— Почему бы тебе не зайти к нам в следующее воскресенье?

— Приглашаешь?

— Да, в ответ на твое сегодняшнее приглашение. Иванна еще ничего не знает о том, что у меня с Лори. Пока еще рано, мама может не так понять,— добавил я.

Милло понимающе кивнул и положил мне руку на плечо:

— Теперь иди. Если поспешишь — поспеешь вовремя.

Вечером после работы Дино ждал меня у входа в мастерскую.

— Тебя не легко застать.

— Привет!

— Ты теперь с этой блондинкой?

— Не твоего ума дело.

— О, да ты влюблен. Может, нашел свою Эву-Марн?

Он замолчал. Я нарочно погромче запустил мотор. Ведь нас мог услышать Паррини, стоявший у порога, или товарищи по работе, которые выходили из мастерской, но больше всего я боялся, как бы нас не услышал Форесто. Хотя ему уже под тридцать и он отличный фрезеровщик, все равно он круглый дурак. Даже Милло его терпеть не может. Форесто все время надо мной подшучивал, его смешили даже мои кудрявые волосы, должно быть оттого, что сам он рано облысел. У него жена, она старше его, он вывез ее из Мессины, где служил в солдатах. Теперь у них трое или четверо ребят. Обычно в перерывы он не давал мне покоя. Дерзкие ответы его только подзадоривали.

— А, девочку себе завел? Знаешь, какие они бывают? Впрочем, откуда тебе знать, раз теперь закрыли публичные дома? Может, подцепил какую-нибудь в парке Кашине?

Словом, дурак дураком, с которым я разговаривал только в случае крайней необходимости и прислушивался к его словам, лишь когда он говорил о деталях. Конечно, он услыхал нас и немедленно вмешался:

— Так, так! Значит, к блондинке бегаешь?

Дино возился с мотоциклом, а я ответил:

— Все жду, пока твои дочки подрастут.— И тут же рванул, словно у меня не мотоцикл, а «ягуар» или «феррари»*, и чуть не вывалил Дино.

— Ты с ума сошел! Я-то при чем? — заныл он.— Очень рад, что ты наконец нашел девочку для себя одного. Армандо совсем заважничал, Джо просто маменькин сынок. Бенито — сам знаешь, чем кончил, ну и плевать, я плакать не стану. А ты пропадаешь неделями и месяцами. Разве друзья себя так ведут? — Шум мотора заглушал его голос. Я остановил мотоцикл у молочной на виа Витторио.— Что, разве я не привожу «берлогу» в порядок? Не плачу свой взнос? Разве я хожу туда не в те часы, когда у вас другие дела? Разве мешаю вам?

Все во мне кипело от этих разговорчиков. Я глядел на него — все в нем меня отталкивало. Кожаная куртка, узкие синие джинсы, теперь их носят только фашисты и малые ребята, лоснящиеся волосы, лицо совсем бледное, щеки впалые, усы так и не растут, несмотря на все его старания, и вдобавок эти бессмысленные обиды.

Я предложил ему выпить чашку кофе в баре, он взял каппучино**.

— Если ты мне не доверяешь, кому же ты тогда доверишься? — сказал он.— Я видел, как вы проезжали по Виа-делла-Спада. В «берлоге», когда я вошел, еще оставался ее запах.

— Ну и как,— спросил я,— выяснил, чем она пахнет?

Все опять складывалось так же, как в те времена, когда я поколотил его из-за Электры, а потом из-за Розарии. Но дело ведь было сейчас в другом. Чего он вмешивается, когда нам с Лори так хорошо, когда все у нас по-честному? Но ведь он мой друг, самый старый из моих друзей, и неужели я вправе срывать на нем дурное настроение?

Я взял его под руку, мы подошли к стеклянной двери, на улице люди ждали троллейбуса.

— Sorry ***,— сказал я.— Да, она блондинка. Ее зовут Лори. Она не блондинка, а рыжая.

— Красное золото,— сказал он и взглянул на меня печально, униженно.— Нашел волосок на подушке.

— Я тебя познакомлю. Хочешь, отправимся сейчас. Садись, захватим ее, поедем вместе. Она освободится на час, потом должна будет вернуться и работать до полуночи в швейной мастерской театра «Коммунале». В полночь я заеду за ней и отвезу ее домой. Она живет в квартале Рифреди.

— В Рифреди? — удивился он.

— Она там поселилась недавно. Но больше ни слова, не то тебе не о чем будет с ней разговаривать.

Он перешел к обороне — пожал плечами, высвободил свою руку.

— Не хочу вам мешать.— Вышел, хлопнув дверью, и смешался с толпой, намеревавшейся штурмовать подходивший троллейбус.

— Давай вернись,— сказал я ему, когда он уже стоял на площадке троллейбуса.— Вырос до потолка, не знаешь, куда силы девать, а дурачишься, как мальчишка. Ты просто зануда. Что это ты говорил о Бенито?

— С ним хуже, чем с Томми из Иллинойса. Разве не знаешь? Ты же раньше всегда читал газеты. Он удрал в Иностранный легион.

— Врешь!

---

* Марки гоночных машин.

** Кофе со взбитыми сливками.

*** Извини *(англ.)*.

Троллейбус тронулся, я поехал вслед за ним. Дино повернулся ко мне спиной, показывая, что не желает меня видеть. Подлец, он заставил меня догонять троллейбус, пассажиры уже показывали на меня пальцем. Наконец, после четырех остановок, он сжалился и сошел у Выставки кустарных изделий.

— Я теперь злой. И замерз. Понятно? — Я поставил мотоцикл у тротуара и подтолкнул Дино к ограде выставки.— Выкладывай все.

— Если б тебя друзья интересовали...

— Говори о Бенито. Что ты имел в виду?

— Если б тебя друзья интересовали,— упрямо и придирчиво повторил он,— Бенито бы тебя предупредил. Знаю только, что мать его приходила в клуб, искала нас в баре. Она и у тебя была дома, разве тебе никто не сказал? Искала его. А дней через пять-шесть заявила в квестуру *, и вскоре появилась заметка в газете. Смылся потихоньку. Я ее потом случайно встречал.

— Кого? Маму Бенито?

— Кого ж еще? Бенито написал ей из Сиди-бель-Аббеса **. Она уже не казалась такой убитой. Я спросил, передавал ли он что-нибудь нам. «Нет»,— сказала она. Больше я ничего не спрашивал. И мы распрощались... Ну и Бенито,— добавил он.— Бедные алжирцы! Он их будет током пытать. Перед тем как завести динамо, прочтет им стихи.

Я еще крепче притиснул его к железной решетке ограды. Он стукнулся об нее головой. Неужели Бенито... Острая боль пронзила мне сердце, я замахнулся на Дино, но он схватил меня за руку, вывернул ее, ударил меня коленом в пах, заставив согнуться пополам.

— Ты брось на мне зло срывать! Пользуешься тем, что я тебе пятки лижу. Нет, у меня любовь без взаимности. Я это давно понял, хватит с меня.

Внезапно он обмяк.

— Крепко я тебя двинул? Прости, ради бога! Ну, походи, походи немножко — пройдет.

Нас примирила его тревога, боль улеглась, с ней прошел и гнев.

— Двинул бы тебя посильней — и прощайте, детки,— сказал он,— это похуже электродов.

Мы опять говорим о Бенито.

— Мне тебя жаль,— ноет Дино, стоя у мотоцикла рядом со мной,— ты к нему был привязан. Уверен, и он отвечал тебе тем же.

— А у тебя, как всегда, была любовь без взаимности.

— Разве не так? От тебя и слова-то ласкового не услышишь.

Тут мне вожжа под хвост попала, я повел себя как настоящий «рага»***.

— Ах, ты опять за те же штучки? — Я завел мотор. Дино стоял передо мной на мостовой. Он пожал плечами.

— А что, разве ты находишь время для друзей? У тебя теперь блондинка. Ну что ж, и я погибну, как Бенито, но только на другом пути.

Теперь он казался мне отвратительным. Водянистый, тоскующий взгляд, лицо словно подернуто зеленоватой пленкой. Он протянул руку к моей щеке.

Тут я сказал:

— Нагнись-ка.

Он унизил себя в моих глазах еще больше, чем если б забился в истерике у ограды. Дино оглянулся по сторонам.

— Мы ведь на улице,— прошептал он.

---

* Полицейское управление.

** Место боев в Алжире.

*** Парашютисты французского генерала Массю, которые во время войны в Алжире отличались особой жестокостью.

— Нагнись-ка. Что, все еще надеешься услышать от меня что-нибудь ласковое?

Опустив веки, он приблизил ко мне свое лицо. Я плюнул ему в глаза, дал газ и умчался.

Глава 26

Чему научился Бенито у своих поэтов? Их жизнь была подчинена идее. Они были солдатами и актерами, дипломатами и ополченцами, крестьянами и инженерами. Лорка и Маяковский — вот имена тех, кого он больше всех любил. Они познали счастье и боль, воспели кровь и розу, небоскребы и оливы, город и море, машины, березу и поле под паром. Они либо пошли под пули, либо убили себя сами. Но что взял он у этих поэтов? Они были из камня, из глины, из стали и в то же время просвечивали насквозь. Они сгорели в огне своей любви к человеку. Как всякое живое существо, для которого собственное постоянство стало смыслом существования, они страдали и неистовствовали, они были полны противоречий, не укладывающихся в обычные мерки истины и справедливости, и несли в себе недостатки, поглощавшие невинность. И мифы, лишающие свободу свободы. Они рухнули под бременем планеты, столкнув ее с мертвой точки и продвинув на шаг в сторону спасения.

Чему он научился у них? Только тому, что он должен был броситься в огонь, где бы тот ни полыхал, и сгореть в нем, как в печи крематория? Теперь я оплакиваю и презираю тебя, Бенито. Ты строил на песке и упал на песок, когда пули раскололи твой череп, словно орех. Иначе и быть не могло. Или ты думаешь, в пустыне, на том месте, где ты упал, родилось дерево? Там устроили привал алжирские партизаны, и по твоей крови хлюпают верблюды. Именно этого ты и добивался?

Я говорил ему: «Нет, я не пойду за тобой. Ты за реванш, как таковой, а не за обновление. Да, да, я тоже кое-чему научился, так и знай. Твой отец был фашистом — не рядовым, а какой-то там персоной, он проиграл и в решительный момент повел себя, как трус. И это огорчило тебя больше всего, потому что ты вынужден был терпеть его, а тем временем он успел привить тебе культ мести. И вот ты мечтаешь о возрождении фашизма, чтобы он воскресил твоего отца и потом снова убил его твоими руками. Что-то в этом роде я вычитал в энциклопедии. У тебя куча комплексов, ты калека».

«Не знаю,— отвечал он.— А может, такой уж я человек: увижу грязь — и готов вылизывать ее языком, чтобы стало чище».

«Но ведь, глотая всякую пакость, ты сам себя отравляешь,— заявлял я.— Мой отец тоже умер фашистом. Правда, он был молод и никогда не был персоной. Просто он подчинялся тогдашним законам. И мне не нужно отрекаться от него. Он сам похоронил себя под слоем песка, где лежит в своей черной рубахе. Я не считаю это позором для себя, хотя и понимаю, что гордиться тут тоже нечем. Я научился уважать отца и стараюсь быть лучше него, вот и все».

«Потому что тебе это внушили».

«Нет, потому что так нужно, потому что я сам так считаю!» — злился я.

Это происходило на виа Чиркондариа, в его комнате, наполненной табачным дымом и нашими голосами, мы спорили, распаляясь и стараясь перекричать шум экскаватора, выравнивавшего дно Муньоне, по которому должна была пройти дорога от Новоли до Рифреди. Так каждый день мы выбирали по несколько горстей грунта, все больше сближаясь, и прибавляли по этажу к зданию нашего взаимопонимания, срав-

нивая свои книги с книгами другого, и открывали, что у нас — одни стремления.

Прощай, Бруно! Мне все еще слышался его голос, смех Джерманы, их удаляющиеся шаги на лестнице, и все это сливалось с образом Лори, которая, сцепив пальцы, неподвижно глядела в пустоту... Как в тот вечер, мы были сейчас — Лори и я — одни в «берлоге»: она сидела на диване, а я курил, положив голову ей на колени.

— Я должен был предвидеть это и поговорить с ним. Быть может, я убедил бы его никуда не ехать.

— Нет. Если только этот парень был таким, каким ты его описываешь.

— Насаждать фашизм! Когда я понял это, он сказал мне... Выходит, он был просто фанатиком?

— Или просто слабым человеком, несмотря на всю свою храбрость.

У него была благородная душа, и никто не заставит меня думать иначе. Его поступки, над которыми он сам потом смеялся, были достойны подчас внимания карикатуриста. Однажды у Трех камней он поймал за узду несшуюся лошадь, она сбила его с ног, но ему все-таки удалось остановить ее, после чего он хромал несколько месяцев; когда же крестьянин, хозяин лошади, стал его благодарить, он сказал ему в глаза: «Оказывается, ты вон какой уродина! Жалею, что помог тебе». Но если он был слабым, он тем более нуждался во мне. Подобно тому как меня умиляли его великодушие и слепота, мой взгляд на вещи, несколько сумбурный, но при этом не отрывающий меня от земли, удерживал его от необдуманных поступков. Я как бы уравновешивал его. Мы словно тянули канат, каждый к себе, завоевывая метр за метром, и всегда оказывались рядом у середины каната.

В дни венгерских событий прежние друзья Бенито, с которыми мы когда-то учинили побоище на берегу Терцолле, зашли за ним: «Пойдем, что ли». Их было трое, и смотрели они вызывающе; так же как в тот раз, ими предводительствовал Виньоли, мой товарищ по техническому училищу. И мы устроили свою Венгрию: я и Бенито с одной стороны, а они втроем — с другой. И нам не понадобилась помощь русских: появления Дино в нужный момент оказалось вполне достаточно для того, чтобы уравнять силы, и — трое на трое — мы через несколько минут обратили их в бегство. Этот случай ознаменовал окончательный разрыв Бенито с теми молодчиками. Так же случалось и у меня с Милло: если мы решительно восставали друг против друга, все начиналось с повода, касавшегося лично нас и никого больше.

Было время, когда коммунизм и Милло отождествлялись в моих глазах, и я выставил из дому обоих. Но в ту пору коммунисты остались одни... Они чувствовали себя виноватыми, хотя были тут ни при чем, а на них смотрели в полном смысле слова как на прокаженных. И, точно волки, они скалили зубы, принимая как должное всё: укусы, выстрелы. Партия дрогнула — так говорят теперь,— но ее фундамент остался незыблемым. И тогда мы, ребята, решили вступить в ее ряды.

Я отправился к Милло и попросил его рекомендовать нас в Федерацию коммунистической молодежи — меня, Дино и Бенито. Армандо — нет, потому что у Армандо была траттория! А Джо, тот не мог из-за отца Бонифация. Нас поручили — нас, подростков,— двадцатилетним парням, наверняка надежным, но недалеким. Они были из числа тех, для кого пролетарский интернационализм превыше всего. Увидели мы там и смазливые и чистенькие физиономии знакомых с виду парней, с какими можно разговаривать за бильярдом и у музыкального автомата, где они не напускают на себя строгость, если ты ставишь их в затруднительное положение; но и эти были — сама дисциплина, которую они считают сдерживающим началом. Они боялись стать отщепенцами, если их пого-

нят из партии. Но не это главное в моих сегодняшних воспоминаниях. Одним словом, дело не пошло дальше первого заседания...

— Я здесь потому, что был фашистом,— начал Бенито.— Потому, что я понял.

Тощий и длинный, по имени Корради, в то время секретарь молодежной ячейки, а теперь работник аппарата, заявил:

— Этого мало.— По его мнению, Бенито должен был бить себя кулаком в грудь, признавая свою вину и клятвенно отрекаясь от прошлого.— В рядах коммунистов нет места тому, кто не очистился от скверны. Разве я спросил, кем был твой отец? А ведь я знаю кем,— подчеркнул он.— Для меня важно, кто ты сам. До вчерашнего дня ты был черным. И ты должен покаяться во всем, если не хочешь, чтобы тебя приняли за провокатора.

В те мрачные дни они чувствовали себя осажденными. В этой комнате в Народном доме нечем было дышать, но казалось, что воздуха не хватало мозгу, а не легким. Допустим, сердце тут ни при чем, ну а разум? Я попытался вставить что-то, но мне не дали — таков порядок.

— Жди своей очереди,— бросил Корради,— тем более что за тобой ничего плохого не числится.

Я поблагодарил его, мысленно послав к черту, и посмотрел на Бенито. Он сидел с таким видом, как будто все происходящее доставляло ему удовольствие. А ведь я знал его: если он начинал строить из себя шута, значит, у него чесались руки.

— Но позвольте,— спросил он,— как же я могу утверждать, будто до вчерашнего дня я был другим? Если так, то вы приняли бы в Федерацию молодых коммунистов новорожденного или, в лучшем случае, робота. А я пришел к вам со своим опытом.

— Со своей паршой, вот с чем ты пришел! — не выдержал Корради.

Остальные преспокойно и терпеливо слушали. Дино шепнул мне:

— Как начнется заваруха, тут же спиной к стене. Если они навалятся на нас со всех сторон, не миновать нам больницы.

Бенито аккуратно, с ангельской улыбкой зажег сигарету. Что-что, а зуботычины он называл девичьими ласками.

— Послушай, ты, там за столом! — бросил он Корради.— Тебя бы должен был интересовать путь, который я прошел до того, как появился здесь. Я ведь и книжечки читал, и с людьми дело имел.

— Вот-вот, об этом-то я тебя и спрашиваю.— Корради легко попался на удочку.— Ты должен заверить нас, что полностью отказываешься от своего прошлого, и объяснить, почему ты решил вступить в нашу партию.

Тут, с видом самым невинным, Бенито изложил ему свою «сельскохозяйственную теорию». Они выслушали все, что он хотел им сказать,— до того он их ошарашил.

— Итак,— заключил он свою речь,— что же, выходит, делали русские в Будапеште? Они сеяли. Никто не сомневается в том, что семенные фонды революции находятся у них...

Первым опомнился столяр из Ромито.

— Товарищи! — завопил он.— Да ведь эти сопляки заявились сюда для того, чтобы издеваться над нами!

И пошло и пошло...

Сначала разошлись наши пути с Бенито, а теперь с Дино. Мысль о том, что его любовь, столь грубо мною отвергнутая, носила двойственный характер, омрачала мою душу. В силу каких моих пороков, какого рода заблуждений могли мы понимать друг друга, питать одни и те же надежды, исповедовать одни и те же идеи, делить один окурок на двоих, тузить и обнимать друг друга, просто расти вместе? Выходит, во мне было что-то такое, что делало меня похожим на него? Или я, я один был безгреш-

ным, чистеньким, идиотски наивным, как Джо, и уверенным в себе, как Армандо, самый старший и конечно самый взрослый из нас: вскоре он должен был стать полноправным хозяином ресторана и жениться на Паоле. Джо и Армандо были нормальными людьми. Почему же тогда мой разум и мое сердце, если я спрашивал их, влекло к Дино и Бенито? Именно разум и сердце, самая тихая и самая буйная часть моего «я», заставляли меня мысленно плакать. Лори помогла мне залечить и эту рану.

— В чем ты упрекаешь Дино — в том, что он любил тебя?

— Но ведь как?

— Разумеется, только так, как умел. Может быть, я говорю глупости, но во имя какой справедливости ты его осуждаешь? Буржуазной? Или твоей, революционной?

— Гм... Той, что царит в земном раю,— ответил я: из уважения к ней я постеснялся произнести более точные слова. Она тут же уличила меня в лицемерии:

— Что нам известно о законах любви? Разве ты любишь, любишь меня не потому, что я женщина и тебе хорошо со мной?

— Да,— ответил я,— и поэтому.

— А еще? Может быть, тут есть и что-то таинственное, необъяснимое? Разве то, что ты называешь желанием, не отступает иной раз на второй план? И когда ты говоришь «душа», что именно ты имеешь в виду?

— Сам не знаю.

— И я тоже. Зато я знаю другое: если у Дино есть еще что-то, в чем ты не разбираешься, какой же ты судья ему?

— Так ведь он... он сам не знает, где у него душа.

— Я стараюсь понять,— сказала она,— не мешай мне, милый. Я не какая-нибудь ученая, и потому не жди, что открою сумочку и преподнесу тебе готовый рецепт. Разумеется, когда я думаю о таких вещах, у меня тоже волосы становятся дыбом. Здесь, во Флоренции, у меня не осталось подруг, но там, в Милане, они у меня были. Одну из них зовут Долорес, но в шутку все называли ее Аддолората — Скорбящая. На самом же деле это очень жизнерадостная девушка. Она порядком наплакалась из-за меня, и, быть может, мы остались с ней в хороших отношениях только благодаря тому, что я сумела оттолкнуть ее решительно и в то же время мягко. Возможно, у женщин это как-то проще... А ты, очевидно, думаешь, что вылечил его, плюнув ему в лицо?

— Постой, я ведь не врач, да и не священник.

— Но ты его друг.

— Бывший. Терпеть не могу половинчатости и теперь я его ненавижу. Единственное, что я мог сделать, это вправить ему мозги.

— Вот, вот.— Мне показалось, что она вздохнула.— Мне нравится, что ты у меня такой сильный, но ведь ты думаешь, что с помощью силы можно решить абсолютно все! Неужели ты не понимаешь, что вызываешь озлобление? Ты причиняешь людям боль. Вот наследство, которое оставил тебе твой Бенито. А в остальном ты еще ребенок и Дино, по-видимому, тоже.

— Так, а сейчас ты скажешь, что я вообще сосунок.

— А почему бы и нет?

Лори улыбнулась и поцеловала меня. Она уже думала о чем-то другом, прямо противоположном, как всегда: воображение неожиданно как бы уносит ее куда-то, но в этом неизменно есть сокровенный смысл, причина, пусть не сразу понятная мне. Так гусеница медленно прокладывает свой тоннель в мякоти плода и вдруг, неожиданно для самой себя, оказывается на свету. Сейчас Лори пересказывала мне то, что накануне говорила Милло о своей привязанности не к местам, а к людям.

— Природа — это мы сами, ведь она существует благодаря тому, что существуем мы. Снег красивый, деревья красивые, в нас тоже есть красота, красивы и река и море, но ведь они способны и ужасать нас в зависимости от нашего настроения и от того, с кем мы. Что значит, по-твоему, быть свободными?

— Быть молодыми, иметь голову на плечах, пробивать себе дорогу, самим решать, каким должно быть будущее.

— И, кроме того, придумывать себе жизнь?

— Придумывать? Для чего?

— Да нет же, я неправильно выразила свою мысль. Я имела в виду совсем другое — совершенствоваться с каждым днем, стремиться быть лучше всех, помнить о том, что совесть всегда должна оставаться чистой.

— Ясное дело, мы-то ни в чем не виноваты. Мы страдаем по чужой вине, оттого и бунтуем.

Потом мы целовались, и не электрическая печка и не коньяк, а наша любовь согревала нас в насквозь отсыревших стенах «берлоги».

Глава 27

— Я привыкла видеть тебя веселым, ты всегда радовался чему-то,— говорит Иванна.— Можно было подумать, что мы с тобой просто соседи по квартире,— так мало мы разговаривали, и от этого у меня разрывалось сердце. Даже то, что ты каждый раз возвращался около часа ночи, стало обычным. Я курила сигарету за сигаретой, я вцеплялась в спинку кровати — только бы не выскочить в кухню и не закатить тебе скандал. Эта девушка — я еще не знала, кто она такая,— завоевала тебя. В твои годы я тоже была влюблена, но ведь я полюбила Морено, взрослого мужчину, а не мальчишку! Свои мысли я топила в этом стакане с водой. Меня сбивали с толку твое молчание, твоя скрытность, безразличный тон, каким ты со мной разговаривал. О других, о твоих продавщицах и школьницах, даже о какой-то Розарии ты рассказывал мне. Конечно, при этом ты смущался, как и полагается ребенку, поверяющему матери свои тайны, но и по тому, что ты говорил мне, я понимала, как все это было несерьезно. Отчего же ты молчал теперь? Если ты действительно любил ее, почему ты не познакомил меня с ней? Неужели ты видел во мне врага? Прости меня, но я думала, я была уверена, что она — ведьма. Знаешь, время идет так медленно, когда сидишь в кассе и отрываешь билеты — руки отсчитывают сдачу, а мысли все лезут и лезут в голову. Ведь после того, как к нам заходила мать Бенито, я увидела, я поняла, до чего умеют молчать сыновья!

— Вот-те на! Впервые слышу, что его мать была у нас.

— А ты, как ты вел себя по отношению ко мне? Даже о письме с «Гали» почти ничего не рассказал. Когда ты вошел, я была в коридоре, помнишь? Я шла на кухню за водой, чтобы принять снотворное. Ты еле-еле выдавил из себя «добрый вечер» и для приличия спросил, как я себя чувствую. Помнишь, что я тебе ответила?

— «Как всегда, плохо». Что-то в этом роде.

— Неправда. Я сказала: «А тебе разве не все равно? Ты ведь и без того счастлив». Ты сел за стол и набросился на еду так, как будто переполнявшая тебя радость не могла насытиться. Я стояла в дверях с графином в руке, и меня бил озноб — хотя это был уже конец марта. Ты уткнулся в тарелку, будто меня тут не было или на моем месте стоял бы шкаф. Я приготовила тебе на ужин артишоки. Наконец ты соизволил заговорить со мной. Ты спросил довольно грубо: «Ну, что стоишь, как статуя? Или садись, или ступай спать». И тут же, может быть, сам того не заметив, немного смягчился, как бы прося меня не уходить. У тебя

даже выражение лица изменилось, когда ты сказал: «Взяла бы, что ли, грелку, миссис Сантини!» Могла ли я подумать, что через несколько минут ты набросишься на меня с кулаками?

— Тебе доставляет удовольствие напоминать мне об этом, не так ли?

— А тебе хотелось бы, чтобы я молчала об этом даже сейчас? Ничего, так лучше, по крайней мере, от чего-то освобождаешься. Сколько раз ты говорил мне, что стараешься во всем найти разумное начало?

Да, это так. И вот я спрашиваю себя, не преобладает ли чувство над разумом в моем отношении к собственной матери? Нескольких светлых минут, вроде тех, когда мы встречаемся с ней по утрам, достаточно, чтобы мне открылось множество новых мелочей, говорящих в ее пользу. При этом я невольно чувствую себя виноватым перед ней, как будто сам по себе факт моего появления на свет помешал ей, сделал ее жизнь не такой полной, какой она могла бы стать. Именно сам факт моего существования навсегда подчинил Иванну с ее природной впечатлительностью, с ее эгоизмом мещанки, с ее умом, способным на удивительные озарения (которых, правда, никогда не хватало надолго по той причине, что у нее было не так уж много душевных сил), самым закоренелым условностям: отсюда ее боязнь чужого мнения и стремление неукоснительно выполнять то, что принято считать элементарным долгом.

Это было давно. Когда я признавался Милло, что знаю о смерти отца, когда я уже принимал участие в игре Иванны, отчасти из жалости к ней, отчасти потому, что меня умиляла уверенность, с какою Иванна изо дня в день, из месяца в месяц ждала возвращения Морено, ей было двадцать пять лет; ей еще не исполнилось и тридцати, когда умер Лучани и когда я благодаря Электре перестал быть ребенком. За последние годы я вырос, а она сдала. А ведь она была красивой, ничего не скажешь! Блондинка, она красила волосы в рыжий цвет, который подчеркивал белизну ее кожи; на овальном лице, не кукольном, а скорее взятом с миниатюры, сияли глубоко посаженные глаза, и нежная их голубизна излучала спокойный и вместе с тем волнующий свет. По тому, как шоферы смотрели на нее в траттории, я понимал, насколько Иванна была женщиной и какой притягательной силой она обладала. Она подносила сигарету к губам, и парни тянулись к ней из-за соседнего стола, а то и вставали, предлагая ей прикурить. В знак благодарности она опускала ресницы — и только! — пресекая все попытки заговорить с ней. «С меня достаточно того, что я с утра до вечера штампую билеты и расточаю улыбки»,— ворчала она.

У тратторни останавливались все машины, некоторые специально сворачивали с виа Болоньезе, чтобы полакомиться соусами синьоры Доры. Среди шоферов был один парень из Салерно, который вместе со своим напарником, тоже южанином, перевозил на «додже» с прицепом апельсины и лимоны. Это он «разбил лед» однажды вечером, подсев к нашему столу и разложив по нему семейные фотографии. Когда Иванна услыхала, что он побывал в Африке, в Мармарике, она уставилась на него во все глаза. Он сказал, что его фамилия Аренелла. На его огромной волосатой руке были часы со светящимися стрелками и окошечком календаря, на шее, под комбинезоном, блестела цепочка. Это он сказал в тот раз, когда подавали лису: «Как бы от нее не заболеть, а?» Потом начался дождь, незаасфальтированная дорога превратилась в сплошное болото, и Аренелла, усадив нас к себе в кабину, подбросил до самого дома. В следующий раз он направился прямо к нашему столу, держа в каждой руке по два апельсина, но Иванна как бы с трудом узнала его, едва поздоровалась и отказалась от них.

Вместо того чтобы вызывать во мне ревность, внимание мужчин к Иванне наполняло меня гордостью за нее, и я воспринимал это как должное. Мне было хорошо и весело, когда я, уверенный в безупречности ее поведения, смотрел на нее влюбленными глазами и хотел, чтобы все знали, что она моя мать, как будто я сам выбрал ее. Я был ее сыном, и вполне естественно, что, обожая Иванну, я понимал ее беспокойство за меня, терпел самые резкие перемены в ее настроении и наконец выставил Милло из нашего дома. Ведь я не сознавал тогда того, что мог ей объяснить сегодня: на пороге молодости она познала несчастье, безжалостно отнявшее у нее радости замужества, которые она едва успела вкусить, а для нее, как и для всякой женщины в ее положении, любовь отождествлялась с физическим удовлетворением. Если бы она позволила себе что-нибудь с Аренеллой и еще раньше — с молодым Сильвано, с которым однажды в воскресенье, еще при жизни синьоры Каппуджи, встретилась в Луна-парке, что было бы в том противоестественного, дурного?

Понимая это, разве я осмелился бы упрекнуть мою мать за кратковременную связь с Аренеллой или с Сильвано, за то, что она дала бы «выход чувствам» с кем-нибудь из друзей Беатриче, той самой Беатриче, которой она обязана значительной переменой в жизни — тем, что сменила блузу работницы на блузку кассирши? Достаточно было мне обратиться к более отдаленным временам и вспомнить мои ночные набеги с Милло в кафе «Дженио», связать нервное состояние Милло с тем, как моя мать лелеяла память Лучани, и я догадывался, что Иванна была любовницей своего прежнего хозяина. К трауру вдовы погибшего воина прибавился этот тайный траур, и нет ничего странного в том, что именно после смерти Лучани ее мечты о возвращении Морено превратились в навязчивую идею. Став ее моральным алиби, из-за которого Милло вот уже столько лет не решался подступиться к ней с предложением выйти за него, ожидание мужа начало приобретать характер мании. Ее бедные нервы постепенно погубили бы ее, если бы не мое вмешательство: волею обстоятельств это случилось в тот самый вечер, когда в объятиях Лори я оплакал Дино и Бенито и отрекся от своей дружбы с ними.

Она села и слегка запрокинула голову, коснувшись затылком угла буфета. Она прижимала к груди грелку, на ней был голубой халат, в волосах — лес разноцветных бигуди, на лице — обычный слой крема, блестевшего, как пот. Отставляя тарелку, я вдруг поймал себя на том, что мне хочется спросить о ее делах: «Ну, что слышно? Как там директор твоего кинотеатра господин Сампьеро со своей водянкой? А что киномеханик, все ревнует свою жену?» — но она вдруг посмотрела мне в глаза, какая-то тихая и покорная.

— Мы по-прежнему друзья? — спросила она.

Ощущение нежности и скуки, смешанное со вкусом только что проглоченных артишоков. Бедная женщина — я бы сделал для нее все, что угодно, лишь бы она не принуждала меня к этому сама.

— Мама, я не понимаю тебя. Объясни, пожалуйста...

— А ты ничего не хочешь мне объяснить? — Она положила руку на стол — левую, на которой обручальное кольцо и перстенек с рубином,— и провела указательным пальцем по краю клетчатой скатерти.— У тебя рот всегда на замке. Пожалуйста, не злись, но я сама кое о чем узнала. После такого перерыва я снова заглянула в тратторию Чезарино. Знаешь, там теперь все по-другому, и название новое — «У лисицы», в честь той лисы, которую мы когда-то у них ели. Шикарное заведение. Дора прямо-таки не успевает насаживать на вертел кур и всякую дичь.

— Ты, кажется, отвлекаешься. Зачем?

- Чтобы ты понял, чего мне это стоило. Ну, да ладно. От Армандо

я ровным счетом ничего не добилась: подумать только, он не видел тебя несколько месяцев! Он дал мне адрес мулата, но ни мулат, ни Дино... Само собой, каждый раз я делала вид, будто случайно оказалась поблизости. Наоборот, все они сами расспрашивали меня о тебе. Дино я нашла под лоджиями, и из всех твоих друзей он один проявил какое-то беспокойство за тебя. Самый добрый и самый хороший мальчик. Он сел со мной в автобус и проводил меня прямо до дома.

Несмотря на начало весны, в кухне было страшно холодно, но мне казалось, что ее слова, а не холод и ночная сырость, поднимавшаяся из зарослей камыша и оседавшая на стеклах, пронизывали меня до костей.

— А что мне оставалось делать? Ведь у меня в целом свете нет никого, с кем я могу быть откровенна, кроме разве...

— Ага, значит, ты была у Милло.

— Он сказал, что вы ужинали вместе.

Так, все ясно: она надеялась, что я не выдержу и начну расспрашивать ее, что у меня лопнет терпенье и я рассержусь. Мое молчание сбивало ее с толку.

— Он сказал, что я могу быть спокойна. Что она хорошая девочка. И к тому же красивая, правда? — И после долгой паузы, снова прижимая грелку к груди: — Положа руку на сердце объясни мне, Бруно, если это у тебя серьезно, ну чего тебе таиться от меня? Ведь я еще не такая старая, чтобы не понять. Я знаю, кто ее родители, знаю, что они порядочные люди.

— Правильно,— ответил я.— И никто не отрицает, что это серьезно. Так что успокойся. К тому же ни я, ни Лори ничего ни от кого не скрываем.

— Когда ты приведешь ее? — спросила она.— Завтра я выходная.

Теперь в трудном положении оказался я: на меня нахлынули самые противоречивые мысли, и я не знал, как мне быть. Мы с Лори никогда не задумывались об этом. Ведь о родителях мы говорили с ней не иначе, как о стариках, которых мы осуждали. Они сами и их комплексы, они сами и их условности были чем-то далеким и не имеющим к нам никакого отношения. И в тот момент, когда Иванна была наиболее искренна (пусть не до конца, как я потом установил), и ее поведение и ее намерение показались мне лицемерными и жалкими. И я повел себя не наилучшим образом.

— Познакомить тебя с ней? А не рано ли? Ведь мужчина — я, и для начала мне следовало бы поговорить с ее отцом. Разве не так поступил Морено?

— Нет, нет,— испугалась она,— ты не должен этого делать! То есть пока не должен.— Она тяжело и часто дышала, в ее голосе звучала боль. На меня смотрела смехотворная маска самой древней и замшелой из форм ревности, и мне просто не верилось — она, такая живая, вдруг оказалась вне времени.— Может быть, это чисто детская влюбленность и у тебя и у нее, хотя я знаю, что она... ну да, она немного поездила по свету, несколько лет прожила в Милане. А ты еще должен определиться на работу, должен...

— Что же я должен? — Прикидываться дурачком доставляло мне теперь довольно сомнительное, но все же удовольствие.— И у нее и у меня есть работа, мы могли бы пожениться хоть завтра. Но нам это и в голову не приходило. И потом, разве я позволил бы себе жениться без твоего разрешения, когда мне еще и двадцати нет? Кстати, ты ведь не станешь возражать после того, как Милло успокоил тебя?

Она откинулась назад, закрыла глаза. У нее дрожали подбородок и руки, которыми она придерживала грелку на груди.

— Я никогда не возьму на себя такой ответственности до тех пор, пока не вернется твой отец.

«Ты вскочил из-за стола так,— вспоминает она теперь,— будто собирался вцепиться мне в горло. Мне стыдно даже признаваться в этом, но есть выражение «чувствовать себя голой», и именно так я почувствовала себя перед тобой, я, твоя мать. У меня все болело, душа разрывалась, когда ты тряс меня и, задыхаясь, орал с красным, а потом бледным от охватившей тебя ярости лицом: «Мама, пора покончить с этими идиотскими выдумками! Если хочешь, сходи себе с ума, а я не желаю». Я потеряла сознание и пришла в себя уже на кровати, куда ты перенес меня. Ты давал мне нюхать уксус, но был еще злее, чем сначала,— настоящий палач, тиран. Неужели не помнишь?»

Я сидел на краю кровати и смотрел на мать с недоверием: мне казалось, что она притворяется. Вид у нее был усталый, но ее взгляд внушал мне подозрение, как будто на красном одеяле распласталась огромная разноцветная кошка, не решившая, как ей быть — мурлыкать или нападать. Я был тверд, но не беспощаден, я подбирал самые простые и только такие слова, которые причинили бы ей возможно меньше боли.

— У тебя тихое помешательство, теоретически оно никому не опасно, согласен, но оно убивает тебя, твои бедные мозги и твою жизнь, и именно поэтому я не могу быть спокоен.

— Но почему ты заговорил об этом именно сейчас, сегодня вечером? — спросила она. И в ее голосе послышались дьявольские нотки.— Рядом с ней ты стал мужчиной и, наверно, поэтому считаешь, что вправе судить свою мать?

— Да, возможно,— ответил я.— Но ты больна. И если ты не переменишь пластинку, я заставлю тебя лечиться. Может быть, тебе даже следует лечь в больницу.

Я предложил ей сигарету и закурил сам. Она встала, подошла к зеркалу и начала поправлять бигуди — способ прийти в себя и поразмыслить. Слезы протачивали глубокие борозды в слое косметики на ее лице. Немного погодя она заговорила сама с собой, а не с моим отражением в зеркале, но я слушал ее.

— Думаешь, я не знаю, думаешь, я тоже, много лет назад, не сдалась перед доводами разума? Впрочем, что такое разум? Лучше называй это правдой: так будет естественнее и можно обойтись без вопросительных знаков! Твой отец, если бы он остался в живых, вернулся бы раньше всех, чтобы поцеловать нас в глаза, как он всегда делал. В то время у тебя были наивные глаза ребенка, у меня — не такие опухшие и без мешков под ними, и они умели быть веселыми и задорными, как я сама. Прошло восемнадцать лет, и если за эти годы я сделала что-нибудь не так, конечно, не тебе и не сейчас должна я признаваться в своих ошибках. Постой, а что ты знаешь о них?

— Ровным счетом ничего, да они меня и не касаются.

Она вздохнула — тяжело и в то же время как бы с облегчением,— настолько я, видимо, показался ей безоружным.

— Я осталась одинокой,— продолжала она,— но жизнь не пугала меня. И все-таки эта постоянная мысль помогла мне. Она, как надежда, как ты сам, Бруно, появилась на свет не сразу. Она впервые пришла мне в голову, когда ты еще лежал в колыбели, и был Эль-Аламейн, и следы Морено затерялись в песках, где сражались он и его товарищи, еще более молодые, чем твой отец. «Среди этих ребят я выгляжу просто ветераном»,— так он мне писал. Но тебя сегодня не трогают эти вещи, и, хотя речь идет о твоем отце, ты полностью на стороне Милло. Милло честный, Милло верный человек, и ты сначала ссоришься с ним, прогоняешь его из дома, а потом сам же ищешь! Милло всегда на стороне разума — как же можно не уважать его? Я убаюкивала тебя с этой надеждой, да, да, а потом убаюкивала ею себя. Если бы ты поверил в нее, кто знает, может, она бы и сбылась, говорила я себе. Вот и позав-

чера в газете один человек, которого считали пропавшим без вести в России, после стольких лет неизвестности... Я сумасшедшая, да, ты упрячешь меня в больницу! Наверно, прав синьор Сампьери, который часто повторяет: старея, стареешь. Так вот, значит, в чем мое безумие: в том, что я вырастила тебя, рассказывая тебе о твоем отце, как о живом!

Она посмотрела на меня — в зеркало. Вместо того чтобы растрогать меня, ее слова вызвали во мне новый прилив ярости.

— Ты и впрямь хочешь, чтобы я согласился с твоим объяснением?— зарычал я.

— Но это правда.— Она обернулась, взяла меня за руки, которые я едва не вырвал у нее с отвращением.

— Может, это было скорее предлогом для того, чтобы держать Милло в ожидании, а? Хотя это и кажется мне достаточно нелепым — при твоем складе ума в этом была бы какая-то логика. По части чувств Милло человек не такой уж настойчивый, он оставил бы тебя в покое и без твоего долгого притворства.

— И то и другое,— сдалась она.— Но по отношению к Милло было не совсем так: в каких-то случаях я поступала как бы по инерции, вот в чем дело... Я не ахти какая умная, и что бы ни делала, я прежде всего думаю о тебе, с каждым днем все больше и больше похожем на своего отца — те же глаза, тот же голос, те же манеры.

Не знаю, притворялась она или нет, но я видел перед собой призрак, а не живую женщину, притом самую коварную или самую безутешную. И мой гнев уступил место жалости. Я сказал:

— Ну ладно, согласен, ты вовсе не обязана отчитываться передо мной. Когда захочешь, я выслушаю тебя. Конечно, когда я стану совершеннолетним.— Тут я улыбнулся.— Важно то, что сегодня вечером мы разобрались в главе под названием «Морено».

Она села, и я стал перед ней на колени, она притянула меня к себе и поцеловала в губы, размазав по моему лицу кашу из крема и слез.

— Ну, а с Лори-то ты меня познакомишь теперь?

— Непременно. Только не завтра — куда спешить? А если и впрямь это простая влюбленность и больше ничего?

Я лгал, я сознавал это и радовался про себя, главным образом за нее, как будто все изменилось и только сейчас я перестал ее стесняться. Я задался целью вылечить Иванну, и мне это удалось, и уступать ей, пока она окончательно не выздоровеет, было моим долгом. Желание познакомиться с Лори было капризом, и, чтобы успокоить ее, я пообещал ей это, вовсе не собираясь выполнять своего обещания. О чем бы она могла говорить с ней, с нами обоими? Она бы только омрачала нашу любовь своей печалью. Наше с Лори счастье исключало Иванну, как исключало родственников Лори — всех этих стариков с их бесконечными предрассудками. Одного Милло допустили мы к нашему счастью, потому что он появился сам по себе, со стороны, и оказался своим, но и он в какой-то степени предал нас. Что касается наших с ним отношений, то он вновь пробил брешь в той крепости, где, если вы не заодно, вы враги, как я с Дино и как я с Бенито. И все же на этот раз я не возненавидел Милло за его предательство; я стал достаточно взрослым, чтобы понять одно: уважая «скорбь» Иванны, он не мог поступить иначе, и, кроме того, он ограничился тем, что сказал ей правду и, значит, поступил честно и достойно. Но Лори не следовало приближаться к этой трясине эмоций, откуда я сам все еще не мог выбраться, несмотря на то что теперь у меня была она. Какой смысл говорить с ней о желании, высказанном Иванной, равно как о длительном помешательстве, от которого я вылечил ее? Все это относилось к моей предыстории, окончившейся в тот самый вечер, когда я возился с мотором и Лори в розовом

пальто возникла на пороге с дорожной сумкой в руке: «Извините меня, ради бога!..»

— Я понимаю, тебе безразлично, знакомы мы с ней или нет, но тебе не помешало бы знать мое мнение,— настаивала Иванна.

— Хорошо, ложись спать, там видно будет.

Мне казалось, что это уже случилось, до того хорошо я представлял себе каждую подробность. Все это походило на спектакль, который я знал наизусть вплоть до каждой паузы, до каждого вздоха. Я помог ей улечься в постель, подал стакан воды, и она приняла двойную дозу снотворного.

Глава 28

— Кстати, а что слышно о нашем путешествии к морю? — вспомнила Лори как-то вечером.— Мы собирались туда, когда еще был снег.

— В воскресенье можешь? Нет, не на мотоцикле, Милло одолжит нам «тополино».

— Вот здорово! — обрадовалась она.

Начиная с этого момента каждый жест, каждое слово полны значения. На всем, что есть живого вокруг, запечатлены черты Лори, ее образ занимает основное место в пейзаже, в ее лице отражаются море и река, деревья, автострада, горы, былинка, небо, которое все время было светло-голубым,— до первых домов Новоли на обратном пути, когда у грузовиков под навесом рынка уже зажглись фары.

Мы встретились, как было условлено, на площади Далмации, у кинотеатра «Флора», выпили в соседнем баре кофе, «чтобы домашний получше усвоился». Нарядная, похожая на спортсменку, она была в облегающем вязаном платье салатного цвета с рукавами по локоть, на шее — сиреневый платок. Ее порывистая походка, ее настроение, весь ее облик говорили о молодости и о здоровье.

— Видишь, как блестит лимузин Милло?

— А что, мы быстро поедем?

— Выжму из него все, на что он способен!

— Отлично.

День начался под этим знаком. Миновав Понте-ди-Медзо и лачугу Старого Техасца, чудом уцелевшую среди новых построек, мы выбрались на ведущую к морю дорогу неподалеку от аэродромчика, примыкающего к северной окраине нашего города.

— Ты когда-нибудь летал? — спросила она.— Я — да, над Миланом, только на вертолете. Брат достал через газету бесплатные билеты.

— Ну и как?

— Ничего особенного. Знаешь, когда смотришь вниз, город — будто игрушечный. Абсолютно. Так и хочется подняться еще выше.

— У реактивных потолок около десяти тысяч. Да это еще что, вон Лайка на небе побывала,— сказал я.— Хотя неба нет, есть безвоздушное пространство. И того света нет, теперь уже установлено.

— Ты и Лайка — две храбрые собачки.— Она потерлась щекой о мое плечо.— Когда летишь высоко над землей, не хочется возвращаться. И в шутку кричишь: прощай, прощай!

— В таком случае, привет, Лори!

— Привет!

Она зажгла две сигареты — себе и мне. Мы ехали по середине автострады, на участке, где, несмотря на выходной день, велись работы по расширению дороги.

— Я бы хотела иметь бесплатный билет на любой самолет,— ска-

зала она.— Нью-Йорк — Сибирь, через Северный полюс. Или подняться в Гонолулу и пролететь над Австралией.

— Гаити, Бермуды.

— Карибские острова, Патагония.

— Карнавал в Рио.

— Красная площадь.

— Пекин.

Это была игра, мы с серьезным видом перечисляли, почти выкрикивали названия мест, куда бы мы поехали, захватив с собой нашу любовь.

— И что-нибудь поближе,— продолжала она.— Эльба, Агридженто, Сестьере.

— Скажешь тоже. Ну и фантазия у тебя!

— Просто мне нравятся эти названия. Об Агридженто я мечтаю целую вечность, кто знает, с чего бы это. И потом, в Сицилии должно быть здорово — мафия, апельсиновые рощи. Интересно, почему там женщины вечно ходят в черном, а мужчины всегда в кепках, если это правда?

— Можем махнуть туда летом. А завтра я тебе все объясню — прочту об Агридженто в энциклопедии.

— Ишь, грамотей нашелся! Что же ты объяснишь мне? Сколько в Агридженто старинных зданий, кто там родился, количество жителей и церквей?

— Мы разговариваем так, словно оба немного того...

— Это часто бывает в начале путешествия на машине или на поезде.— И она засмеялась, наклоняясь ко мне; я повернулся к ней, и мы быстро поцеловались.— Осторожнее, на дорогу смотри!

Вот уже несколько километров передо мной маячил «фиат-1100» с римским номером, и я обогнал его, сигналя, как будто у меня в машине был раненый; человек за рулем выразил свое отношение к этому, показав мне кулак, я ответил ему тем же. Началась погоня. Старикан «тополино» давал под семьдесят, и, пользуясь тем, что дорога была узкая, я нарочно то и дело вилял, не позволяя римлянину обойти меня. Струя ветра била в лицо, Лори подзадоривала меня. Но на прямой, ведущей к Пистойе, мне пришлось сбавить скорость: несмотря на холодный весенний ветер, мотор уже дымил. («Не забывай о воде,— предупреждал Милло.— И главное, следи за сцеплением, оно иногда барахлит — диски немного сточились».) Две, три, десять машин обдали нас пылью, как бы показывая, что нашей старой калоше давным-давно пора на свалку. Я постукивал рукой по баранке, Лори поправляла косынку.

— Проиграли,— признался я.

— Но красиво.

Мы снова закурили и много километров подряд пели «Учись танцевать блюз», ставшую нашим гимном. Когда вдали показалась Пиза, мы решили свернуть с автострады и заехать в город, который я едва помнил и где она никогда не была.

Главное — не пейзаж, не какие-то посторонние предметы, а ее слова, ее глаза — то веселые, то задумчивые, лукавые или любопытные, удивленные. Мы стоим на мосту, она показывает, где, по ее мнению, должно быть устье Арно, и говорит:

— Вон там где-то река впадает в море, правильно? Люблю угадывать. Поехали.

Мы снова садимся в машину, чтобы спуститься к площади. Светит апрельское солнце, в его лучах здания кажутся волшебными, какими-то бесплотными, между ними ходят люди, их немного, и они как бы специально бродят здесь для того, чтобы продемонстрировать, до чего мал че-

ловек. Нам и весело и скучно. Падающая башня вызывает у нас смех, и между ней и собором с баптистерием, как бы готовым сняться с якоря со всеми своими нишами и кружевами, мы тоже чувствуем себя крошечными и в порыве какого-то глупого ребячества бежим на газон и вдруг открываем, что нас мучит жажда и что нам хочется чего-нибудь холодного, как летом. И вот мы уже сидим в кафе и рассуждаем о том, что декорации великолепны, но нагоняют тощищу: среди них чувствуешь себя мощами. Мы возвращаемся к нашему кругосветному путешествию, к большим городам, разговор заходит о Нью-Йорке и о Милане.

— По-твоему, что красивее,— спрашивает она,— эта башня и, скажем, колокольня Джотто или небоскреб?

— Тоже мне, сравнила!

На эту штуку, думаю я, можно только смотреть. Может быть, те, кто пообразованней, действительно чувствуют что-то, глядя на нее, и видят в ней определенную эпоху — они называют это стилем. Тут дело в культуре, в этом я не силен. Если уж на то пошло, я бы не прочь узнать, сколько людей здесь работало, сколько они получали и сколько их поумирало за время строительства. А сегодня какой от нее толк? Ну да, можно залезть на верхотуру и любоваться панорамой — вот и все. То ли дело небоскреб! В нем полным-полно людей, и у каждого — свое занятие. Такие здания строят для того, чтобы наши современники оживляли их своими делами и своими спорами, они со всех сторон открыты свету, в них современная мебель, электронный мозг, все, что хочешь.

— Короче говоря, они живые и внутри и снаружи.

— Наши мнения совпадают даже тогда, когда мы исходим из соображений прямо противоположных,— сказала она.— Наверно, оттого мы и любим друг друга? — Она посмотрела на меня, склонив голову набок, при этом у нее над переносицей появилась морщинка. Взгляд был пристальным-пристальным, и ее нельзя было не поцеловать: так ребенку, которого хотят отвлечь от чего-то, делают «пиф-паф».— Мне эти самые древности только на нервы действуют. Недостаток образования? Независимо от этого кажется, что для них время застыло на месте, они такие же неподвижные и красивые, какими их когда-то задумали. Это ужасно, тем более что мы-то изнашиваемся с каждым днем. Мы-то хрупкие, чувства сотрясают нас, как ветер сотрясает небоскребы.

— Значит, Эмпайр-стэйтс-билдинг или твой миланский Пирелли* похожи на нас. Они будут напоминать о нашем времени, когда мы с тобой уже исчезнем.

— Ты рассуждаешь, как старик. Ужасно сознавать, что однажды все кончится.

— Это все, что ты придумала?

— Когда тебе выгодно, ты ловишь меня на слове! А разве тебя иной раз не охватывает ощущение пустоты? Каждый шажок стрелки на часах — это минута, которая уже не вернется. А если потратить все минуты сразу,— добавила она, помолчав,— что тогда?

— Преждевременная смерть.

— Или вечная молодость. Не знаю, что может быть лучше этого. Уж очень я смерти боюсь. И в то же время мне кажется, что я никогда не живу полной жизнью.

Я привлек ее к себе. Я понял, что ее жизнерадостность таила в себе глубокую грусть, что ее равновесие было равновесием свободно парящей в воздухе птицы, чей полет способно прервать любое препятствие. Может быть, именно это и делало ее самым дорогим мне существом, за которое я — в ответе.

Потом, невзирая на мое равнодушие и ее страхи, мы побывали в

* Имеется в виду небоскреб в Милане, административный корпус крупнейшей в Италии фирмы резиновых изделий «Пирелли»

баптистерии и в соборе, поднялись на башню — наперегонки, по винтовой лестнице, наверху гулял ветер, и мы держались за парапет, смотрели вдаль, туда, где было море, выводили на каком-то камне свои имена и дату. Высоко-высоко над нами эскадрилья самолетов выделывала всевозможные фигуры, оставляя за собой длинные полосы дыма, которые постепенно расслаивались, словно тучи.

— На таком самолете до Гонолулу рукой подать,— сказала она.

— Нет, не хватит горючего.

— Господи, до чего же ты у меня трезвый, Бруно! — Она обняла меня.— Если я когда-нибудь разлюблю тебя, я уж теперь знаю, из-за чего.

Ветер играл концами косынки и выбившейся из-под нее прядью.

— Не успокоюсь, пока не узнаю причины,— в шутку сказал я, когда мы спускались — она впереди, я за ней. Но уже по дороге к машине забыл об этом.

Она попросила:

— Можно я поведу? У меня нет прав, но я умею.

Она была просто чудо: села за руль, и «тополино» снялся с места ровно, без рывков, не то, что у меня, слишком нетерпеливого. Она объяснила, что научилась водить сначала на «фиат-600» брата, а потом на фургончике одного приятеля, там, в Милане.

— Симпатичный парень, сицилиец, но блондин, и поэтому прелесть до чего красивый. Во всем остальном — самый обыкновенный Рокко, которому повезло.

— Так вот откуда взялось Агридженто,— вырвалось у меня.

— Еще бы! Только он был из Мессины.

Она посмотрела на меня, и я, как дурак, отвел взгляд. Словно прочитав мою смутную мысль, она сказала:

— В моей биографии есть темные пятна, о которых ты не знаешь,— и улыбнулась, но так, что мне почудилась доля правды в этой насмешливо произнесенной фразе. Мы ехали мимо Мильярино, по обе стороны дороги тянулась сосновая роща, залитая солнцем, в открытые окна машины врывались холодные струи воздуха.— Ты не закроешь? — попросила она. И, возвращаясь к сказанному перед тем, прибавила с явным намерением позлить меня: — Тебя это огорчает?

Что греха таить, я был подозрительным парнем, но я привык уже к изменениям в ее настроении, к ее душевным колебаниям, которые делали Лори необычной, исключительной, удивительной девушкой и за которые, быть может, я и любил ее.

— Разумеется, я тебя понял не буквально, когда ты рассказывала мне о своей монашеской жизни в Милане.

— Тогда спрашивай, дуралей, обо всем спрашивай, что тебя интересует! — вспылила она. И тут же: —Прости меня.— Она затормозила.— Теперь ты веди, я вижу там крутой поворотище, боюсь, мне его не одолеть.

Мы поменялись местами, выйдя из машины и обогнув ее — я со стороны багажника, она со стороны двигателя. Сидя рядом, но не касаясь друг друга, мы двинулись дальше и молча проехали длинный поворот; роща осталась позади, впереди виднелся железнодорожный переезд. На развилке Торре-дель-Лаго скопилось множество машин, и нам пришлось остановиться. Она закурила и сидела, сложив руки на сумочке, лежавшей у нее на коленях; незаметно наблюдая за ней, я видел ее неподвижный профиль, гладкую кожу, маленький, круглый, вызывающий подбородок. Я тоже вытащил из пачки сигарету, она протянула мне свою, чтобы я прикурил. Мы медленно двигались в колонне машин. Наконец она спросила:

— Ты все еще дуешься?

— Я ждал, что ты заговоришь первая.

Мы улыбнулись.

— Давай,— сказала она,— обгоним справа и мигом обставим всех.

Не заезжая в Виареджо, мы продолжали путь по автостраде Аурелия. Теперь я мчался по следам своих воспоминаний, физически ощущая их бремя и радуясь тому, что метр за метром подминаю их под колеса: я ориентировался больше по памяти, чем по дорожным указателям. На участке от железнодорожного переезда до перекрестка Лидо-ди-Камайоре, Марина-ди-Пьетрасанта, Фьюметто я вдруг понял, что машина — та, прежняя, что за моей спиной ерзаю я сам, любопытный и непоседливый мальчишка, что я — Милло, а Лори — Иванна; наваждение длилось ровно столько, сколько возникшее между нами молчание; лучи солнца, всплывшего над сосновой рощей, падали на дорогу сбоку, покрывая ее причудливым узором.

— Где-то тут должен быть рекламный щит,— сказал я,— и на дороге к Форте-деи-Марми — траттория. Обыкновенная хижина, где ели минеры.

Вместо траттории я увидел, свернув с автострады, вереницу вилл, больших и поменьше, и вокруг — ни души, как будто непрошеные гости, мы ворвались на своей старой перечнице в спящую деревню, где среди бела дня продолжалась ночь.

— Ты разочарован, да? — спросила она.

— Я начинаю понимать, что значит много лет подряд носить в себе прежние чувства.

Что правда, то правда. Может быть, заразившись от нее, я испытывал чувство страха, опустошающее мозг и комом стоящее где-то внутри: это отвращение к пище и одновременно голод, привкус желчи во рту и сладостное забытье, которому хотелось бы предаваться бесконечно, смутно сознавая, что ты во всем решительно ошибался и тебе уже ничего не исправить — ни поступков, ни их причин, будто ты заблудился и сдался. Это потемки духа, черный ад. В таком случае спасительной гаванью должна стать действительность, энергия, сила воли, жизнелюбие, которые помогут обрести уверенность в себе. Я заглушил мотор перед сухим кустарником, обратив внимание на выжженную местами землю.

— Кажется, здесь,— сказал я.— Теперь это похоже на кусок пустыни, вытоптанный слонами. Кто-то разводит тут костры.

Я готов был расплакаться — настолько неожиданной и неистовой была охватившая меня тоска, чувство для меня новое, мерзкое, отвратительное, от которого не знаю, как бы я избавился, не подставь мне Лори свое лицо, открытое, такое юное, озаренное светом влюбленных глаз. Поцеловав ее, я навсегда убил в себе это дурацкое, гнетущее чувство.

— Я знаю,— сказала она.— Так бывает.

— Но ведь, когда я приезжал сюда с Милло и с матерью, мне было весело. Правда, я был маленький, что я мог понимать? Я очень смутно все помню.

Тем не менее довольно долго я не мог освободиться от ощущения, будто я нахожусь на кладбище и что, вернувшись домой, я никого из них не увижу: ни Иванну, ни Милло — и никто не приготовит мне ужин, никто не будет ждать нас у входа в молочную на виа Витторио и, в случае если бы мы опаздывали, беспокоиться и за нас и за свой драндулет.

— Мы слишком много думаем о других,— заключил я.— Даже тогда, когда не хотим думать. Все, уже прошло.

Мы выехали к морю и поставили машину рядом с невысоким павильоном пляжа, летом — вообразить только! — наверняка были

музыкальные автоматы и плетеные шезлонги, масса обнаженных тел, лежаки и огромные зонты, жара, жажда. На пустынном берегу — похожие на покинутые казематы купальни с полустертыми влажным ветром, ничего не говорящими названиями: «Юго-восток», «Волна», «Флавио», «Санта-Мария»; только вдали, маленькие, как оловянные солдатики, прогуливались несколько человек. Мы уселись на песок, не столько холодный, сколько влажный, весь слипшийся, грязный, покрытый тиной. Море было беспокойным и рвалось к нам и вновь отступало, когда до нас оставалось несколько шагов. Оно сверкало там, где солнце мчалось на гребнях волн, бросая туманное отражение на горизонт, и эта дымка как бы поглощала яркий, слепящий свет. Место было самое обыкновенное, так себе, ничего особенного, и не отвлекало нас от наших мыслей. Ветер, который несли те же волны, мешал говорить, заставляя нас то и дело переводить дыхание. Она сказала:

— Да, Бруно, никогда нельзя считать прошлым то, о чем мы все еще думаем.

Внезапно она поднялась, скинула с ног туфли и, держа их в одной руке, с сумкой в другой, спотыкаясь, борясь с ветром, побежала. Я настиг ее с разбегу, не рассчитав, толкнул, и мы грохнулись на песок, борясь, срывая друг у друга с губ жаркие поцелуи.

— Когда ты думаешь о будущем,— спросила она потом,— что ты видишь там?

— Цех «Гали» и «женевуаз».

— И сам ты — в белом халате, и летом тебе не будет жарко, ведь там кондиционированный воздух.

— Еще бы! — ответил я в тон ей.— Это тебе не шуточки.

Медленно бредя по пляжу, мы вышли к устью Чинкуале, которая была шире, чем Терцолле и Муньоне, вместе взятые. Дыхание моря, казалось, заставляло реку бежать быстрее; и, отражаясь в ней между землисто-зелеными берегами и вставая по обе ее стороны, там, вдали, высились Апуанские горы, рассеченные каменоломнями, синие, но не такого, как небо, оттенка. На деревьях и по склонам виднелась уже по-настоящему весенняя прозелень. Мы двинулись по берегу в сторону гор, полагая, что выберемся на идущую вдоль моря дорогу.

— Уж не борьба ли с буржуазией наводит на тебя такую тоску?

— Не бойся, я не ошибусь в выборе окопа,— ответил я серьезно.— И в этой борьбе ты будешь рядом со мной.

— А я не надоем тебе? Или ты мне, «пожалуй», как сказал бы Милло.

— Нет. До тех пор, пока мы любим друг друга. Постой, кто же из нас рассуждает по-стариковски?

— Я, сознаюсь. Мне вспомнился тот вечер, когда приходил Бенито.

Снова, как в тот вечер, что-то отвлекло меня либо я сам захотел отвлечься — это вернее. За излучиной реки я увидел огромную, от берега к берегу, рыбацкую сеть. Ее выбирали из воды, хлопоча над незатейливой лебедкой, парнишка в синих джинсах и джемпере и старик, закутанный в допотопный брезентовый плащ, в кепке, надвинутой на уши. Наконец «сачок» был закреплен в нужном положении и можно было собирать улов: парнишка накинул на плечи кусок клеенки, влез в лодку и против течения поплыл к сети, на дне ее трепыхались несколько рыбешек — чуть больше горсти. Парень нагнулся и подлез под сеть, с которой на него стекала вода, развязал в каком-то месте шпагат, так что рыбешки посыпались в лодку, собрал их в ведерко, снова затянул отверстие в сети и вернулся на берег.

— Две кефали и несколько угорьков,— доложил он.

Старик, возможно, слышал, но ничего не сказал, как будто речь шла о древнем таинстве, к которому он был непричастен; он освободил

лебедку, и сеть мигом ушла под воду, после чего он уселся возле лебедки, сложив руки на коленях. Мы стояли в нескольких метрах над ними, облокотившись на перила мостика. Того, что интересовало меня, Лори, казалось, даже не видела. И меня поразили, застав врасплох, ее слова — продолжение мысли, очевидно занимавшей ее все это время:

— Ты прав. Неправа я. И впредь мне не следует говорить с тобой о нем.

Я сделал усилие, чтобы вернуться к разговору: она упомянула про Бенито, потому-то я и отвлекся.

— Конечно,— согласился я.— Судить о нем могу только я — ты ведь его не знала.

Парнишка обернулся и посмотрел на нас снизу.

— Где мы? — спросил я.

— Это дамба Чинкуале.

— А как попасть к Форте?

— Идите дальше по дамбе, а там свернете на дорогу, по ней и ступайте.

— А по берегу нельзя?

— Тоже можно, но так дальше.— Он привязал лодку, стянул с плеч клеенку.— Однако берегом проще,— прибавил он, ставя ведро на землю.

Мы поблагодарили его. Она взяла меня под руку, и мы поднялись по берегу до зарослей тростника, которые преградили нам путь, густые и непроходимые, не то что камыши под моим домом. Дальше мы пошли лугом, разгороженным плетнями, все еще топким, забытым солнцем; луг пересекала узкая тропинка, и нам нужно было идти по ней друг за другом, чтобы не промочить ноги. Мы добрались до небольшой рощи: посреди долины, которая тянулась от излучины реки до берега какого-то канала, росли каменные дубы, дубки и сосны. На опушке виднелась скромная, под испанский домик, вилла с камышовой крышей и закрытыми ставнями. Я снял плащ и расстелил у подножия самого большого дуба, мы уселись под его ветвями, одни среди этой тишины. Я молча склонился над Лори, и она ответила мне лаской, и ее ладонь скользнула по моей щеке, коснулась лба и замерла на моем затылке.

Дальше время понеслось, как юла, как шарик в круглой коробочке под стеклом, который нужно загнать в лунку, а он бегает себе взад-вперед с веселым стуком. Вернувшись к машине, мы обнаружили спущенную шину и разошедшиеся диски сцепления, и, чтобы привести «тополино» в порядок, нам пришлось тащиться сначала в какой-то гараж, потом к механику, ремонт автомобиля в одном из маленьких приморских городишек превратился для нас в ряд веселых приключений. В остерии у дороги, ведущей от Лидо к Камайоре, мы закусили с большущим аппетитом, дважды заказав вино и взяв коньяку к кофе, потом выпили виски в павильончике в Альтопашо. И без конца курили, болтая об ужасных глупостях и о вещах интересных. «Я был без ума от Эвы-Мари Сент, а теперь забыл ее». «Мой идеал мужчины — Поль Ньюмен, так что, если хочешь мне нравиться, старайся походить на него». Анекдоты, каламбуры, сравнение миланского диалекта с нашим говором Сан-Фредьяно, последние прочитанные книги: был ли Павезе коммунистом, такой ли уж шедевр написал Лампедуза? Как будто наши объятия под деревьями, на краю луга, между рекой и каналом, под приглушенный шум моря лишний раз освободили и ее и меня от всех мучительных мыслей, сделали нас цельными и естественными, заставили почувствовать себя хозяевами жизни. И когда «другие» ввернулись в нашу беседу, мы были к ним вполне доброжелательны, ибо наше блаженное состояние излучалось и на них.

— Синьора мачеха,— рассказывала она,— что-то вдруг подобрела. Может, на нее повлиял исповедник. Шкафчик в ванной теперь полностью мой, проигрыватель поет вовсю, ты можешь даже попробовать как-нибудь позвонить мне, если хочешь. Знаешь, в субботу я подарила ей с получки вышитый платок — пусть ходит в нем в церковь, ведь она дня не может прожить без мессы. Зато сегодня утром я оставила ее, да и отца тоже, с носом. У них был задуман обед с Диттой, всей семьей... Как и твоя мать, сестрица моя прямо-таки умирает от любопытства! Это чуть ли не первый раз, когда я что-то от нее скрываю: всего несколько месяцев назад из Милана я каждую неделю писала ей, и мои письма были вроде дневника. Чаще всего она спрашивает: кто он? он красивый? богатый? или бедный? он учится? служит? Уж такие у нее теперь интересы, таков ее мир; странно, но я нахожу удовольствие в том, что она ничего не может понять из моих ответов. А отвечаю я ей так: «Красивый, в общем-то... не то, чтобы богатый, но...» — В ее голосе появился и исчез оттенок грусти, когда она, помолчав, продолжала: — Видно, я уже совсем самостоятельная. А им хотелось бы, чтобы я во всем им подчинялась, по крайней мере сегодня.— Франко, брат ее зятя, получил на несколько дней увольнительную, вот почему устраивали этот обед.— Подумаешь, праздник — солдатик приехал!

Мы сделали последнюю остановку и сидели за одним из двух столиков павильончика напротив будки дорожного сторожа, недалеко от бензоколонки. Я встал, чтобы послушать по радио результаты футбольных матчей, а когда вернулся, она смотрела на машины, мчавшиеся по автостраде.

— Редкий случай,— сказала она,— мы сегодня совсем не рассуждали о работе: ни я — о своих тряпках, ни ты — о своих Форесто и Парини. Боюсь, ты разочарован.

— Забыть о них хотя бы в воскресенье — великое дело.

— Знаешь, о чем я мечтаю? Я никогда тебе не говорила, а сейчас скажу. Ты о «женевуаз», знаю, а я — о том, чтобы самой делать эскизы костюмов, если не для «Коммунале», то для любого другого театра. Я думаю, например, о том, что Виолетта, разыгрывая свою дурацкую историю, должна быть одета по-спортивному, чуть небрежно. А Альфред появляется в теннисном костюме в тот момент, когда она собирается испустить дух.

— Я знаю только финал «Богемы». Его показывали по телику перед знаменитым матчем «Реал» — «Барселона», снятым на пленку.

— Отъезды и приезды — время глупостей. Так что извини.

— Куда бы нам поехать в следующее воскресенье, как ты думаешь? — спросил я.— Теперь, когда вот-вот откроется автострада Солнца, до Болоньи — рукой подать. А потом Лукка, Ареццо, Сиена — в общем, есть что посмотреть.

— Перед путешествием в Гонолулу.— Она затянулась и выдохнула дым прямо мне в лицо.

— Погода стоит ничего, так что, если Милло не даст нам машину, обойдемся мотоциклом. А летом махнем на Сицилию, идет?

— Решено.

— Взять тебе еще что-нибудь? Или поедем?

Ветер буквально вдавливал меня в спинку сиденья, и Лори, прижавшись ко мне, пожаловалась:

— Я что-то продрогла... Я тебе не надоела?

Будь что будет — пусть все к черту расплавится, пусть даже взорвется радиатор, не страшно, Милло переживет это, а до площади Далмации мы уж как-нибудь доберемся — и я погнал нашу развалину на полной скорости. Но когда мы поравнялись с первыми домами Новоли, она попросила, смотрясь в зеркальце и приводя в порядок прическу:

— Подбрось меня к сестре, я должна хотя бы ненадолго забежать к ней. К тому же отец с мачехой дожидаются меня, чтобы вместе ехать домой.

— На машине твоего зятя, конечно.

— Думаешь, это так весело? — обиделась она.

Я высадил ее на набережной, когда на улицах уже зажигались огни.

— А сегодня ты будешь спать?

— Поживем — увидим! Ну, пока!

— Пока, любимая.

Выхваченная из сумерек светом фар, нарядная, полная жизни, она вошла своим легким шагом во мрак подъезда. Я снова увиделся с ней через два дня и еще один раз, последний, и с тех пор она живет лишь в моих разговорах с Иванной.

Бывают такие ночи, когда хочется, чтобы завтра — выходной, хочется понежиться лишний часок, ни о чем не думая и ничего не видя, ничего — даже стен, мебели, крюка на потолке, одежды, магнитофона на стуле, картинки с изображением китайской коммуны. Мы продолжаем жить и тогда, когда бездействует память, в которой завелась не то моль, не то жучок-древоед. Матери удается вовлечь меня в свою игру, я поддерживаю ее, и вот передо мной встают печальные, но правдивые образы — мой собственный и людей, с которыми связано мое детство и отрочество.

— Ну что ж, будем откровенны, Иванна Ивановна. Почему бы тебе, вместо того чтобы плакаться, не взглянуть правде в глаза? Скоро мне двадцать, я уже взрослый.

Она качает головой, затягивается сигаретой; все, как в один из наших обычных вечеров, когда мы после ужина вместе сидим за кухонным столом, а время уже за полночь и над зарослями камыша свистит ветер, заглушая сигналы поездов. Она ответила мне уж очень наивно, и это было ужасно, однако не ранило, не обидело меня: я сделал скидку на любовь, которая ею руководила.

— Ну да, взрослый,— сказала она.— Взрослым тебя сделали страдания.

Она бы наверняка прибавила, как десять месяцев подряд, каждый вечер, на том же месте: «Почему ты не можешь забыть эту девочку?» Я опередил ее, продолжая начатый разговор, но так, как хотелось мне:

— Возьмем, к примеру, твои отношения с синьорой Каппуджи. Теперь, пожалуй, я скажу тебе, куда мы с ней ходили: в крепость, и я, совсем еще сосунок, был ее напарником. А наша клиентура — негры и девицы.

Она не пришла в изумление, не рассердилась.

— Значит, к бассейну, а не в Луна-парк.

— И в Луна-парк тоже, но там нам было неинтересно. Скамейки — вот наше место. Скажи, это синьора Каппуджи со своими картами вбила тебе в голову, что Морено вернется?

Все произошло тихо, длительное напряжение нашло свой естественный выход — так в весенние дни дождь льет, будто из ведра, образуя сплошную завесу со стороны солнца, которое тем не менее просвечивает и греет сквозь нее, ты видишь, что насквозь промок, и не веришь, что это случилось, потому что озноб появляется после, когда входишь в тень и снова ощущаешь весомость одежды и тяжесть мыслей. Продолжительная осада крепости завершилась ее капитуляцией. Иванна кивнула, поправляя халат на коленях и на груди.

— Глупая женщина, склеротичка...

— А однажды вечером ты готова была пристукнуть ее и чуть не угодила в меня, запустив в нее жаровней.

— Она уговаривала меня сделать аборт, понимаешь, а к тому времени, как я надумала, забыла об этом. Она отказалась помочь, а ведь сама меня убедила... Боже мой! — Она с отчаянием приложила руку к губам.— Сегодня прямо какая-то заколдованная ночь. О чем ты заставляешь меня говорить, Бруно?

Я придвинулся к ней вместе со стулом, нарочно сохраняя безразличный тон, чтобы облегчить ей тяжесть признания.

— Ты жалеешь, что его нет? — спросил я.

— Даже не знаю. Конечно, он бы все изменил. Вы бы росли вместе. Но я ничего не сделала, клянусь тебе. После того как синьора Каппуджи отказалась, я одна, неопытная, не сумела бы... Может, я выкинула от страха и потому, что человек, от которого я была в положении, то есть Сильвано...

— Тот, с кем мы познакомились как-то в воскресенье, на автотреке?

— Ты действительно помнишь? — Она вздохнула, разглядывая свои руки, похожая на раненое, но довольное животное.— Но чего ради, собственно, я рассказываю тебе об этом? Что со мной происходит?

— Ты помогаешь себе самой стать снова нормальным человеком, миссис Сантини. Столько лет ты отравляла себя этим ядом.

— Я была молода, легкомысленна...

— Не жалей ни о чем.

— Ты перестанешь меня любить!

— Я буду любить тебя еще больше.

— В тебе говорит только любопытство. Для сына мать...

— Оставь это отцу Бонифацию для его проповедей.

— Сильвано работал на железной дороге,— сказала она,— машинистом. Он был женат, я узнала об этом после, когда оказалась в положении.

— А с Лучани все было по-другому?

— Тебе рассказал Миллоски!

— Не совсем так. Просто я стал задумываться над тем, чего ради мы с Милло без конца ходили в разведку к кафе «Дженио» и наблюдали за тобой, в то время как ты, не подозревая об этом, сидела за своей кассой.

— Миллоски — святой человек! — Она порывисто встала.— Он способен простить Пилата, но никогда ничего не забудет, ни одной мелочи.— То были единственные за весь вечер слова, которые она произнесла с раздражением.— Он весь в этом. Наши отношения всегда оставались чистыми, между нами ничего не было, только один раз на берегу Чинкуале я позволила ему поцеловать себя. Бедный Волк! — Ну вот, теперь она говорила о нем другим тоном.— Мне хотелось убедить его в том, что из уважения не может родиться любовь. Он, наверно, все еще любит меня — потому только, что, как женщину, он никогда меня не уважал. А может быть, после смерти Лучани, увидев, что я изменилась, он перестал меня любить и начал уважать — не знаю. К тому же он ведь был слишком близким другом Морено и моим, и я не лицемерю, но мне казалось бы, что я оскверняю этот дом, честное слово! Когда Лучани умер, я заболела, у меня было нервное потрясение, и я два месяца провалялась в постели и просидела в кресле, чуть с ума не сошла... Ты ничего не замечал: по утрам Миллоски отводил тебя в школу, а днем ты был предоставлен самому себе, и кто знает, где тебя носило, хоть ты и говорил, будто ходишь на Терцолле охотиться на лягушек.

То было время, когда мы, теперь уже с Дино, ходили в крепость, где завели дружбу с Томми, Джессом, Бобом и враждовали с их деви-

цами, Неаполитанкой и Бьянкиной, а Иванна — «одна в четырех стенах» — сходила с ума.

Если бы Лучани не умер, он женился бы на ней, она в этом убеждена.

— Наша судьба — хитросплетение нитей. Стоит порваться хотя бы одной или двум, как все смещается и мы рискуем остаться без руля и без ветрил. С Лучани сложилась бы иначе и моя жизнь, и твоя, честное слово! Ты был еще маленький, а он умел сделать так, чтобы его любили. Ты бы привязался к нему, несмотря на влияние Милло.

Сначала они встречались лишь по воскресеньям, во второй половине дня у Беатриче (я же, оставшись один, развлекал прохожих, распевая на тротуаре «Монастырь святой Клары»). Беатриче, сама бывшая любовница Лучани, которую тот бросил, занялась сводничеством, чтобы сбить с толку заподозрившего неладное мужа; тут-то ей и пригодилась эта молодая, аппетитная вдовушка, бесконечно мятущаяся, и она без особого труда бросила ее в объятия хозяина кафе «Дженио». Случайная связь перешла в длительную: Иванна заняла место за кассой «Дженио», стала служащей и подругой хозяина, она порвала с Беатриче, которая, будучи не в состоянии разлучить их, из мести написала обо всем Милло. Но тот отнесся к доносу точно так же, как в свое время к старческой шпиономании синьоры Каппуджи, удовлетворявшейся порцией мороженого: просто-напросто сжег письмо.

— Допустим, тогда он не поверил, но однажды из моих бредовых слов все же понял, что это — правда.

Под влиянием недавнего воспоминания о пророческих талантах синьоры Каппуджи Иванна не сомневалась в том, что все свершилось «по воле провидения». Потеряв Лучани, она бредила Морено, и ей казалось, что он жив, он был в военной форме и уговаривал ее: «Жди меня, я вот-вот вернусь, я прощаю тебя, заботься о малыше». Что до его собственных грешков, то он, мол, будет иметь дело с исповедником; эта мысль приобрела для нее характер своего рода оправдания.

— Я сбросила старую кожу,— утверждает она.— Вот почему я могу смело говорить с тобой обо всем этом.— И видно, она не кривит душой, уверяя, что ее нелепая надежда помогала ей, недалекой и взбалмошной, жить дальше; а может, то, что с тех пор у нее не было ничего подобного,— чистая случайность?

Для чего спрашивать ее об Аренелле и о других, которые наверняка значили для нее меньше? Ее лицо омыли слезы освобождения.

— В последнее время,— сказала она,— я тебе тысячу раз повторяла, что ты убиваешь меня, убивая мою надежду. Сейчас я уверена, что прав был ты. И родителям есть чему поучиться у детей, согласна. Я могу смотреть тебе в глаза, я знаю, что теперь уже разговариваю со взрослым мужчиной, который все понимает. После смерти Лучани (знаешь, я тоже, как все, привыкла называть его Лучани даже тогда, когда мы оставались с ним наедине), после того как он умер, я решила, что эта мания, которой я подчинила всю свою жизнь, поможет мне искупить мой грех. Вот я рассказываю тебе об этом, а ты небось думаешь, что я совсем рехнулась, да? В других, как ни крути, я искала временной опоры. Морено же — иное дело, он был мне настоящим мужем, тебе — отцом, а главное — моим любимым. Мне было шестнадцать лет, когда мы познакомились, и столько же, сколько тебе, когда я вышла за него. И все равно я обожала призрак, а не реальный образ, не самого человека. Поэтому,— она сжала мою руку, впившись в нее ногтями,— поэтому я и не хочу, не хочу, чтобы с тобой было то же. Забудь ее, Бруно, прошу тебя, забудь эту девочку! Если ты не послушаешься меня, для чего же тогда я признавалась тебе во всех своих грехах?

— В радостях, мама,— сказал я.— Спорить готов, что ты была счастлива, даже когда бредила несбыточным.

Теперь я с уважением отношусь к ее несчастьям, но мой случай не похож на ее, она не должна ставить их в один ряд, не должна осквернять мою любовь. Я любил не призрак. Она воображала своего Морено, я же не собираюсь никого себе придумывать. Я знаю, что Лори умерла, я присутствовал при ее последнем вздохе.

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ

Глава 29

Я был парень как парень и ничего не знал о разрушительной силе тревоги. В понедельник вечером я сидел в углу маленького кафе на Виа-дель-Прато и смотрел по телевизору «Спортивные новости». Моя рука сжимала в кармане коробочку.

— Вы Бруно?

Я обернулся и сразу же узнал ее.

— Джудитта? Какими судьбами?

— Успокойтесь, я пришла не как представитель семейства. У меня к вам поручение. Можно присесть?

Я помнил ее по посещениям типографии, куда она заходила с дочками на обратном пути из парка, чтобы показать их деду: одну она вела за руку, другая была в коляске. Я стоял перед станком для плоской печати, но она не обращала на меня внимания; даже тогда, когда отец говорил ей: «А у меня новый помощник, дорогая»,— она едва поворачивала голову в мою сторону: «Вот как? Очень рада»,— как будто я был каким-то запачканным типографской краской предметом, от которого лучше держаться подальше. Это о ней Лори говорила потом, что она и ведет себя и рассуждает, как мещанка, озабоченная мелочами, сквозняками, тем, что уже поздно, а мужа нет дома... Слабости отца, его пристрастие к игре и к вину делали его в ее глазах бездельником и гулякой. Я ни разу не слышал, чтобы она говорила о мачехе, в лучшем случае спросит, бывало: «Как дома?» — «Все в порядке»,— отвечал отец. Правда, дальше обязательно следовало: «Папочка, может, выберетесь к нам вдвоем пообедать как-нибудь в воскресенье?» Эта фраза означала, что визит окончен. Теперь, когда она стояла передо мной, воспоминание оживало. Я отметил, что она располнела, стала грудастой, щеки — как налитые, вся она была какая-то плотская. А лицо — молодое. Невысокого роста, она напоминала отца — я заметил это еще в первый раз,— а также нельзя было не узнать в ней и сестру Лори, как бы карикатуру на нее; и в то же время — ничего общего с Лори: взять хотя бы глаза Джудитты — карие, глубоко сидящие, с неприятной хитринкой. Ей хотелось, это было видно по всему, чтобы я с самого начала признал в ней сообщницу. Как накануне вечером Иванне, я отвечал ей, подчиняясь внезапной интуиции:

— Садитесь, пожалуйста, нам нечего скрывать друг от друга. Слушаю вас.

Она не просто улыбнулась, она осклабилась, поиграла глазами, прищурилась, качая головой:

— Да-да-да... Я сестра Лори, я своя! Лори не может прийти и прислала меня. У нее зверская температура, наверно, вчера ее продуло. Где вы были?

Все очень просто. Лори прибегла к ее помощи, чтобы предупредить меня, она даже не сказала, где ее «продуло», и вот ее сестрица, ужасно болтливая и манерная, допытывалась у меня, сгорая от любопытства;

она согласилась выпить вишневки, не отказалась от сигареты и теперь отвечала на мои вопросы.

— Температура? Высокая, около сорока.

— А что врач?

— Мы не вызывали, на что он нужен? Может быть, завтра, если температура не спадет. Ее явно продуло,— повторила она.— Это связано с горлом.

— Как с горлом?

— Как? Ангина, обычные налеты, ничего серьезного. Она столько курит, а ведь у нее плохо с миндалинами! Почему вы не заставите ее курить поменьше?

Мои опасения постепенно рассеивались. Сидя, она была ничего, как будто вся ее привлекательность заключалась в пышной груди, в проницательных глазах, в круглой головке с очень светлыми, зачесанными вверх волосами, которые оставляли открытыми шею и мочки ушей с зелеными клипсами — в тон длинным, уходившим под декольте, бусам. У нее было румяное лицо без единого намека на морщины вокруг глаз или на лбу. Болтая, она могла даже казаться милой — пусть бы только говорила о Лори.

— Она приняла лекарство и каждые два часа полощет горло. Через пару деньков поправится... Интересно,— она даже как бы вся подобралась,— где это вы познакомились?

— Разве Лори вам не говорила?

— Как бы не так! «В баре «Прато» меня ждет приятель, зайди, когда пойдешь домой, это по пути, его зовут Бруно» — и ваши приметы... От того, что у нее болит горло, она немного потеряла голос,— улыбнулась Джудитта.— Раньше у нее не было никаких секретов, а с некоторых пор такой скрытницей стала!

— Видите ли, мы встречались... случайно.

— Где же?

— В одном месте.

— Я вижу, вам обоим нравится напускать на себя таинственность. Плохо другое: я боюсь, у вас это серьезно, по крайней мере, у Лори.

— Что же тут плохого?

— Когда влюбляешься,— ответила она,— всегда плохо.

Так вот она — Джудитта, ради которой Лори пошла на такие жертвы? Это была неожиданная мысль, возникшая только и именно тогда, когда она прибавила, сидя передо мной в узенькой открытой блузке и раскачиваясь на стуле:

— Все мы через это прошли.

— А теперь наш черед, хотите вы сказать?

Она сделалась серьезной, грустной.

— Лучшего парня я бы не желала для Лори. Но вы выглядите таким молодым — и вдруг окажетесь ее мужем! Когда я подошла к вам, я было решила, что ошиблась. Уверена, вам нет еще и двадцати.

Я смерил ее презрительным взглядом — чтобы она не сочла меня оскорбленным; ее лицо оживилось, когда она извинялась.

— Я слишком любопытна, признаюсь. Но ведь я в самом деле ничего не знаю. Вы учитесь? Пожалуй, нет, не сказала бы.— И дальше — тоном, который опять же не оскорбил меня: — Особенно если судить по рукам.

Я нарочно разложил их на столе ладонями вверх.

— Да, они малость у меня огрубели...

— О, это и делает их красивыми. Что у вас за работа?

— Колдую вокруг фрезерного станка. Это вам что-нибудь говорит?

— И да, и нет. Значит, станок? А на каком заводе?

— «Паррини инкорпорейшн»,— ответил я.

— Вот как! — воскликнула она.— У американцев! А где именно? Впрочем, там же, где все заводы, в Рифреди. Я не знаю вашего района. Мой отец — вы, наверно, слышали от Лори — перебрался туда, когда у меня уже была своя семья. Вы познакомились где-нибудь на автобусной остановке... случайно?

Несмотря на изрядную полноту, маленький рост и гладкую кожу на шее и на щеках, она все же походила на заводную куклу. Она не узнала во мне мальчика из типографии, и Лори ничего ей не рассказывала о нас. Она мне надоела, и я не стал скрывать этого. Она почувствовала, что разговор окончен, и встала из-за стола. Я последовал ее примеру, она оказалась мне по плечо, свежая, круглая, полногрудая бабенка, какая-то ужасно комичная. Но связь с Лори я мог поддерживать только через нее, и уж если Лори, пусть даже не удовлетворив ее любопытства, доверилась ей, то и мне следовало быть ей признательным.

— Не хотелось бы, чтобы вы сочли меня невежливым,— сказал я.

Она подождала, пока я расплачусь и мы выйдем из бара.

— А что же мне прикажете думать о вас? Вы меня немного проводите?

— Я на мотоцикле.

— Э, нет, на мотоцикле я не ездок, уж это точно. И потом, я живу недалеко.

— На набережной Арно, знаю.

— Я вижу, что в отличие от меня вы неплохо осведомлены... Да, у свекра со свекровью, не у меня, конечно, квартирка хотя и небольшая, но зато в прекрасном доме, а у моего мужа — собственное предприятие.

На углу виа Монтебелло она протянула мне руку.

— Итак, что же я передам Лори?

— Что я надеюсь увидеть ее послезавтра. Чтобы она берегла себя. И что пока,— вырвалось у меня,— я шлю ей поцелуй.

— Ну и ну! — воскликнула она, как бы забавляясь.— Может, вы и меня поцелуете... так, случайно, чтобы я могла передать ваш поцелуй Лори?

— Послушайте, вы! — разозлился я.— Если Лори ничего вам не рассказывала, значит, и рассказывать нечего. Мне девятнадцать лет, я работаю фрезеровщиком, и вовсе не у американцев, а на захудалом заводишке, но скоро поступлю на «Гали». А о вашей семье я, сам того не желая, узнал предостаточно, поработав у вашего папаши.

Она засмеялась и дружелюбно хлопнула меня по плечу..

— Вот оно что... Ну, конечно,— повторяла она.— Теперь ясно, почему я так приглядывалась к вам — мне казалось...

Через некоторое время у решетки памятника Гарибальди она снова поинтересовалась:

— Тогда-то вы и познакомились? Но разве вы не были еще сущим ребенком?

Я рассказал ей о нашей первой встрече.

— С того вечера,— объяснил я,— вот уже четыре месяца, как мы не расстаемся. Но пока что мы не желаем иметь дела ни с родственниками, ни с друзьями, с нас хватает нас самих, а вас мы найдем, когда сочтем нужным.

Она сжала мне руку у локтя, как бы для того, чтобы придать возможно больше силы словам; стоя рядом с ней, я слышал нежный запах ее духов и ее голос, немного взволнованный:

— Лори очень чувствительная девочка, будьте терпеливы, если вы ее действительно любите. Вы, Бруно, ровно на год моложе ее, но будьте настоящим мужчиной с моей сестренкой, ей так нужно, чтобы ее любили, поверьте мне.

Те же слова, что Милло сказал обо мне Лори, я их так и истолковал; обычная старческая болтовня, подумал я. Болтовня стариков и старух вроде Джудитты, у которых уже в тридцать лет морщины внутри, одряхлевшая душа и показная сердечность.

Когда мы прощались, она сказала:

— Завтра, что-нибудь около двенадцати дня, позвоните, я сама подойду к телефону. Температуры уже не будет, вот увидите. Это сильная простуда. Но где вы все-таки были?

— Да так, в одном месте.

И точь-в-точь как Милло, как Иванна:

— А он, оказывается, тоже упрямый! Вы с Лори стоите друг друга.

Я вернулся к мотоциклу и, вынимая ключ, на который был заперт руль, нащупал в кармане коробочку. В коробочке лежало кольцо. Сюрприз, который я собирался сделать ей во время поездки к морю, но в ту субботу синьор Паррини все тянул и тянул с выдачей зарплаты, а тем временем закрыли ювелирный магазин, где я заранее обо всем договорился: о цене, о первом взносе и рассрочке.

Никакого предчувствия, никаких переживаний, которые впоследствии помогли бы мне утверждать, что между нами существовала помимо физической еще и духовная связь, настолько прочная, что мы продолжали общаться даже в те часы, когда не были вместе. Как родственники, окружавшие ее, у которых, чтобы видеть, были только глаза, так и я, несмотря на нашу духовную общность, не имел ни малейшего представления о стремительно приближавшейся катастрофе. Меня всегонавсего расстраивало это банальное стечение обстоятельств, отнимавшее у нас два вечера любви; а в общем, не вдаваясь в подробности, я считал, что в какой-то степени сам виноват во всем. Виноват в том, что она столько курила, что в машине плохо закрывались окна и гулял сквозняк; вдобавок ко всему — неожиданная сырость в воздухе после захода солнца, когда мы сидели в павильончике в Альтопашо и потом, у железнодорожного переезда Прато, где она призналась, вся дрожа: «Я что-то продрогла... Я тебе не надоела?» Замкнутый в кругу условностей, я даже находил, что ее родственнички поступили правильно, не пригласив врача: подумаешь, сильная простуда, грипп. А может, это все сырая земля в роще недалеко от Чинкуале, где, расстелив тонкий плащ, мы исступленно предались любви, с нежностью и радостью вечно новой, ибо неизменно новыми всегда были владевшее нами желание и состояние блаженного покоя, приходившее после. Она заметила:

— Я перестала ориентироваться, как будто у меня голова закружилась. В какой стороне море?

— У нас за спиной, разве не слышишь, как оно шумит?

Я поцеловал ее в губы, и она сказала:

— Этим летом будем купаться в Таормине. Агридженто мне разонравилось, я больше не хочу туда. Только давай почаще останавливаться: если мы поедем на мотоцикле, у меня спина разболится.— Она встала, смеясь: — Я подарю тебе карту, чтобы ты изучал маршрут, а то еще вздумаешь ехать наобум!

— Там трудно заблудиться,— ответил я.— Мне известно, что после Кассиевой дороги и после Рима нужно ехать по Аппиевой, а после Неаполя... А, впрочем, кто его знает, есть ли южнее Неаполя государственные дороги. Тут-то и начинается «южный вопрос».

— Мне рассказывала Долорес, что в Неаполе они сели на пароход, когда ездили на юг по маршруту ЭНАЛа *.

— Это было бы здорово.

---

* Ведомство социального страхования.

— А где будем ночевать — в мотелях?

— Или в Домах молодежи, смотря сколько у нас будет денег. В гостиницах нас поселят отдельно, вот увидишь.

— Разумеется,— согласилась она.— По крайней мере, я не услышу твоего храпа.— Она бросилась бежать, я догнал ее, и мы снова вышли на высокий берег в излучине реки: старый рыбак все еще возился с огромной сетью, а парнишка исчез. Река была мутная, небыстрая, зато, пройдя запруду, она стремительно мчалась к морю, чтобы раствориться в нем.— Впрочем, я бы с удовольствием посмотрела на тебя спящего,— сказала она.— Я прислушивалась бы к твоему дыханию и держала бы руку у тебя на груди, там, где сердце, и тебе бы что-нибудь снилось, даже если ты ни разу в жизни не видел ни одного сна.

Сейчас, у себя в комнате, я думал о вчерашнем дне, как об эпизоде, который после ее выздоровления будет бесконечно повторяться; перед тем же, как уснуть, я вспомнил Форесто, с которым у меня произошла энная стычка из-за того, что я якобы нарушил пропорцию, составляя из эмульсионного масла и воды специальную смесь для охлаждения и смазки станка. «У тебя в башке одни блондинки; видать, в воскресенье лихо они тебя уходили». Я запустил в него болванкой, она грохнулась на стол и пришлась ему по пальцу. Он размахнулся, чтобы дать мне в ухо, но я ловко парировал удар, едва не ответив ему прямым в морду, но вовремя сдержался: я рисковал поплатиться местом, в лучшем случае — отделаться штрафом и замечанием, если бы он пожаловался синьору Паррини. Пришлось процедить сквозь зубы слова извинения, и теперь во мне все кипело; засыпая, я проклинал себя за трусость, уверенный, будто пал так низко, что дальше некуда. Вот что мучило меня в то время, когда жар пожирал Лори в ее постели.

Назавтра Форесто, наверняка из-за каких-то своих дел, пребывал в мрачном настроении и не отрывал глаз от резца — классический образец автоматизма. Для того чтобы подтрунивать над кем-то и пороть свои пошлости на потеху всей мастерской, ему требовалось обязательно быть в духе. За все утро мы не перекинулись с ним ни словом. Потом он указал подбородком на «цинциннати», чтобы я занял его место у станка. Я видел, как он, поговорив с синьором Паррини, снял халат. Прежде чем раздался гудок, я успел самостоятельно изготовить две детали, затем сел на мотоцикл и поехал в кафе по соседству с кинотеатром «Флора», где была телефонная кабина. Мне ответила Джудитта, как было условлено, соблюдая осторожность; она делала вид, будто разговаривает со свекровью, и называла меня мамой.

— Да, да, мамочка.— Это было глупо и бесило меня. Я понял, что температура держится и что врач, как она и предвидела, установил «простуду». Свою речь она завершила артистически: — Но настроение у нее лучше, она хотела даже встать, чтобы поговорить с тобой, да я не разрешила. К тому же она совсем потеряла голос. Не беспокойся. Присматривай там за девочками. В ясли за Бетти зайдет папа? От мамы Луизы тебе тоже привет.— Видно, мачеха стояла рядом.

— О, это множество мам,— не выдержал я,— к тому же не настоящих!

— Ничего не поделаешь.— Она чуть не рассмеялась.— Бывает. Я вернусь в то же время, что и вчера.

— В бар «Прато»?

— Разумеется. Ну, ладно. Да, постой, Лори хочет мне что-то сказать.— Она отошла и вернулась.— Просит поцеловать за нее девочек.

Ее веселость вселила в меня новую уверенность в том, что за состояние Лори можно не беспокоиться, и все же я злился, зная, что мы не увидимся и завтра. Ничего не поделаешь; наверно, вечером Джудитта скажет мне что-нибудь более определенное. И так вечер за вечером.

«Да, теперь ясно, что это какой-то дурацкий грипп... Странно, температура никак не падает... Сейчас ходит что-то вроде азиатского гриппа, вы не знали?.. Этого ей только не хватало!»

Невозможно поверить: был четверг, и значит, прошло уже три дня.

Я ждал ее уже больше часа, читая в «Эспрессо» статью о Хрущеве, которая меня интересовала, и время от времени поглядывая на экран телевизора, где какой-то чернорясник разглагольствовал о деве Марии как о собственной невесте. Наконец она пришла.

— Плохие новости, — объявила она. Сев за стол, она придвинулась ко мне так, как будто собиралась кормить меня грудью, и продолжала шепотом: — Вот уж что ни к чему, то ни к чему.

— Я слушаю,— нетерпеливо вставил я.

— Похоже, у нее воспаление легких, — сказала она. И тотчас, как будто это было важнее всего:— Могу я наконец узнать, где вы были в воскресенье?

— Какое это имеет значение?

— Допустим, до вчерашнего дня я спрашивала из любопытства. Теперь это интересует врача. Лори молчит. Конечно, при такой температуре трудно разговаривать, но к чему же прикидываться совсем безголосой? Упрямо корчит из себя немую, неизвестно для чего. Иногда она такая странная! Но я, кажется, отвлеклась. Врач предполагает травматическое воспаление легких. Вы попали в катастрофу, на что-нибудь налетели?

— Да нет, ничего подобного. Мы ездили на машине к морю. Вы удовлетворены? И ничего с нами не случилось.

— К морю? — не выдержала она.— К морю в такое время года? Тогда это наверняка простуда! Но я не понимаю вас. Эти четыре дня она терпит наше присутствие, но на все вопросы отвечает только «да» и «нет», и мы так ничего и не знаем. Как будто ее оглушили. Может, это оттого, что у нее жар,— сказала она.— Мы даже клали ей на лоб пузырь со льдом. Бедная девочка.

Я бы охотно ушел, оставив ее одну,— пусть себе ноет в одиночестве. Первая мысль была о бегстве. Но, сбежав, я поступил бы неразумно, ведь Лори серьезно больна. Я должен был взять себя в руки и закурить, иначе бы я закричал. Мне стоило немалого труда сохранять спокойствие, чтобы продолжать беседу, которую я считал для себя оконченной. Я был не в состоянии вслушиваться в причитания Джудитты, так же как она — понять причину моего бегства, а объясни я ее, я бы тоже показался ей странным.

— Не смотрите на меня так. Сейчас вы пугаете меня больше, чем Лори.

Этого оказалось достаточно, чтобы я не сделал того единственного, что мне хотелось сделать.

— Лори просила что-нибудь передать мне? — спросил я.

— Ничего особенного. «Держись повеселее»,— велела она мне. И она права. Сегодня вечером ее начнут пичкать антибиотиками, через какую-нибудь неделю все будет в порядке. Организм у нее сильный, несмотря на то что она перенесла плеврит.

Она посмотрела на меня так, как будто выболтала страшную тайну.

— Лори мне говорила,— сказал я.

Теперь она готова была относиться ко мне милостиво, уже относилась, о чем свидетельствовало все ее поведение. Но я собрался сказать ей нечто такое, против чего она бы несколько дней назад решительно восстала, и не только из-за мачехи.

— Послушайте,— начал я.— Вы мне должны помочь: я хочу ее видеть.

Она обдумывала мою просьбу не так долго, как я ожидал. Наверно, я нашел нужные слова, а может, она поняла мое беспокойство.

— Пусть не сейчас, если нельзя, пусть хоть завтра...

— Но только пораньше утром, когда Луиза ходит к мессе, а потом на рынок. Я же пока предупрежу Лори, ведь я и ночую там: если мама Луиза подходит к ней, Лори встречает ее прямо уничтожающим взглядом. Они никогда особенно не ладили, к тому же, видно, температура дурно отражается на ее настроении.

Мне послышалась фальшь в ее голосе. Платье лжи превосходно сидело на ней. Но казалось, она осуждала Лори. Это прозвучало более отчетливо, когда Джудитта добавила:

— А ведь Луиза хорошая женщина. Немного ханжа, но у кого из нас нет недостатков?

Я ответил вымученной улыбкой и предложил ей еще порцию вишневки, от которой она отказалась, а вторую сигарету взяла.

— Я курю потому, что нервничаю. Обычно я выкуриваю не больше трех-четырех в день.

Искренняя, откровенная, добрая — такой она хотела казаться. С другой стороны, в чем упрекать ее и на каком основании? Их было две сестры, и она, с ее складом ума, наверняка считала себя более несчастной, чем Лори: если бы девочкой Лори не совершила глупости, Джудитта вышла бы замуж за *него,* а не за Джиджино. И, может быть, этот *он* — я не хотел, чтобы Лори говорила мне его имя, — будь его женой такая заурядная женщина, как Джудитта, не покончил бы с собой, сбившись с пути истинного. Я как бы читал на ее устах слова Иванны: «Если бы твой отец был с нами, наша жизнь сложилась бы по-иному», тогда как Джудитта говорила: «Вот если бы жива была мама...» Она притворно вздохнула, повела плечами.

— Ну, мне пора идти. — И не без гордости добавила: — Надо ведь уложить девочек, прежде чем вернуться к Лори.

Как животное, я должен спрятаться, когда ранен. Я отправился в кино, чтобы не забрести в бар или в Народный дом, где мог бы встретиться с Джо, довольным, наверно, практикой на «Гали», либо, еще хуже, с Дино или с Милло, который, я уверен, справившись о Лори, завел бы разговор о политике, о том, что более фашистское правительство трудно себе представить. И еще потому, что, вернувшись поздно, я столкнулся бы с Иванной, которая молча злилась бы на меня в своей комнате. В восемь утра на следующий день, вместо того чтобы отправиться на работу, я поднимался по лестнице в квартиру Каммеи.

Прихожая с телефоном в простенке и тремя дверями подряд напротив белой стены, увешанной картинками, в глубине — кухня. Коридор чуть покороче, чем у нас, все остальное — как в нашей квартире. Пахло кофе, где-то в комнате играло радио. Мне было не до наблюдений, но на это я обратил внимание. Точь-в-точь наше жилье: вся разница в том, что у нас глухая стена справа, а здесь — слева и там, где комната Иванны,— комната Лори. На площадке первого этажа я встретил Джудитту — она ждала меня и волновалась.

— Идемте, папа еще дома, не надо, чтоб он вас видел.— Она подтолкнула меня, открывая дверь, и шепнула: — Ночь она провела ужасную, но сейчас ей легче.

Войдя в комнату, я увидел гардероб, столик с зеркалом, проигрыватель, кресло, несколько полированных полок, окно было завешено. Скрытый дверью, стоял приземистый диван-кровать, рядом столик с зажженной лампой, из-под зеленого абажура которой рассеивался неяркий свет. Лори была погружена в полумрак, голова и плечи ее опирались на высоко взбитые подушки. Слабо освещены были только руки, лежавшие

поверх голубого одеяла, чуть более темного, чем шерстяная кофточка на ней.

— Здравствуй,— сказал я, сел на край кровати и взял ее руку в свои.

Лицо уже было не ее — обескровленное, с красными пятнами на скулах, с ввалившимися глазами. Может, она была даже красивей, но выглядела явно больной, дыхание было трудным и учащенным, грудь тяжело вздымалась, рука казалась раскаленной. Теперь, привыкнув к освещению, я видел ее старательно взбитые волосы, пылающие уши и белый-белый лоб с беспокойной морщинкой на нем. Она смотрела на меня ласково и в то же время гневно.

— Ты довольна?

— Нет.— Ее голос звучал чуть хрипло, но твердо; казалось, ей стоило большого труда бороться с одышкой.— Но коли уж ты пришел, не буду тебя гнать. Лучше сказать тебе то, что я хочу, чем написать.— Я наклонился, чтобы поцеловать ее, но она отвернулась, и губы мои скользнули по ее щеке.— Разве ты не знаешь, что у меня температура?

На столике, заменявшем тумбочку, стоял стакан апельсинового сока и лежали коробочки с лекарствами.

— В наше время воспаление легких — пустяки вроде аппендицита. Эти пилюли поставят тебя на ноги в несколько дней.

Она закусила губу и замотала головой. Вид ее страданий отзывался во мне тревогой, не болью; меня так и тянуло не утешать ее, а взять да растормошить: «Ну-ка, вставай быстрей!» — и потащить за собой вниз по лестнице, усадить на мотоцикл, ринуться навстречу ветру. Но я сказал:

— Тебе удается читать? Пластинки слушаешь?

Она ответила мне так же — кивком головы. Потом сказала:

— Все время думаю.— Чтобы не заставить ее повторять, я сидел, наклонившись над ней.— Ты потеряешь работу. Воображаю, как ты нервничаешь!

— Представляю себе, что там думает Форесто — ты имеешь в виду это? Я отработаю положенное сегодня вечером.

— Ты был у друзей?

— Нет, в кино. Хочешь, расскажу, что я видел вчера?

— Эву-Мари Сент?

— Мэрилин Монро. Мне нужно было развеяться.

Казалось, она не слышала. Поправив одеяло и подушки, спросила:

— Как я выгляжу?

— Лучше, чем здоровая, — ответил я.

Ее взгляд испепелил меня: столько было в нем ненависти и любви.

— Я страшенная, не смотри на меня.— Она вся затряслась от сухого кашля, побагровев до корней волос, и нащупала стакан на тумбочке. Я хотел поддержать ее за плечи, но она остановила меня жестом.— Брось, не приставай со своей жалостью.— Она пила, выпятив подбородок, в одной руке стакан, другая на лбу. Неожиданно снова побледнела, только скулы остались пунцовыми, будто красные мазки на картине. Она попробовала вздохнуть поглубже. — Я умру, — сказала она.— И если все, что было до сих пор правда, ты должен понимать это.

— Не болтай ерунду! Единственное, что я понимаю, это то, что ты ведешь себя как последняя дура.— Я повысил было голос, потом взял себя в руки: — Я не хотел тебя обидеть, я ведь тебя никогда не обижал? — Я вспомнил, что она больна, и мне стало жалко ее.— Оттого, что у тебя жар, ты не соображаешь, что говоришь.

Она не перебивала меня, как бы давая мне исчерпать всю мою банальность — пусть даже продиктованную рассудком. Почему же она не верила мне? Она была в сознании, в своем уме.

— Поцелуй меня,— попросил я.

— Сиди там, где сидишь. Не хочу, чтобы ты видел меня.

Я почувствовал желание закурить, но понимал, что нельзя. Снова наступило молчание. Из кухни слышались голоса Джудитты и отца. Мне показалось, что и ее голос донесся откуда-то издалека.

— Ты забыл, что обещал мне в «Petit bois»?

Я попытался припомнить.

— В тот вечер, когда мы танцевали рокк Челентано? Верно. Но почему я не должен больше приходить? Это каприз какой-то... У тебя только воспаление легких, и благодаря антибиотикам...

— Это я уже слышала.

Я взял ее руку и приложил к щеке: мне было холодно без этого огня.

— А что ты сказала мне по дороге к Форте? На нас иногда находит. Так вот на тебя сейчас нашло. Ты просто больна.

— Не просто больна, хуже.— И опять та же уверенность, что в «Petit bois», только слова другие: — Когда так заболеваешь в моем возрасте, тут дело не в легких, а в том зле, которое внутри нас, в душе, и вдруг...

— Души нет,— возразил я.— Есть ум и разум. Прошу тебя, исходи из них.

— Ах, да! — воскликнула она.— Ты и Лайка! Но, милый, бог тоже есть, иначе было бы трудно умирать. А я спокойна, я смирилась. Может, мне это снится. В отличие от тебя, я всегда видела сны. А теперь я наяву вижу свое освобождение.

Она умолкла. Я думал, что она бредит. Я не витал в облаках и теперь смотрел по сторонам, ища пузырь со льдом.

— Как тебе моя комната? — спросила она. — Такой она стала не сразу. Вон там — Поль Ньюмен, он тебе нравится? А те рисунки на стене — мои, это эскизы костюмов к «Макбету», так я их себе представляю... Нет, не рассматривай, это наброски.

И опять приступ сухого, надсадного кашля, должно быть, очень мучительный; я протянул ей стакан, но она не взяла его.

— Знаешь, что я видела сегодня ночью? Будто я бежала по песку и ты гнался за мной, а я убегала от тебя все дальше и дальше по воде и махала рукой, прощаясь с тобой, потом вошла в солнце и растворилась в нем.

— Это же было пять дней назад! Мы еще столько раз вернемся на Чинкуале, вот увидишь!

Не слушая меня, она продолжала:

— Выходит, ты единственный человек, который для меня что-то значит.

— Это открытие?

— Нет, нет, нет,— испуганно возразила она. Она протянула мне руки, и мы судорожно обнялись. Ее порыв передался мне, и вот уже я целовал ее в губы, в щеки, в шею, пока она не упала на подушку. Вдруг она закрыла глаза, и я решил, что силы покинули ее.

— А ведь я тебе сказала не всю правду в тот вечер, когда приходил Бенито.

— Разве то, чего ты не досказала, что-нибудь меняет?

— О нет, но это та сила, что уносит меня. Кто знает, как бы ты к этому отнесся.

— Я тебе уже говорил, как. Допустим, там, в Милане, ты жила не как святая. Но ведь и я до знакомства с тобой не в монастыре сидел. Однажды вечером, помню, я рассказал тебе в «берлоге» о бедняге Электре и о том, как я тогда переживал. Тебе удалось меня утешить, ты сказала: «А ведь ты католик, правда, на свой лад — в тебе есть что-то и от ангела, и от дьявола», не так ли?

— Ты говорил, что Электра покончила с собой, а этого делать нельзя. Нужно платить до конца. Угасать постепенно. Потусторонний

мир, над которым ты смеешься, место радостей. Вонь и сырость бывают только в моргах и в цветочных магазинах.

Она смотрела поверх моей головы, вся какая-то непонятно блаженная. У меня так и чесался язык выругаться.

— Так вот,— заявил я.— Мы с тобой говорили об Электре, но я мог бы тебе порассказать о десятке других, более веселых.

Мне удалось отвлечь ее, она улыбнулась:

— О несметном количестве!

— А тебе не кажется, что просто смешно так мучить себя?

— Нет, я никогда не смогу сказать тебе! — воскликнула она.— Меня обезоруживает твоя доброта, любимый.

— Слушай, давай договоримся.— Я наконец нашел выход.— Когда выздоровеешь, мы опять пойдем в «Красную лилию», в «Petit bois», куда захочешь. Мы как следует напьемся и раз и навсегда выложим друг другу все с пьяной откровенностью. Возможно, я тебе хорошенько всыплю,— пошутил я,— а назавтра все забудется. Навсегда, ясно?

— Но мне уже не выздороветь.

— С этим покончено,— отрезал я.— Скажи-ка лучше, когда придет врач?

— Часов в двенадцать.

— А как он нашел тебя вчера вечером?

— Нормально, все идет к тому...

— Вот видишь?.. Это была комедия. Мэрилин, как всегда, блеск. Тони Кэртису, ее партнеру, пришлось нарядиться женщиной, а она об этом не знает и раздевается у него на глазах. Половина второй части происходит в поезде, Тони — музыкант. В один прекрасный момент она принимает его за мистера Шелла — это все равно, что сказать: «Синьор Суперкортемаджоре» *.

Она снова открыла глаза:

— Вернемся-ка лучше к нашему соглашению, а?

— Э, нет! Ничего не выйдет — все равно я буду навещать тебя каждое утро! Наряжусь сиделкой, если нужно. Или — учти, я говорю серьезно — зайду к твоему отцу, он ко мне неплохо относился, когда я работал в типографии.

— Никогда! — Это был приказ, и я похолодел. — Вот наш уговор: когда я скажу, чтобы ты больше не приходил, ты подчинишься.

— В тот вечер мы устали от рокка и выпили к тому же.

— Ты уверен?

— Нет, но я должен защищаться, ведь не могу же я быть без тебя дни напролет!

— Ты можешь звонить, можешь видеться с Диттой. Я буду постепенно угасать, скоро сделаюсь похожа на старуху, не хочу, чтобы ты видел меня такой. Смотри, какой я стала всего за пять дней. — И неожиданно, глядя мне в глаза, обезумевшая, она расстегнула кофточку и рывком обнажила грудь: — Гляди, вся опала! Разве ее ты целовал?

Грудь была ослепительно белая, и по ней я видел, как Лори трудно дышать. Я припал к ней лицом, и во мне проснулось желание, смешанное с яростью и болью, прилив чувств, который перечеркивал все остальное так, что в словах не было больше нужды. Ее рука давила мне на затылок... Потом она лишилась чувств в моих объятиях, мне стало страшно. Я старался помочь ей, считая себя убийцей.

Понемногу она пришла в себя, и опять откуда-то издалека донесся ее голос, и я понял ее состояние, ее возбуждение, понял, в каком аду она жила.

— Извини, я крепилась, сколько могла. Мне хотелось проститься с тобой именно так. Знаешь, теперь я не боюсь смерти.

---

* Фирма по продаже итальянской нефти.

— Однако с тобой просто невозможно говорить о другом,— сказал я, гладя ее по лицу.

Она спросила:

— Надеюсь, ты убедился, что я теперь не такая, какой была в «берлоге»? Пойми, я делаю это, чтобы спасти нашу любовь. И чтобы не мучить тебя своей откровенностью. Ты остаешься, и для меня единственная возможность помочь тебе — сделать так, чтобы ты запомнил меня красивой... Я буду такой же, как до последнего воскресенья, пусть только все кончится. Болезнь, убивая тело, убивает зло. Потусторонний мир,— повторила она,— это прекрасно. Вот почему ты не должен больше приходить... Допустим, я поправлюсь, ты ведь этого хочешь? Так вот, как только я почувствую себя здоровой, я сама позову тебя, если еще буду «блеск», как ты сказал мне в тот вечер, а мы были трезвые. Но попробуй только нарушить уговор, и все будет кончено. Даже выздоровев, я не смогу тебя любить.

— Это же глупо, глупо.

Я помню отчаяние на ее лице, больше ничего. И слова, заставившие меня сдаться:

— Выходит, все было обманом. Ты такой же, как он, такой же!

Мы молча смотрели друг на друга, я — ни о чем не думая, счастливый, что угодил ей, и уверенный, что сдержу слово, чего бы это мне ни стоило. Потом в коридоре Джудитта попрощалась с отцом и тут же вошла, и мы не успели разнять руки.

— Папа долго не уходил. Я сказала ему, что ты отдыхаешь. Все, Бруно, пора идти, вот-вот вернется Луиза. Как вы нашли нашу больную, ничего? Прощайтесь быстрее. Если можно будет, завтра утром опять что-нибудь придумаем.

— Пожалуй, не стоит,— возразил я.— Для чего вам рисковать? Ведь если ваши узнают, может быть скандал. Лучше, когда Лори пойдет на поправку. А пока, если вы не возражаете,— в том же баре по вечерам и время от времени телефонный разговор.

— С чего бы это вдруг такое благоразумие? — Не дожидаясь ответа, она повернулась к нам спиной, поставила стул на место, аккуратно сложила пластинки, навела порядок на столике.

— Привет, Лори,— сказал я и поцеловал ее в лоб, она не поцеловала меня, не пожала мне руку. Она закрыла глаза, чтобы не видеть, как мне тяжело. По ее лицу разлилось выражение великой безмятежности.

Диагноз, непростительный для врача из районной поликлиники и для доктора, вызванного через аптеку, а также халатность, проявленная родственниками в начале болезни, привели к трагическому исходу. И вот прошло шесть дней, потом восемь, и когда наконец поняли, что у Лори не обычное воспаление легких, а что-то другое, было уже поздно. Случай удивительно простой, если судить по истории болезни; от дома Лори до больницы — не больше километра, но ее привезли туда, когда уже ничего нельзя было сделать. Врачи Кареджи, которые «могли бы надеяться, если бы ее вовремя госпитализировали», думали теперь о том, как бы оттянуть приближение ужасной агонии.

Глава 30

Я звонил в те дни до работы и в обед, ни за кого себя больше не выдавая, поскольку и Луиза и отец были уже в курсе дела: об этом позаботилась Джудитта. «Я сказала — знакомый, а не жених». Ее отец, узнав, кто я такой, как будто обрадовался, убедил себя и жену, что мы с Лори знали друг друга еще во времена моей работы в типографии и потом

встретились снова . «Парень толковый, он проработал у меня целое лето». Джудитта приходила по вечерам в бар у заставы Прато, где я уже ждал ее. «Но почему вы не хотите видеться теперь, когда дома все в порядке?» Я тонул в море ее глупости, все более ощутимой из-за бессонных ночей и, однако, неизменно веселой.

— Вы, случайно, не поругались в четверг утром? И дуетесь друг на друга в такое время? Я спрашиваю вас, Бруно. Понятно, что Лори в ее состоянии склонна все преувеличивать.

Трагедия не обходилась без смешного: официант, который всегда видел меня в обществе Лори, теперь обращался ко мне с дурацким видом заговорщика. «Вы закажете сейчас или будете ждать синьору?» Однажды, когда Джудитта положила свою руку на мою и, как всегда при разговоре со мной, вся подалась вперед, он до того обнаглел, что, ставя на стол графин, пробурчал: «Я вынужден помешать вам». Вместо того чтобы возмутиться, мы улыбнулись и только покачали головами. Она продолжала:

— В четверг, после того как вы приходили, она полдня была не в своей тарелке. Могу я узнать, в чем дело?

— В обещании, которое мы шутя дали друг другу и которое Лори переиграла на серьезный манер. А я дал клятву. Впрочем, в данном случае говорить о себе — все равно что выставлять напоказ собственную язву, так что не будем об этом.

— Я думаю иначе. Иметь рядом не только родственников, но и любимого человека — большая радость. Как для больного, так и для здорового.— Против моей воли она втягивала меня в разговор, который я считал кощунственным.— Мой муж оба раза, когда я была в положении, провожал меня до самых дверей родильной палаты, и мы держались за руки.

Я объяснил, что мы устроены по-другому, что мы ненавидим страдания. Страдать — это несчастье, а мы с Лори не хотели показывать друг другу, как нам тяжело.

— Интересно, как же вы устроены? — спросила она.— Лори, которая кусает подушку, повторяя ваше имя, и вы сами со своими расспросами о ее состоянии?

Я решил выразить свою мысль иначе:

— Мы предпочитаем страдать в одиночку. Как животные.— Я считал, что Лори повела себя абсолютно правильно.— Вы когда-нибудь видели, чтобы собака осталась под машиной? Как-то я подшиб одну мотоциклом, и что же она? Потащилась, вся в крови, неизвестно куда зализывать раны.— И, желая шокировать Джудитту, добавил: — Сам-то я что, по-вашему, делаю, выйдя отсюда? Плетусь домой, чтобы там биться головой об стенку? Я иду в кино, а оттуда в Народный дом и ставлю там пластинки Челентано. Скажите об этом Лори, я знаю, она будет довольна мной.

— О, она никогда не задает мне вопросов. Я сама пересказываю ей наши с вами разговоры. Лори только чуть головой кивает, как будто ей все это неинтересно. Но как она на меня смотрит, когда я появляюсь! Я читаю в ее глазах: «Ты его видела, говорила с ним?» Как хотите, но я вас не понимаю,— повторила она.— Или, нет, я поняла вас сразу, в первый вечер. Вы оба упрямые — и она, и вы.

— И капельку странные, не так ли?

— Лори, бедняжка,— да. Я не должна так говорить сейчас, когда ей худо, но, чтобы ходить за ней, нужно терпение.

— Что вы имеете в виду? — мрачно спросил я.

— Так, всякую чепуху, разумеется. Даже если сестры ссорятся, им не пристало долго дуться друг на друга! А вот она всегда считала иначе, с самого детства.

Обида на Лори — а она старалась замаскировать ее своим дружелюбным тоном — чувствовалась в каждом слове. У них была глубокая тайна, которая, по мнению Джудитты, связывала их и которая над Лори тяготела проклятием. Все это должно было вскоре стать для меня еще более очевидным.

— А какой она была в детстве?

— Не ребенок, а золото. Умница, послушная, выдумщица — в хорошем смысле. Ей больше нравилось мастерить бумажных змеев, чем играть в куклы.— Вот все, что она сумела мне ответить.

Так, вечер за вечером, вплоть до очередного вторника, когда прошел час, полтора часа, а Джудитта все не появлялась. В двенадцать я звонил ей, она была «занята с Лори», и к телефону подошла мачеха, сказавшая мне, что Лори стало хуже и что ее собираются везти в больницу.

Я взял чашку кофе и рюмку коньяку, газета как-то не читалась, и, чтобы немного забыться, я попробовал смотреть телевизор. Шла передача для рабочих, но и она не вдохновила меня, настолько была идиотской: в то время когда все знали о волнениях в связи с заключением новых типовых договоров, по телевизору рассуждали о тред-юнионах, о гигиене труда, о монтажных конвейерах; последнее — еще ничего. Хоть показали один из машиностроительных заводов Милана, по сравнению с которым «Гали» застрял где-то на уровне каменного века. Потом шла реклама, потом телевизионные новости. В дверях вместо Джудитты показался ее отец в сопровождении Милло.

Я встретил его — маленького, тощего, с лысиной — у газетного киоска на площади Далмации за несколько месяцев до приезда Лори. Это было прошлым летом. Он угостил меня пивом и сказал, что переехал в Рифреди. «На виа Андреотти, в тот дом, где мясная лавка. А типография все там же, в Борго Аллегри. Ну, а у тебя что слышно? Кончил училище и уже работаешь на «Гали»? «Да», «нет» — обычные ответы на вопросы пожилого человека, к которому хорошо относишься. «Давно не видал Миллоски? Я, наверно, сто лет. Но сейчас, когда я живу в Рифреди, он от меня не уйдет. Что, он по-прежнему опекает тебя?» Это заставило меня поскорее ретироваться. Теперь я снова видел его — небритого, с узкими щелками вместо глаз. Мы поздоровались: само собой разумелось, что он пришел вместо Джудитты.

Появление Милло ничуть меня не удивило. Несколько недель назад Милло, зайдя в этот же бар, тем самым вошел в историю наших с Лори отношений, и мы сидели втроем за одним столиком. В последние вечера мы с ним встречались в Народном доме, я рассказал ему о болезни Лори, он огорчился за нее, а потом открыл очередное судебное заседание. «Ну, каково у нас правительство? Послушаем твое мнение на этот счет». Мы немного поспорили и, как всегда, на прощание пропустили по стаканчику.

— Садись, Каммеи, — сказал он теперь. И подвинул ему стул.

— Нет, лучше не здесь.

Мы пересели за другой столик, подальше от телевизора и громких разговоров.

— Кому слово, тебе или мне? — спросил он.

Сандро Каммеи, которого люди в Борго Аллегри с продиктованной уважением иронией называли Большим Сандро, глубоко вздохнул и посмотрел на меня, прищурившись, с нежностью и укоризной.

— Ты знаешь, что ее положили в Кареджи?

— Я ждал Джудитту, чтобы узнать, как дела. Что сказали врачи в больнице?

— Они сказали что-то ужасное.

— Вот что, Каммеи, ты это оставь, — вмешался Милло. — Если ты слышал разговоры о туберкулезе, то туберкулез нынче не так уж опасен.

У меня голова кругом пошла. Возможно ли, чтобы Милло вел себя столь несерьезно? Мне казалось, что утешать Сандро Каммеи — последнее дело.

— Скоротечный, — пробормотал отец Лори. И провел по глазам тыльной стороной руки.

— Ничего подобного, — возразил Милло. — Не скоротечный, а милиарный. Милиарный ТБЦ, твой зять правильно запомнил. Это что-то вроде септицемии, согласен, но в наше время вылечиваются даже от столбняка, а от легочных болезней и подавно. — Наконец он обратился и ко мне: — А ты будь мужчиной. Договорились? Похоже, ее надо было положить в больницу гораздо раньше, это верно.

Наступило долгое-долгое молчание, которому, казалось, конца не будет: глаза встречались с глазами, дымились сигареты и тосканская сигара, за спиной у нас — телевизор: голоса де Голля и Тамброни, сообщения о покушениях в Алжире, о новых преступлениях Сталина, разоблаченных Хрущевым, о пенсиях... По этим волнам плыли мои мысли в то время, как взгляд Милло говорил мне: «Такие-то дела, сынок. Но ты держись давай. Не падай духом!»

Каммеи положил конец этой пытке самым неожиданным образом, и сразу стало ясно, для чего он пришел и зачем ему понадобился провожатый: конечно же, он рассчитывал на то, что Милло мне — как отец. Он шмыгнул носом и сказал:

— Она тебя очень любит, моя дочь.

— И я ее, — признался я. — Но кому от этого легче?

— Ты должен доказать свою любовь.

Снова вмешался Милло:

— Короче говоря, она плоха, не так, конечно, как думает Каммеи... У нее как будто осложнения. Одним словом, не то чтобы менингит, но... И она все время только и делает, что зовет тебя. Я был там, сам все видел и слышал. В минуты просветления, если ее спрашивают, хочет ли она, чтобы ты пришел, она кричит, что нет, а потом ищет тебя и мечется, мечется, как безумная.

— Так оно и есть, так, так, — бормотал Каммеи. Он не двигался и был похож на статую, руки на коленях, на щеках слезы, от которых промокла сигарета, прилипшая к губе. Он понял, что плачет, взял себя в руки и, вытерев лицо, пробормотал: — Я должен глотнуть воздуха, прошу прощения. — Он направился было к двери, но не вышел.

Теперь, наедине со мной, Милло опять превратился в малоразговорчивого человека, в Волка, которого не страшат ни смерть, ни жизнь, сильного своей способностью смело смотреть в глаза действительности. Он объяснил, что они пришли уговорить меня навестить Лори. О какой такой дурацкой клятве болтала Джудитта? Если Лори звала меня в бреду, значит, ей хотелось меня видеть.

— Подумаешь, влюбленные не поладили! Так что же, из-за этого ты хочешь удвоить ее страдания?

Я слушал его и курил, по моей спине пробегали судороги, отдававшие в затылок, и меня удивляла эта чисто физическая реакция. А в голове — неотступная мысль: если Лори действительно плоха, измучена, в бреду, прикована к больничной койке, значит, клятву тем более нельзя нарушать. Со стороны я выглядел, наверно, настолько хладнокровным, что меня можно было возненавидеть.

— Мы вовсе не ссорились, — ответил я. — Мы любим друг друга еще больше, чем раньше. Все дело в данном друг другу слове. Наши отношения основаны на честности. Тебе, да и другим, Джудитте, например, не понять этого, напрасно стараешься.

Милло заглянул мне в глаза и ткнул меня пальцем в грудь:

— Ты-то понимаешь или нет, что она умирает?

У меня, видно, задрожал голос:

— Этого не может быть, Милло, неправда.

— Перестань, — приказал он, — я говорю то, что есть. Не думай, будто я явился утешать тебя. Ты видишь меня здесь потому, что Каммеи хотел, чтобы мы пришли вместе, и еще потому, что мне понравилась эта девочка, когда я увидел ее с тобой. Но прежде всего я здесь ради тебя, ради того, чтобы тебе потом не раскаиваться в том, что ты вел себя как ребенок. Совесть будет мучить не мальчишку, а взрослого мужчину, учти.

Я сидел, окаменев; мозг был словно стеклянный шар, он дребезжал от шума и голосов, и мне казалось, что в нем уже отражалась умирающая Лори, и я весь леденел от этого видения. И одновременно — советы Милло, его присутствие, его просьба, как эхо далеких времен, как возвращение зависимости, а я-то считал, что давно от нее освободился. Во мне были страх, и протест, и сменившее их спокойствие — уверенность в том, что я поступлю честно, так, как хочет Лори, как я сам того желаю, оберегая нашу любовь. Я взял со стола пачку сигарет и спички.

— Я позвоню завтра утром, узнаю, как дела. Попроси Джудитту, чтобы она была дома.

Встав, я увернулся от руки Милло, которую он протянул, чтобы удержать меня, быстро прошел мимо Каммеи, не глядя на него, вышел на улицу и вскочил на мотоцикл.

Я помчался, как та собака, с той лишь разницей, что не истекал кровью и не скулил, а старался найти в предельной скорости мотоцикла, в жутко рискованных обгонах, в поворотах на полном газу соответствие своему состоянию, взвинченному и в то же время уравновешенному. Не только тело, но и разум держал трудный экзамен, плотный клубок чувств помимо моей воли увлекал меня за собой по нашим местам: от Сан-Доменико к мостику через Терцолле, к ярким огням «Красной лилии», к неоновой вывеске «Petit bois», откуда, приостановившись на секунду, я тут же мчался дальше вниз по Винчильята, объезжая вдоль опушки леса машины с потушенными фарами, потом по набережной, минуя «берлогу», через город, не очень людный в эту пору, когда люди или сидят в кино, или дремлют у телевизоров, или уже спят, или занимаются грязными сделками, или разминают кости после нелегкого рабочего дня.

Было начало весны, и воздух становился все холоднее, резал лицо, и у меня коченели руки, зябли колени, стыло все внутри. Но я все равно ехал — с холма на холм, пересекая кольцо и бульвары, как бы стараясь убежать от собственных дум и найти в местах, где мы бывали вместе, какой-нибудь символ, нечто, способное остановить меня, дать мне возможность собраться с мыслями. И вот я снова — недалеко от дома, по ту сторону речушки, по соседству с домами для греков, с лугом, куда меня водила синьора Каппуджи и где я собирал ей цветы, а Джо — маргаритки для своей матери, с полем, куда мы с Армандо и Дино бегали, вооружившись игральными картами и духовыми ружьями, охотники на лисиц, «robbers and rascals» *; и всюду, всюду среди бетона и зелени вставали перед глазами корпуса больницы Кареджи. Озаренная луной антенна на горе Морелло, казалось, заглядывала с огромной высоты неба за больничную ограду. Словно спасаясь от погони, я помчался вверх по крутой Виа-делле-Горэ, на середине которой у меня сгорела последняя капля бензина. Спешившись, я повел мотоцикл к перекрестку, обливаясь потом, но теперь у меня была цель: ресторан Армандо в сотне-другой шагов.

---

* Разбойники и удальцы *(англ.)*.

— О, это ты? Откуда так поздно? Уже первый час ночи, — приветствовал меня Чезарино из-за стойки. — Давненько же тебя не видно было! Несколько дней назад заходила твоя мать. — С засученными рукавами, в жилете, в своем старом фартуке колбасника, он казался анахронизмом, ожившей кариатидой в сверхмодном заведении. Если бы я стал его выслушивать, он бы еще, чего доброго, устроил мне настоящую нахлобучку. По всему было видно, что час поздний: неподвижен огромный вертел и пусты столы, которые убирали сестры и невестки; в огромный холодильник, полностью закрывавший дверь, что некогда соединяла харчевню с сеновалом, закладывали мясо и птицу. А вот и синьора Дора; так же, как и помещение, ее просто не узнать: поверх темного платья огромная розовая шаль, пальцы унизаны кольцами. Она обняла меня со словами:

— Господи, ты-то как вырос! Знаю, по вечерам ты частенько встречаешься с Армандо. Почему же к нам никогда не зайдешь? Все разбежались, исчез Миллоски, не заглядывают больше и шоферы. Но знаешь, что я сказала на днях твоей матери? Что старым клиентам здесь всегда рады.— Обычная история: кто сколотил деньгу, кто обеднел, но все только и знают, что восхвалять «прежние времена», притворно вздыхая при этом.— Ты ужинал? — спросила она.— Я вижу, ты не в духе.— Пришлось объяснить ей, что недалеко от них у меня кончился бензин и я хотел узнать, не одолжит ли мне Армандо немного, чтобы добраться до ближайшей заправки — у выезда из Сесто или внизу, у Ромито. — Армандо сейчас выйдет. — Напротив кухни, в бывшем хлеву, переделанном в отдельный кабинет, компания спортивных боссов собиралась уходить, и Армандо с Паолой провожали их.— В октябре они поженятся, знаешь! — сказала синьора Дора. — Да, мой сын всех вас обскакал. Хотя, правда, ты на полтора года моложе. Но жениться в двадцать лет — не рановато ли? Ему еще в армию идти, однако мы надеемся, что его так или иначе оставят во Флоренции, дай-то бог. Ты, конечно, знаком с Паолой? Золото, а не девушка. Уже совсем у нас освоилась. Да и работящая — в семью. И как подружилась с моими девочками! Поглядеть на них — прямо сестры родные. Вот она какая, моя Паолина!

В блузке и юбке, стянутой на талии широким поясом, Паола была все такой же и, видно, чувствовала себя неплохо в ресторане. Она показала на меня Армандо, и они оба помахали мне рукой. Раскланиваясь с последними посетителями, провожая их до выхода, Армандо бросил мне:

— Не уходи, отвезем Паолу домой и немного прошвырнемся, идет?

Вскоре мы сидели в его «фиате-1100»; он за рулем, Паола рядом. Паола, которая когда-то вскакивала со скамейки, разъяренная, но всегда готовая улыбнуться, осталась все той же покладистой эгоисткой.

— Вот-вот, сейчас меня высадите, а сами отправитесь, представляю себе куда. Небось в какой-нибудь ночной кабак!

Мы подъехали к одному из старых домиков на виа Карнесекки, где она жила. Для ее родителей — отца, простого служащего, и матери, скромной учительницы, — предстоящая свадьба была событием, о каком они и не мечтали. Неужели ее сопливый братишка тоже вырос? Я держал дверцу, дожидаясь, пока Паола выйдет, чтобы пересесть на ее место.

— Нет, нет и нет, — уверял ее Армандо. — Я устал не меньше твоего, ты же знаешь, что за денек у нас выдался сегодня, и надо еще проверить счета, прежде чем лягу. Только подброшу Бруно до колонки, он возьмет канистру бензина, и все. Домой его отвозить не нужно, он на мотоцикле, верно?

— Ну да, это все предлог,— сказала она.— Если вы куда-нибудь собираетесь, я поеду с вами, не так уж я устала.

— Что же, при Бруно нам и поцеловаться нельзя? — спросил Ар-

мандо. — Да он и не смотрит на нас. Он такой же, как я, верно, Бруно? Мы с ним от природы верный народ.

— Знаем мы вашу верность, миленькие! — воскликнула она.— И вас знаем, и вашу «берлогу».

Еще бы, ведь она бывала там на наших вечеринках, а потом наедине со своим будущим муженьком. Я смотрел на них, как на марсиан, даже как на троглодитов, не вмешиваясь в их разговор.

— Ладно, — сказал он. — Поехали с нами. Махнем на вокзал, выпьем чего-нибудь, съездим за этим треклятым бензином, а там подбросим Бруно и останемся вдвоем.

— Эдак мы до двух проболтаемся, — заявила она. — Так уж и быть, сами поезжайте.

Армандо поцеловал ее, причем она взвизгнула, а потом, выйдя из машины, наклонилась и чмокнула его сама.

— Делайте, что хотите, я вам доверяю, — сказала она, открывая дверь парадного. — И без того у вас совесть не чиста.

Они оба засмеялись, и Армандо дал газ.

— Иногда мне кажется, что я уже женат, — заметил он. — И это не так уж плохо! Правда, по вечерам другой раз охота порезвиться. Работа, любовь и, когда нужно, немного развлечений, полчасика перед сном, как сегодня. Куда поедем?

На улице было пусто, Рифреди остался позади, мы ехали вниз по Ромито, вдоль красных стен крепости прогуливались неизменные синьорины.

— Эти не годятся, — сказал он.— О господи, хуже третьеразрядных. Я знаю одну из них, так она и наградить может... Двинем к центру, устроим небольшой смотр на виа Строцци, виа Сассетти и виа Торнабуони. Прелесть демократии заключается в том, что она перенесла бардаки на свежий воздух.* Кто знает, какими они были раньше. Во всяком случае, в них не было такого выбора, факт. Но не выпить ли чего-нибудь для начала? В «Chez-moi» или в «Колодце»?

Мне было все равно. Душа моя треснула пополам: по одну сторону ресторан, вертел, Дора, Чезаре, Паола и ее «миленький», эта гонка на машине Армандо по центральным улицам, где я проезжал часа два назад; по другую — вся моя тупая боль, огромная змея, переваривавшая собственное отчаяние. Именно здесь отражалось постоянно, но смутно, как в запотевшем зеркале, лицо Лори, в которое я изо всех сил старался не смотреть.

Мы выбрали «Колодец». Я был без галстука, и мне пришлось купить его тут же, в кассе, и нацепить под свитер — иначе меня не пускали. Рядом смеялся Армандо:

— Когда идешь со мной, ты должен быть при полном параде. — Он повернулся на 360 градусов и сказал: — Вот, бери пример с меня. Профессия обязывает, да и привычка уже.

Шелковая рубашка, галстук бабочкой, пиджак с двумя разрезами, волосы напомажены и зачесаны назад; он как был, так и остался увальнем, но, несомненно, приобрел более изысканные манеры. Благодаря своим способностям он наладил прибыльное дело, и это были, может быть, единственные за месяц его полчаса развлечений... Потом он женится, постарается отвертеться от воинской повинности... Я правильно сделал, что зашел к нему.

Мы спустились вниз. На ступеньках он сказал:

— Пойдем к стойке, ладно, Бруно? Ты наверняка не богат, да и у меня не столько денег, чтобы поить шампанским этих монашек.

Только полчаса, но я буду вспоминать о них.

---

* Намек на закон, запретивший публичные дома в Италии.

Глава 31

Со стаканами в руках, то и дело останавливаясь, мы бродили по двум залам и вокруг площадки для танцев, между колоннами, где в полумраке стояли столики; людей было немного, и они либо любезничали, либо скучали. В глубине, у стены, оркестр играл жалкое подобие блюза. Какой-то лысый в смокинге кивнул Армандо, и он поклонился ему; рядом с лысым сидела блондинка в норковой шубке внакидку, под которой сверкали плечи и наполовину обнаженная грудь, лысый что-то нашептывал ей на ушко, и она, запрокинув голову, беззвучно смеялась. Они походили на экспонаты из музея восковых фигур.

— Мой клиент. Он из Прато, у него на фабрике около сотни ткацких станков. И станки и баб каждую неделю меняет. С этой блондинкой он монтирует очередной станок. А десять лет назад сам вкалывал у станка.

И еще — компания американцев, пожилых, лет под пятьдесят, и веселых — три женщины и двое мужчин: женщины в пестрых платьях, с размалеванными лицами улыбающихся мумий; один из мужчин — сухой, долговязый — важно смотрел на всех сверху вниз, другой — с брюшком, упиравшимся в стол,— кашлянул, когда мы проходили мимо, и, не без умысла кивнув в сторону дам, сидевших напротив него, буркнул: «Ain't you stinking» *. Мне не трудно было удовлетворить любопытство Армандо, я перевел, и мы рассмеялись. На этом разведка окончилась: две девушки за следующим столиком пригласили нас, и Армандо первый узнал одну из них:

— Кого я вижу!— Это была Мириам, «чистюля», два или три раза побывавшая у нас в «берлоге», причем танцевал с ней или я, или тот же Армандо. — Новая работа?

Вместо ответа она представила свою подругу:

— Это Сабрина. Может, присядете на минутку?

— Нет, милая, — заявил Армандо. — Сидеть за столиком и болтать с вашей сестрой — слишком дорогое удовольствие.— Он тут же положил глаз на Сабрину — наверно, потому, что она была «на новенького».— Если вас устроит виски у стойки, — продолжал он, — на это я еще наскребу.

— Лучше, чем ничего,— согласилась Сабрина.— По вторникам у нас мертвое царство.

— Учти,— сказала Мириам,— если ты его обработаешь, у него куча монет. А этот вроде нас пустой, просто свой парень. — Она взяла меня под руку, и мы вернулись к стойке.

Разговор, ленивый и расплывчатый, как музыка, свет, краски, голоса. Медленный фокстрот сменился какой-то фантазией. Облако табачного дыма, та еще обстановочка. Только слова. И только два круга с девицей, ничего больше. Но этой девице, этой ночи, наконец, словам, которые меня возбуждали и потом разом вылетели из головы, тоже будет суждено занять свое место в моей памяти. Мы поставили бокалы на стойку и довольно долго танцевали одни.

— Подожди, не напоминай мне. Тебя зовут... Бруно, да, да, Бруно. Ты работаешь на заводе, если не ошибаюсь. Прошло уже два года, а может, и больше. Но у меня неплохая память на лица, стоит только поднатужиться. Разумеется, до тех пор...

— Пока не напьешься?

— Что-что, а это удовольствие я имею каждый вечер.

— Одним словом, здесь лучше, чем в универмаге.

---

* Ну разве не дерьмо! *(Англ.)*

— О, да у тебя, я вижу, тоже память ничего! Я была чуток посвежее, ты не находишь?

— Не сказал бы. Скорее, тогда ты была еще просто зеленой. Ты носила прическу «лошадиный хвост», а с этими локонами ты просто прелесть.

— Я всегда выглядела моложе, чем на самом деле, хоть была старше вас всех, а вы и не знали. Я ведь уже совершеннолетняя, иначе мне нельзя было бы заниматься этим делом.

— Ну и ну! А посмотришь на тебя, так ты с сорокового года.

— Нет, мне двадцать три. А ты с какого года?

— Извините, с сорок первого.

— Господи, совсем еще ребеночек!

— Ты флорентийка? Вот уж чего не помню, того не помню.

— Нет, я родилась в Милане. Вернее, рядом, в Ро, знаешь, где это? А во Флоренции я с малых лет. Я тоже из рабочей семьи, так что могу тебя понять. Ты за этого трактирщика держись — с ним не пропадешь!

— Ты была деликатнее во времена «берлоги».

— Ладно трепаться-то. Дай-ка я тебя поцелую. А ты почему меня не целуешь? Вот, вот, молодец, только не наваливайся так. Если директор увидит, он мне вставит фитиль: за одну порцию виски я не имею права здесь с тобой прохлаждаться.

— Я тебе еще поставлю. За свои кровные.

— Хочешь, чтобы я назюзюкалась? Виски такая штука, после которой два пальца в рот не сунешь: не помогает.

— Боишься опьянеть?

— Точно. До чего умный ребеночек!

Кажется, оркестр кончил «Ты одинок сегодня ночью» и заиграл «Как симфония...»

— Ладно уж, выпьем. Слыхал, что Сабрина сказала про мертвое царство? Всего-то четыре или пять рыл, да и те, вроде вас, у стойки горчат. Гляди, как приятель-то твой разошелся. Несмотря на свои денежки, с такими замашками ему никогда не стать синьором. А правда, у него столько денег?

— Меньше, чем ты думаешь. Размахнулся-то он недавно, а раньше у него обыкновенный трактир был.

— Зато теперь! Сама видела. Ну и цены же у него, милый мой. Както вечером, с месяц назад, я там была. Он — с девкой какой-то, сделал вид, что не знает меня. Только подмигнул. Девка-то его невестой оказалась.

— Они еще не поженились.

— А я вот замужем. Но с мужем мы не живем. Он рабочий, как ты, как мой брат и отец. Все вы хороши!

— Что же у вас случилось?

— Смех один. При желании все можно было уладить — поговорили бы, и дело с концом. Он мне чуть ли не сразу после свадьбы изменил там с одной красоткой. Сам-то ты что бы сделал на моем месте?

— Я? Подумал бы.

— А вот я не подумала. Когда я об этом узнала, мне так больно сделалось, что даже сил не стало ругаться. Однажды вечером он не пришел домой, только под утро заявился — с ней был. Я работала на Выставке кустарных изделий — работа всего на несколько недель, а из универмага меня уволили потому, что я замуж вышла. Там на выставке был один мебельщик из-под Милана, деревенский. На следующую ночь домой не пришла я. Не то, чтобы мне этого очень хотелось, а так, чтоб отомстить. Ведь я была влюблена в своего, как кошка!

— Ты все еще любишь его, если не ошибаюсь?

— Может быть, но я-то знаю, что мне его не вернуть. Он живет со

своей красоткой, заделал ей ребеночка, через год — второго. Постой-ка, сам-то ты часом не на «Пиньоне» работаешь?

— Нет,— ответил я,— можешь не волноваться, я его не знаю.

— А хоть бы и знал! Его фамилия Панераи, а имя Валерио. Уверена, что ты не вздумал бы рассказывать ему, где меня встретил. Он бы, пожалуй, вылупил глаза, если бы ему объяснили, что можно заниматься этим делом и оставаться чистой. Да и ты небось не поверишь, если я признаюсь тебе, что по постельной части я почти не промышляю. Потому-то у меня и денег никогда нет. И здесь на меня смотрят как на исключение. Все зависит от меня самой. Тут есть один, к примеру, каждую ночь захаживает, скоро небось придет: он провожает меня до дома, большие деньги предлагает — до пятидесяти тысяч дошел. Вернее, он их уже всучил мне. По-твоему, пять розовых бумажек на дороге валяются?

— Что ж, если тебе противно...

— Сама не знаю. Он меня не волнует. А ведь не старик какой-нибудь. Он играет, тем и живет. Вот кто настоящий синьор. Мне противно, все вы мне противны, когда нужно спать с вами. И с ним также — никак не поборю отвращения.

— С мебельщиком ведь тебе не было противно.

— Так, попрекай меня, читай и ты мне мораль. Ишь, скорый какой! Ах да, ты из той же породы: вы торчите у своих станков, и от вас воняет пóтом.

— Придется проглотить,— улыбнулся я.— Ну и язычок у тебя, знаешь!

— Я говорю правду, солнышко. Но по вечерам вы моетесь. Когда братец с папашей мылись, вот это я понимаю — водичка была! Валерио каждый вечер отдраивался. О, внешне у него все было, как надо!

— Обычно те, кому не повезло с замужеством, возвращаются домой, к своим.

— К отцу-то? Матери у меня нет, а что до отца с братом, так о них братова жена печется, а я — позор на их голову. Нет, самой лучше жить — сплю досыта и еще танцевать люблю... Понятное дело, бывают и накладки — работа такая. Когда пьяный какой-нибудь врежет тебе так, что у тебя потом фонарь под глазом, ты знай терпи, да и только. Мне пока еще не доставалось, может, потому, что я счастливая.

— Все время о муже думаешь?

— Еще бы, ведь до него у меня ни с кем ничего не было. Но любовь проснулась во мне потом, когда я ему отомстила. Я, наверно, дура, да? Теперь, когда я сплю с кем-нибудь, даже с важными синьорами, я уже не получаю того, что с ним. Поэтому я, насколько возможно, и берегу себя — сама не знаю, для кого. А как по-твоему, я еще ничего? — спросила она. И тут же: — Да что это я, в самом деле! Не думай, будто я часто плачусь. Я никогда, ни с кем не говорю об этом. А ты — другое дело: тут и «лошадиный хвост» и «берлога»... Правда, я и была-то там всего несколько раз, причем все больше без тебя. А что с твоим другом, который в лицее учился, ну, с тем блондином? Вот кто действительно был хорош, получше, чем ты, хотя и у тебя гляделки дай бог на пасху.

Она не стала ждать, пока я отвечу. Все это время она неприметно следила за тем, что делалось в зале.

— Давай без церемоний,— вдруг предложила она и щекой прижалась к моей, расплываясь в улыбке.— Ну и как тебе моя басенка? Я их сочиняю каждый вечер. Сегодняшнюю, кроме тебя, еще никто не слышал. Привет, надеюсь, ты принесешь мне удачу.

Она направилась прямо к столику, за которым устроился какой-то бывалый с виду старикашка с пегими волосами. Одновременно Сабрина бросила Армандо и присоединилась к ней: щебеча, они подсели к этому

синьору, чтобы составить ему компанию. Синьору в том смысле, который вкладывала в это слово Мириам, если, конечно, слова вообще имели для нее смысл.

Когда мы уселись в машину, Армандо сказал:

— Подзарядились мы прилично, теперь и разрядиться не мешало бы. Хочешь? Или к шлюхам, кроме Розарии, у тебя по-прежнему душа не лежит?

— Вот именно, тут уж ничего не поделаешь.

— А может, просто денег нет?

— И то верно,— соврал я.

— Подыщем одну на двоих.

— Я выйду из машины, когда ты ее найдешь. Выкурю сигаретку и подожду, пока ты управишься. Мне что-то не того, не втравливай меня.

Я был полон щемящей тоски. У меня болела голова — может, от двух виски, выпитых неразбавленными и на голодный желудок. Похоже, что болтовня Мириам как бы приглушила в моем сознании боль, которая теперь снова давала о себе знать. Мысли возвращались к Лори, к разговору с Милло, к слезам Каммеи, к освещенным луной корпусам Кареджи, и мне мерещились крики и стоны, ее сухой надсадный кашель, ее тяжелое дыхание и голос: «Значит, все неправда, ты такой же, как он, такой же!» Мне казалось постыдным дезертирством то, что я не рядом с ней, казалась детской игрой клятва, которую я ей дал, я чувствовал свое величайшее ничтожество и мысленно себя поносил. Броситься к Лори, обнять ее, вдохнуть в нее жизнь — вот что такое любовь, а не идиотская верность слову, которое она вырвала у меня, мучимая жаром и призраками, осаждавшими ее даже в самые радостные минуты. Я никогда так не любил ее и наверняка никогда так не страдал от любви, как сейчас, в то время как Армандо говорил:

— Центр не узнать, Сахара какая-то. Может, тут уже успели побывать блюстители нравственности,— а я отвечал:

— Поворачивай, попробуй поближе к вокзалу, на Виа-де-Банки и на виа Панцини или перед «Великой Италией», там всегда кто-нибудь да есть.

— Нашел, кого учить,— обижался Армандо.

А я:

— И буду учить, только не втягивай меня в это дело, понял?

И вот он говорит:

— Ей-ей, облава была, попробуем где-нибудь в районе Кашине?

Эта тяжесть в голове и путаница в мыслях; освещенные вокзальные часы, на них восемнадцать минут третьего; пелена ночи над виа Аламанни, что вся в ухабах, а он еще ведет машину, как скотина; на светящемся щитке красная стрелка бензомера показывает три четверти бака, стрелка масломера — около четверти. Армандо включил приемник, идет ночная передача — музыка действует мне на нервы, я выключаю приемник, Армандо это не нравится, он спрашивает:

— Слушай, что с тобой творится сегодня? Какой-то ты весь вечер невеселый. Поругался, что ли? Обрати внимание на мою скромность: я не поинтересовался даже, кто она, знаю, из тебя слова не выжмешь, если ты пожелаешь что-то скрыть.

Я готов упасть ему на плечо и разреветься, но меня удерживают остатки гордости. Я отвечаю:

— Занимайся своим рестораном, ходи по бабам, только не капай мне на мозги, понятно?

Он сбавляет скорость и поворачивается, чтобы посмотреть на меня:

— Тебе что, виски в голову ударило или ты втрескался в Мириам?

На таких, как она, тебе и за неделю не заработать. Но если потерпишь до четырех и они выйдут одни, тысчонок за пять ты ее оформишь. Подумай, когда будешь в состоянии.

Я молчу, даю ему высказаться, потом говорю:

— Хватит об этом, Армандо. Так куда едем?

— Мы же решили насчет Кашине. Знаешь, где там пятачок? Нет, я туда не полезу, это еще почище крепости, просто глянем одним глазком, так, для развлечения. Тем более что тебе уже скоро на работу. Может, просто домой дернем?

— Нет, нет, нет! — кричу я.— За меня не беспокойся.

Мы на Пьяццале, где на высоком постаменте восседает на коне одинокий бронзовый Виктор-Эммануил, а вокруг — такая же лунная пустыня, как и везде. Въезжаем в аллею, которая, чем дальше, тем оживленнее, вдоль газонов и манежа тускло горят фонари. Армандо сбавляет скорость. Он зажигает дальний свет, и мы видим с десяток несчастных женщин, они, заметив, что он притормозил, выходят прямо к машине. Физиономии и голоса, внушающие страх. Там, где потемнее, топчутся мужчины. Я закрываю глаза — настолько чувствую себя жалким и усталым, тогда как Армандо вступает в переговоры. Чья-то рука, просунутая в окно машины, тормошит меня.

— А ты, красавчик, спишь и ничего не хочешь сказать Наннине?

Лицо и на нем огромные нарисованные губы; зато голос не такой грубый и хриплый, как у остальных.

— Нет, это для него... Я, собственно...

— Что «собственно», сам обходишься? — спрашивает она своим милым голосом и смеется.

Машина срывается с места; чтобы не удариться, я упираюсь в ветровое стекло.

— Сплошное дерьмо, и они хотят еще две тысячи лир! Попробуем найти что-нибудь подальше,— бурчит Армандо. Снова дальний свет фар на двух рядах кустарника и на асфальте.— Мы на Королевской площади, дальше — не их зона. Можно заехать и выпить по чашечке капуччино в «Индиано», а ты заодно и бутерброд съешь — сразу отрезвеешь.— Но он не успевает прибавить газ: нас снова осаждают. Те же физиономии, те же фигуры — толстые и худые, изможденные, те же пальтишки — красные, серые, черные, меховые накидки, распущенные волосы. И те же тени покровителей, да и не только покровителей.

— Фьямметта.

— Джованна.

— Ева.

Мы при свете фар видим их, мы слышим их, они же, выходя из темноты, не видят даже, на какой мы машине. Другой голос:

— Сколько вас?

— Двое,— отвечает Армандо.— Но нам нужна одна.

— Я согласна — по тысяче лир с носа. Только денежки вперед.

— Ты не в моем вкусе.

— По пятьсот.

— Да отвяжись ты!

В ответ звучит ругательство. И уже издалека тот же голос:

— Там двое, им не угодишь. Попробуй, что ли, ты, Розария.

Тут же из темноты позади машины — гортанный голос, очень похожий на мужской, с претензией на игривость:

— Эй, мальчик, тут и я, Розарина. Мы работаем на пару, Динуччо и я — кому что надо.

Что это со мной, в чем дело? Как будто вся моя жизнь в этом крике, детство и первый школьный день, крепость и сестры вот этих несчастных женщин, еще не все сошедшие со сцены, например, Кларетта, если не

Неаполитанка и Бьянкина, чьих покровителей мы так боялись, предупреждая об их появлении Томми и Боба; тут и отрочество на берегу Терцолле, жевательная резинка и одна затяжка на двоих — и идеи, к которым я приобщил его, все, вплоть до вечера, когда он сказал мне об отъезде Бенито. Что мне теперь с того, что я был прав, плюнув ему в рожу? Розария — ерунда, Розарию я уже давно осудил, и именно он помог мне это сделать. Но не из дружбы, из ревности! В данный момент ничто в мире не касается меня, кроме Дино и его падения.

Они появляются вместе, он — за спиной Розарии, с моей стороны. Она говорит:

— Этого фрукта тоже желаете?

— Послушай,— протестует он.— Нечего сказать, хорошо ты меня представляешь!

Вижу Армандо, вцепившегося в баранку, и слышу его слова:

— С ума сойти, я-то знал, но...— Открываю дверцу перед носом Розарии, выхожу, хватаю Дино за лацканы пиджака и, прежде чем он успевает что-то понять, наношу первый удар, целя в переносицу. Несмотря на свою силу, он и не думает защищаться, он, как всегда, трусит и даже не хнычет, падая на землю, закрывая лицо и голову руками. Розария пытается разнять нас, наклонившись надо мной, и больше кричит, чем уговаривает меня успокоиться.

— Бруно, Бруно, никто же не знал, что это ты, ты же знаешь, что я тебя любила. Бруно, он тоже тебе друг, Бруно, тебе будет плохо.

И еще больше, чем она, орут ее подруги:

— Шпагат! Шпагатик!

— Шпагат, Динину бьют!

— Где же Шпагат? Зовите его!

— Шпагат, эй, Шпагат!

Мощная рука хватает меня за плечо, потом наносит мне удар в висок, от которого я валюсь с ног, грохаюсь, оглушенный, рядом с Дино, меня топчут, пинают, и теперь уже я отчаянно прикрываю голову и лицо. Затем чувствую, как меня поднимают и, словно мешок, бросают на сиденье, я соображаю это, когда мотор гудит уже рядом с домом и машина останавливается.

Армандо говорит:

— Слава богу, хоть машину мне не перевернули.— Это конец рассуждения, которого я не слышал.— Тебе лучше? Значит, кости целы, слава богу. Мне тоже повезло, только рубашка и галстук пострадали. Спокойной ночи, завтра все обсудим, загляни к нам вечерком. Разумеется, Паоле и моим — ни слова.

Я вошел на цыпочках, у Иванны горел свет, сам не знаю, как я добрался до своей комнаты, заперся и рухнул на постель. Кости были целы, это верно, но мне здорово досталось, и я уснул как убитый. Через несколько часов меня, барабаня в дверь, разбудила Иванна.

Недолгого сна оказалось достаточно, чтобы силы мои восстановились, я только чувствовал боль во всем теле, особенно в боку, где красовался огромный синяк, к которому просто невозможно было притронуться. Но голова была свежая, и, едва открыв глаза, я уже решил, что побегу к Лори, а не на работу. Я торопливо мылся и одевался, и Иванна обратила внимание на мою спешку, так же, впрочем, как и на темную отметину у виска, которую я только что сам увидел в зеркале ванной.

— Я был с Армандо,— опередил я ее.— Кстати, тебе привет от Чезаре и Доры. Я немного ушибся о дверцу машины.

Иванна посмотрела на меня с нежностью.

— Вчера вечером заходил Милло, он искал тебя.

Я не вспылил, не стал оправдываться. Милло все рассказал ей — тем лучше; все равно они ни в чем не убедили меня своей обывательской, ложной жалостью, и свое нынешнее решение я принял сам.

Никакой трагедии, просто обстоятельства сложились не в нашу пользу, только и всего; будь я возле Лори, мы бы что-нибудь придумали. Все второстепенное исчезло, осталась одна, словно во сне меня осенившая мысль: если я буду у ее изголовья, она спасена. Наша любовь, которая видела нас счастливыми, станет еще сильнее, прогнав зло. Если Лори по-своему верила в рай, я тоже поверю в него, но чтобы жить в нем на земле, вместе с ней.

Мне даже показалось само собой разумеющимся то, что Иванна, подавая мне плащ, сказала:

— Прости меня за все. Ты — туда, правда?

Глава 32

Одно дело рана, кровь и даже смерть — на войне, в автомобильной катастрофе, на ринге, от несчастного случая на производстве, от руки убийцы. Другое дело — болезнь, которая не идет в открытую, а берет тебя в кольцо, сверлит изнутри, вытягивает все соки, опустошает тебя. Она — неотъемлемая часть старости, когда тело дряхлеет и неизбежно разрушается. Я не мог примириться с этим: Лори была первым человеком, которого я видел больным, подавленным чем-то непостижимым, мешавшим дышать. Чтобы победить это непостижимое, я, когда был у нее, заключил ее в объятия, чтобы ее груди снова расцвели, хотя они и не казались мне увядшими, чтобы вселить в нее, да и в себя тоже, уверенность в том, что мы живы. Охваченный отчаянием, я бросился навстречу той ночи, которую теперь упорно пытался загнать в самый дальний угол памяти.

Все растворилось в свете и в запахах утра. Правда, я не замечал ясного неба, раскрывшихся почек, сверкающей травы на захламленных мусором берегах Терцолле. Как слепой, я двигался по знакомым улицам, не обращая внимания на декорации. Инстинкт бегства, забросивший меня в бар у заставы Прато, превратился теперь в действенную надежду, в жажду искупления собственной вины. Я взбунтовался потому, что близость зла отшатнула меня; теперь, вместе с мужеством, внушенным любовью, я вновь обретал свободу духа и власть над своими поступками. По мере того как я приближался к больнице, а она была недалеко, я, словно последний идиот, давая волю воображению, представлял себе, как мой приход возвратит Лори к жизни.

Может быть, из желания продлить это ощущение, обуздать нетерпение и побороть остатки страха я не сразу вошел в калитку больницы, а остановился перед ней, чтобы закурить. Кареджи находилась на задах, в глубине улицы, на противоположном конце которой высились цеха «Гали»; я проходил здесь тысячу раз, держась за руку синьоры Каппуджи, бегал тут с мальчишками и всегда выбирал именно эту дорогу, чтобы сократить путь, если возвращался домой со стороны виа Витторио. Я часто видел «неотложки» и машины скорой помощи, небольшие автобусы, которые мы называли «пилигримами», глазел на сестер милосердия и санитаров, куривших в беседке больничного парка. Но я ни разу не ступал за эту калитку; инстинктивно я всегда обходил ее, держась другой стороны площадки, где на моих глазах с годами появился навес, лотки для торговли фруктами и цветами, стоянка, на которой я сейчас оставлял мотоцикл. Я никогда не бывал в больнице. Никогда не соприкасался с этой обстановкой, в которой есть что-то от кладбища, от поражения. Как чужак в своем районе, я справился у сторожа насчет стоян-

ки; это был старик в кепке и рваном плаще, доходившем ему до пят, поглощенный своей «ответственной» работой.

— Почему только мотоциклы и велосипеды?

— Потому что для машин стоянка на территории лечебницы, рядом с центральной аллеей, как раз посередине.

— А как навестить больного... тяжелобольного?

— Смотря какая болезнь. Терапия, хирургия?

— Думаю, терапия.

— Центральная аллея,— повторил он.

Но все равно, пройдя по ней несколько шагов, я не знал, куда теперь направиться: передо мной встали многочисленные корпуса, на первом из них я прочел: «Хирургическое отделение». Меня обогнал «фиат-600» и тут же остановился: навстречу мне бросилась Джудитта.

— О, Бруно, Бруно!

За рулем сидел ее муж. Он поставил машину неподалеку и догнал нас. Был он среднего роста, но такой толстошеий и пузатый, словно его накачали воздухом; тонкие конечности производили впечатление плохо подобранных протезов. Он шел вприпрыжку и, разговаривая, беспрерывно размахивал руками, должно быть полагая, будто таким образом можно придать выразительность самым пустым фразам. Нужно было снять с него все лишнее, громоздкое, чтобы увидеть то некогда нормальное лицо, которое угадывалось в его заплывших чертах. Теперь же у него была банальная физиономия толстяка, и на ней светлые глаза с грустинкой. Я смотрел на них — на него и на Джудитту, они представляли собой идеальную семейную пару: она значительно моложе, далеко не такая толстая, как он, но пышногрудая и круглолицая. Можно было догадаться, что обычно они много смеются, смакуя всякие сальности, причмокивая, предаются обжорству; можно было представить себе их дочерей — цветущих и смешливых, как они сами. По сравнению с их показной скорбью слезы, пролитые Сандро Каммеи накануне вечером, были слезами любящего отца, человека пусть недалекого, но достойного уважения.

— Дзаникелли Луиджи,— представился он, протягивая мне пухлую руку и застегивая пиджак на брюхе. Он скривил губы — не от высокомерия, подумалось мне, а давая понять, что дела обстоят весьма плачевно. Этот омерзительный тип на мгновение, не больше, стал моим другом, потому что добавил: — Я рад, что вы пришли. Когда Лори увидит вас, ей не станет лучше, зато покажется, будто она оживает.

А вот пока он ставил машину, Джудитта мне сказала другое:

— Плохо, Бруно, очень плохо, она без сознания, крепитесь, будьте мужественны, мы вот мужаемся. Вы бы видели, во что она превратилась за какую-то неделю с небольшим, просто не верится, не знаю, как мы переживем это.— Она задержала мою руку, и мне показалось, что ее рука дрожала.

Мы пересекали аллею, Луиджи нес свое тучное тело и, заглушая вздохи Джудитты, которая шла между нами, пытался подбодрить меня.

— Хорошо, что вы не пришли сегодня ночью, вам повезло — это было ужасно. Но чем черт не шутит! — неожиданно заключил он.— Утром ей стало лучше.

— Луиджи дежурил возле нее ночью,— объяснила Джудитта.— Мне пришлось вернуться домой из-за девочек. Моя свекровь — женщина пожилая, а маленькую нужно и помыть и одеть перед детским садом. Старшая — ничего, она все поняла, на то она и старшая.

Мы миновали два корпуса.

— Это там, в самом конце,— сказала она.— Мы поместили ее в платную палату. У нее сейчас отец и Луиза.

— И, к счастью, еще и сиделка дежурит. Луиза небось только о том и думает, как бы заставить Лори молиться.

Перебивая Джудитту, ему удавалось время от времени отвлекать меня от тягостных мыслей, вызванных ее словами. И все равно у меня сохло во рту, и я испытывал чувство все нарастающей тревоги, даже курить расхотелось: затянувшись еще раз, я выбросил сигарету.

Луиджи описал полукруг у нас за спиной и пошел рядом со мной, взяв меня под руку.

— Вы давно знакомы?

— Месяца четыре или пять.

— Дитта мне рассказывала... Вы ее очень любите?

Допрос, который до него учинила мне его жена, потом Милло, потом Иванна,— правда, в иной форме. Снова я ненавижу этого типа. Машинально отвечаю:

— Иначе меня бы здесь не было.

— Это ничего не значит. Мне известно, что вчера вечером...

Неужели и ему я должен говорить о нашей клятве? Я освободился от его руки и без лишних церемоний предложил ему оставить меня в покое. Мое движение было настолько резким, что Луиджи чуть не потерял равновесие.

— Джиджино,— взмолилась Дитта. Это был упрек и одновременно предостережение.

Он сказал:

— Все мы переживаем трудные часы, так возьмем же себя в руки, верно я говорю?

Мы поднялись на несколько ступенек и оказались в длинном коридоре. Пахло нежилым — странной смесью запахов дезинфекции, пищи, мочи и крови,— я инстинктивно задержал дыхание. Прошел санитар, толкая перед собой тележку, нагруженную свернутыми простынями. Еще одна лестница, снова коридор, двери и в глубине — огромное окно. За столиком сидела монахиня. Напротив, спиной к окну,— Сандро Каммеи. Он пожал мне руку, и я не понял, доволен ли он моим приходом.

— Спит,— сказал он.— Наконец-то ей сделали укол. Там сейчас Луиза, сиделка придет в десять.

Мы смотрели друг на друга молча, Луиджи вынул пачку сигарет, предложил мне, но я отказался. Он поглядывал на меня исподтишка, теперь уже с недоумением и явно подозрительно. Вся троица была достойна того, чтобы ее изобразили в «Снятии с креста»,— один краше другого: живая бочка сала, старик — кожа да кости и женщина — сплошная грудь; они или курили, или просто сопели, и их постные физиономии, с кругами вокруг глаз и с отвисшими губами, действовали мне на нервы. Луиджи, как будто что-то решив, тронул меня за руку, и я пошел за ним к окну.

— Вы поняли, что это такое? — спросил он и сам себе ответил: — Острый диссеминированный милиарный ТБЦ. Никакой наследственности, разумеется. Плеврит тоже ни при чем, в крайнем случае — это одна из причин, притом не главная. От данной болезни сразу не вылечишься — нужны недели. А в таких случаях, как у Лори, которые врачи называют скоротечными, одно из двух — либо несколько дней и человек спасен, либо конец. Я, как могу, успокаиваю жену, но это так ужасно.

Теперь я закурил и слушал, стараясь вникнуть в его назойливое жужжание.

— Сегодня ночью,— продолжал он,— у нее дежурил молодой врач, так, практикант, он еще не успел позабыть, чему его учили, и любезно мне все объяснил. Милиарный туберкулез, сказал он, угрожает только совсем юным. Чаще всего им заболевают дети. У тех же, кому больше тридцати, можно сказать, иммунитет.

Противный до отвращения, он то и дело притрагивался к низу живота: у него наверняка была грыжа, и он сам нуждался в лечении.

— Этот докторишка объяснил мне, что существуют четыре пути распространения инфекции, иными словами, четыре пути, которыми распространяется бацилла. Потому что и здесь все начинается с палочек Коха. Но в подобных случаях контакт не опасен.— Должно быть, он увидел молнию в моем взгляде — в его я прочел искреннюю обиду. Я убедился, что не ошибся, когда он прибавил: — Надеюсь, вы не сочтете меня навязчивым?

— Разве я вам что-нибудь сказал? — ответил я.

И он продолжал. Он давал мне научное объяснение, которое в конце концов даже заинтересовало меня:

— Доктор перечислил мне все четыре за рюмкой коньяку, но я припоминаю только два. Один он, кажется, называл гематогенным путем, а дальше не помню. В общем, палочка попадает в легочные сосуды и проникает в легкие. В данном случае речь, кажется, идет о классическом пути. Палочка оседает здесь,— он коснулся огромного живота,— потом приходит в движение и направляется прямо в сердце и легкие, где образуется множество крохотных бугорков, которые притягиваются друг к другу, будто они намагничены, и постепенно наступает удушье. Они крупные, величиной с просяное зерно, вот откуда — милиарный *.— Голос его прервался, по пухлым щекам покатились слезы.— Я так люблю Лори, может, еще больше, чем вы,— пробормотал он и повернулся ко мне спиной, чтобы успокоиться: Джудитта позвала его, а я остался один и стал смотреть в окно.

Кипарисы больничного парка раскачивались над белой стеной, а дальше — восседали на своих высоких постаментах похожие на собак львы, которых я помню с детства. «У них на щитах — герб Флоренции, Брунино. Быстрей, быстрей, здесь воздух заразный, пошли отсюда»,— говорила синьора Каппуджи. К тревоге, к нервному состоянию снова примешивался страх. Сил моих больше не было терпеть. Я направился к ним, они сидели рядом с монахиней и разговаривали. Я отвел в сторону старика Каммеи, чтобы спросить у него, где палата Лори. Он показал мне дверь, и, не дав ему опомниться, я решительно двинулся к ней; тихо повернул ручку, рывком освободившись от Джудитты, которая бросилась ко мне и хотела меня задержать:

— Вы ее разбудите, почему бы вам не подождать?

Палата была погружена в полумрак, у дальней стены тускло горела занавешенная лампа, женщина с опущенной головой сидела у баллона с кислородом, между тумбочкой и двумя койками — той, что стояла рядом с дверью, и еще одной, у края стены, в которой угадывалось окно, закрытое шторой. На второй койке лежала Лори. Но прежде, чем я различил все это и увидел приподнятое на подушках тело, я услышал ее дыхание. В тихой и темной палате оно, должно быть, звучало громче, чем было на самом деле. Как будто отбойный молоток, который вместо грохота издавал бы звук, до ужаса похожий на человеческий вздох. Та же частота ударов, та же дрожь скалы у нее в груди. То же ощущение жестокости и разрушения. Мачеха подняла голову, узнала меня, хотя и видела впервые, приложила палец к губам. Привыкнув к полумраку, я шагнул вперед. И увидел ее: она спала.

Теперь я знаю, что меня охватил ужас. Знаю, что молчал, хотя в сознании моем раздался самый душераздирающий вопль, на какой только я был способен. Наконец-то жалость возобладала над страхом. От ее красивого лица с чуть розоватой кожей буквально ничего не осталось. Оно было синим, с багровыми пятнами на скулах, а лоб

* По латыни просо — Panicum miliaceum.

даже не синий — фиолетовый, и подбородок тоже, и шея, и веки. Сухие, потрескавшиеся губы были полуоткрыты, в уголках глаз застыли желтоватые капли, похожие на восковые слезы. Потная кожа, вся неухоженность Лори усиливали гнетущее впечатление. Ее светло-рыжие волосы, короткие и беспорядочно вьющиеся, открывали распухшие мочки ушей. На ней была голубая пижама, кружева на часто и тяжело дышавшей груди трепетали, как от ветра. Руки, тоже синюшные, лежали ладонями кверху, казались пятнами на свежем белом одеяле.

Я смотрел на нее, смотрел бессмысленно. У меня небось тоже был замогильный вид, но во мне клокотала сила, которую я с трудом сдерживал, сжимая кулаки. В то же время я чувствовал предательскую слабость — обыкновенный щелчок свалил бы меня с ног.

— Видели? — голос Луиджи рядом со мной чуть не оказался этим щелчком. Я схватился за спинку кровати; Джудитта и отец стояли у другого ее края, мачеха опять зашептала молитву.

Потому ли, что кровать дрогнула от моего движения, а может, из-за того, что в палате прибавилось народу и Лори стало еще труднее дышать, она шевельнулась. Джудитта освободила себе место между мачехой и постелью, взяла кислородную трубку и поднесла ее ко рту Лори. Как будто во сне, она произнесла мое имя.

Джудитта давала ей кислород и вытирала лоб.

— Сорок один, не меньше,— пробормотала она, сняла желтоватые сгустки с ее ресниц, смочила ей губы, обмакнув марлю в кувшин с водой.— Лори, он пришел, он здесь.

Она не слышала, повторяла мое имя, ерзая головой по подушке, не открывая глаз. Наконец приоткрыла их, потом распахнула во всю ширину: золотые капли исчезли, зрачки были черные и влажные, белки сплошь в кровавых прожилках. Она старательно напрягала зрение, но было ясно, что это бесполезно: она ничего не видела. Она снова зашевелилась, потом успокоилась. Взгляд ее упал на меня, остановился на мне.

— Узнаешь? Это Бруно... Позовите ее,— шепнула мне Джудитта.

Я тронул ее за руку, она горела жарче, чем в последний раз, когда я к ней прикасался, но сейчас от этого пламени у меня мороз по спине пробежал.

— Лори, как ты себя чувствуешь? — Вот что я сказал.— Как ты себя чувствуешь, Лори, ты видишь меня?

Ее ничего не выражавший взгляд скользнул над моей головой, потом по моему лицу, неожиданно оживился, и в нем забрезжил огонек нежности. Она приподнялась на подушках, потянулась к Луиджи, обняла его, шепча:

— Бруно, любимый,— и поцеловала его в губы. Потом снова безжизненно упала.

Джудитта безудержно зарыдала:

— Это с ней творится последние два дня, с тех пор как она не приходит в сознание, какой ужас! Она так надеялась, Луиза, ты видела? Она и не исповедалась.— Захлебываясь от рыданий, она с неподдельным отчаянием кусала платок.

Мачеха продолжала молиться, старик Каммеи вышел. Луиджи повис у меня на руке и тихо объяснил мне:

— Она всегда симпатизировала мне. Ей еще и двенадцати лет не было, когда я появился у них в доме, мы были помолвлены с Диттой, а к нашей свадьбе она сама придумала платье для Дитты, бедная девочка.

Лори неподвижно лежала на подушке, как будто снова уснула, произнося мое имя.

— Этот поцелуй предназначался вам, в бреду Лори нас перепутала. При менингите больной ничего не видит кроме призраков, разум покидает его...

Я сделал то же, что и раньше,— оттолкнул его руку. Он надеялся, что мне ничего не известно, но ведь все равно существует какой-то предел лжи, лицемерию, двуличию, служащим человеку панцирем, в котором он разгуливает, скрывая наглость под личиной добрячка. Он не должен был лезть ко мне и все-таки снова полез, хотя я его только что оттолкнул.

— В последние недели,— продолжал он тем же полушепотом,— мы часто виделись, не знаю, говорила ли она вам. Она отпрашивалась на часок с работы и заходила ко мне. Могу сказать, что она очень привязалась к вам, Бруно. Со мной она была откровеннее, чем с сестрой. В это время Дитта обычно гуляла с девочками.

Как будто тебя пронзают шпагой — избитое выражение, но что сказать, когда холодеешь с головы до пят и чувствуешь себя истуканом, все в тебе онемело, и лишь сердце кажется невредимым, стучит в груди и комом подкатывается к горлу? У меня было именно такое состояние, откровения Луиджи убивали меня. Чтобы заставить его замолчать, я схватил его за запястье и сжал крепко, как только мог, оставаясь неподвижным. Он не взвыл, только сказал:

— Я хотел...

Все четверо, молча, мы окружали Лори. С неровным дыханием больной, чьи лицо и руки в полумраке казались темно-голубыми, сливались рыдания Джудитты и кощунственное в этой обстановке бормотание мачехи, пережевывавшей свои молитвы. Но это о звуках. Образы, нагромождавшиеся в моем сознании, подсказывали мне такие мысли, о которые разбивалась любая возможная истина. Мне казалось, что не накануне вечером, когда я бросился на Дино, не тогда, когда я избавил Иванну от ее мании, не в результате моих столкновений с Милло или раздумий об отъезде Бенито, а только сейчас понял я, что такое жизнь. Мои мечты и восторги, мои идеалы, мои тревоги, колебания и противоречия — все это было преходящим и укрепилось во мне благодаря любви. Теперь же, когда сама любовь оказалась не в силах отринуть прошлое, которое, не принадлежа нашему чувству, убивало его, теперь, когда земное преобладало над неземным — а в своей основе любовь наша была неземной,— всякое иное состояние, кроме оцепенения, было бы просто невозможно... Я начинал сознавать, что сам виноват во всем — ведь это я ничего не хотел знать. Я снова видел выражение ее лица, печать скорби на нем, крупные, как набухшие почки, слезы и ее взгляд, полный отчаяния, в тот вечер, когда за дверью «берлоги» стояли Джермана и Бенито. И потом — ложь, продиктованная любовью и подсказанная мной, потому что истина, в которую нельзя не поверить, внушала мне бессознательный страх. «Да, он погиб в автомобильной катастрофе». И ее постоянное беспокойство, перемены в настроении, которые она не скрывала от меня, как бы протягивая мне руку в надежде, что я помогу ей освободиться от гнетущей тайны,— и так до нашего последнего счастливого дня; но что это было за счастье, что за радость, если теперь от них ничего не осталось? На мосту через Чинкуале, в то время как парнишка сидел на корточках под сетью, где блестела рыба, ее голос рядом со мной должен был прозвучать для меня воплем. «Я ведь тебе не все сказала в тот вечер, когда приходил Бенито». Идя вдоль реки, мы еще могли победить сообща эту живучую манию преследования. Также и неделю назад, когда ее судьба была уже решена, когда она сказала: «Твоя доброта обезоруживает меня», а я, не придумав ничего лучшего, воспользовался ее состоянием... Собственная слабость и моя трусость убивали Лори точно так же, как подлая

болезнь, завладевшая ее телом и изуродовавшая его. Этот наглый, уверенный в своей безнаказанности тип, что стоял сейчас бок о бок со мной, растирая руку, этот тип был причиной нашего несчастья.

Заблуждаются тогда, когда хотят заблуждаться, говорил я себе. И чувствовал, что сам изменил себе, что все предали меня. Даже она! Она первая — со своими недомолвками, которые жгли ее изо дня в день, а она не смогла покончить с ними, ибо не нашла в себе сил заставить меня узнать больше того, что я знал. Выходит, мы действительно играли в придумывание жизни, когда утверждали, что у нас нет прошлого, а есть настоящее — наша любовь, чье будущее зависит от нас самих? После того, как я только что был свидетелем порыва умирающей Лори, после того, как Луиджи — то ли из коварства, то ли движимый смутными угрызениями совести — счел необходимым истолковать мне ее поступок, мне было нетрудно догадаться, что эта бочка лицемерия, этот кусок вонючего сала, этот гнусный пошляк снова принялся шантажировать ее, не успела она вернуться во Флоренцию и встретиться со мной. И она не устояла перед ним — жертва собственной нерешительности, смутно завороженная мифом о невинности, которую она принесла ему в жертву. Как же так? Разве я не обладал достаточной физической силой для того, чтобы проучить Луиджи и пресечь его посягательства? И разве вместе мы не положили бы конец ее зависимости от него? Она запуталась, чтобы спасти нашу любовь, разрываясь между мной и им, и в бреду, в агонии отождествляла нас. Но по-прежнему мне и только мне принадлежала ее запятнанная душа, как и ее прекрасное, теперь обезображенное синюхой тело, которое в предсмертном порыве потянулось к Луиджи. И отношения наши подобны многим и многим человеческим отношениям, бесконечно повторяющимся и несущим в себе зло, осаждающее мир, в котором мы мечтали жить свободными, прекрасными, чистыми. Она любила нас обоих, меня и его, величайшая чистота уживалась в ее душе с глубокой порочностью, зло было в ней, и потому я, как это ни ужасно, находил глубоко справедливым то, что она умирала, лишившись самого дорогого из того, что имела: красоты и прелести своего тела. Преследуемый памятью о ней, я буду жить, виновный в собственном недомыслии, навсегда лишенный способности обольщаться, готовый отныне и всегда распознавать зло под всеми его личинами и давать ему решительный отпор. И воздавать за него полной мерой. Буду жить, созревший для того, чтобы снова покорно поверить в простые истины: в повседневный труд, в идеи, пусть еще не общепризнанные, лишь бы они были осознанными и поддерживали нас и мы продолжали бы за них бороться, и, наконец, в чувства, не терпящие никаких компромиссов и защищаемые — в случае необходимости — общими усилиями.

Неожиданно наступила полная тишина. Джудитта перестала рыдать, стихли причитания мачехи, мы больше не думали каждый о своем — две женщины, сидевшие по ту сторону кровати, я и Луиджи, стоявшие бок о бок напротив них. Мы поняли, что Лори не дышит.

Глава 33

Оскорбленные в своих чувствах, мы взрослеем. Теперь, когда Лори тоже стала воспоминанием, подобно маленькой Электре и Бенито, вправе ли я считать, что рядом с ней повзрослел? От нашей любви, которой я отдал себя без оглядки, как чему-то самому чистому и самому надежному, и которая в последние минуты оказалась неверной и зыбкой, я унаследовал насущную потребность в ясности, стремление не просто к

честности — честным я был от природы,— а к честности предельной. И я начал с того, что стал, как болван, выведывать у матери ее убогие тайны. Но, вступая в мир, мы делаем первые шаги по двору своего дома; если двор запущен, куда бы мы ни ступили потом, мы будем оставлять за собой грязные следы. Я повзрослел, чтобы постареть душой, вот и все. Теперь речь идет о том, как мне жить среди людей — примирившись с условностями, от которых теперь и я не свободен, или повести с ними самую решительную борьбу. Кажется, я понимаю, что можно жить и приносить при этом пользу, служа примером для других. И даже, вероятно, превратиться со временем в своего рода Милло, более просвещенного и потому последовательного во всем, верного и в личной жизни той диалектике, что питает наш внутренний мир. До всего этого я дошел сам, своим умом, а если подумать, то и благодаря Лори, тем нескольким дням, что так быстро промелькнули после нашей поездки к морю. Рисуя ее в своем воображении рядом с собой, я хотел проверить ее способность помочь моей «собачьей душе».

На крик Джудитты поспешили старик Каммеи и монахиня; четверо или пятеро, сколько их было, отвратительные в своем желании выглядеть сердобольными, они навалились на нее, делая что-то с ее лицом и окликая ее по имени. Прислонившись к стене между столом и окном, я издали наблюдал за ними, забывшими обо мне. Лори больше не было там, эта мысль, эта твердая уверенность позволила мне трезво и спокойно смотреть на случившееся, и я не страдал, прощаясь с ней. Это лицо на белых подушках, эти руки, соединенные на груди, не вызывали во мне глубокой скорби. Разве что соприкосновение со смертью оскорбляло меня. Все они опустились на колени. Луиджи стоял на одном колене, свесив брюхо до самого пола и вцепившись рукой в край кровати, как цеплялся несколько минут назад за меня, другой рукой он закрывал лицо, наблюдая за мной сквозь неплотно сомкнутые пальцы. Появились врач, сестра и священник, в маленькой комнатке вокруг мертвого тела царила суета, к которой я был не причастен. Воспользовавшись этим, я направился к выходу, незаметно, бочком, держась вплотную к стене.

С тех пор я не видел никого из ее родственников, за исключением отца. Он здоровается со мной, когда мы встречаемся, а встречаемся мы довольно часто, и я начинаю подозревать, что это происходит не случайно. Он предлагает мне выпить и иногда разрешает угостить его. Я помогаю ему заполнять карточки тотализатора, спрашиваю, по-прежнему ли хороши Торнезе и Чудо, на которых он ставил, когда я работал у него в типографии. Он увлекается, погружается в подробности — родословные, время, победы, каждый раз он порывается сказать мне что-то, чего я не хочу слышать и всячески стараюсь ему показать это. Лишь однажды, потянувшись рукой к карману, он спросил: «У тебя есть ее фотография?» Я резко остановил его: «Нет, и она мне ни к чему. Я не нуждаюсь в портрете для того, чтобы помнить». Он согласился со мной, вздохнул. Я никогда не справляюсь у него о жене, о Джудитте и о Луиджи, и он знает, что никогда не должен произносить имя Лори.

То же самое с Милло. Он уважает мое молчание, и я благодарен ему за это.

Но было время, с конца апреля до начала лета, когда я неожиданно срывался — у станка, за чтением или на мотоцикле. Незримый ветер опустошал мой мозг, в превращенном в пустыню сознании возникал, постепенно его заполняя, ее образ. Я видел ее лицо — и передо мной вехами нашей истории вставали то павильончик в Альтопашо, то «Красная лилия» или «Petit bois», то роща над Чинкуале, вспоминал я и вечер

в лесу, там, где крепость и река, вечер, предвозвестивший конец нашей любви; и час ее зарождения: «О, извините, ради бога!» Лори то терлась носом о мой нос, то, больная, повелевала с каменным лицом: «Не смотри на меня!», то, бесконечно счастливая, показывала мне самолеты и стремглав бежала вниз по винтовой лестнице башни, на запущенный газон: «Ты пустишь меня за руль?» Или бежала, на фоне морской дали, оглядываясь, спотыкаясь на мокром песке, или лежала под деревом или на диване в «берлоге»... Но все это не было приглашением поговорить начистоту; скорее, она ждала, что я насильно заставлю ее высказаться. Она доводила меня до исступления, и я, будучи не в состоянии противопоставить ей ничего, кроме нервного напряжения, переживал ужасные минуты. Как в истории, рассказанной мне Мириам, так и в жизни людей, которых, помимо Лори, я когда-нибудь любил, начиная с Электры и кончая Дино, Бенито, Иванной, границу между правдой и ложью определяло что угодно, только не разум, и я бился об эту стену и никак не мог одолеть ее.

Я нашел в своем жизнелюбии, в своей молодости, конечно, и прежде всего в силе разума способность избежать жестокого соблазна — с головой уйти в воспоминания. Я опять стал бывать в баре на площади Далмации, в Народном доме, в клубе, в молочной на виа Витторио, снова увидев там тех, с кем меня никогда и ничто особенно не связывало, благодаря моей замкнутости, быть может, или тому, что мне было достаточно общества моих друзей. У бильярда, у музыкального автомата или в седле мотоцикла я замечал, что мы могли бы понять друг друга даже с кретином Корради, который устроил судилище над Бенито. По воскресеньям — танцы; появились девушки «очередного призыва»; я как будто пришел с войны и теперь открывал для себя прелести и тоску мирного времени... Армандо пекся о своем заведении, и из старой компании я встречал только Джо. Мы говорили с ним о «Гали», и он рассказывал, что у него, так же как и у меня, бывали смены, когда ему доверяли «цинциннати» — но он-то работал на «Гали». Джо раньше, чем Милло, узнал — на «Гали» собираются взять новую порцию молодняка; если и на сей раз я не хотел, чтобы меня прокатили, я должен был действовать. Глядя на него, длинного, худого и смуглого, и слушая, как он говорит дискантом, казалось, что Джо так и остался ребенком. Однажды вечером он спросил меня, когда я отвозил его домой и мы проезжали мимо Сан-Стефано:

— А почему бы тебе не начать ходить в церковь? Отец Бонифаций не такой священник, как ты думаешь.

— Миллоски говорит то же самое.

— Ты побольше липни к своему Миллоски! Если будешь ждать Миллоски и Палату труда, смело покупай бинокль нашего производства и любуйся в него на «Гали».

— Когда я решу бить земные поклоны, непременно зайду к тебе за рекомендательным письмом.

— Оно тебе ни к чему: отец Бонифаций давным-давно знает тебя.

Я замолчал и не стал спрашивать, что и откуда было известно обо мне его доморощенному святому; раньше я пришел бы в бешенство от таких речей, а тут — ничего.

Мы заехали к Армандо, который на днях должен был жениться...

Религиозный обряд состоялся в церкви Сан-Стефано, где, правда, не было отца Бонифация — ему «помешали дела». А свадебный обед — в большом зале ресторана со сводчатым потолком, где когда-то разгуливали быки и стояли кормушки. Я сидел рядом с Джо. Дино не было.

— Не хотелось приглашать его после того вечера,— объяснил мне Армандо.— И потом, в Рифреди его больше никто не видит, он улетучился.

Иванна и Милло сидели рядом, на них было приятно смотреть: одетые, по словам Милло, «в парадную форму», они ухаживали друг за другом. Милло произнес тост, целую речь — выступать на митингах было для него привычным делом: он припомнил знаменитую лису и то время, когда мы, ребята, были «сорванцами». Вместо Венеции или Парижа молодые собирались ехать в Рим, потом в Неаполь и оттуда, на пароходе, в Сиракузы и в Таормину, потому что дед и бабка Паолы были сицилийцами.

— Ну, как Таормина? — спросил я, когда они вернулись.

— Этого не опишешь,— ответила Паола.— Просто прелесть.

А Армандо:

— Очень красиво, и какие гостиницы! Обслуживанье — на большой, но там так не поешь, как у нас.

Мне стало жаль его, и я рассмеялся, и этот смех лег печатью еще на одно воспоминание.

— Кстати,— сказал он,— «берлога» записана на мое имя. Пока мы пользовались ею вчетвером — я, ты, Дино и Бенито, она меня устраивала. А теперь я женился и должен отказаться от нее. Или ты перепишешь ее на себя?

Я ответил отрицательно и сказал, что он решил правильно.

Июнь был ужасный. Я искал компанию не только для развлечений, но чтобы доказать самому себе, что равновесие, которое я обретал, не имело ничего общего со смирением. Так же, как я заставил себя вернуться в клуб или привыкнуть на работе к обществу Форесто, я научился выслушивать с бо́льшим терпением ежевечерние жалобы Иванны. Беседуя, мы заново узнавали друг друга, что не часто, я думаю, случается между матерью и сыном. Тем самым мы постепенно оздоровили наши отношения. Наконец-то мы друзья... Быть может, поэтому и чувствуем мы себя, ужиная вместе, спокойными за нашу дружбу и более одинокими каждый в отдельности?

— Почему ты не решаешься выйти замуж за Милло? — спросил я на следующий день после свадьбы Армандо.— Одного твоего взгляда достаточно для того, чтобы он бросился к твоим ногам со всеми своими торжественными речами.

— А не слишком ли поздно? — ответила она, как бы размышляя вслух.— Не насмешим ли мы людей, и в первую очередь тебя?

— Люди наверняка до сих пор думают то же, что думал я, когда был мальчишкой.

Она покачала головой:

— Прошло слишком много времени. Если этому суждено было случиться, то в тот раз, у моря.

— Во всяком случае, неправда, будто ты его только уважаешь.

— Не знаю. Но иногда я с какой-то грустью смотрю на него.

— Почему? — я не понимал ее и хотел понять.— Потому, что он полысел, а ты помнишь его с пышными волосами?

— Может, и так, а ведь мы тоже были молодыми. И потом, кто знает, захочет ли он сейчас жениться на мне, ты действительно в этом уверен?

— Сколько тебе лет, мама?

— Тридцать семь. Ну и что? Я часто жалуюсь на это, но в зеркале вижу не только морщины. Я прекрасно знаю, что могу еще нравиться.

— Значит, это потому, что разница в возрасте стала заметнее, ведь он на десять лет старше тебя, ты, верно, считаешь его стариком...

— Нет, нет, нет... Понимаешь, мне все время казалось бы, что я совершаю святотатство.

— Будь искренней. В святотатстве ли дело? Уж если ты набралась смелости, чтобы говорить об этом со мной, и сама считаешь, что тем

самым освободилась от чего-то, можешь ли ты действительно бояться выходить за него? Разве Милло не знает всего?

— Жареная курица, салат...— сказала она, как бы желая переменить тему.— В воскресенье он придет обедать... Не так-то все просто.— Необычайная застенчивость сдерживала ее: даже в вечер ее исповеди я не видел, чтобы она делала над собой такое усилие.— Как это ни глупо, допустим, я и Миллоски, в общем, как ты говоришь... Тебе было бы неудобно жить с нами, в этой квартире, где всего две комнаты да твоя бывшая детская, что служит нам теперь кладовкой.

— Мы найдем квартиру побольше, если я вам буду мешать.

— Не в помещении дело, Бруно; жизнь есть жизнь, и все может случиться.

— Послушай, устроившись на «Гали», я смогу снять комнатку неподалеку.

— Ну, конечно, ты бы с удовольствием жил сам по себе! А кому, кстати, ты обязан тем, что станешь скоро рабочим «Гали»? Бедный отец Бонифаций! Перед тем как умереть, он и нам помог.

Всего несколько шагов вдоль фасада церкви под коротким портиком. С той стороны — стадион, который был не для нас с Дино — так мы для себя решили; а вот Армандо, предавая нас, иногда заходил туда поиграть. И там же — огромное здание, воздвигнутое отцом Бонифацием в целях борьбы за торжество христианского милосердия, училище, в котором десятки и сотни сирот, от одной войны до другой, из поколения в поколение, получали образование и профессию. Не только самые нуждающиеся, но и такие «сироты», как Джо, которые родились после войны, являют собой результат последнего боя, выигранного отцом Бонифацием.

Время — часов семь вечера, июньский закат окрашивает новые стены и древние камни. Вон та старинная двуглавая постройка зачала в своих стенах огромную махину сиротской школы, что высится сбоку от нее. Я вхожу, поднимаюсь на несколько ступенек, и передо мной — дверь топорной работы, как в старых домах или в монастырских кельях. Я слышу голос, чуть-чуть надтреснутый, старческий, но не плаксивый, не монашеский.

— Проходи, Сантини.

Комната маленькая, она с трудом вмещает мебель, стоящую вдоль стен,— застекленный книжный шкаф и громоздкий ларь. На стене изображение какого-то святого, живопись потемнела. Стол, перед ним небольшой ковер и — под стать картине — пара стульев той же эпохи, когда деды дедов были настоящими краснодеревщиками. За столом — весь скрюченный и потому кажущийся крохотным старикашка в сутане с белым воротничком. Ясные глаза за квадратными очками, эти глаза — самое существенное из того, что нужно запомнить. Проницательные, молодые, мудрые, свидетельствующие о долгих раздумьях; на висках реденькие волосы, совсем седые, пепельного цвета. Он смотрит на меня сосредоточенно, левая рука лежит на столе, в правой зажат платок, и она все время дрожит, и, чтобы это было не так заметно, локоть прижат к груди. Страдальческое выражение лица, которое подчеркивается почти безгубым, чуть слюнявым ртом и которому не соответствуют ни взгляд, ни огромные, смешно торчащие уши, ни наконец голос.

— Садись, Сантини. Возьми тот стул и устраивайся поближе.— Я сижу на краешке стула, и его взгляд — снизу вверх — изучает меня.— Располагайся поудобнее. Ты ведь не на аудиенции у папы.— Дрожащей рукой он подносит платок ко рту.— Так вот, Кьянконе мне кое-что говорил. — Кьянконе — это Джо, все равно его фамилия звучит для меня

странно. Он как бы угадывает мои мысли.— Знаю, что для тебя он Джо, а ему нравится... Так вот, перейдем к делу: на «Гали» как будто против тебя что-то имеют.

— Видно, у них есть для этого основания.— Он не внушает мне робости. Нужно только смотреть ему в глаза, а не на непрерывно дрожащую руку.— Дело в том, что, по их мнению, я коммунист.

— А разве не так?

— Так, но это не имеет значения. В моем аттестате одни четверки и пятерки, да и специальность я сдал на четыре с плюсом.

— А если они не хотят иметь бунтарей у себя на заводе? Если бы ты не любил кошек, а тебя заставили бы держать кошку, которая пачкала бы по всему дому, тебе было бы приятно?

— Я рабочий, а не кошка и не собака.

— Ошибаешься, у тебя и коготки есть. При таком опекуне, как у тебя, ничего нет удивительного в том, что ты коммунист.

И он думает о том же, что и старик Каммеи, что и все, знающие меня,— думает, но не высказывает.

— Если вы имеете в виду Миллоски, то Миллоски никогда не был моим опекуном.

— Но я говорю это в хорошем смысле. Я ведь знаю его с тех пор, когда он был моложе тебя и начинал работать на «Гали». За столько лет мы сделали вместе с ним не одно доброе дело.

— Наверно, при немцах.

— Раньше, раньше. Был такой год, когда я оказался на мели, а ведь на мне лежала забота о детях неимущих; тогда рабочие «Гали» объявили подписку. Вносили ежедневно по пять чентезимо каждый и таким образом собрали несколько тысяч лир. Главное, их никто не просил об этом. Собирал деньги Миллоски. Он скажет тебе, что руководствовался политическими соображениями, хотел вырвать ребят из фашистских организаций. Лучше с попами, чем с фашистами, говорил он мне в глаза. Лучше у вас, чем в балилла *, по крайней мере вы, отец Бонифаций, учите их ремеслу.

Время от времени — мучительная операция с платком, который он машинально подносит ко рту, чтобы вытереть слюни; так и хочется помочь ему.

— Про вас Миллоски говорит, что вы не такой поп, как все.

— А он священник, служащий не тому богу, и потому попадет в ад.

— Я знаю, что вы участвовали в первой мировой войне.— Я ловлю себя на том, что подхалимничаю, и начинаю жалеть об этом.— Вы ведь дали обет, не правда ли, и потому открыли сиротскую школу?

Об этом всегда знал весь Рифреди и вся Флоренция, а теперь знает вся Италия.

— Ты тоже должен был бы учиться здесь. Однажды утром пришла твоя мать, как сейчас помню; по правде говоря, я сам за ней послал. Она была такая молодая и одинокая. И моим прямым долгом было позаботиться о тебе — ты имел на это полное право, как сирота из Рифреди. Вот здесь она сидела, где ты теперь.

Иванна растроганно поблагодарила его, но сказала, что сама вырастит меня. «В случае чего, если мне будет трудно, я обращусь к вам».

— Но я был уверен, что в эту дверь вдова Сантини не постучит никогда. Я надеялся, что она воспитает тебя верующим. Я сказал ей об этом и знаешь, как она ответила? «Разговор с вами успокоил мои нервы... Похоже, вы настоящий колдун, отец Бонифаций». Тебя даже и к первому причастию не привели. А крестить — крестили: к счастью, твой отец был еще жив. Крестил тебя я — в то время у меня руки еще не тряслись,—

* Название детской фашистской организации.

рассказывает он, как бы довольный своим теперешним недугом, словно это — драгоценный дар, с которым ну просто немыслимо расстаться.— Вы мои прихожане. Твой отец был им недолго, но я помню, что он работал на «Гали»; он был добрым христианином. Помочь тебе — мой долг. Тем, что ты учился не здесь, ты дал мне возможность взять на твое место и воспитать другого, кто наверняка нуждался в этом больше... Ты мне нравишься, ты честный, но душа твоя внушает мне некоторые опасения.

— Из-за того, что я верю в коммунизм? — И как-то само собой выходит, что я начинаю его уговаривать, убеждать, причем вовсе не потому, что сейчас мне это выгодно: — Пусть это вас не тревожит. По мнению настоящих коммунистов, и Миллоски в первую очередь, я — анархист.

— Хрен редьки не слаще,— отвечает он и сдержанно смеется. И вдруг становится строгим. Весь дрожа, вытирает рот, потом говорит: — После того, что недавно произошло, — я говорю не о политике, пойми меня правильно, пусть ею занимаются те, кого дьявол попутал — после того, что случилось с тобой, разве ты не чувствуешь, как земля уходит у тебя из-под ног? А почему? Потому что отсутствует вера.

Он пристально смотрит на меня своим мудрым взглядом, в котором я чувствую жестокую бесцеремонность, и все понимаю. Он знает! Мачеха и, может быть, старик Каммеи, Джудитта, Луиджи... Ведь он их исповедник! Я собираюсь встать, мое лицо пылает. Дрожащая рука с зажатым в ней платком тянется ко мне; другая — парализованная и лежащая на столе — тоже ползет в мою сторону.

— Не торопись уходить. Будь благоразумен, подумай! Она больше не подсудна нам; некто иной теперь печется о ней, она в надежных руках... А ты — ты бежал и даже не был на похоронах. Куда ты спрятал свою боль? В чем ищешь утешения?

— Во всем.— Я смотрю ему в глаза, и мне удается выдержать его взгляд — как бы для того, чтобы он продолжал. И он продолжает:

— Это серьезнее, чем я предполагал: ты полон отчаяния.

— Я думаю...

— Подумай о той, что на небе,— перебивает меня он.— Обратись к вере. Я не говорю, что ты должен сейчас же идти в церковь,— сказав так, я потребовал бы от тебя слишком многого. Ее душа вознеслась в царствие небесное, и теперь господь — посредник между вами. А ты живи, сынок, разъезжай на мотоцикле, слушай песенки, читай, работай, учись. Но если боль, которую ты познал, ничего не дает тебе, если ты не ищешь утешения в вере, ты, пожалуй, не найдешь его нигде. Боюсь, ты останешься таким, каков есть. Тем самым не нанесешь ли ты ей величайшее оскорбление? Позови ее — она рядом с тобой.

— Нет.— Я попался в его сети и борюсь с ним.— Я вижу ее, и больше ничего мне не надо, я вижу ее — и не нахожу в этом никакой радости.

Долгое, долгое молчание, и эта рука, которая трясется, как будто существует отдельно от него,— посторонний предмет, заставляющий все его тело непрерывно вибрировать.

— Я тебя ни к чему не принуждаю. Видишь, я говорил сам, вместо того чтобы дать выговориться тебе. Доверие рождается не по нашей воле, оно исходит из сердца. Мы продолжим наш разговор в твой следующий приход. Обещай мне подумать.

Он утомлен, ему приходится чаще вытирать рот. Я встаю, уже забыв, зачем пришел сюда. Он напоминает:

— Что касается твоего места на «Гали», я уже сделал все, что было в моих силах; возможно, ко мне прислушаются.

Я слегка пожимаю руку, комкающую платок, и на мгновение она перестает так ужасно дрожать. Я хотел бы поцеловать ее, но не могу себя заставить.

Всю ночь я был в каком-то смятении и на следующий день разыскал

Милло и попросил его скрепить своей подписью мое заявление о вступлении в партию.

Июльский день, не похожий на тот, когда я сдавал свой последний экзамен; вместе со всеми, кто разделяет мои убеждения, сегодня я держал еще один экзамен. Под палящим солнцем асфальт кипел, как наша кровь и наш молодой разум; нас вела древняя и вечно новая страсть — дерзкое стремление вырваться из-под опеки стариков, полысевших в парламентах и на государственной службе, ярость против собственного благодушия, которое, подобно ржавчине, разъедает нас изнутри.

Лучшая часть Италии во главе с рабочими и молодежью поднялась в ответ на провокацию против Сопротивления, которой правительство потворствовало. Жарче всего было в Генуе, Реджо-Эмилии и Палермо. Мы тоже вышли с наших заводов, из наших школ и из домов Рифреди, вооруженные только своими руками.

И сменилось правительство, и снова порядок, мир — и небо, затянутое тучами. Еще одна возможность (для нас — первая) осталась неиспользованной. Осенние ливни смыли кровь, которую в Реджо и Палермо парни моих лет и люди в возрасте Милло оставили на знакомых с ней мостовых,— ту самую кровь, что кипела в нас.

«Ты экстремист»,— теперь говорит мне Корради. А Милло: «Ты стал спокойнее, но в сущности не изменился...» «А что можно было сделать? — спрашивают они у меня.— Мы не на Кубе. У нас не диктатура, а буржуазная демократия».

Это наше снотворное, наше лекарство.

«Ты забываешь о союзе с Америкой. Забываешь о Ватикане. Забываешь о политической линии и ее результатах, которые нельзя сбрасывать со счетов».

Кажется, вот-вот они заявят о своем проигрыше.

Что делать? Не знаю. Но убежден в одном — решение наших проблем больше не ограничивается рамками вооруженной борьбы. Из тарана мы превратились в крепостной вал. Может быть, один из путей — профсоюзы, которым мы уделяем сейчас много внимания? Наша молодость по-прежнему чего-то стоит? Люди говорят со страхом о ракетах, об атомной и водородной бомбе. Возможно ли, чтобы техника победила нас? Разве мы, вооруженные нашими идеями, слабее ее?

Будет новый июль, и мы еще посмотрим.

— Вот и лето прошло,— говорит Форесто.— Шевелись, чернявый, поддай жару, выбрось из головы своих блондинок, больше жизни.— Он понял, что не должен переходить определенной границы, и я терплю его вульгарность: рядом с ним я стал настоящим фрезеровщиком.

После ужина Иванна входит в мою комнату, я только что лег, и она приводит в порядок мои вещи, садится рядом, мы выкуриваем по последней за день сигарете. Это было вчера вечером.

— Кто эта девушка?

— Откуда ты знаешь?

— По всему видно.

— Нет, ты взяла меня на пушку.

— Возможно. Я так надеялась.

— Да, ты попала в точку, но рана есть рана: она прекрасно зажила, и все же — тебе это известно лучше, чем мне,— стоит раздеться, и виден шрам, даже если он больше не болит, когда к нему притрагиваешься.

— Как ее зовут?

— Обыкновенное имя. Мария. Но она хочет, чтобы ее называли Мариолиной.

— Это у вас серьезно?

— Нам хорошо вдвоем, она мне нравится. Я отдал ей кольцо. Оно у меня уже было, ты не знала. Оно ей в самый раз, как будто по мерке сделано.

— Продолжай. Имею я право знать?

— Я познакомлю тебя с ней, если хочешь, хоть завтра. Она еще совсем молоденькая, пусть тебя это не пугает. Ей недавно исполнилось пятнадцать лет, «почти шестнадцать», говорит она, но выглядит она не таким уж ребенком. Мы познакомились в Народном доме, на танцах. Она дочь токаря с «Гали», очень хорошего токаря. Она еще учится, учится неплохо... С ней не случится того, что случилось с тобой: она получит диплом учительницы! Красивая, ничего не скажешь. У нее черные-пречерные волосы, никаких причесок, в голове не так уж много идей, но они ясные. Когда мне присвоят второй разряд, а она начнет преподавать или где-нибудь служить, мы, возможно, поженимся, у нас уже был об этом разговор. Через год, самое большее — через два. Тогда эти комнаты останутся вам с Милло.

— Может, ты замолчишь? Просто вы уже мечтаете о своей будущей квартире!

— Чего-чего, а люстр в ней не будет!

— Что до той моей, то даже если бы она уцелела, то давно уже вышла бы из моды. Знаешь, в тот вечер, когда мы отправились за ней, с нами был Миллоски, я тебе не рассказывала? Это был ужасный вечер, ветер так и хлестал по лицу, и я, в короткой юбке и на толстенных каблуках, какие носили тогда, сама тоненькая, крепко держалась за твоего отца — иначе меня буквально бы ветром унесло. Мы назначили свидание в центре, в баре «Боттегоне», лишних денег у нас не было, и мы заказали, кажется, одну чашечку кофе и порцию макарон, а твоему отцу очень хотелось шоколада. От Соборной площади до виа Рондинелли рукой подать, и, сидя в баре, мы вместе все время разглядывали документ, дававший нам право на значительную скидку. С минуты на минуту мог раздаться сигнал воздушной тревоги; если бы магазин оказался закрыт, нам пришлось бы отложить неизвестно на какой срок эту покупку, которая казалась нам самой важной. А ведь мы еще не успели обзавестись даже кухонной утварью — чудные мы были. Но гостиную я просто не могла себе представить без люстры. На углу виа Панцани мы встретили Миллоски, я сразу же поняла, что нам от него не отвертеться... Того магазина больше нет, и я спрашиваю себя, был ли он вообще. В тот день, когда люстра выскользнула у тебя из рук, мне показалось, что вместе с ней разбилась вся моя жизнь. Но ведь мы сейчас восстанавливаем ее, не так ли, Бруно?

— Да, но сегодня-то ты мне скажешь, в чем было дело?

Перед ней как бы барьер горьких воспоминаний, которые она похоронила — в этом она уверена. Ее бедное красноречие неожиданно иссякает.

— Там было столько люстр, и все красивые, мы остановились на трех, которые были нам по карману, и никак не могли решить, какую взять. Твой отец предложил, чтобы выбрал Миллоски, я согласилась. Он выбрал ту, что мне нравилась меньше всех.

Очень холодный вечер; над берегами Терцолле туман, окна запотели — все как год назад. С завтрашнего утра я работаю на «Гали».

Поэтические голоса Японии

Перевод с японского
Евг. ВИНОКУРОВА

ИСИКАВА ИЦУКО

Перед императорским дворцом

Вокруг императорского
дворца — ров.
В феврале этот ров
мрачен и бездонно холоден.
За рвом
густые, вечнозеленые
разнообразные деревья,
переросшие ограду.
Во дворце
обитает по-кошачьи сутулый
человек.
Он — символ,
как утверждает
конституция.
Нас дрессируют и дрессируют,
чтобы мы
считали естественным
дикое сочетание:
«Человек и Символ».

Что он сделал
для нас?
Может, он,
сейчас изящно размахивающий
шляпой
(раньше он носил только фуражку!)
на балконе своего средневекового
замка,
опять собирается
превратить нас
в армию автоматов,
недвижных и несмеющихся?

Пока мы, из-под развалин выгребая
кости наших старших сестер,
собирали дрова,
чтоб сварить похлебку,
в замке уже успели элегантно
произвести
переход от войны к миру.

Едва ли суть замка —
нежеланье войны!
Этот красивый ров,
в котором плавают
лебеди,
был построен
как военное сооруженье
и остался им и поныне.
Ведь это он два года назад,
помогая полиции,
остановил рабочих,
рвавшихся во дворец.
Символ,
а нас
к себе не пускает?
Символ —
а дубина!
Может,
он не наш символ,
а наш враг.

Вблизи дворца
под пронизывающим северным
ветром,
возвращаясь после поисков работы,
я жду трамвая,
и на душе у меня
отвратительно.

Неужели потому, что
увеличилось население,
нельзя найти работу?
Неужто жить —
это преступление?
Будь молод и крепок телом,
будь полон ненависти к этому рву,
с его холодом,
похожим на холод
театральной маски Но.

С той стороны,
где уже совсем стемнело,
несется набитый,
как бочка сельдями,
трамвай.
В нем и гнев,
и умиленье,
и удивленье,
и любовь.

Друзья,
давайте же,
бесцеремонно толкаясь,
поговорим о наших делах
тем языком, который
непонятен в замке —
там не знают,
что такое горе.

ЯМАДА ИМАДЗИ

Дождь

Дождь, дождь, дождь, дождь.
Дождь, дождь, дождь, дождь.
Дождь по нам хлясь, хлясь, хлясь,
Хлясь, хлясь, хлясь, хлясь,
Хлясь, хлясь, хлясь, хлясь,
Хлещет, смеясь, по нашей хибарке.
По нашей жизни — плюх, бьет трах-
тах.

По крыше, изъеденной — крах-
бом — ржавчиной,
Без отдыха усердно стучит.
Льет, льет, льет, льет,
Льет, льет, льет, льет,
Дождь хлясь, хлясь, хлясь,
Хлясь, хлясь, хлясь, хлясь,
Вновь и вновь,
Так что ударяет в уши и в сердце.
Бьет по нашей жизни.

ИНОУЭ ТОСИО

Шелуха от семян репы

В шелуху,
оставшуюся после просеивания,
попали драгоценные семена репы.
Старая крестьянка
выбирает их так,
чтобы ни одного семени
в шелухе не осталось...
Она поднимает горсти семян
над головой,
руки ее взлетают к небу
и сыплют семена,
а ветер относит шелуху в сторону.
Перед тем как уйти домой,
крестьянка собирает шелуху
в кучу и сжигает ее.

Когда на поля моей родины
спускается тьма,
там и сям по полю
горят кучки шелухи,
как бы переговариваясь
между собою.

Взлетающий вверх огонь
окрашивает сухую землю
в красный и черный цвет.

Нет ли еще чего-нибудь,
что надо было бы сжечь?

ИВАМОТО СЮДЗО

Любовь

Я ходил к любимой садовой тропою
тогда, когда распускались цветы.
Всякий раз, когда я шел
мимо них,
они то краснели,
то желтели
и вдруг однажды наконец
воспламенились!

А потом осыпались,
но дали завязь.
А любовь моя погибла.

Будущее

Вдоль улицы
бежала темная песня.
Мальчик вскочил
на эту песню
и облетел на ней всю вселенную.

А мимо меня,
безвестные,
мелькали и мелькали дни,
и вот
я — дряхлый старик.

КУРОДА САБУРО

Я стал совсем другим

Я стал совсем другим.
Правда, на мне тот же галстук,
что и вчера.
Как и вчера, я беден.
Как и вчера,
я ни на что не годен.

И все же я совсем другой.
Правда, я одет так же, как вчера,
как и вчера, пью сакэ,
как и вчера,
живу нелепой жизнью.

О!
Когда я, напряженно щурясь и
кривя губы,
улыбаюсь, ухмыляюсь,
беспричинно смеюсь
и, наконец, закрываю глаза,
я вижу,
что во мне живет
прекрасная бабочка,
летящая в завтрашний день.

ОТА ТЭМПЭЙ

След самолета

Внезапно кто-то
поцарапал голубое небо.
Полотно майского неба
с треском рвется
от головокружительного
виража
указательной стрелки
из дюраля.

Так обжигает ссадина,
вызывая дрожь ужаса
у молоденьких девушек.
Карта мира
вся в белых пятнах,
это пустоты
от прорванного
космического целлофана.
Тень войны
тянет
скрюченные когтистые
пальцы,
оставляя реальные
кровавые следы.
Перед моими глазами
мельтешит бельмо.

Извещение о переезде

Я в своем уме
построил деревянный дом
и запер в нем
любимую.
В самом центре,
на главной улице,
в своем уме,
чтоб удобно было
время от времени,
постучавшись,
войти к ней и поболтать
о том, о сем.

Однажды утром
в начале зимы
я перестал стучаться,
входя к ней,—
я отбросил
ставшую уже излишней
церемонность.
Я сажусь рядом с любимой
и пью кофе,
потому что, когда бы я ни пришел
и сколько бы ни сидел,
она настаивала,
чтобы я был серьезен.

И я решил —
переедем в новый дом
весной,
когда зацветет вишня.

Деревянный дом
моей мечты
в центре,
на главной улице.

КИДЗИМА ХАДЗИМЭ

Голубь

Подобны пыли в пустыне
мои опасения!
Наконец-то голубь
дал нам почувствовать
частоту биения своего сердца.
Наша кровь бежит
толчками по ладони
к кончикам пальцев,
Так же быстро, как взмахи
его крыльев.
Мы осязаемо, мы грудью чувствуем
его красоту,
как будто бы встретились
с возлюбленной,
с которой только сейчас
расстались.
Клянемся! С пути
голубь не свернет никогда.

Хозяйка

Когда спускаются сумерки,
женщины, как муравьи,
выходят из своих домов.

У каждой из них в руке
сумка, сплетенная из соломы.
Они как лисицы,
вышедшие на охоту.
Вот они, как их много!

Они ходят
из магазина в магазин.
Они берут руками с прилавков
разные товары.
В лавке, где свежая рыба,
они жадно втягивают воздух,
мысленно
сравнивая тяжесть того,
что лежит на весах,
с тяжестью своих кошельков.

Они отгоняют прочь слезы.
Они укачивают младенцев,
привязанных за спиной,
тащат за руки малышей,
что плетутся рядом.

Они гораздо сильнее
трудностей,
которых много
в глубине маленькой страны,
зовущейся Японией.

Они — наши жены,
они не слепы, не глухи
и не немы.

ПУНЬЯКАНТЕ ВИДЖЕНАИКЕ

Рассказы

Перевод с английского
К. ЧУГУНОВА

«Сырье», из которого делается хорошее произведение литературы, не надо искать: оно всегда у нас под рукой.

Пуньяканте Видженаике создала серию рассказов о живых и понятных нам людях, они приковывают наше внимание глубоким проникновением автора в жизнь. Горе и радость, отчаяние и надежды людей, несущихся в бурном потоке жизни,— это и есть материал, из которого создается ткань рассказа.

Автор пишет с легкостью, в которой угадывается мастерство. Описывает ли она любовь между парнем и девушкой во время жатвы или рассказывает о кухонных буднях — все это представляется нам более реальным и значительным, чем иные романы из жизни богатых салонов.

Рассказы Пуньяканте Видженаике остроумны по завязке и интересны по изложению. Им по праву принадлежит достойное место в ряду хороших произведений о цейлонской жизни.

Сенатор Регги Перера

ЖАТВА

Наступило время жатвы. Озаренные солнцем тяжелые спелые метелки риса гордо клонились, обещая хороший урожай. И день жатвы был выбран удачный — старый крестьянин знал толк в приметах погоды. Жнецы — молодые парни и девушки — собрались у первого поля, и серпы нетерпеливо поблескивали в их руках. К остальным трем полям неторопливо сходились люди постарше, более опытные жнецы — уборка урожая требует много рабочих рук, и молодых и старых. Молодежь сама так ловко поделила поля, чтобы жатва прошла веселее. Девушки знали: и во время жатвы можно подыскать жениха, если старшие не помешают.

Вся деревня, от мала до велика, пришла помочь старому крестьянину. Кто думает об учении в первый день жатвы? Дети, беззаботные и счастливые, точно птицы, выпущенные из клетки, прыгали через канавы.

резвились под деревьями. И только когда они начинали мешать жнецам, старик брался за палку, и ребятишки с пронзительным криком убегали подальше.

Среди девушек была и Магги Нона. Ее яркая, цветастая камбайя * была подобрана выше колен, круглое, полное лицо сияло весельем, как солнце, освещавшее рисовое поле. Хотя парни работали тут же, но первые часы они старались держаться на своей половине поля. Вначале и те и другие лишь украдкой посматривали друг на друга и пересмеивались. Взгляд юноши Гунапала то и дело отрывался от стеблей риса, падавших под серпом, и обращался на бронзовую грудь Магги Ноны, видневшуюся в глубоком вырезе кофты. Впервые в жизни бросал он на женщину такие взгляды, и это его смущало. Стоило ему взглянуть на Магги, и он чувствовал, как его голая спина покрывается испариной. Конечно, солнце припекает очень сильно, но ведь сколько раз он работал в жару и никогда так не потел! Стараясь скрыть смятение, он заговорил со своим соседом:

— Что-то жарко сегодня. Уж если теперь солнце такое жаркое, то что будет в конце жатвы?

Подруга, работавшая рядом с Магги Ноной, услышав это, толкнула ее локтем в бок и сказала:

— Этот желторотый как будто уже попался к тебе на крючок. Если и сейчас ему уже так жарко, что же будет, когда жатва подойдет к концу?

Она говорила с завистью, но Магги Нона ничего не ответила. Низко опустив голову, она продолжала работать, словно все это ее не касалось. На самом же деле она была слишком взволнована, чтобы говорить.

Всякий раз, когда старый крестьянин осматривал свои поля, он чувствовал, что вот-вот задохнется от гордости. Да, урожай хорош, в этом не было никакого сомнения. Но он постарался ничем не выдать своей радости, чтобы не сглазить удачи. Он посмотрел на тех, кто пришел помочь ему. Все это были его друзья, соседи, сыновья, дочери, зятья и снохи. Старик всегда говорил: «Какой толк от родственников и друзей, если они не помогают тебе в нужде?» Теперь он мог убедиться в том, что у него много хороших родственников и много хороших друзей.

Богатый урожай и рабочие руки, чтобы убрать его,— чего еще может пожелать крестьянин? Старик закрыл глаза, возблагодарил бога и только тогда сделал знак начать жатву.

Жнецы дружно принялись за дело. Левая рука захватывала пучки тонких стеблей, правая взмахивала серпом. Как того требовал обычай, первый срезанный пучок откладывался в сторону, чтобы задобрить богов.

— Эй, сестрица, не задень зайца! — весело крикнул один из парней.— Смотри не отрежь бедняге уши. Что скажет ему его подруга, если он явится к ней без ушей?

Девушки захихикали. Но старуха, работавшая на соседнем поле, тоже расслышала его слова и сердито закричала:

— Чего смеетесь? Ведь работать пришли, а не зубы скалить. Хотите разгневать богов, чтобы они урожай убавили?

Смех тотчас прекратился, и Магги Нона прикрыла рот рукой, чтобы никто не видел ее улыбки. Провинившийся шутник низко опустил голову и пробормотал:

---

* Кусок ткани, заменяющий деревенским женщинам юбку.

— А этой старой крокодилихе что за дело, какой будет урожай? Уж не обещал ли ей старик лишнюю меру риса, чтобы она легла с ним на циновку погреть его старые кости?

Лицо Магги покраснело от сдерживаемого смеха, и она еще крепче зажала рот, но не выдержала и прыснула. Однако она сразу закрыла лицо рукавом и сделала вид, будто икает. Польщенный шутник принялся срезать стебли как-то по-особенному ловко. Гунапала сердито нахмурился.

Жнецы запели. Ритмичные движения так и требовали песни, и первыми не выдержали старики. Молодежь подхватила, и воздух зазвенел от песни и свиста серпов.

Магги Нона громко пела, и ее сильные коричневые руки двигались в такт песне. Жидкая грязь брызгала из-под ног, и ей пришлось приподнять камбайю повыше, а намокшая от пота короткая кофта облепила полную грудь, подчеркивая каждую линию. Магги работала, притворяясь, что не замечает устремленных на нее взглядов.

Гунапала, нагибаясь, схватывал гибкие пучки, перерезал их серпом, и ему все больше хотелось работать поближе к женщинам. Спина болела, мокрое от пота тело мучительно ныло, и ему становилось все труднее поворачивать голову, чтобы поглядеть на Магги. А не глядеть на нее он не мог — хотя бы для того, чтобы она не забывала о его присутствии. Он уже начинал опасаться шутника, рассмешившего Магги. Этот день тяжкого труда принес Гунапале много нового. Он почувствовал себя мужчиной. Он снова взглянул на Магги. Когда они после обеда вернутся на поле, он постарается встать рядом с ней. Он пытался понять, почему из всех девушек ему приглянулась именно Магги. Что в ней такого? Чем она отличается от других? Кожа у нее не светлая, да и тело не очень стройное. Круглое лицо некрасиво — только вот улыбка очень приятная.

Он внимательно посмотрел на ее крепкую полную фигуру. Да, вот чем она не похожа на других. В ней была та же налитая зрелость, что и в стеблях риса, которые сжимала ее рука.

Старый крестьянин все подкладывал и подкладывал рис в уже полные миски. Наступило время еды, и, чтобы отблагодарить своих помощников, он должен был хотя бы получше их накормить. Потом жнецы пили чай и кофе, и хозяин обошел их, угощая бетелем.

Когда жнецы вернулись на поле, молодой Гунапала оказался рядом с Магги Ноной. Теперь все встали по-другому. Парни уже не держались на одной половине поля — каждый работал рядом с девушкой, и никто не обращал на это внимания.

Когда Гунапала и Магги разом нагнулись, он задел ее плечо. Она затаила дыхание, но не отстранилась. Гунапала подвинулся еще ближе, и она почувствовала на щеке его горячее дыхание. Потом он наступил правой ногой на ее левую. Сначала она испугалась, но скоро ей это даже начало нравиться. На сухих местах их ноги не соприкасались, но в грязи, где никто не мог их видеть, ступни прижимались друг к другу. Она слышала хихиканье и шепот своих подруг. Значит, не только ее ноги касалась нога парня. Сообразив это, она стала улыбаться еще веселее.

После жатвы началась молотьба, и Гунапале пришлось расстаться с Магги, потому что женщин на гумно не пустили: их присутствие могло оскорбить богов. Старый крестьянин сказал, что женщина во время месячных нечиста, а он не может спрашивать у каждой, не наступил ли для

нее срок проклятия, так уж лучше обойтись без них вовсе. Молотьба очень заботила старика. Он строго следил, чтобы всякий, кто был допущен на ток, держался достойно. Боги всегда чувствительны к подобным вещам, и только глупый крестьянин оскорбляет богов.

— Не подходите близко к тому, что лежит на полу,— сказал он молодым парням.— Буйволам помешаете.

Гунапала поспешно шагнул назад. Он понимал, чем была для старика расстеленная на полу циновка с рисовыми колосьями. От нее зависела его жизнь, и поэтому в его глазах она была не просто циновкой. Однако Гунапала не разделял благоговейного почтения старика. Для него зерно было просто зерном.

Он смотрел, как буйволы ходят по кругу. Ему показалось, что они плетутся слишком медленно, и он закричал:

— Джак! Мак! Пита! Пита! — и, схватив палку, сильно ударил ближайшего буйвола по спине, и второго, и третьего. Он продолжал бить до тех пор, пока не заболела рука.— Джак! Мак! Пита! Пита!

Буйволы затрусили рысцой. Гунапала засмеялся тихонько, чтобы не оскорбить верований старика, и взялся за работу. Чем быстрее кружили буйволы, тем выше рос ворох соломы. Ее надо было убирать, и подбрасывать под копыта животных свежие пучки необмолоченного риса.

— Быстрее, быстрее! — кричал старик, тоже поддаваясь возбуждению.— Не заставляйте доброе зерно ждать слишком долго!

Работать, работать до тех пор, пока пот не польется ручьями. Гунапала чувствовал себя настоящим мужчиной, который может все. Вот и Магги. Как легко он покорил ее. Она упала в его объятия, словно сноп риса под копыта буйволов. Теперь ему под силу все что угодно. Он опять схватил палку и замолотил по спинам буйволов.

Приятели завидовали ему.

— Да ведь она старше тебя,— сказал один из них.— Почему бы тебе не сорвать свежий цветок вместо того, чтобы довольствоваться увядшим? Свежий цветок дольше хранит аромат.

— Справиться с такой — не велика честь,— сказал другой.— Посмотри, как она всем улыбается. Почему она все время улыбается?

«И совсем она не старая,— думал Гунапала.— Ей двадцать три года, всего на четыре года больше, чем мне. Но она и правда все время улыбается».

Он стал следить за Магги. Она и не подозревала, что он ревнует. Но ведь она улыбалась не нарочно — просто так уж устроены были ее зубы, не дававшие губам сомкнуться. А люди говорили: «Смотри, Магги Нона опять улыбается», но она привыкла к этим словам и не придавала им значения.

Однако Гунапала этого не понимал и в припадке ревности швырнул ее на солому, придавив всей тяжестью своего молодого тела. Магги закричала от боли. Тогда и только тогда его собственная боль успокоилась. Он отпустил ее так же быстро, как и схватил.

— В другой раз будет еще больнее,— с яростью сказал он.

Она заплакала от страха и боли.

— Что я такое сделала? — в смятении спросила она.

— Ты не должна никому улыбаться, кроме меня.

Она продолжала лежать на соломе и плакать — и все время улыбалась. Потом встала и, вытерев слезы, пошла за ним. В ту ночь они опять встретились под деревом, как если бы ничего не случилось.

Потом стали веять рис. Для этого в поле был построен помост. Гунапала, в одной набедренной повязке, первым взобрался наверх по жерди. Магги оставалась внизу, подавая ему тяжелые корзины с зерном. Мякина летела вниз ей на волосы и залепляла глаза и рот. Но девушка только посмеивалась и, отряхивая с головы мякину, смотрела, как она летит над полем. Ветер дул то сильнее, то затихал, и Гунапала сердился. А она смеялась над его гневом и, сложив трубкой ладони, дула в его сторону, словно нагоняя побольше ветра.

Старый крестьянин смотрел, как крупное спелое зерно отделяется от бесполезной мякины, и все морщины на его загорелом лице лучились гордостью. Он приподнял корзину и сам передал ее веяльщику. Да, урожай хорош. Боги были милостивы к нему. Он нагнулся, поднял зернышко и положил на свою жесткую ладонь. «Возможна ли жизнь лучше, чем эта? — спросил он себя.— Не может быть счастливее минуты, чем та, когда ты пожинаешь то, что, тяжко трудясь, посеял в земле». Ему вспомнились прошедшие месяцы, когда он, точно заботливая мать, следил, как посеянные им семена дают нежные и хрупкие зеленые всходы. Дюйм за дюймом росли стебельки, а он отстаивал их жизнь то от сорняков, то от ливней, грозивших их уничтожить. Даже собственные дети не могут так щедро уплатить за полученный ими дар жизни, как отплачивает земля. И, созерцая урожай, которым она отблагодарила его за труд, старик гордился тем, что он — крестьянин.

Наступил тихий вечер, солнце скрылось за холмами, ветер стих, и золотистая дымка поползла по полям. Магги Нона с грустью смотрела, как падает на землю последняя мякина, и ее охватила тоска. У нее не было причин печалиться, и все же печаль камнем давила ее сердце. Магги смотрела, как солнце опускается за холмы, и ей казалось, что оно больше никогда не вернется.

Гунапала устало слез с помоста. Лицо его почернело от пыли, обожженная солнцем кожа саднила. Бросив на землю пустую корзину, он подошел к погрустневшей, молчаливой Магги. Кроме них двоих, на поле никого уже не было. Подойдя сзади, он обнял ее и сказал ласково:

— Домой пора.

Услышав и в его голосе ту же тихую грусть, она повеселела. Значит, и ему жалко, что уборка кончилась, и печаль их едина.

Уборка риса закончилась, и теперь хозяину поля оставалось только перемерить зерно и уплатить долги и подати. Помещик прислал своего поверенного проследить, чтобы его доля была отмерена полной мерой. Поверенный, такой же горожанин, как и сам помещик, сторонился крестьян, собравшихся посмотреть, как будут мерять зерно. Казалось, ему не нравился их запах и выпачканная в земле одежда.

Старик хозяин стоял к нему ближе всех, старательно скрывая свое презрение. Что он понимает в рисе, хоть и набивает им брюхо, когда чувствует голод? Но вслух он ничего не сказал и, когда настала надлежащая минута, зажег светильник в честь бога Бахиравы, хранителя всех сокровищ земли. До этой минуты зерно было укрыто от взоров людей: бог мог взять и удвоить его количество. Такое чудо произошло после сбора прошлого урожая. Он тогда черпал меру за мерой, так что даже руки заболели, а рису, казалось, не будет и конца. От испуга он даже остановился — словно, получив с одного урожая так много зерна, он совершил что-то дурное. Может быть, бог сжалится над ним и на этот раз. Он ведь сделал все, чтобы угодить ему, ничем его не разгневать. Никто на току не смеялся, не произносил ругательств. Во всяком случае, он ничего не слышал.

Гунапала смотрел, как меряют зерно, но все чаще поглядывал на щеголеватую белую баньяну * поверенного. От нее не пахло ни потом, ни землей. Белая ткань была отлично выглажена, на ногах горожанина блестели коричневые ботинки, а шея присыпана душистой пудрой.

Магги Нона терпеливо ждала, стоя в толпе женщин, но она не видела, как меряют зерно, ее глаза были устремлены на Гунапалу. Она надеялась, что он обратит внимание на ее новую пеструю камбайю, она тревожно одергивала ее, но Гунапала ничего не видел, кроме горожанина.

Когда светильник был зажжен, старый крестьянин высыпал рис из первого мешка и трижды обошел груду, останавливаясь против каждого угла, чтобы сложить ладони и поклониться богу. Потом он зачерпнул первую меру зерна и ссыпал ее в сторону: этот рис предназначался для богов. Крестьянин должен угождать небожителям. Ведь надо подумать и о новом урожае, а если задобрить бога, он будет надежным другом.

Вечером, после того как зерно было измерено и горожанин уехал, старик пригласил к себе гостей на праздничный ужин. Теперь, когда он собрал богатый урожай, на сердце у него было спокойно и он мог позволить себе быть щедрым. Хорошее угощение — лучшая плата за дружескую услугу.

— Ну, что ты собираешься делать теперь? — спросил старик Гунапалу.

Ужин кончился, и они остались почти одни, если не считать нескольких мужчин, которые сидели в сторонке и, жуя бетель, прислушивались к их разговору. Женщины давным-давно ушли спать. Ведь им предстояло встать чуть свет, чтобы успеть замесить тесто и приготовить для своих мужчин аппу **.

Ночь была тихая, ничто не нарушало покоя, и Гунапала не торопился отвечать на вопрос старика. Он вынул изо рта биди ***, выпустил дым и закашлялся. Он курил впервые в жизни — еще одно доказательство возмужалости.

— Я поеду в город,— сказал он наконец.— Здесь теперь делать нечего, а в городе можно найти какую-нибудь работу.

«Это их всех поразило»,— решил он. И, заметив обращенные на него взгляды, гордо выпятил грудь. Потом поднялся, бросил окурок и стал прохаживаться, словно молодой павлин.

— В городе полно работы,— продолжал он небрежно.

Эти сведения он почерпнул у Пилеку Сингхо, возчика, два раза в месяц ездившего в город.

— В город? — с удивлением воскликнул старик.— Значит, ты из тех, кто бежит в город, едва только им нечем занять руки. А я-то думал, что ты не такой...— Он презрительно сплюнул.— Ну, конечно, нынче все едут в город. Ничего другого молодежь не хочет и знать. Что ей за дело до земли и до уборки урожая? Разве мы, старики, можем одни управиться? Значит, мы должны работать, чтобы кормить молодых бездельников в городе?

У старика затряслись руки, на глаза навернулись слезы. Гунапала покраснел.

— Но ведь я же выполнил свою долю работы здесь! Нельзя работать всю жизнь только на земле. Только буйволы рады всю жизнь валяться в грязи.

---

* Длинная полотняная рубаха.

** Изделие из вермишели, напоминающее лепешку.

*** Сигарета из местных сортов табака.

Старый крестьянин побагровел, вены на лбу вздулись. Он открыл рот, но задохнулся от ярости и долго не мог вымолвить ни слова.

— А знаешь ли ты, что и ты живешь-то благодаря буйволу? — наконец вымолвил он.— Если бы буйвол не месил грязь, в твоем брюхе один ветер гулял бы! Говорят, что лень — мать греха. Ну и пусть эти молодые лентяи уходят в город, если хотят. Небось когда в животе заурчит от голода, так вернутся опять к земле, чтобы честным трудом заняться.

— Я усердно работал! — горячо возразил Гунапала.— И я жаловался не на работу, а на то, что мне теперь нечего делать. Разве можно сидеть сложа руки и только ждать следующей уборки?

— Земля отдыхает совсем недолго,— ответил старик.— Скоро опять надо будет трудиться, чтобы подготовить ее к севу.

— Земля — это все равно что женщина,— со смехом вставил кто-то.— Пока женщина не отнимет от груди новорожденного, она тоже не может понести нового.

Старый крестьянин, забыв обиду, засмеялся.

— Это правда, но когда женщина крепкая, ей можно и не отдыхать, как земле.

Магги Нона быстро шла по темному полю к дому старого крестьянина. Ночь была жаркая, и ей не спалось. Вдруг ее нога коснулась чего-то теплого и пушистого, и Магги вскрикнула от испуга, но это был просто заяц, спешивший к себе в нору. Она перевела дух. Заяц — это не страшно, но ведь ночью можно встретить и что-нибудь похуже.

Услышав в темноте ее шепот, Гунапала поспешно попрощался со стариком и ушел.

— С завтрашнего дня не приходи ко мне,— заявил он.— Жатва кончилась, и я еду в город.

Магги недоуменно посмотрела на него.

— У нас будет ребенок.

— Но ведь жатва кончилась! — сказал он решительным голосом.— А другой работы здесь нет.

Магги бросила на него печальный взгляд.

— Что мне делать? — спросила она с тихим отчаянием.

Он пожал плечами и отвернулся. Как объяснить ей, чтобы она поняла? Взор его блуждал по темному и пустынному полю, на котором не было никого — только корова подбирала валявшиеся кое-где стебли. Он хочет жить — а тут теперь какая жизнь? Земля еще пахнет свежо и остро, но ему она ничего не может дать, как темные опустевшие поля ничего не могут дать теперь старому крестьянину.

Магги заплакала.

— Это нас боги наказывают. Они видели, что мы делали во время жатвы, и разгневались. Мне нельзя больше жить. Я брошусь в колодец.

Гунапала испуганно схватил ее за руки.

— Я вернусь! Я не сказал, что ухожу от тебя навсегда. Я поеду в город и найду там работу, а когда придет время новой жатвы, я вернусь.

Но она все плакала, словно не верила ему. Мучительное отчаяние погнало его прочь: если он не уйдет сейчас, то останется здесь на всю жизнь. Почему она ему не верит? Неужели она не понимает, что он не может, как старый крестьянин, оставаться здесь без дела до следующей жатвы? Он никогда не покинет ее — ведь теперь они связаны друг с другом на всю жизнь. Когда он вернется из города, он уже станет отцом.

Гунапала зашагал быстрее. Да, в городе он будет работать ради нее и их ребенка. Отойдя подальше, он остановился и крикнул в темноту:

— Я клянусь, что вернусь к тебе! Мужчине любовь нужна так же, как работа. Когда вновь настанет время жатвы, я вернусь к тебе.

ОБЕЩАНИЕ

сохами брела под палящими лучами полуденного солнца. Путь казался ей бесконечным, потому что она очень устала, а вязанка хвороста тяжело давила на плечи. Исохами была немолода и некрасива: приземистая, плосколицая, с темной, словно обугленной, кожей. Собирать хворост в джунглях было нелегко, а теперь она не могла даже присесть, чтобы отдохнуть: скоро из школы вернутся двое ее детей, как всегда голодные, и надо успеть приготовить к их приходу рис с карри.

При мысли о доме и детях Исохами в отчаянии закрыла глаза. Дом... Разве можно назвать домом их жалкую полуразвалившуюся лачугу, где в единственной тесной каморке даже троим тесно? А дожди, которые через месяц принесет муссон, размоют их приют, как бумажный домик, и они останутся вовсе без крова. Старую обветшалую кровлю из сухих пальмовых листьев не сумеют починить даже ее терпеливые пальцы. Когда польют дожди, кровля провалится. Надо найти новое жилище, и поскорее. Но как?

Исохами вздохнула, вспомнив, сколько мучений она перенесла в последние несколько месяцев, подыскивая дом за сходную плату! Продавая аппу в деревенской чайной, она зарабатывает так мало, что платить за хороший дом ей не под силу.

Если бы только отец ее детей был жив! Он построил бы дом для них всех. Он был хороший отец, хороший муж и хороший плотник. Позвал бы друзей на помощь, и не успела бы она оглянуться, как дом уже стоял бы.

До лачуги оставалось всего несколько шагов. С трудом волоча ноги, Исохами добрела до порога и свалила ношу на землю. Она быстро промыла рис и поставила его вариться. Потом взяла тощий веник и вымела мусор во двор. Мысли в ее голове метались как белка в клетке. Что же делать? Куда ни кинь, выхода нет. Вдруг лицо ее посветлело. Она бросила веник и улыбнулась. Как она раньше об этом не подумала! Ведь стоит только сходить в соседнюю деревню к гадальщику, и он скажет, что надо сделать, а может быть, и дом поможет найти. Все говорят, что он большой колдун и даже боги его слушают. И как это она раньше к нему не сходила! Исохами с облегчением выпрямилась. Нынче же вечером она побывает у него.

Готовилась она долго. Сначала расчесала свои длинные черные волосы и смазала их кокосовым маслом. Потом искусно сложила их на затылке в узел и заколола его куру *, чтобы он не распался. Этот гребень, оставшийся ей от покойной матери, был ее единственным украшением. И носила она его только в особо торжественных случаях. Затем она хорошенько напудрилась и надела белое платье и кофту. Она и сама не знала, почему оделась в белое. Быть может, она думала угодить этим гадальщику — ведь в белом она обычно ходила только в храм.

Из хранившейся под столом жестяной банки Исохами вынула несколько рупий и завернула их в носовой платок. Потом, закутавшись в белое полотенце и взяв пучок листьев бетеля, она отправилась в путь.

Увидев входившую к нему женщину, гадальщик довольно потер руки и с улыбкой предложил ей стул. Женщины приходили к нему лишь затем, чтобы попросить помощи. И, помогая женщинам, он получал немалые деньги.

* Гребень с орнаментом.

Исохами протянула ему бетель и робко присела на краешек стула. Зачем только она пришла сюда одна! Надо было бы позвать с собой подругу или соседку. В обществе другой женщины ей было бы не так страшно. Она не то чтобы боялась гадальщика, но ее вдруг охватило смущение, и она не знала, как начать разговор.

— Ну, так что же случилось с моей старшей сестрой? — спросил он спокойно.

Исохами, в отчаянии заломив руки, забыла о своей робости — так ей была нужна его помощь.

— Беда у меня, старший брат. Вы должны помочь мне, или я убью себя.

Гадальщик молча выслушал ее печальный рассказ. Жуя бетель, он время от времени покашливал и сплевывал в стоявшую рядом медную плевательницу красную слюну. Исохами разразилась громкими рыданиями.

— Когда начнутся дожди, мы лишимся крова. Мои дети останутся без приюта. Не поможете ли вы подыскать нам новый дом?

Она ломала руки, но гадальщик по-прежнему медленно и задумчиво двигал челюстями. Глаза его остекленели, и это внушило Исохами глубокое почтение к нему. Затаив дыхание, она застыла в благоговейном ожидании, поняв, что сейчас его нельзя тревожить.

Вдруг он вскочил на ноги и, указывая ей на дверь, громко сказал:

— Подожди меня там. Когда в доме женщина, с богами разговаривать нельзя.

Исохами быстро вышла и, присев на корточки у двери, стала терпеливо ждать. Примерно через час в дверях показался предсказатель. В руке у него была бутылка с густым желтым жиром.

— Мажь лоб каждый день вот этим в течение тридцати дней, и до дня новолуния бог пошлет тебе новый дом. Так он мне обещал.

Исохами не знала, как благодарить гадальщика. Она встала перед ним на колени и трижды коснулась лбом земли. По ее щекам катились слезы. Развязав платок, она отдала ему деньги, чувствуя, что дает слишком мало. За такую услугу надо было бы заплатить больше. Гадальщик взял деньги, но уже не улыбался.

— С богами разговаривать всегда очень трудно,— сказал он с важностью.— Приходится долго просить и умолять, пока добьешься их милости. Да и опасное это дело, потому что бог иногда сердится, если я слишком его беспокою. Так что меньше десяти рупий я за это не беру.

Сердце Исохами сжалось от страха. Хотя она и была бы рада дать ему больше, но у нее с собой было всего пять рупий. Однако с богами нельзя торговаться. В наказание они лишат ее дома.

— Завтра я достану еще,— сказала она робко.— Если вы подождете до завтра, я принесу.

Придя домой, она взяла из банки последние деньги. Они были отложены на черный день, но теперь, раз ей обещан новый дом, они ей не понадобятся.

Каждый день Исохами благоговейно мазала лоб жиром. Больше она не искала нового жилья, положившись целиком на милость бога. Ее не страшили даже сгущавшиеся в небе тучи. Обещание гадальщика успокаивало ее.

Но шли дни, недели — прошел месяц, а дома все не было. Новолуние сменилось новолунием, и пошел уже третий месяц ожидания. С четвертым новолунием начались дожди. Подул сильный ветер, загремел гром, пугавший детей. Кровля рухнула, ливни размыли стены лачуги. Если бы

не доброта соседей, приютивших Исохами с детьми, она не знала бы, что и делать.

К концу шестого месяца, когда ветер утих и дожди прекратились, хозяин чайной Амарис Сингхо принес радостную весть: неподалеку от реки сдается дом. Правда, он уже старый и к тому же в сезон дождей, когда река выходит из берегов, его часто затопляет, но зато дом очень прочный — построен из кирпича и крыт черепицей.

Исохами с радостью поселилась в новом доме. Платить надо было немного, так как дом стоял слишком близко от воды, и Исохами не сомневалась, что боги выполнили свое обещание.

Вся деревня явилась к ней справлять новоселье: кто принес рисовую кашу на молоке, кто лепешки, а кто сладкие пирожки. Дети весело бегали по двору.

Исохами, плача от радости, рассказала Амарису Сингхо о чуде, которое сотворил гадальщик. «Великий, замечательный человек»,— сказала она.

Амарис Сингхо слушал и хмурился.

— Но ведь он обещал тебе дом через месяц, а ты получила его лишь через полгода. Видно, получилась какая-то задержка?

Все стали смеяться, не засмеялась одна Исохами. В первый раз в ее сердце проникло сомнение.

— Это правда, он сказал «через месяц».— Лицо Исохами вдруг расплылось в улыбке.— Знаешь что, Амарис Сингхо, мой старший брат? Сходим к нему вместе. Пусть объяснит, почему случилась такая задержка.

Когда гадальщик увидел, что к его дому подходит женщина в сопровождении мужчины, он не на шутку струхнул. Мужчина не входил в его расчеты.

— Чем я могу помочь тебе на этот раз, старшая сестра? — спросил он поспешно.

Исохами молча ждала, пока Амарис Сингхо излагал суть дела. Гадальщик слушал с непроницаемым лицом. Только один раз, когда Амарис Сингхо посмотрел на него слишком пристально, его глаза беспокойно забегали. Когда Сингхо кончил, он кашлянул и встал.

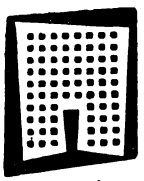
— Это, конечно, странно,— пробормотал он.— Подождите снаружи, я опять потолкую с богом и узнаю, почему произошла ошибка.

Его посетители послушно вышли и стали терпеливо ждать. Через два часа гадальщик позвал их. Он вновь стал таким, как всегда: улыбающимся, спокойным и самоуверенным. Никто и не подумал бы, что совсем недавно он попал в весьма неловкое положение.

— Причина оказалась совсем простой,— начал он торжественно.— В то время как я излагал твою просьбу, бог, ведающий раздачей милостей, был в отлучке, и его обязанности исполнял заместитель. Этот младший бог, не посоветовавшись с начальником, опрометчиво обещал тебе дом через месяц. А когда старший бог вернулся, то пришел в ярость: «Как ты смел давать такие обещания?»— закричал он на своего заместителя. Но раз обещание было дано, богу пришлось уступить. Он приказал выдать дом, но только через шесть месяцев, не раньше.

Предсказатель откашлялся и посмотрел прямо в глаза Амариса Сингхо.

— Бог разгневался на меня за то, что я обращался за милостями в его отсутствие. Но ведь я не знал, что он отдыхает. Все же пришлось долго его уговаривать, пока он успокоился. Если бы мне это не удалось, то в конце этого месяца он приказал бы вернуть дом обратно. Да, изрядно мне пришлось потрудиться, Амарис Сингхо. И думаю, что я имею право попросить у тебя еще десять рупий за сегодняшние хлопоты.



ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА

Последние лучи заходящего солнца падали сквозь открытую дверь хижины на ротанговое* кресло Дьониса Бааса. Он всегда утверждал, что эти минуты — лучшее время дня. Мягкая теплота вечернего солнца ласкала тело, словно женские руки. Он отпил из зажатой в руке бутылки большой глоток.

Во дворе нежно и сладко благоухал жасмин. Дьонис глубоко вдохнул душистый воздух, и ему вдруг показалось, что его Судухами стоит здесь, рядом с ним. Это было странное ощущение: запах вина удивительно напоминал аромат белого цветка, хотя пропасть между ними была так же широка, как океан. Арак растекался по его жилам как огонь, заставляя сердце биться все чаще. Чистый аромат маленького цветка облагораживал его, очищал и делал лучше. Он закрыл глаза. Нет, Судухами восстала из мертвых — иначе откуда же это чувство?

Дьонис Баас отпил еще глоток и искоса взглянул на Леона Сингхо. Леон Сингхо был молод, но алкоголь, казалось, переносил легче многих зрелых мужчин. Жилистое тело Дьониса нетерпеливо заерзало в кресле. Леон Сингхо допил свой стакан и удовлетворенно рыгнул. Какое ему дело до запаха жасмина? Только одно: опять придется слушать. Закинув ногу на ногу, он терпеливо ждал.

Дьонис Баас нахмурился, почесал голову — седые волосы выбились из тугого пучка на затылке. Потом он подергал себя за седой ус, прищурил на солнце блестящие настороженные глаза и откашлялся излишне энергично. Ему тоже нелегко говорить о Судухами, но ради Леона Сингхо он готов пойти и на эту жертву. Она умерла двадцать лет назад, и все-таки говорить о ней было все равно что бередить свежую рану.

— Мужчина должен быть очень осторожен, выбирая то, что зовется женщиной,— произнес наконец Дьонис Баас.— Надо терпеливо искать и искать, как ищут в Ратнапуре драгоценные камни. Иногда камень, который на первый взгляд покажется прозрачным и блестящим, таит внутри трещину. Наверно, такой была и моя Судухами. Мог ли я знать, когда впервые увидел ее, что вместе с любовью ее сердце сумеет вместить столько ненависти?

Леон Сингхо почтительно кашлянул и посмотрел через открытую дверь на улицу. Дом Дьониса стоял на самом краю деревни, и прямо за ним темнели грозные джунгли. Иногда по ночам Леон Сингхо слышал рычание леопарда, и он боялся, хотя его дом был пятым от околицы. Только такой человек, как Дьонис Баас, мог жить на самой опушке джунглей и не бояться.

— Когда женщин мало, то трудно быть осторожным,— проворчал Леон Сингхо.

Дьонис отхлебнул еще глоток, и в бутылке больше ничего не осталось.

— Это правда. Да и женщины нынче не те, что в мое время. Разве можно сейчас найти другую такую Судухами? Или другую Кири Менике? Или Биссохами? — Он печально вздохнул, и голос его вдруг стал хриплым.— Нет, таких женщин, как эти три, уже не встретишь. А мне посчастливилось. В награду за добрые дела в предыдущей жизни эти три женщины были посланы утешить меня в новом моем воплощении.

Взгляд его стал мягким — такие глаза бывали у Дьониса Бааса, только когда он говорил о чем-нибудь, трогавшем его душу.

---

* Ротанг — род пальмы.

— Да, Биссохами... Как хорошо я помню тот день, когда впервые увидел ее! — сказал он.— Что это была за женщина! Ничье одеяние не скрывало такой красивой груди. Она была женой владельца овощной лавки, который тогда был моим другом. Моя плотничья мастерская была как раз напротив его лавки, когда она как-то пришла продавать аппу и я увидел ее в первый раз. Она была задорна и пышно сложена, даже темная кожа ее не портила. Но в то время и этот цвет казался мне привлекательным: ведь я не знал еще ни мою Судухами, ни Кири Менике.

С этого дня я только и делал, что любовался, как вздымается ее туго стянутая грудь. Это зрелище так меня зачаровывало, что Давитх Баас, работавший со мной, стал жаловаться, что я бездельничаю. А заказов тогда было много, потому что мы с ним слыли лучшими плотниками. Деревня, в которой мы жили, была большая, не то что эта. Дома строились один за другим, и многие жители были нашими должниками.

Скоро Биссохами начала мне улыбаться, и мы обменивались двумятремя словами, едва она кончала продавать аппу, или муж уходил из лавки. А в один прекрасный день она вдруг пришла ко мне и заявила, что готова уйти со мной. Сначала я растерялся, мне и в голову не приходило, что дело может зайти так далеко. Однако ее слова меня очень обрадовали, и мы бежали в ее родную деревню, где поселились в доме ее стариков родителей.

Шесть месяцев, которые мы прожили там, я считаю самыми счастливыми, какие только выпадали мне на долю. Впервые мне было дано испытать совершенную радость. Каждую ночь, а иногда и днем, Биссохами, лежа в моих объятиях, говорила: «Милый Дьонис, любимый, ты — вся моя жизнь».

Но шесть месяцев прошли, и я должен был вернуться к своей работе. Я стал совсем другим человеком, ибо я познал женщину, Биссохами, а женщина, подобная Биссохами, может сделать мужчину другим за одну ночь.

«Я не могу вернуться к мужу,— спокойно сказала она.— Жить с ним теперь — все равно что есть кислый творог без пальмового сахара».

Но наши опасения были напрасны. Ее муж встретил нас так, словно ничего не произошло и этих шести месяцев не было вовсе. Биссохами снова принялась готовить аппу, а я пошел к Давитху Баасу, который очень мне обрадовался. Жизнь вернулась в прежнюю колею — с одним изменением. Теперь вечерами Биссохами стала приходить ко мне — она стряпала ужин и проводила со мной ночь. Это было очень разумно придумано. Не говоря уж о вкусной еде, я теперь не мог жить без моей Биссохами. Она была мне так же нужна, как вода или пища. Ее муж не возражал против такой перемены: ведь когда ему требовалась лишняя скамейка или стол, я делал их для него и не брал никакой платы.

Биссохами принесла мне удачу. Даже Давитх Баас удивлялся тому, сколько у нас было заказов. Наши пилы и молотки были заняты с утра до вечера. С опытом приходит умение, и вскоре мы стали брать за свою работу вдвое больше прежнего.

Мы с Биссохами были очень счастливы. Я смотрел на нее, как на свою жену, хотя мы и не были женаты. Постепенно и вся деревня начала считать ее моей женой. У нас случались бурные ссоры — как у всех любящих. Стоило ей запоздать с ужином (а это случалось очень часто, ибо в лавке бывало много покупателей), как я сердито ей выговаривал, а то и давал ей хорошую затрещину, чтобы напомнить ей, что ее первый долг — заботиться обо мне. А если я возвращался домой, нетвердо держась на ногах, Биссохами кричала на меня и бранилась, как и подобает законной жене.

Да, мы были счастливы с Биссохами. Но мы не знали, что нас ждет скорая перемена.

У меня был друг, давнишний друг, которого звали Ран Хами. Это он помог мне найти место и заняться плотничьим делом. Это он познакомил меня с Давитхом Баасом. Благодаря его доброте, я, чужак, стал своим человеком в деревне. И вот этот человек умер. Короткая болезнь свела его в могилу. Я так горевал, что даже Биссохами не могла утешить меня. Мне казалось, что я так и не успел отплатить Рану Хами за услугу, которую он мне оказал. А ведь я намеревался сделать для него нечто такое, что было бы соразмерно доброте и щедрости его сердца. Но слишком долго я ждал случая, а теперь было уже поздно. Я не мог ни есть, ни спать. Я чувствовал, что совершил ужасное преступление и разрушил собственное счастье. Этот долг будет тяготить меня не только остаток этой жизни, но и всю будущую. Меня томило глубокое раскаяние.

Мою печаль утешил Давитх Баас. Он объяснил мне, что я еще могу оказать Рану Хами услугу. Еще не слишком поздно отплатить ему за доброту.

Вдова Рана Хами, Кири Менике осталась теперь одна с восьмилетним мальчиком. После похорон я пошел к ней. Она ждала меня, бледная, убитая горем, но не утратившая миловидности и кротости.

«Мне было горько услышать о твоей тяжелой утрате,— почтительно сказал я, учтиво отводя глаза от ее лица. Она встала, печальная и величественная в своем горе, и ее белая траурная одежда была лишь немногим светлей ее молочной кожи.— Он был мне как брат. Если надо что-нибудь сделать, скажи — и я все сделаю».

Она подняла на меня глаза, кроткие и нежные, как у новорожденного теленка, и прижала дрожащую руку к груди, но ничего не ответила.

«Дом без мужчины приходит в запустение. Да и мальчика надо растить. Скажи, чем помочь тебе, я все сделаю»,— повторил я.

Но она молчала. Не в ее природе было отвечать. Тогда я принял решение сам и в тот же вечер вместе с Биссохами переехал в дом Рана Хами.

Теперь у меня было две женщины, сын и хороший дом. В честь нашего прихода Кири Менике приготовила праздничный ужин, и мучившая меня тревога улеглась, моя совесть успокоилась. Я чувствовал, что отплатил Рану Хами за всю его доброту ко мне, приняв на себя заботы о его семье и хозяйстве. Словно тяжелое бремя свалилось с моих плеч. Я снова мог зажить счастливой жизнью.

Сначала я боялся, что две женщины могут не ужиться под одной крышей, но вскоре мои опасения рассеялись. Биссохами и Кири Менике отлично ладили между собой. Если одна была горяча, как огонь и перец, то другая всегда оставалась кроткой и освежающей, как рисовая каша на молоке, которую она готовила по утрам.

Мирно текла наша жизнь. Биссохами каждый день уходила в лавку, а Кири Менике занималась стряпней и уборкой. Мальчик вскоре заменил мне родного сына, которого у меня никогда не было, а Кири Менике, его мать, стала моей второй «женой». Ни он, ни она с этих пор не упоминали имени Рана Хами.

Дьонис замолчал, словно не зная, что сказать. Насупив брови, он глубоко задумался.

— Да, это было самое спокойное время в моей жизни,— сказал он с досадой.— Если бы не появилась моя Судухами, жизнь текла бы, как

спокойная река. Однако счастливым я все равно не был бы, ибо тихая и спокойная жизнь не для меня. Меня всегда манили перемены.

Любой мужчина удовольствовался бы двумя женщинами. Но ведь меня не назовешь любым. Биссохами оставалась прежней Биссохами, которую я так желал, а Кири Менике — доброй и нежной, какой я и хотел ее видеть. И все-таки я не был вполне доволен. Во мне проснулась былая тяга к переменам. Та жажда нового, которая вела меня из деревни в деревню, пока я не встретил мою Биссохами.

Сам того не сознавая, я начал искать мою Судухами еще до того, как узнал о ее существовании. Я начал искать свою настоящую жену, тот цветок, который судьба должна была взрастить в моем саду.

Но тогда я еще не представлял себе, что именно меня манит. Быть может, я искал женщину, в которой слилось бы все лучшее, что было в Биссохами и Кири Менике, и в то же время не похожую ни на ту, ни на другую.

Леон Сингхо, мне трудно говорить об этом. Словно я нарушаю безмолвие храма в ночь полнолуния. Это чувство невозможно выразить словами. Но я должен рассказать тебе все до конца. И поверь: какие бы страдания ни испытал я в конце всего, моя Судухами всегда оставалась драгоценнейшим даром, какой только могли ниспослать мне боги. Она творила зло не по своей вине. И как можно сердиться на женщину, подобную этой. Ей надо подыскивать оправдания, надо лгать ради нее, ибо осуждать ее — значит осуждать самого себя. Она и я слились в одно существо. Наша взаимная любовь была так сильна, что мы стали чем-то единым. А может ли человек сердиться на самого себя?

Примерно в это время захворала Кири Менике. Свою боль она называла «болью в желудке». Она всегда была бледной и слабой, а тут совсем перестала вставать с циновки, даже перестала стряпать. Мальчик помогал, как мог, но Биссохами было не до хозяйства, так как заболел ее муж и ей приходилось ухаживать за ним. Кири Менике плакала и умоляла меня найти женщину, которая помогала бы ей в домашних делах.

«Какую-нибудь сильную девушку, которая могла бы толочь рис и убирать дом,— говорила она, глядя на меня большими робкими глазами.— И я знаю подходящую девушку. Она сирота, моя дальняя родственница и живет в нашей деревне».

«Но кто ее опекуны? — спросил я.— Ведь они могут не отдать мне девушку, когда увидят, что я простой плотник. А кроме того, еще одна женщина может принести в дом разлад».

«Если ты поговоришь с ней, она сама придет,— ответила Кири Менике.— А разлада в дом она не принесет, потому что ей всего шестнадцать лет».

«Что ж, подумаем»,— сказал я. Мне не хотелось, чтобы она решила, будто я слишком легко ей уступил. Но мне льстили ее слова о том, что девушка сама придет, если я поговорю с ней.

Я знал, что действовать надо тайно. Если бы я пошел сначала к опекунам, то пришлось бы нести расходы. А к чему тратить деньги на какую-то девочку-сироту? Моя Судухами так для меня мало тогда значила, что я не хотел потратить на нее ни единой монетки. И откуда мне было знать, чем станет для меня эта неизвестная мне сиротка.

Мало-помалу я выведал у Кири Менике все. После этого я тщательно обдумал, что буду делать,— словно речь шла о заказе скамьи или стола.

Опекала девушку старая чета, которая взяла на себя это бремя много лет назад, когда умерла ее мать. Мать ее была красавицей, как моя

Судухами, и восхищение мужчин было необходимо ей, как пища. Муж зарезал ее в припадке ревности. Вот какие родители были у моей Судухами. А я, глупец, не подумал тогда, что там, где кровь пролилась в начале, она прольется и в конце.

Дом, в котором она жила со своими опекунами, был маленьким, ветхим и никак не охранялся по ночам. От Кири Менике я узнал, что старики обычно спят крепко, а кроме того, оба туги на ухо. Судухами спала отдельно от них в пристройке, где она стряпала на всю семью. Забраться к ней ночью было не трудно.

И вот однажды в лунную ночь я взял велосипед и поехал за Судухами. Я захватил глиняный светильник, пузырек с маслом и фитиль. От волнения кровь играла в моих жилах, и я наслаждался каждой минутой этого приключения. Никогда еще мне не приходилось вот так похищать женщину.

Добравшись до дома Судухами, я слез с велосипеда и, притаившись в тени пилы *, стал прислушиваться к громкому храпу стариков. Они храпели в унисон, и казалось, будто с обрыва срывается водопад. Я зажег светильник и осторожно толкнул старую разбитую дверь, она заскрипела и застонала, словно под непосильной тяжестью. Но старики продолжали спокойно храпеть, и я, тихонько обойдя их, вошел в низенькую закоптелую пристройку. Вот так, совсем просто, я познакомился с моей Судухами: я вошел и увидел ее. Она лежала на циновке и спала крепким сном, как ребенок. Ее густые черные волосы рассыпались, обрамляя круглое личико.

Дьонис Баас замолчал, словно ему было трудно говорить дальше. Его суровые старые глаза наполнились слезами.

— Как мне описать ее? Чтобы рассказать о моей Судухами, одних слов мало. Даже сейчас я не могу объять всю ее красоту. Что поразило мое сердце и навсегда взяло его в плен? То ли чистота, которой дышало ее лицо, такое невинное, не тронутое страстью, то ли маленькая совершенной формы грудь, плавно поднимавшаяся и опускавшаяся под просторной кофточкой, то ли руки этой женщины-ребенка, такие округлые и нежные,— кто знает?

Мое сердце как-то странно забилось, и, наклонившись над ней, я поднес светильник к ее лицу. Она открыла глаза и посмотрела прямо на меня, без страха, равнодушно. Я вдруг оробел, и пол словно закачался, как лодка на волнах бурного моря. Я думал сперва подготовить ее, а уж потом прямо пригласить ее в мой дом, но теперь я выпалил все сразу:

«Не бойся. Я знаю, как ты живешь, и пришел за тобой. Я буду заботиться о тебе, как могу».

Она молчала и только смотрела на меня бездонными черными глазами.

«Идем, девочка, идем! — Я старался говорить решительно, но мой голос выдавал мое смущение.— Не бойся. Я буду заботиться о тебе лучше, чем те, что храпят в соседней комнате. Я буду обходиться с тобой, как подобает родственнику».

Все еще не произнося ни слова, она встала, собрала волосы в пучок — он был больше ее головы — и застегнула соблазнительно распахнувшуюся кофточку. Я поднял светильник, и она покорно и по-прежнему молча пошла за мной мимо спящих стариков к двери. Я усадил ее на багажник велосипеда и повез домой. За всю дорогу она не произнесла ни слова, да и мне слова не были нужны. Достаточно было и мыслей, чтобы соединить нас навеки.

---

* Веранда вдоль фасада жилого дома.

Именно с этой ночи моя жизнь пошла не так, как прежде. Сначала Кири Менике обрадовалась Судухами. Она плакала и обнимала девушку, словно дочь, найденную после долгой разлуки. И Биссохами, когда ее муж выздоровел и она вернулась в дом, обошлась с Судухами приветливо, хотя я видел, что мой поступок очень ее удивил. У меня же было такое чувство, какое бывает у измученного паломника, когда он наконец достигает вершины Шри Пада *.

Прошло много месяцев, и чувство, связавшее Судухами и меня, превратилось во всепоглощающую страсть. Днем я вспоминал о ней каждую минуту, и хотя вечером она всегда ждала меня, мне было этого мало. И веришь ли, Леон Сингхо, так продолжалось почти до самого конца. Наша любовь не ослабела, не стала приятной привычкой, как это случилось у меня с Биссохами. Судухами будоражила мне кровь, как хмельной напиток. И чем больше я пил, тем больше жаждал. И не знал утоления, эта жажда всегда оставалась новой.

Судухами была молчалива, но ее глаза умели сказать все. Она всегда держалась с безмятежным спокойствием, и я никогда не знал, что она чувствует на самом деле. Биссохами говорила, что боится Судухами — в ней есть что-то нечеловеческое. Но Биссохами, я думаю, просто ревновала. Я запретил Судухами разводить огонь в очаге, боясь, что от жара ее чистая белая кожа высохнет и почернеет. Биссохами сердилась и бормотала вполголоса, что когда-то черная кожа нравилась мне больше всего на свете.

Но настоящая беда пришла, когда Биссохами поскользнулась и повредила ногу. Нога так распухла, что стала почти круглой, как плод хлебного дерева, и пришлось пригласить лекаря, который растер ее жиром.

«Это мне кто-то подстроил,— говорила Биссохами, превозмогая боль, и ее глаза горели злобой.— И я знаю кто. Как ей, наверно, досадно, что я все-таки не упала в колодец. Что бы ей положить мыло поближе к колодцу, так и вышло бы по ее».

Кири Менике посмотрела на нее испуганно.

«Не надо так говорить! Зачем ты хочешь начать ссору, когда мы все так счастливы? Неужели мы не можем жить в мире?»

«И все-таки я говорю правду. Хотя меня уже никто не хочет слушать, но это правда».

Глаза Биссохами наполнились слезами, и она, обиженная, молча отвернулась от меня.

В комнату вошла Судухами, и, хотя она хмурилась, словно слова Биссохами оскорбили ее, она ничего не сказала. И, как обычно, молча принялась тереть кокосовый орех на ужин. Я же ушел в мастерскую, так как не терпел женских ссор.

И все же меня охватила тревога. Если мои женщины начнут ссориться, моя жизнь превратится в ад. Какой мужчина выдержит женские свары? Хотя теперь я почти не обращал внимания ни на Биссохами, ни на Кири Менике, но расставаться с ними не хотел. Кири Менике все еще была полезна в доме, да и к ее сыну я очень привязался. Биссохами же была для меня, как сломанная нога или рука: хотя от нее уже не было проку, но она продолжала оставаться частью меня самого и потерять ее было бы нелегко. Кроме того, я помнил, что Биссохами принесла мне удачу. И у меня было предчувствие, что вместе с ней от меня уйдет и удача.

Я никогда не думал, что Судухами навлечет на меня беду. Да и как? Ведь она была еще ребенком — чистым и прекрасным. Нет, нет, моя

---

* Пик Адама — священная гора, на вершине которой, по преданию, Будда оставил отпечаток своей ноги.

Судухами принесет мне только радость и счастье, думал я. Но я должен оберегать ее. Позаботиться, чтобы две другие женщины не докучали ей своей ревностью. Что может робкая молодая девушка знать о чувствах женщин старше нее? Она словно муха, попавшая в паутину, и я должен заботиться о ней.

Эти домашние неприятности так мне досаждали, что, думая только о них, я стал хуже работать. Давитх Баас жаловался, что моя небрежность отпугивает заказчиков. Но что мне было до этого? Я был всецело занят моей Судухами. А когда на следующей неделе умерла Кири Менике, Давитх Баас даже смотреть на меня не хотел.

Я не видел тогда причин для смерти Кири Менике — вот все, что я могу сказать и теперь. Правда, она некоторое время болела, но после прихода Судухами поправилась и даже помогала ей стряпать и убирать. Моя бедная, бедная Кири Менике! Такая нежная и добрая ко всем — и вдруг ее на стало! Помню, что в ночь перед смертью она пожаловалась на боль в желудке. Возможно, старая болезнь вернулась и убила ее.

Моя Судухами трудилась не покладая рук, чтобы похороны прошли, как должно. Не переставая горько плакать, она обмыла тело и надела на покойницу белое сари. А Биссохами сидела, как окаменелая, и не говорила с ней, но Судухами этого словно не замечала.

Через месяц мы с Давитхом Баасом совсем поссорились, и он уехал в другую деревню. До сих пор помню его последние слова — такими странными они показались мне тогда:

«Береги Биссохами. Таких женщин на свете мало».

Я не понял его. Зачем мне беречь Биссохами, когда она сама о себе позаботится? И ведь она не больна и не слаба? А потом я спросил себя: «А может быть, Биссохами была ласкова с Давитхом Баасом?»

Если бы я узнал, что они тайно встречались, я конечно убил бы ее. Я ревнив и не согласился бы делить свою женщину с другим. Правда, у Биссохами есть муж, но одно дело муж, который ничего для нее не значит, а другое дело — тайный любовник.

Два дня гнев слепил мои глаза, и я мчался на велосипеде по дорогам, сам не зная куда. Потом я немного остыл и пришел в себя. Нет, подумал я, Биссохами не такая женщина, чтобы делать что-нибудь тайно. Если бы она решила уйти к Давитху Баасу, то сначала порвала бы со мной. Она сказала бы мне правду.

И все же я не смог до конца задушить свои черные подозрения. И когда через три месяца она, как и Кири Менике, умерла от боли в желудке, подозрения помешали мне догадаться о правде и на этот раз.

После того как я похоронил мою Биссохами, жизнь переменилась — я верил, что она унесла с собой всю мою удачу. Скоро в доме не осталось еды и не было денег, чтобы ее купить. Впервые Судухами начала жаловаться.

«Мальчик плачет от голода, а мне нечего ему дать. Даже старики кормили меня лучше».

«Я достану тебе риса, сокровище мое,— успокаивал я ее.— Вся деревня что-нибудь да должна Дьонису Баасу. Как-нибудь проживем, пока я не начну работать».

Но она так и не стала прежней. С мальчиком она обращалась так плохо, что мне в конце концов пришлось устроить его у одного моего друга. После этого дела пошли чуть-чуть лучше. Судухами жаловалась меньше, но зато впала в какую-то странную задумчивость и часами сидела в углу, уставившись в одну точку. И вдруг, словно очнувшись,

принималась упрекать меня за то, что я перестал ее любить. Это была неправда, и я ночью доказывал свою любовь, заключая ее в свои объятия. Но она все равно обвиняла меня в равнодушии.

Потом как-то ночью она призналась, что ждет ребенка. Не знаю, что чувствуют в таких случаях другие мужчины, но для меня это было величайшим счастьем. Моя Судухами, моя единственная драгоценность, носит мое дитя! Одна мысль об этом кружила мне голову. Наконец-то наша любовь принесла плод!

Я лелеял ее. Не позволял ей ни толочь рис, ни подметать двор. Соседки смеялись надо мной и говорили, что Судухами полезно толочь рис.

«Ей будет легче рожать»,— уверяли они. Но я был упрям. Судухами сидела сложа руки, как королева, и ждала, чтобы я приготовил еду.

Я сказал ей, что мы должны совершить брачную церемонию, чтобы она стала моей настоящей женой. Это и есть доказательство моей любви к ней, Леон Сингхо. Ни одной другой женщине я не предлагал стать моей законной женой.

Я попробовал было открыть неподалеку от дома маленькую мастерскую. Раз будет ребенок, надо работать. Но мысли мои были заняты только Судухами, и я не мог думать ни о чем другом. Место для мастерской я расчистил, но больше ничего так и не сделал. Даже сама мысль о работе казалась мне обременительной, и я все медлил и медлил.

Наша любовь, наш будущий ребенок занимали все наше внимание, и мы с Судухами даже не подозревали, какая гроза собирается над нами в деревне. Судухами теперь вообще редко выходила из дому, я же выходил лишь иногда, чтобы достать бетеля или занять немного риса, но, клянусь, соседи, стоявшие кучками у дороги, не бросали на меня злых взглядов, не бормотали мне вслед угроз, когда я проходил мимо.

Беда пришла, как гром среди ясного неба. Как-то я бродил в джунглях, отыскивая особый вид батата, которого очень хотелось Судухами. Найти его было нелегко, потому что в джунглях очень много похожих растений. И вдруг я увидел, что ко мне идет толпа мужчин. Впереди шел Аппухами — хозяин овощной лавки, муж Биссохами. Я дружески поздоровался с ним и сказал, что ищу батат для моей Судухами.

Аппухами не ответил на мою улыбку и приветствие. Он нахмурился и посмотрел на меня так, словно никогда прежде не видел.

«Что тебе нужно от меня, брат?» — спросил я поспешно, почувствовав что-то неладное.

«Мы хотим поговорить с тобой»,— сказал он.

«О чем? — удивленно спросил я.— Ну вот, я жду, говорите. Только помни, тратить впустую время я не могу, мне надо найти батат для моей Судухами. Когда женщина носит под сердцем, ей нельзя перечить, ты знаешь».

Едва лишь я упомянул мою Судухами, они хмуро переглянулись, что-то сердито бормоча.

«Мы хотим поговорить с тобой,— повторил Аппухами громко.— Но мы не хотим слушать твою болтовню о твари, которую ты называешь своей женой».

Я вскочил на ноги и, хрипло закричав, вцепился в его горло, как бешеная собака, стиснул его руками и начал душить. В глазах у меня стоял красный туман, в ушах оглушительно звенело. Вдруг я поскользнулся и упал, увлекая его за собой.

Потом я почувствовал, как чьи-то руки разнимают нас. Меня подняли на ноги и держали, не выпуская. Над собой я увидел полное ненависти лицо Аппухами — он был очень высок ростом.

«Паршивая собака! — презрительно кричал он.— Ты пришел в нашу деревню, чтобы отнимать у нас наших женщин и чтобы убивать их! Бед-

ная моя Биссохами! Что она, наверно, перетерпела от тебя. И все для того, чтобы ее погубила эта тварь!»

Кровь снова ударила мне в голову. Я смерил Аппухами гневным взглядом.

«Думай, какие слова ты произносишь, брат. Я не из тех, кто позволяет оскорблять и унижать себя. И почему ты говоришь, что Биссохами убили?» — спросил я, сдерживаясь.

Но прежде чем он успел ответить, вмешался один из тех, кто держал меня.

«Твоя возлюбленная Судухами убила Биссохами и Кири Менике, вот что мы говорим. Твоя Судухами жестокая и коварная, как дьявол. Она отравила их обеих. А то почему они обе умерли так внезапно, и обе от боли в желудке?»

«Все это ложь, и да покарают вас за нее боги!—закричал я в бешенстве.— Да поразит вас молния за эту ложь! Моя Судухами и муравья не отравит. Она так же добра, нежна и кротка, как лань в джунглях».

«Как бы не так! Она хитра и коварна, как дьяволица Кувени,— сказал Аппухами.— Мне плакать хочется, когда я вспомню, как бедная Биссохами жаловалась на нее. Но разве ты слушал Биссохами? Ты только брал от нее все, что хотел, а слушал одну эту гнусную тварь, которую бесстыдно называешь своей женой. Да что взывать к людям, которые слышат только эту дьяволицу. Только безумец может ставить женщину так высоко, какова бы она ни была. Это значит накликать беду».

«Моя Судухами не способна убивать»,— упрямо твердил я.

«А это пусть полиция решает. Если ты не хочешь говорить, мы пойдем в полицию».

«Да послушайте же, ведь она ребенок! Может ли она убить? Не говорите так о Судухами, прошу вас. Она хорошая девушка, а люди просто завидуют и наговаривают на нее».

Но они продолжали твердить, что она убийца. И мне вдруг стало страшно, что мою Судухами убьют. Я ничего не сказал ей, но она, наверно, знала, о чем говорят все в деревне, потому что перестала ходить даже за водой к колодцу.

И вот пришла ночь — последняя наша ночь, хотя я не знал этого, когда Судухами разбудила меня и сказала сквозь слезы:

«Меня все презирают. Даже ты переменился ко мне. Кто я такая? Бедная сирота, и лучше мне умереть сегодня ночью вместе с ребенком».

Я хотел ответить, но не мог.

«Зачем стала бы я вредить этим двум женщинам?.. Они не сделали мне ничего плохого. Вся жизнь моя была в тебе, и жила я только для тебя. А с ними я даже не разговаривала»,— сказала она с тоской.

Я обнял ее и стал убаюкивать, все еще не находя слов утешения. Но, наверно, мои объятия успокоили ее, потому что она вскоре уснула.

Но сам я долго не мог заснуть. Я лежал на циновке и смотрел на тростниковый потолок, и во рту у меня пересохло от страха. Оставалось одно: забрать Судухами и уйти с ней в другую деревню. Но было уже поздно. Пока я лежал так, томясь страхом и отчаянием, сон, точно вор, незаметно подкрался ко мне и унес мою Судухами. Когда я проснулся утром, Судухами была уже мертва.

Она повесилась на дереве перед нашим домом, и мои объятия не могли согреть ее безжизненное тело. Когда соседи пришли, чтобы отвести ее в полицию, я сидел, окаменев, под деревом, на котором висела Судухами.

...Леон Сингхо с уважением смотрел на маленького старика, так много видевшего в жизни. Если бы ему, Леону, довелось пережить хотя бы половину этого, то он считал бы, что жизнь прожита не даром.

Дьонис Баас кончил свой рассказ, и его охватила тяжкая усталость, точно он завершил изнурительный труд. Глаза его были закрыты, но лицо дышало удовлетворением и покоем. Казалось, он радовался тому, что выполнил данное себе обещание. Потом он встрепенулся, глубоко вздохнул и, открыв глаза, посмотрел на Леона Сингхо.

— Я рассказал тебе о моей Судухами, и боль тут утихла,— сказал он, поглаживая грудь.— Будто очистился от яда, что накопился во мне. Теперь он больше меня не терзает.

— А они все-таки узнали правду? Убила Судухами Биссохами и Кири Менике или нет? — спросил Леон Сингхо.

Дьонис Баас вздрогнул, и лицо его вновь помрачнело.

— Не говори об этом больше, прошу тебя. В моей душе вновь возникают смятение и муки, когда я вспоминаю о Судухами. Пути женщин неисповедимы. И особенно таких, как моя Судухами. А мне пришлось бежать из деревни: полицейские сказали, что Кири Менике убил я, потом убил Биссохами и мою Судухами тоже, когда они мне надоели. Они сказали, что я убил первых двух, а сам устроил так, чтобы люди думали, будто моя Судухами сделала это в припадке ревности. У них есть доказательства, говорили они, что всех женщин убил я.

Быть может, мне следовало бы принять вину на себя и очистить мою Судухами от подозрений. Ради нее я был готов на все. Мне не хочется верить, что она таила ненависть и ревность, хотя она и сидела часами в полном молчании. Быть может, женщины, когда они носят под сердцем, питают к другим женщинам ревность и страх. Я считал мою Судухами редким драгоценным камнем. Быть может, я ошибался.

Моя Судухами по своей воле никому не причинила зла. Она убивала потому, что любила меня. Эта любовь была так глубока, что Судухами не могла стерпеть, чтобы эти две женщины стояли между нами.

Следователь из полиции сказал, что я заснул нарочно, чтобы не помешать Судухами наложить на себя руки. Зная, что она намеревалась умереть в ту ночь, я не должен был спать, сказал он.

Теперь ты, Леон Сингхо, знаешь, как я любил мою Судухами, так скажи, позволил бы я ей умереть, если бы знал? О моя Судухами! Среди всех женщин, которые были у меня, я не встретил ни одной, равной ей!

ЭДВАРД ОЛБИ

СМЕРТЬ БЕССИ СМИТ

ПЬЕСА В ВОСЬМИ КАРТИНАХ

Перевод с английского
Н. ТРЕНЕВОЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

БЕРНИ, негр, лет сорока. Очень худой.
ДЖЕК, очень темный негр, лет сорока пяти, грузный, говорит басом. Носит небольшие усики.
ОТЕЦ, белый. Тощий, лысеющий, лет пятидесяти пяти.
МЕДСЕСТРА, белая, южанка. Цветущая хорошенькая брюнетка или рыжая. Шумная, громко хохочет. Двадцать шесть лет.
САНИТАР, светлокожий негр. Гладко выбрит, аккуратен, подтянут. Двадцать восемь лет.
ВТОРАЯ МЕДСЕСТРА, белая, южанка, белокурая, красотой не блещет. Тридцать лет.
ВРАЧ, белый, блондин, хорошо сложен, с приятным лицом. Тридцать лет.

Действие происходит днем и вечером 26 сентября 1937 года в городе Мемфисе, штат Теннесси, и его окрестностях

Что касается декораций, то, само собой, каждый театр волен найти свое собственное решение, поэтому нижеследующие указания автора, которые могут быть не бесполезны, все же являются, так сказать, общей идеей — это то, что «видит» автор.

А «видит» автор следующее: середина сцены и авансцена отведены под приемный покой больницы, так как именно здесь развертывается большая часть действия. Прямо перед публикой, посреди сцены — стол дежурной медсестры и стул. Направо — входная дверь, налево — дверь, ведущая внутрь больницы. Больше почти ничего, быть может, только скамья, один-два стула.

В глубине сцены, быть может, наискосок — приподнятая платформа, на разных частях которой происходит действие других картин — опять-таки с минимальным количеством вещей. И все это на фоне широкого, во всю сцену, задника, изображающего небо, которое меняется в каждой картине: в нем то жаркая синева, то закат, яркий, красно-оранжевый закат. Иногда он пылает во всю мощь, иногда — только отсветы заката.

При поднятии занавеса на сцене темно, а позади — синее, горячее небо. Музыка, звучащая при этом, затихает, когда освещается сцена.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Уголок бара. Берни сидит за столом, перед ним бутылка пива и стакан. С бутылкой пива в руках нерешительно входит Джек, он не видит Берни.

Берни *(узнав Джека, с приятным удивлением)*. Эй!
Джек. А?..
Берни. Эй, Джек!
Джек. А?.. Что?.. *(Узнает его.)* Берни!
Берни. Ты как тут очутился? Иди сюда, присаживайся.
Джек Ну ты подумай!..
Берни Присаживайся, Джек.

Джек. Да... конечно! Ну ты подумай, надо же!.. *(Подходит к столику, садится.)* Здорово, Берни. Ух, ну и жарища! Как живешь, друг?

Берни. Лучше всех. Но как ты к нам попал?

Джек. Проездом, понимаешь, проездом.

Берни. Не сидится тебе на месте, да? Вот уж не ожидал, что ты вдруг войдешь в эту дверь,— мир-то, оказывается, тесен.

Джек. Выходит, так.

Берни. Значит, не сидится тебе на месте? Куда ж ты едешь?

Джек *(чуть таинственно)*. На север.

Берни *(смеется)*. На север! Север-то большой, а?

Джек. Да... не маленький.

Берни *(после паузы, опять смеется)*. А если поточнее, старик? Куда это на север?

Джек *(скромно, но гордо)*. В Нью-Йорк.

Берни. В Нью-Йорк?!

Джек. Угу, угу.

Берни. В Нью-Йорк, значит? Та-ак. Какие же у тебя дела в Нью-Йорке?

Джек *(так же скромно)*. Да так.. кое-что. А ты что поделываешь?

Берни. В Нью-Йорк, а? Скажи пожалуйста!

Джек *(явно сгорая от желания поделиться своей тайной)*. Уг-гу.

Берни *(понимая это)*. Ну, брат, это здорово! Слушай, хочешь пива? Взять еще?

Джек. Да нет, пожалуй... не знаю...

Берни *(вставая)*. Ясно, хочешь. Вон ведь какое пекло на улице, сейчас в самый раз пропустить холодненького.

Джек. А что, в самом деле? Давай раздавим еще по бутылочке.

Берни *(достает долларовую бумажку)*. Сейчас принесу пару. Так в Нью-Йорк, говоришь? Что же у тебя там за дела? А, Джек?

Джек *(посмеиваясь)*. А вот такие дела, что ты, брат, просто ахнешь. Просто ахнешь!

Свет гаснет, затем освещается другая площадка.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Часть крытой веранды, довольно ветхая плетеная мебель. Отец Медсестры сидит в кресле, прислонив к ручке трость. Из дома несется громкая музыка — играет радиола.

Отец *(музыка слишком громкая, он, наконец, не выдерживает, хватается за ручки кресла, кричит)*. Прекрати! Прекрати! Прекрати!

Медсестра *(в доме)*. Что? Что ты говоришь?

Отец. Пре-кра-ти!

Медсестра *(входит, в белом больничном халате и шапочке)*. Ничего не слышу. Что тебе надо?

Отец. Прекрати эту чертовщину!

Медсестра. Ну, знаешь, отец, ей-богу...

Отец. Выключи радиолу! *(Медсестра, пожав плечами, уходит в дом. Музыка прекращается.)* Черт бы их унес, эти негритянские пластинки! *(Кричит в дом.)* У меня голова трещит!

Медсестра *(входит)*. Что?

Отец. Я говорю, у меня трещит голова, ты все время ставишь пакостные негритянские пластинки, ты меня не знаю до чего доведешь! Заладила ставить пластинки одну за другой, у меня скоро барабанные перепонки лопнут... голова разламывается...

Медсестра *(устало)*. Ты принял пилюли?

Отец. Нет!

Медсестра. Я сейчас принесу пилюли.

Отец. К чертовой матери!

Медсестра *(подчеркнуто терпеливо)*. Хорошо, я не принесу пилюли.

Отец *(после паузы, тихо, но сварливо)*. Ты все время ставишь эти пластинки, будь они прокляты...

Медсестра *(с раздражением)*. Прости, отец, я не знала, что у тебя болит голова.

Отец. Не смей говорить со мной таким тоном!

Медсестра *(так же)*. А я никаким тоном не говорю.

Отец. Не спорь со мной!

Медсестра. Я и не спорю. Мне не хочется спорить, слишком жарко, чтобы спорить с тобой. *(Пауза, затем спокойно.)* Неужели человек не имеет права поставить пластинку-другую...

Отец. Собачий вой! Вот что это такое — собачий вой!

Медсестра *(после паузы)*. Насколько я понимаю, ты не отвезешь меня на работу. Насколько я понимаю, у тебя так болит голова, что нет никакой охоты везти меня в больницу.

Отец. Да. Никакой.

Медсестра. Я так и думала. И насколько я понимаю, ты мне не можешь дать машину, потому что она тебе самому понадобится.

Отец. Да.

Медсестра. Так я и предполагала. Что же ты собираешься делать, отец? Сидеть весь день на веранде со своей головной болью и сторожить машину? Будешь сидеть и смотреть на нее весь день? Возьмешь дробовик и будешь следить, чтобы на нее не нагадили птицы?

Отец. Машина мне сегодня нужна.

Медсестра. О да, разумеется.

Отец. Я говорю, она мне сегодня нужна самому!

Медсестра. Да, слышу. Она тебе нужна самому.

Отец. Вот именно!

Медсестра. Не сомневаюсь. Ты опять поедешь к своим демократам в клуб и просидишь там до вечера с кучкой бездельников. Вы будете часами толочь воду в ступе, и ты будешь пыжиться, стараясь доказать, что ты умный политик...

Отец. Ну знаешь, довольно!

Медсестра. Ты будешь сидеть с этими лодырями... покуривать дорогие сигары, которые тебе не по карману, вернее, мне не по карману... сигары той марки, что курит его честь мэр города Мемфиса... ты будешь сидеть и разглагольствовать о том, какие вы с мэром закадычные друзья, ты будешь корчить из себя важную персону, а на самом деле ты...

Отец. Замолчи, ты!..

Медсестра. ...ты просто ходишь перед ним на задних лапках, ты подлипала... ты...

Отец. МОЛЧАТЬ!

Медсестра *(скороговоркой)*. Вот для чего тебе нужна машина, отец — правда? — а я должна трястись по жаре в душном вонючем автобусе!

Отец. Кому говорю — замолчи! *(Пауза.)* Не знаю, что я с тобой сделаю, если ты будешь порочить мою дружбу с мэром!

Медсестра *(презрительно)*. Дружбу!

Отец. Да! Да! Дружбу!

Медсестра. А я вот знаю, что я сделаю. Твой мэр, его честь, лежит у нас в больнице... Как только я туда приеду — если я доберусь живая в этом кошмарном автобусе,— я зайду к нему, передам от тебя привет и расспрошу его про эту вашу «дружбу», возьму да и спрошу...

Отец. Не смей его беспокоить, слышишь?

Медсестра. Ну почему же, я думаю, мэр будет в восторге, дочь его дорогого друга...

Отец. Ты нарвешься на неприятности!

Медсестра *(издевательски)*. О, почему же я нарвусь на неприятности, папочка?

Отец. Смотри ты у меня!

Медсестра. Ведь у вас такая необыкновенная дружба! Или нет, лучше так: ты довезешь меня на машине до больницы и заодно навестишь своего дорогого друга мэра. Это я здорово придумала, правда?

Отец. Убирайся! Вон отсюда!

Медсестра *(с тихой яростью)*. Ты мне надоел до смерти.

Отец. Что? Что такое?

Медсестра *(очень спокойно)*. Я сказала: ты мне надоел до смерти.

Отец. Ах, так? Ах, так? *(Хватает трость и колотит ею по полу, сначала сильно, со злостью, потом все слабее и, наконец, постучав беспомощно и жалко, перестает. Медсестра спокойно наблюдает за ним.)*

Медсестра *(нежно)*. Ну — все?

Отец. Уходи. Тебе пора на работу.

Медсестра. Сейчас — вот только принесу тебе пилюли.

Отец *(монотонным голосом)*. Я тебе сказал: к чертовой матери!

Медсестра. Не хочешь — не надо.

Отец. Я, слава богу, не твой пациент.

Медсестра. Вот уж действительно — слава богу.

Отец. Ты к своим пациентам относишься куда лучше, чем ко мне.

Медсестра *(устало)*. У меня нет пациентов, отец, я не палатная сестра, может, ты, наконец, запомнишь это? Я работаю в приемном покое, ты же ЗНАЕШЬ. Зачем же прикидываться, будто тебе это неизвестно?

Отец. Если б ты была... этой... как ее... палатной сестрой, ты бы относилась к своим пациентам гораздо лучше, чем ко мне.

Медсестра. Отец, я не пойму, ты что, болен или здоров? Ты... ты в самом деле несчастный инвалид, или, как только я уйду, ты живо вскочишь с кресла и поедешь в клуб трепаться с кучкой лодырей? Выбирай что-нибудь одно, отец, нельзя же сразу быть и больным и здоровым.

Отец. Не твое дело.

Медсестра. А я тебе говорю, что так нельзя!

Отец. Не твое дело, слышишь?

Медсестра *(после паузы)*. Ладно, я пошла на работу.

Отец *(насмешливо)*. Что же ты не попросишь своего дружка отвезти тебя в больницу?

Медсестра. Оставь.

Отец. Пусть бы заехал за тобой и отвез!

Медсестра. Оставь, говорю!

Отец. Или ему интереснее привозить тебя домой по вечерам, когда темно и можно побаловаться в машине? Так, что ли? Почему ты не приведешь его сюда, чтобы я хоть посмотрел на него? Почему ты не приведешь его ко мне?

Медсестра *(со злостью)*. Да потому что *(короткий жест — показывает на окружающую обстановку)*... мне не хочется, чтобы он все это...

Отец. Я же слышу, я по вечерам все слышу — мне слышно, как ты хихикаешь и возишься с ним в машине!

Медсестра *(громко, стараясь перекричать его)*. Я пошла, отец.

Отец. Ну так иди, иди, кто тебя держит!

Медсестра. Слушаюсь, папочка!

Отец. Валяй, валяй! *(Медсестра молча смотрит на него, поворачивается и уходит.)* И не смей возиться с ним всю ночь в машине, когда вернешься, слышишь? *(Пауза.)* Слышишь?

Свет гаснет.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Освещается пустая часть сцены. Входит Джек; говорит, обращаясь к кому-то за сценой, и смотрится в невидимое зеркало на невидимом туалетном столе. Картина идет под приглушенную, как бы издали доносящуюся музыку.

Джек. Эй, Бесси! Вставай, пора уже. Вылезай-ка, радость моя, из-под одеяла... Давай скорей, надо ехать дальше, а то начнет смеркаться... Я звонил в Нью-Йорк этому черту, директору фирмы... Поговорил с ним как следует. Все сказал, что ты велела. Просыпайся, детка, пора уезжать из этой дыры, я должен доставить тебя в Мемфис до семи часов... а потом — тр-р-р! — рванем на север! Прямиком в Нью-Йорк!.. Я этому обалдую так и сказал: «Послушайте, у вас нет исключительного права на Бесси Смит... ни у кого такого права нет. Бесси, черт вас дери, делает вам одолжение... Она вовсе НЕ ОБЯЗАНА петь для вас». Я сказал: «Бесси устала, ей неохота ехать в Нью-Йорк». А он мне: «Вы, пожалуйста, не вздумайте идти на попятный, Бесси сама мне обещала»... А я ему: «Ладно, не волнуйтесь... Бесси сказала, что согласна опять петь для вас... сможете выпустить сколько угодно новых пластинок... вы только не воображайте, что у вас есть исключительное право на запись,— такого права ни у кого нет». *(Посмеиваясь.)* Я ему сказал, что ты свободна, как птичка, радость моя. Как птичка канареечка. *(Смотрит за сцену, качает головой.)* Да уж, хороша канареечка!.. Я ходил вниз расплатиться за номер. Только спустился — смотрю, один мой приятель... Ну, мы посидели в баре, немножко выпили, а он и спрашивает: «Что ты тут делаешь, как тебя занесло в эту паршивую гостиницу?» А я говорю: «Везу в своей тележке одну птичку. И везу ее на север. Там, наверху,— говорю,— есть одна толстая дамочка, она сейчас отсыпается перед дорогой». Он и говорит: «У тебя всегда где-нибудь есть толстенькая дамочка». А я отвечаю: «У меня там наверху не просто дамочка, друг.. Это — знаменитость, богатая леди, певица». Он смеется: «Кто же она такая?» Я говорю: «Угадай!» А он говорит: «Ну тебя, не могу я твои загадки отгадывать». Тут я ему и рассказал. Я, говорю, еду на машине с мисс Бесси Смит. У него глаза на лоб полезли. Как, говорит, неужели там наверху сама Бесси Смит? Не может быть! А я, не без гордости, конечно, отвечаю: да, мол, сама Бесси Смит, мы с ней едем на север. И вот он страшно хочет с тобой познакомиться, так что ты вылезай из постели и пойдем вниз. Я хочу показать тебя во всем блеске. И не то что хочу, а ДОЛЖЕН. Потому что он спросил: «А что случилось с Бесси Смит?» Как, говорю, что случилось? Ничего с Бесси не случилось, она спит наверху. А он говорит: «Нет, я хочу сказать, что она делала последние четыре-пять лет?» Было, говорит, время, когда ее имя гремело и в Чикаго, и в Нью-Йорке, и везде. Ее ведь просто на руках носили. Она еще поет или нет? ТЫ СЛЫШИШЬ, БЕССИ? Он спрашивает, поешь ты еще или нет! Я сказал... я сказал, что ты переутомилась... долго отдыхала. Тебя не забыли, детка моя, но люди спрашивают, что случилось. ТАК ЧТО ВСТАВАЙ! Сегодня двинемся на север, а когда ты приедешь в Нью-Йорк, ты им покажешь, случилось что или нет. Бесси, милая, ты опять войдешь в славу... Я серьезно говорю — тебя опять ждет слава. А я должен доставить тебя в Нью-Йорк. Потому что

это очень важное дело. Конечно, детка, ты свободна, как пташка, и я сказал сукину сыну директору, что он не имеет исключительного права на запись... но понимаешь, милая... он заинтересовался... а тебе за это нужно теперь хвататься. Нужно, дружочек мой, потому что, если ты сейчас что-то не сделаешь, люди перестанут спрашивать, где ты была последние четыре-пять лет... они вообще перестанут спрашивать о тебе! Ты слышишь меня? Я сказал там, внизу, что ты богата... но ведь это не так, Бесси. Уже не так, дорогая моя. Надо через силу тащиться в Нью-Йорк и надо начинать все сначала. *(Умоляюще.)* Голубушка моя! Детка! Ты же знаешь, я тебе не лгу. Ну давай же, вставай! Спустимся в бар, выпьем пива... повидаемся с моим приятелем... а потом — в путь. Потому что становится поздно, дорогая... как бы не стало слишком поздно... *(Веселее.)* Ну, проснулась, пташка? *(Идет за кулисы.)* Живей, живей, Бесси!.. Пошли! Мы едем опять на север!

Свет гаснет. Музыка. По сцене разливаются огненные краски заката.

Голос Джека. Ха-ха, спасибо, большое спасибо! *(Хлопает дверца машины. Зафыркал включенный мотор.)* Ну, все! Теперь — едем!

Слышно, как машина трогается с места и постепенно удаляется. Закат гаснет. Музыка затихает.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Приемная в больнице. Медсестра сидит за письменным столом. Рядом стоит Санитар.

Санитар. Мэр города Мемфиса! Я вошел в палату, гляжу — он, сам мэр! Лежит на животе, во рту сигара торчит, большущая сигара — незажженная... Он ее сосет... листает бумаги какие-то, под грудь подушка подложена, чтобы удобнее было листать... Я вошел и говорю: «Добрый день, ваша честь». Он обернулся, посмотрел на меня и как крикнет: «Убирайся к черту, у меня болит зад!»

Медсестра *(хохочет)*. Их честь должны держать зад на весу!

Санитар. Я и ушел. Очень быстро ушел. И дверь прикрыл поскорее.

Медсестра. Мэр и его геморрой, теперь уже бывший геморрой,— это главный предмет забот и хлопот нашей больницы, ведь ее, эту больницу, построил мэр; он лежит у нас с перевязанным задом, и теперь вся городская власть находится в палате номер двести шесть... так что изволь быть любезным и почтительным. *(Смеется.)* А через две палаты от него лежит человек, он пришел сюда вчера вечером, когда тебя уже не было... он прижимал руки к животу, чтобы кишки не вывалились наружу...

Санитар. Мне уже рассказали.

Медсестра. ...и может, он выживет, а может, и нет — скорее всего, что не выживет... но мы хлопочем возле него куда меньше, чем возле его чести господина мэра. Вот как.

Санитар. Мне нравится ваше презрение.

Медсестра. Что? Презрение тебе нравится? Что ты выдумал? Как это у тебя в голове все по-своему переворачивается!

Санитар. Понимаете, тут все дело в соотношении. Вы, конечно, не можете морально оправдывать то, что мэр со своим геморроем и этот несчастный...

Медсестра. «Морально оправдывать»! Нет, вы только послушайте, какой он образованный! И откуда ты только берешь такие слова, мальчик? Что это вообще значит — «морально оправдывать», а? Говорить ты умеешь, но тебе еще многому надо поучиться. Да, это верно — стоит господину мэру икнуть, так на того беднягу совсем перестанут

обращать внимание, словно на какого-нибудь негра... И пусть бы он даже лежал на операционном столе, они бросили бы его внутренности на пол и помчались бы к мэру, чтобы поднести спичку к его сигаре... Это все верно, ну и что? Не нами это заведено, не нами и кончится. Это жизнь. А ты не будь наивным младенцем.

Санитар. Я знаю... Знаю, что мэр — человек могущественный. Он и выглядит так внушительно... даже когда лежит на животе... Мне хотелось бы поговорить с ним.

Медсестра. Этого еще не хватало! Поговорить с мэром! О чем, скажи на милость?

Санитар. Я вам уже говорил. Я не намерен выносить судна и мыть пол в операционной, пока у меня не вырастет длинная седая борода. Я... мне этого мало.

Медсестра *(покровительственно)*. Ну, еще бы.

Санитар. Ведь я говорил вам... Я хочу идти дальше. А эта работа...

Медсестра *(качает головой)*. Знаешь... ты должен считать, что тебе сильно повезло, мальчик. Ну на что ты, глупый, надеешься? Думаешь, его честь господин мэр так заинтересуется твоей судьбой, что вскочит с больничной койки со своим перевязанным задом? И, может, даже настрочит письмо президенту? А президент пришлет сюда свою супругу устраивать твою судьбу? Или ты рассчитываешь, что в каком-нибудь университете на севере тебе немедленно преподнесут жирненькую стипендию? Ох, ни черта ты не понимаешь! Слушай, что я тебе скажу: благодари бога за то, что у тебя есть. Чего ты еще ждешь, спрашивается?

Санитар. Того, что было обещано. Больше ничего. Только того, что нам обещали.

Медсестра. Того, что обещали? Обещали! Хочешь, я тебе скажу, чего стоят эти обещания? Они так и останутся обещаниями, вот и все... неужели у тебя не хватает ума понять это? Меня лично уже просто тошнит от обещаний!

Санитар. Есть люди, которые верят в нечто более существенное, чем обещания...

Медсестра. Что?

Санитар *(осторожно)*. Я говорю, есть люди, которые верят не в обещания. Они верят в действия.

Медсестра. Во что? Как ты сказал?

Санитар. В дей... впрочем, это неважно.

Медсестра *(прищурившись)*. Нет, почему же, продолжай. В действия? Это какого же рода действия? Что ты имеешь в виду?

Санитар. Ничего я не имею в виду... я только сказал, что...

Медсестра. Я слышала, что ты сказал. Я знаю, в чем тут дело. Тебе опять бог знает чего наговорил Великий Белый Доктор, этот высокий интересный блондин, которого ты просто обожаешь за то, что он такой свободомыслящий, да? Мой поклонник! *(Смеется.)* Мой белый рыцарь, который чинит здесь почтенных граждан и считает, что зря тратит время, потому что в Испании сейчас льется кровь. *(Передразнивая.)* Ах, там люди жертвуют жизнью! А он прокисает здесь! Вот что он тебе наговорил.

Санитар. Уверяю вас, я не это имел в виду... Я не обращаю внимания на... *(беспомощно)* на такие разговоры. Я делаю свое дело... И стараюсь...

Медсестра *(презрительно)*. И стараешься ко всем подладиться, верно? Вот ты стоишь, киваешь своей курчавой башкой и на все, что бы я ни сказала, отвечаешь «да, мэм», «да, мэм», а когда приходит он, вы забиваетесь в угол и ты слушаешь его и поддакиваешь... ты заставляешь его говорить тебе про обещания и... и действия!.. Так вот я тебе прямо

скажу: он в конце концов попадет в большую беду!.. И ты его толкаешь на это, так и знай!

Санитар. О, что вы! Я не...

Медсестра. Да, да! Все эти его разговоры! Действия! Я знаю все, про что он говорит. Про эту кучку радикалов, например, что весной затеяли здесь бунт, да еще и поджог устроили. Вот о чем он любит толковать. А ты... а у тебя, случайно, никого не пришибли в той свалке?

Санитар *(сдержанно)*. Случайно моего родного дядю раздавил грузовик, битком набитый полицейскими...

Медсестра. ...которых губернатору пришлось вызвать, потому что в городе начался бунт... и пожар вдобавок. Действия! Ничего себе — действие! Скажи, ты на такие разговоры его вызываешь, когда отводишь в угол... и прикидываешься, будто тебе интересно? Смотри, голубчик, если ты свяжешься с этой компанией, то лучше...

Санитар *(быстро)*. Я не связан ни с какой компанией... уверяю вас. Мне только нужно...

Медсестра. Я скажу, что тебе нужно. Я скажу, что тебе нужно, если ты не хочешь, чтобы тебя отсюда вытурили в шею... Тебе нужно заткнуть уши и поменьше раскрывать рот. Что это, в самом деле, за разговоры — эта работа тебе не подходит, ты хочешь чего-то большего! Делай, что тебе велят, ходи перед всеми по струнке, а по ночам *(смеется)*... по ночам, когда ты хозяин своего времени... можешь, если угодно, мазать отбеливающим кремом лицо, и руки, и шею!..

Санитар. Ничего подобного! Я этого никогда не делаю!

Медсестра *(громко хохочет)*. Отбеливай, отбеливай, ночью ты волен вытворять с собой что угодно!

Санитар *(умоляюще)*. Да ведь я никогда этого не делаю!

Медсестра. Так я тебе и поверила! Ты... ты такой...

Санитар. Мне кажется, подобные разговоры...

Медсестра. ...такой замысловатый! Ой, смотри, малый, будешь ты посмешищем, какого свет не видел! Да-да, шушукайся со своим доктором по углам, слушай его, поддакивай, но имей в виду, ты только выставишь себя на посмешище!.. Огромная черная толпа шагает по улицам, знамена в воздухе... огромная черная-черная толпа... и где-то в середке блистает белизной твоя высветленная рожа! *(Хохочет.)* Ох, не могу! Вот потеха-то!

Санитар *(жалобно)*. Прошу вас, перестаньте!

Медсестра. Нет, ведь это лопнуть со смеху!

Санитар. Пожалуйста, не смейтесь надо мной... Я не дал вам никакого повода...

Медсестра. Ой, не могу!.. Извини, пожалуйста! Не могу!

Санитар. Мне кажется, я не дал вам повода...

Медсестра. Ты так думаешь?

Санитар. Да.

Медсестра. Ну, что ж... ты настоящий джентльмен... вежливый... почтительный... и такой подлиза, что просто сил нет! Знаешь, мальчик, давай поговорим откровенно.

Санитар *(внутренне сжимаясь)*. Право, не стоит...

Медсестра *(с притворной озабоченностью)*. Скажи мне... правда, что ты оторвался от своей семьи, от своего круга? Правда, что ты сейчас живешь словно на ничьей земле — с одной стороны твои братья, они тебя чуждаются, избегают, с другой — великие белые люди, они презирают тебя и высмеивают. И тебе некуда податься. Верно я говорю?

Санитар. Вы... вы... зачем вы так? Я работаю изо всех сил... я стараюсь учиться... я никому не мешаю...

Медсестра. Вот тебе мой совет — уезжай на север... езжай в Нью-Йорк, где на тебя не будут смотреть, как на грязную собаку... езжай на

север... *(Резко меняя тон.)* Но пока ты не уехал, сбегай купи мне пачку сигарет!

Санитар *(пауза, хочет что-то сказать, но передумывает и идет к двери)*. Слушаюсь, мэм. *(Уходит.)*

Медсестра *(молча смотрит ему вслед; когда он уходит, качает головой и передразнивает его)*. Да, мэм... Слушаюсь, мэм... Ха-ха-ха! Эти «белые» негры меня когда-нибудь доконают, честное слово! *(Снимает телефонную трубку и набирает номер.)*

КАРТИНА ПЯТАЯ

Свет зажигается на площадке выше уровня сцены — это приемный покой другой больницы. За столом никого нет. Телефон звонит раз, другой. Не спеша входит Вторая медсестра, быть может, на ходу подпиливая ногти.

Вторая медсестра *(лениво берет трубку)*. Больница Милосердия.

Медсестра. «Милосердия»! Оно и видно, какие вы там милосердные, никогда не сидите на месте. Есть больницы, где порядка куда больше, там дежурные сестры не скачут, как блохи, а дежурят на своем посту!

Вторая медсестра *(скучающе)*. А, здоро́во! Что тебе надо?

Медсестра. Мне ничего не надо.

Вторая медсестра *(помолчав)*. М-м... Зачем же ты звонишь?

Медсестра. Да ни за чем. *(Пожимает плечами.)* Просто так.

Вторая медсестра. Да?

Свет гаснет. Темнота. Музыка. Гул мотора.

Голос Джека *(со смехом)*. Я тебе говорю — ему это не понравилось. Он на другое рассчитывал. Тебе удобно, голубушка? Ты откинься назад и ни о чем не думай. Смотри, как мы славно едем. Вовсе не жарко, правда?.. Эй!.. ОСТОРОЖНЕЙ! ОСТОРОЖНЕЙ!

Треск и грохот — столкновение двух машин... Тишина.

Голос Джека. Бесси... детка... мы столкнулись... Тебя не ушибло? БЕССИ!.. БЕССИ!..

Снова музыка, затихающая, когда освещаются обе площадки.

Медсестра. ...ну, и что же еще? Ах да, у нас тут сам мэр.

Вторая медсестра. Поздравляю. Что же он делает?

Медсестра. Он ничего не делает. Он наш пациент.

Вторая медсестра. О! А у нас лежала жена мэра... еще в апреле.

Медсестра. Мгм. Ну, а у нас мэр лежит сейчас.

Вторая медсестра *(очень скучающим тоном)*. Мгм. Поздравляю.

Медсестра *(обернувшись, видит входящего Врача)*. О, пришел мой поклонничек, я позвоню тебе попозже, ладно?

Вторая медсестра. Ладно.

Обе кладут трубки. Свет на второй площадке гаснет.

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Медсестра. О Великий Белый Доктор! Как ваше самочувствие?

Врач *(с раздражением)*. А, бросьте!

Медсестра. Бог ты мой! Вы сегодня не в духе? Куда девалось ваше веселое настроение, доктор?

Врач *(невольно улыбаясь)*. Поразительно, как вам это удается? Как вы ухитряетесь мгновенно и начисто забывать некоторые вещи? Вы можете будто ни в чем не бывало шутить с человеком, которому вчера вечером наговорили столько гадостей!

Медсестра *(весело)*. Никаких гадостей я не говорила. Просто поставила вас на место... вот и все. Поставила вас на место... как делала раньше и буду делать и впредь.

Врач *(хочет что-то сказать, но передумывает. Вздыхает)*. Ну, ладно. Оставим это... Ты видела, КАКОЙ закат?

Медсестра *(передразнивая)*. Нет, я не видела, КАКОЙ закат. А что он делает?

Врач *(пряча улыбку, произносит напыщенным тоном)*. Весь запад пылает... пламя охватило полматерика... огненные языки тянутся к звездам... и... и над самым краем земли повисла огромная раскаленная окружность...

Медсестра *(смеется)*. Ой, боже!.. Ну и ну!

Врач *(серьезно)*. Нет, право, это удивительно красиво. Выйди посмотри.

Медсестра *(кокетливо)*. Ах, доктор, я прикована к этому столу, так что придется поверить вам на слово... Ну, еще расскажите мне про закат... огромный раскаленный доктор, повисший над краем моей окружности... ха-ха-ха!

Врач *(наклоняясь к ней)*. Когда?

Медсестра. Что — когда?

Врач. Когда... когда ты меня допустишь до себя, женщина?

Медсестра. О, боже!..

Врач. Я — только касательная к окружности, в то время как мог бы стать...

Медсестра *(смеется)*. Нет уж, знаете! Оставайтесь лучше этой... касательной!

Врач *(с притворным отчаянием)*. О, как же мне вас убедить! Вот я стою перед вами, предлагаю вам любовь... обратите внимание на это слово — любовь!.. Итак, я предлагаю вам мою любовь, самого себя, мою тоскующую постель...

Медсестра. Приму к сведению... ваше предложение принято к сведению. *(Протягивает ему папку.)* Вот — вам нужны ваши сводки?

Врач. Нет, мне не нужны мои сводки... Дайте сюда. *(Берет папку.)*

Медсестра. Чем топтаться тут и жарко на меня дышать, дайте-ка лучше закурить. Я послала негра за сигаретами. У меня все вышли. *(Он дает ей сигарету.)* А спичку?

Врач. Ступайте прикурите от заката. *(Бросает ей спички.)* Он говорит, что вы ему должны уже за три пачки.

Медсестра *(закуривает)*. Ваша тоскующая постель... подумаешь!

Врач. Мадам... мое сердце жаждет, тело пылает...

Медсестра. А у меня, видите ли, нет времени на молодых врачей.

Врач. ...сердце жаждет, тело пылает... а у вас, видите ли, нет времени... Черт знает что женщины могут сделать с поэзией! *(Интимнее, но так же небрежно-весело.)* Ты уже сказала отцу? Ты сказала своему отцу, что я отчаянно в тебя влюблен? Ты ему сказала, что по ночам я не могу натянуть на себя простыню, потому что...

Медсестра *(сухо)*. Я скажу... я ему скажу, как вы позволяете себе разговаривать с молодой женщиной... он явится сюда, и вы будете иметь дело с ним!

Врач. Ах, простите! Вы же барышня, воспитанная в монастыре, в вашем доме никогда не произносят слово «штаны», а клопы деликатно называются «бескрылыми мушками»! Мне-то казалось, вы та самая се-

стричка, у которой такой запас анатомических шуточек на все случаи жизни...

Медсестра *(хихикнув)*. Ну, ладно, ладно! *(Надменно.)* Между прочим, если я тут, в таком окружении, вынуждена вторить вашим непристойностям... чтобы, так сказать, не выпадать из общего тона... то, ради бога, не думайте, что это доставляет мне удовольствие... И вообще, если не возражаете, прекратим этот разговор.

Врач. Тогда выходи за меня замуж. Если уж и разговаривать нельзя, выходи за меня замуж.

Медсестра. Перестаньте!

Врач *(полушутя, полусерьезно)*. Выходи за меня замуж.

Медсестра *(сухо, но без злости)*. Я больше не могу этого слышать. Вот у моего отца, бедняги, свои представления о жизни, ему трудно мириться с тем, что есть на самом деле. Но я-то все понимаю! Сорок шесть долларов в месяц! Ведь так? Вы получаете сорок шесть долларов. В месяц! Милый, вы не имеете права даже мечтать о женитьбе. Жениться вам не по карману... Единственное, что вам по средствам, это — вожделеть. Вожделение вы можете себе позволить.

Врач *(ядовито)*. О, нежное создание... леди девятнадцатого века, изнемогающая в нашем грубом, пошлом мире... дева, искусная в рукоделии и любящая слушать тихие голоса природы...

Медсестра. Я ведь серьезно... Не надо валять дурака.

Врач. ...тип женщины, за которую сражался и умер мой прапрадед... сорок шесть долларов в месяц и единственное, что я могу себе позволить,— это вожделение! О господи!

Медсестра. Ну, вот что. Довольно издеваться надо мной. Сию минуту прекратите.

Врач. Я?! Издеваюсь над ВАМИ?!

Медсестра. Мне надоела эта игра, которую вы со мной ведете, мне надоели ваши бессмысленные предложения. Зачем вы твердите одно и то же, если этого никогда не может быть? Зачем вы все время пристаете ко мне с вашим предложением, зная наперед, что услышите все тот же ответ? Вам это приятно? Может, эта ваша настойчивость доставляет вам какое-то извращенное удовольствие?

Врач *(легкомысленно)*. А может, просто я вас люблю?

Медсестра. О да, это очень поможет делу, как же!.. Даже если бы это было правдой... Экономические реальности подберут юбки и с визгом разбегутся в стороны перед охваченным страстью рыцарем с копьем наперевес. Перед моим рыцарем, который, если разобраться, больше всего заинтересован в том, чтобы поудобнее и без лишних хлопот улечься со мной в постель...

Врач *(улыбаясь, очень учтиво)*. Я предлагаю вам стать моей женой.

Медсестра. Да... разумеется... вы предлагаете стать вашей женой. Соединенные Штаты уже распирает от количества девушек, которые слышат это грандиозное обещание от таких, как вы: я женюсь на тебе... я женюсь на тебе, если... ЕСЛИ! Грандиозное обещание, с грандиозным ЕСЛИ...

Врач *(забавляясь)*. Скажите, а вы кем, собственно, себя считаете?

Медсестра *(резко)*. То есть?

Врач *(смеется)*. Да нет, ничего.

Медсестра *(пристально смотрит на него; пауза)*. Жених!.. Да вы знаете... вы знаете, что тот негр, которого я послала за сигаретами... вы знаете, что он в гораздо лучшем положении, чем вы... практически и экономически... что ему легче жениться, чем вам? А? Вы знаете, что этот негр может заработать больше, чем вы... и намного?

Врач *(отвешивает ей поклон)*. Я это знаю... и знаю также, как вы и весь ваш знаменитый старинный род высоко цените подобные вещи. Поэтому я вам подброшу одну идейку... почему бы вам не предложить этому негру жениться на вас? Ведь он-то сам никогда вам этого не предложит! Я уверен, если вы скажете отцу, он сначала немножко опешит — мы же знаем, что за человек ваш отец... не правда ли?.. Но потом он поразмыслит... и поймет все преимущества этого брака... практические и экономические... и уж как-нибудь сумеет пересмотреть свои взгляды ради вашего счастья и благополучия.

Медсестра *(с размаху швыряет в него горящую сигарету)*. Негодяй!

Врач. Ах, чтоб вас! Это свинство!

Медсестра. Негодяй!

Врач. Практически... экономически... *(Чуть мягче.)* Ваше семейство носит громкое имя, но тысяча акров уплыла неизвестно куда, а белые колонны вашего родового дома растрескались и облупились... *(Жестко.)* Если не считать того, что на людской памяти не было этой тысячи акров, не говоря уже о доме с колоннами...

Медсестра *(со злостью)*. Я сама отлично знаю, что правда и что неправда. *(Спокойно.)* Идите работать и оставьте меня в покое.

Врач *(ласково)*. Вот как!

Медсестра. Я сказала: оставьте меня в покое.

Врач *(стряхивая с себя пепел)*. Поджигать врачей — это уголовное преступление... санитаров можете поджигать сколько угодно, если у вас нет насчет них других планов... но врачи...

Медсестра. ...нынче стоят десять центов дюжина. *(Фыркнув.)* Я вас обожгла?

Врач. Нет, вы меня не обожгли.

Медсестра. Очень жаль... получили бы по заслугам. *(Пауза; затем, улыбаясь.)* Простите, милый.

Врач *(насмешливо-официально)*. Я принимаю ваши извинения... и жду полной капитуляции.

Медсестра *(смеется)*. Ну и ждите себе. *(Пауза.)* Вы уже решили, как вам действовать, пока мэр лежит у нас?

Врач. Я? А как мне нужно действовать? Мое дело — неотложная помощь, а он в ней не нуждается.

Медсестра. Вы же знаете... Я вам говорила.

Врач. Знаю... я должен подняться в его палату... должен придвинуть стул, сесть и сказать: как делишки, ваша честь?

Медсестра. Вам бы только валять дурака... но если бы вы прислушивались к моим словам, вы бы сами поняли, что вам полезно иметь зацепку.

Врач. Мы даже незнакомы!

Медсестра. Незнакомые не навек остаются незнакомыми... если захотеть. А он мог бы, при желании, кое-что для вас сделать.

Врач. О, безусловно. КОЕ-ЧТО он, конечно, мог бы для меня сделать. Например, подарить свою машину... презентовать мне свою дивную машину марки «корд»... ни один мэр еще не делал такого великодушного жеста по отношению к частному гражданину. Вы эту машину видели?

Медсестра. Видела ли я машину... видела ли я то, другое, третье!.. Машины марки «корд» и закаты!.. Прекрасно! Это все ваши заботы? Больше ни о чем вы не думаете? Да? Ничего вам больше не надо, как мчаться в дивной машине навстречу дивному закату?

Врач *(негромко и серьезно)*. Бог видит, как я хочу уехать отсюда.

Медсестра *(кивает головой)*. Знаю, все знаю. Что ж, в конце концов вы добьетесь того, что вас заставят уехать. В городе уже извест-

но, что вы многим недовольны... Люди знают, как вы... настроены... Мой отец тоже кое-что слышал о вашем... недовольстве. Своих сограждан вам лечить неинтересно, они не стоят вашего внимания. Чужая страна, где какие-то иностранцы убивают друг друга, решая свои внутренние дела,— вот куда вы стремитесь, так ведь?

Врач *(тихо, напряженно)*. В этой войне больше полумиллиона убитых! Вам это известно? Бомбами, с воздуха... И даже не солдат — гражданских! Внутренние дела!.. Нет, но как вы все неверно понимаете!... Мое «недовольство», как вы это назвали, не имеет ничего общего с нелояльностью... Я не занимаюсь политикой... но мне это не дает покоя. Наверно, я не такой уж блестящий врач, но тлеть в этой захудалой больнице этого захудалого штата... дышать затхлостью... Нет! Я здесь как рыба, выброшенная на отмель! О, слушайте, за то, чтобы сейчас, сию минуту оказаться там, за право перевязать хоть одного раненого... я бы отдал весь город Мемфис с его обитателями, я бы отдал весь этот распроклятый штат, хоть я тут и родился...

Медсестра *(холодно)*. Ну что ж, это можно вам устроить. Я знаю как. Блестящая идея! Давайте скажем мэру об этом вашем желании, и он с радостью поможет вам убраться из больницы, а может, и из этого штата! Только я не думаю, чтобы он в качестве прощального подарка преподнес вам свой «корд». Скорее, вам поддадут коленом под зад, мой дорогой.

Врач *(с грустной усмешкой)*. Да, вероятно, так оно и будет. Мне очень повезло, что господин мэр здесь... мне вдвойне повезло — вы тоже здесь, и мы так любим друг друга!

Медсестра. Зачем же столько иронии?

Врач. А как прикажете с вами разговаривать?

Медсестра. Да никак... Просто... *(Засмеявшись.)* Я то же самое сейчас сказала негру — ха-ха!..— просто ходите по струнке, делайте свое дело, а вечером *(вдруг застенчиво)*, вечером... если вас не задержит что-нибудь более важное, чем *(с кривой усмешкой)* ваша «любовь» ко мне... я, может быть, позволю отвезти меня домой на вашем облезлом примусе.

Врач. Дорогая, мысль о поездке с вами, как всегда, доставляет мне огромнейшее удовольствие... Эти остановки по дороге, минут на пятнадцать... наша возня... мучительные, неутоляющие поцелуи, потом легкая борьба, и вы шипите на меня, когда я позволяю себе какие-нибудь вольности... а я раз или два нечаянно нажимаю локтем кнопку сигнала... И наконец мой облезлый примус останавливается перед облезлой лачугой вашего отца. Еще один томительный долгий поцелуй, и вы со всех ног убегаете в дом. Это ритуал, которого я с трепетом жду каждый вечер.

Медсестра *(довольная)*. Правда? Благодарю.

Врач. Я с трепетом жду этого ритуала, потому что он как-то отличает меня от остальных мужчин...

Медсестра. О!..

Врач. ...потому что я, вероятно, единственный белый человек моложе шестидесяти в этом городе, который не имел чести...

Медсестра. Лжете! Ничтожество, паршивый докторишка, вонючий негритянский ублюдок!..

Врач *(со смехом)*. Ого! Даже так?

Медсестра. Дрянь! Вы просто... дрянь!

Врач. Я — честный человек. Разрешите мне все-таки сделать вас честной женщиной.

Медсестра *(в ярости, сквозь зубы)*. Ну, так... Прекрасно. Поиграли мной — хватит! Это вам даром не пройдет. Вы меня еще вспомните... Я сделаю все, чтобы вас отсюда убрали! Вы поняли, о чем я говорю?

Врач. Да, мой ангел, на сей раз вы не сказали ни одной двусмысленности.

Медсестра. Вы правы, как никогда, смысл самый прямой! *(Входит Санитар.)* Прочь отсюда! *(Санитар не двигается с места.)* Ты слышишь? Убирайся к черту!

Санитар молча уходит.

Врач *(смеется)*. Ваш владетельный принц! Нет, вы прелестны!

Медсестра. Вы поняли, что я сказала?

Врач. А как же — я слышал каждое ваше слово, каждый сладкий звук...

Медсестра. Вы перешли все границы, доктор, и пожалеете об этом. Отец мне поможет. О, я вас проучу! Вы еще меня вспомните!

Врач *(осторожно)*. Ну, полно вам!..

Медсестра. Я не шучу.

Врач *(фальшиво)*. Послушайте, неужели вы поверили, что я и в самом деле...

Медсестра *(передразнивая)*. Неужели вы поверили... Ха-ха-ха, не смешите меня! *(Уже без ярости, спокойно и убежденно.)* Я сказала, что проучу вас на всю жизнь, и я это сделаю. Пока работайте по-прежнему... делайте свое дело... но пусть мои слова застрянут у вас в мозгу, пусть они вас жгут и сверлят. Вы будете так же милы со мной, а я с вами... словно ничего не случилось... ровно ничего. *(Смеется.)* Мой дорогой, ваша шея в петле... а у меня хлыст, и я выбью из-под вас лошадь в любой момент... когда мне это будет угодно.

Врач. Миленькая перспектива... Очень.

Медсестра. Мне тоже это нравится.

Врач. Знаете... кажется, я забуду отвезти вас вечером домой.

Медсестра. О нет, вы не забудете. Вы отвезете меня вечером домой... и сегодня отвезете, и завтра. Вы довезете меня до самого дома и по дороге будете за мной ухаживать. Как всегда.

Врач *(пристально глядит на нее; пауза)*. Вы грандиозны. Несмотря ни на что, я должен признать, что это так.

Медсестра деланно хохочет в ответ. Музыка. Свет гаснет. Освещается другая площадка — Вторая медсестра за своим столом.

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Джек *(вбегает)*. Мэм, доктора, доктора скорее!

Вторая медсестра. Чего тебе здесь надо?

Джек. Моя машина попала в аварию... несчастье, мэм... там у меня раненая женщина...

Вторая медсестра. Да? Вот как? Ну, сядь и жди... Поди вон туда, сядь и подожди.

Джек. Ждать невозможно, мэм! Тяжелое ранение, надо срочно...

Вторая медсестра. ЖДИ, ГОВОРЯТ ТЕБЕ! Сиди и жди!

Джек. Но ведь она тяжело ранена!..

Вторая медсестра. ПОДОЖДЕШЬ!

Джек. Мэм... там в машине Бесси Смит...

Вторая медсестра. А МНЕ НАПЛЕВАТЬ, КТО У ТЕБЯ ТАМ В МАШИНЕ, СЛЫШИШЬ, ЧЕРНОМОРДЫЙ! СИДИ И ЖДИ!

Музыка. Свет гаснет, и снова освещается первая площадка, где Медсестра и Врач.

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Музыка замирает.

Медсестра *(громко)*. Эй, негр! Негр! *(Входит Санитар.)* Где сигареты?

Врач. Ну, я пошел.

Медсестра. Нет. Стойте здесь. *(Санитар осторожно подает ей сигареты, чувствуя, что что-то неладно.)* Можно сдохнуть, пока дождешься этих сигарет! Где ты пропадал? Сидел внизу в буфете?

Санитар. Вы не велели мне входить...

Медсестра. А до того? Ты что, за пачкой сигарет ездил на табачную фабрику?

Санитар. Нет... я...

Медсестра. Ну, ладно. *(Врачу.)* А вы куда нацелились?

Врач *(очень официально)*. Прошу прощения.

Медсестра. Я говорю, куда вы собрались идти? Пить кофе?

Врач. Ах, вам, вероятно, захотелось кофе? Сигареты принесли, и вам пришло в голову, что недурно было бы выпить кофе? Он сбегал за сигаретами, а меня вы собираетесь послать за кофе?

Медсестра *(со злорадной усмешкой)*. Вот именно... неплохая мысль — держать вас обоих на побегушках. Да, мне хочется выпить кофе и хочется, чтобы его принесли вы. Так что сбегайте-ка быстренько вниз. Да смотрите, чтобы он был крепкий и горячий.

Врач. ...и черный?..

Медсестра. Нет, не черный... но сладкий... Да поживее!

Врач. Очевидно, ваше желание — для меня закон?

Медсестра. Да, закон!

Врач *(идет к двери, но останавливается на полпути)*. Мне пришла в голову одна приятная мысль... Что, если однажды, когда придет почта и вы станете вскрывать конверты этим стилетом, который у вас вместо разрезального ножа... что, если вы нечаянно вонзите его себе в руку... вы броситесь ко мне в дежурку, и кровь будет хлестать из вас, как вода из крана... тогда я возьму вашу руку и просто буду держать ее вот так... держать и смотреть, как вытекает ваша кровь...

Медсестра *(схватив разрезальный нож, взмахивает им)*. Этот? Скорее он вонзится вам между ребер!

Врач *(выходя)*. Значит, один кофе, леди!

Медсестра *(после паузы, швыряет разрезальный нож на стол)*. Ну, я о тебе позабочусь! Я щелкну хлыстом. *(Санитару.)* А ты что здесь стоишь? Тебе нравится слушать чужие разговоры?

Санитар. Нисколько.

Медсестра. Любишь подсматривать?

Санитар. Я сказал — нисколько.

Медсестра. Так я и поверила! *(Про себя.)* Я о нем позабочусь... Я ему припомню все эти слова... Ну, погоди!.. *(Санитару.)* Мой отец говорит, что эту их войну обязательно выиграет Франко... Франко победит... и что это будет просто замечательно.

Санитар. Он так думает?

Медсестра. Да, он так думает. Отец говорит, что Франко побьет их... этих коммунистов... и тогда будет все хорошо... просто замечательно.

Санитар. В самом деле?

Медсестра. Я тебе уже говорила, что мой отец... он ведь не кто-нибудь... он историк. С его мнением очень считаются в особых случаях. Он говорит, рано или поздно ему становится все известно о тех, кто сочувствует той стране и хочет туда уехать...

Санитар. Я не сомневаюсь, что сведения вашего отца высоко ценятся.

Медсестра. Что?!

Санитар. Я говорю: не сомневаюсь, что ваш отец очень сведущий человек... и мнения его ценятся высоко.

Медсестра. Правильно, мальчик... давай, говори каждому то, что, на твой взгляд, ему желательно услышать... ты как монетка с двумя сторонами — то орел, то решка. Ты слышал сейчас, как он... как он угрожал мне? Слышал?

Санитар. О, что вы!.. По-моему, наоборот...

Медсестра *(твердо)*. Ты слышал, как он мне угрожал.

Санитар. Мне кажется, что...

Медсестра. Ха! Такой умный, способный малый, и вдруг такая тупость! Прямо не знаю, что с тобой делать. *(Она сейчас думает о Враче — это видно по выражению ее лица.)* Ты не желаешь понимать некоторые вещи, и это ничего хорошего не сулит... В особенности сейчас, когда все уже почти решено...

Санитар. Что решено?

Медсестра *(хохочет, но невесело. Она еле владеет собой)*. Как, разве ты не знаешь? Ты не знаешь, что мы с тобой почти что помолвлены?

Санитар. Я... Я, право...

Медсестра. Разве тебе неизвестно, что такое экономическая реальность? Ты не понимаешь, что происходит? *(Горько смеется.)* Наших рыцарей уводят от нас закаты... акры нашей земли исчезают неизвестно куда, а с домов сыплется штукатурка... мы коснеем и покрываемся плесенью...

Санитар *(осторожно)*. Я вас не понимаю.

Медсестра. Нет, серьезно? *(Голос ее дрожит.)* Неужели не понимаешь? Почему? Так-таки не можешь сообразить?

Санитар *(сдержанно, но со злостью)*. Я надеюсь, что вам когда-нибудь надоест издеваться надо мной. Я надеюсь, что вы...

Медсестра. Подымись в палату номер двести шесть, сейчас же... подымись и скажи господину мэру, что, как только заживет его зад, мы с тобой придем к нему венчаться!

Санитар *(с отвращением)*. Право... вы слишком много себе позволяете...

Медсестра. Да? Слишком много? Ну так вот что я тебе скажу... мне все надоело! Надоело! Мне тошно жить в этом душном, засиженном мухами, глупом мире. Мне тошно от того, как устроена жизнь, от того, что все не так, как должно быть! Мне надоел этот стол, этот халат... у меня зудит от него кожа! Надоело говорить одно и то же по телефону в этой дурацкой, паршивой больнице... Надоел мне запах лизола... Я не могу тебя больше видеть! При одной мысли о тебе у меня начинает свербить во всем теле... Я устала от тебя, а еще больше устала от НЕГО... Мне тошно ложиться спать и тошно просыпаться по утрам... Я устала... устала от правды и устала лгать насчет правды... Я устала от собственной кожи... Я хочу бежать отсюда... БЕЖАТЬ ПОДАЛЬШЕ!..

Санитар *(короткая пауза)*. Может, вы пойдете в дежурку... приляжете? *(Идет к ней.)*

Медсестра. Не подходи ко мне!

Дверь распахивается, и врывается Джек. Он дрожит от волнения, от страха. На лице его свежий, чуть подсохший порез. Одежда в беспорядке, пиджак и брюки забрызганы грязью. Тяжело дыша, он делает несколько шагов и останавливается.

Медсестра. Эй! Куда лезешь?

Санитар. Что вам нужно?

Джек *(переводя дыхание, растерянно)*. А?..

Медсестра. Это еще что за новости — вломился в комнату, как бык! Ты в уме? *(Санитару.)* Поди посмотри, в чем дело.

Санитар *(подходит к нему)*. Что с вами?

Джек *(в полной растерянности)*. Со мной?..

Санитар. Нельзя же врываться сюда, даже не спросив, можно ли войти. Разве вы не знаете?..

Медсестра. Ты что, выпил?

Джек *(сбитый с толку таким неожиданным вопросом)*. Да, кажется... да, выпил перед дорогой... *(Взволнованно.)* У меня там... я привез женщину...

Медсестра. Ты не ори тут. Это больница для белых.

Санитар. Это верно, понимаете. Это частная больница... почти частная. Если вы проедете дальше... по городу...

Джек *(мотая головой)*. Нет!..

Медсестра. Да ты пойми, наконец, слушай меня: это почти частная больница... для белых... ты не имеешь права, сюда нельзя *(чуть колеблется, затем произносит без всякого, впрочем, ударения)*... черномазым.

Джек *(вызывающе)*. Да наплевать мне!..

Медсестра. Ну, знаешь ли!..

Входит Врач с двумя чашками кофе.

Санитар *(Джеку)*. Уходите... пожалуйста, уходите...

Врач. Что тут происходит?

Санитар. Я посоветовал ему проехать дальше, в город...

Врач. Помолчите. *(Джеку.)* В чем дело?

Джек. Прошу вас... ради бога... там женщина...

Медсестра. Сказано тебе: вам сюда нельзя.

Врач. Ну и что же с этой женщиной?

Джек. Она там, в машине... была авария... она в крови... у нее рука...

Врач *(секунду подумав, бросает взгляд на Медсестру и идет к двери)*. Сейчас посмотрим. *(Санитару.)* Пошли.

Санитар *(взглянув на Медсестру)*. Лучше бы ему проехать дальше...

Медсестра *(сузив глаза. Врачу)*. Вы не пойдете.

Врач *(не обращая на нее внимания, Санитару)*. Вы слышали, что я сказал? Пошли!

Медсестра. Не смейте! Не ходите!

Врач *(грустно и мягко)*. Радость моя... вы ведь хотели меня проучить. Вы собирались поговорить с мэром, чтобы меня вытолкали отсюда в шею? Или решили действовать через Вашингтон, чтобы меня выслали? На чем вы остановились?

Медсестра *(сквозь зубы)*. Не ходите туда.

Врач. Ну, что бы вы ни решили, не все ли равно, будет это теперь или в другой раз.

Врач и Санитар идут к двери.

Медсестра *(полугневно, полужалобно, им вслед)*. Не ходите! *(Они выходят.)* Я предупреждаю вас! Если вы выйдете за дверь... вам конец...

Джек идет через сцену к свободному стулу. Медсестра закуривает сигарету.

Я же говорила: я тебя проучу... ты меня попомнишь!... *(Джеку.)* Кажется, я тебе объяснила, что это — больница для белых.

Джек *(устало)*. Знаю, леди... вы говорили.

Медсестра *(не сводя глаз с двери)*. Неужели ты не можешь понять... и тебе будет беда... и другим тоже.

Джек *(вздыхает)*. Мне все равно.

Медсестра. Тебе будет не все равно!

Джек *(покачивая головой, тихо)*. Нет, мне уже все равно. *(Говорит скорее с самим собою, чем с ней.)* Мы ехали на север... даже не очень быстро... по-моему, совсем не быстро... хотя и спешили... мы выпили на дорогу... но, честное слово, мы ехали не слишком быстро...

Медсестра *(как бы рассеянно комментируя его слова)*. Пить перед дорогой... и еще ведь даже не стемнело...

Джек. ...навстречу машина... я ее не видел... они тоже не могли меня видеть... из-за поворота... и вдруг — быстро, с размаху... *(Он весь напрягается.)* Трах-х... *(обмякает)*... нас не выбросило, мы оба остались в машине... обе машины стояли на дороге, вверх тормашками... наш мотор еще работал. Я перевернул машину, дал газу... но дверца... правая дверца была вогнута внутрь. И все — больше никаких повреждений... а до того мы так славно ехали... смеялись... в машине было прохладно, а снаружи — жара... она высунула в окошко руку по плечо...

Медсестра. Напился перед дорогой... теперь будешь знать!..

Джек. ...и я сказал... я сказал: Бесси, мы столкнулись... тебя не ушибло? *(Лицо его искажается.)* Я посмотрел... смятая дверца втиснулась ей в правый бок, а рука... правая рука... БЕССИ! БЕССИ! *(Теперь Медсестре.)* О мэм, столько крови... она текла и текла...

Медсестра *(думая о своем)*. Как вода из крана?.. О, это ужасно...

Джек. И я не стал ждать... не узнал, что с теми... в другой машине... я дал газу... дал газу...

Медсестра *(настораживаясь)*. Ты уехал? Бросил ту, другую машину?

Джек. ...ее рука... по плечо, мэм...

Медсестра. Тебя, наверно, разыскивает полиция... ты знаешь это?

Джек. Да, мэм, наверно... но я помчался вперед... до ближайшей больницы была всего одна миля.

Медсестра. Ах, значит, ты ее уже возил куда-то? Ты уже был в больнице? Зачем же ты привез эту женщину сюда?

Джек. Да, я был в больнице. Я рассказал, что случилось... а мне ответили — сиди и жди... Поди туда, сядь и жди. ЖДАТЬ!.. Это была больница для белых, мэм.

Медсестра. Здесь тоже больница для белых.

Джек. Я сказал, что мы попали в аварию. Бесси тяжело ранена... ПОДОЖДЕШЬ! Сядь там и жди!.. Я сказал: мэм, это Бесси Смит, она тяжело ранена... А МНЕ НАПЛЕВАТЬ, КТО ТАМ У ТЕБЯ В МАШИНЕ... ПОДОЖДЕШЬ, ЧЕРНОМОРДЫЙ!.. Но разве можно было ждать... она в машине истекала кровью... Я поехал дальше. На дороге остановился, спросил, где больница, меня направили сюда.

Медсестра. Я знаю, кто такая Бесси Смит... я слышала, как она поет... *(Входят Врач и Санитар. Она резко меняет тон.)* Постой, ты же скрылся, бросив другую машину! Как тебя зовут? Я должна сообщить в полицию!

Врач подходит, пристально глядя на Джека.

Он удрал, бросив машину, с которой столкнулся... и он уже был в какой-то больнице. Я вас предупреждала, я говорила, чтобы вы не ввязывались...

Врач *(мягко)*. Помолчите. *(Подходит ближе к Джеку.)* Ответьте мне на один вопрос...

Медсестра. Я вас предупреждала! Вы меня не слушали...

Джек. Вы тоже хотите узнать мое имя, да?

Врач. Нет, я хочу узнать не это. *(Он сдерживает волнение.)* Скажите, когда вы привезли ее сюда...

Джек. Я привез ее сюда, потому что там не захотели ей помочь...

Врач. Понимаю. Но когда вы привезли эту женщину сюда...

Медсестра. Это не просто женщина, и не просто негритянка... это — Бесси Смит!

Врач. Когда вы везли ее сюда... когда вы везли сюда Бесси Смит, вы знали, что она уже мертва?

Медсестра. Мертва! Этот негр привез сюда покойницу?

Врач *(боясь ответа)*. Знали?..

Джек *(устало, поворачиваясь к двери)*. Да. Знал. Она умерла по пути сюда.

Медсестра. Куда ты? Куда ты идешь? Я сейчас позвоню в полицию!

Джек *(у двери)*. К ней. К Бесси.

Врач. ЗАЧЕМ ЖЕ ВЫ ЗВАЛИ ВРАЧА? ЗАЧЕМ Я ВАМ БЫЛ НУЖЕН? *(Джек останавливается на пороге, тупо глядит на него и захлопывает за собою дверь.)* ЧЕМ Я ВАМ МОГ ПОМОЧЬ?

Медсестра. Может... может, он думал, что вы сумеете ее оживить... Великий Белый Доктор! *(Истерически смеется.)* Великий Белый Доктор!.. Куда же вы теперь денетесь, Великий Белый Доктор? Вы — конченый человек, понимаете? Мертвая Бесси Смит была вашей последней пациенткой! Негритянка.. которая так чудесно пела... И теперь вас отсюда вышвырнут, вышвырнут!.. Она пела... я тоже пою, я очень хорошо пою, хотите послушать?

Она начинает петь и в то же время смеяться. Поет она пронзительно, почти без всякой мелодии, а смех больше похож на плач.

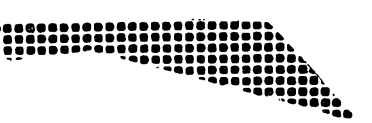
Врач. Перестаньте! ПЕРЕСТАНЬТЕ!

Но она не может перестать. Он бьет ее по щеке. Пауза. Она застывает, приложив руку к щеке. Врач идет к двери.

Санитар *(прижавшись спиной к стене)*. Никогда о таком не слыхал... Привезти мертвую!.. О чем только люди думают!

Врач выходит за дверь. Постепенно на сцене гемнеет, сзади разгорается закат. Музыка.

Занавес



НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РОМАНА

Ленинградская встреча писателей, о которой мы подробно рассказали в № 11 «Иностранной литературы» за 1963 год, продолжает до сих пор привлекать внимание мировой общественности. В газетах и журналах самых разных стран появилось много откликов на эту встречу; диалог, начатый в Ленинграде, продолжается на страницах печати.

Журнал «Иностранная литература» обратился к ряду писателей (как Европы, так и стран других континентов) с предложением, продолжая ленинградскую дискуссию, высказать на страницах журнала свое мнение о настоящем и будущем романа. Сегодня мы печатаем ответы, поступившие в редакцию. Читатель заметит, что при всех различиях во взглядах участники этой заочной дискуссии за нашим «круглым столом», рассказывая о своем опыте, исходят из утверждения огромных возможностей реалистического романа для познания современности, его жизненности, его нового расцвета.

В ближайшее время мы предполагаем продолжить обсуждение проблем романа, этого ведущего жанра современной литературы.

ЭУДЖЕН БАРБУ *(Румыния)*

КУДА ИДЕТ РОМАН?

Я не теоретик и не претендую на то, чтобы сказать нечто оригинальное о романе в этих немногих строках, предназначенных для открытого вашим журналом интересного обсуждения. Я родился после первой мировой войны и унаследовал, как читатель, рационалистическую прозу конца XIX — начала XX веков.

В романе причудливо смешиваются национальные и социальные проблемы и в них можно запутаться, если не найдешь в каждом произведении объединяющий момент, а именно — попытку всех авторов пролить свет на тайную жизнь личности, стремление определить ее, выявить то, что в ней есть благородного или низкого. Начиная с 14 лет, когда я уже давно покинул Карла Мая и Агату Кристи и вступил в царство Бальзака и Толстого, я все время задаюсь вопросом: в чем состоит основная особенность романа? Что такое роман и почему он захватывает читателя, завоевывает людские сердца со времен своего возникновения и до наших дней, когда его отрицают, хоронят, ненавидят, высмеивают и кое-кто от всего сердца желает ему гибели?

Я постараюсь как можно реже прибегать к именам, забросать именами — дело нехитрое, но мне очень хочется, чтобы эти строки звучали как признание, ибо я пытаюсь здесь уяснить себе некоторые свои давние мысли.

В молодости меня искушал роман проблемный; возможно, это покажется странным, но отсутствие жизненного опыта всегда толкает к мечтам о том, что ты хотел бы сделать, а не к исследованию того, что ты уже сделал. Между пятнадцатью и двадцатью годами я прочел множество разных сообщений о войне и описаний боев, происходивших в разных пунктах земного шара.

Какой юноша не грезит, будто он на подводной лодке пересекает Атлантический океан и способствует потоплению неведомого вражеского судна? А в это время романы Ремарка говорили о вшах, о демагогии политиканов и милитаристов, и противоречие между прославлением войны и жестокой реальностью заставляло меня стремиться узнать истинное лицо жизни. Но в восемнадцать лет чаще приходится изучать латынь и квантовую теорию, чем постигать стратегию и историю битв всех эпох. К несчастью, воспитание, повсюду называемое патриотическим, превозносило генералов и великих военачальников, вызывая у молодежи желание умереть во имя какого-то дела. Факт сам по себе прекрасный, но кто тогда отличал дела справедливые от несправедливых?

Под нашими партами появился Ницше. В 1936 году мы, европейцы, услышали размеренный пульс бога войны. В Испании стояли лицом к лицу две вооруженные силы, и вот вновь надо всеми нами летит пугающее крыло смерти. Прошло немного времени, и мы услышали сирены воздушной тревоги. Как будущий романист, я не мог уже верить, что смогу писать в духе Уэллса.

У нас в это время имели успех произведения одного романиста, светского человека, адвоката и шармёра. Издания его книг расходились мгновенно, и румынские школьницы подражали его героям с усердием, достойным лучшего применения. У нас были крупные писатели, разоблачавшие гнилость политиканства и коррупцию буржуазного государственного аппарата, но читатель искал дурманящего средства и требовал дюжинной литературы (за исключением, конечно, всегда существующей серьезной публики).

Действительность военных лет разбивала, одну за другой, все выдумки, весь обман, которым нас питали. Возникла властная необходимость протестовать, любой ценой сказать правду. То настроение, которое позднее в Америке и в Англии получило название «битничества» или «сердитых», в Румынии существовало еще в 1942 году! Появилась жажда говорить правду о лжи религии, о лицемерии парадного патриотизма, о несчастье быть ввергнутым в войну, к которой стремились лишь безумцы. Вот когда родилась мысль, что роман всегда должен быть исповедью, личным рассказом о том, что пережил и понял автор.

Я сознаю, сколько протестов может вызвать это утверждение, но остаюсь убежденным в том, что писатель обязан заставить людей понимать смысл их жизни и что любая попытка дать лабораторным способом синтез воображаемой жизни с самого начала несет на себе печать надуманности и, следовательно, является нехудожественной и неправдоподобной.

Я читал и, надо думать, еще долго мне предстоит читать о смерти романа, о том, что логически развивающееся действие навевает скуку, о необходимости восстать против логики романа, об автономии персонажей (в которую частично я верю) и еще многое и многое. Я не консерватор и не стану рекомендовать молодым писателям во веки веков писать так, как писал, например, Диккенс (достойный автор), не буду отрицать, что с течением времени выяснилось, что у Стендаля есть пресные страницы (но сколько мастерства в стиле и в композиции!), не умираю больше от любви к Бальзаку и, скажу откровенно, Хаксли, столь модный во времена моей юности, заставляет меня зевать! Я не стал бы даже описывать битву в манере Толстого (но какое величие в описании батальных сцен, какое знание военной жизни!); одним словом — возьмем у каждого то, что у него есть самого лучшего, и воздвигнем как можно более высокий монумент! Но отсюда до отрицания того, что сказал величайший гений о человеческой жизни, отсюда до требования дать вещам говорить вместо людей расстояние, как от неба до земли! Сознаюсь, что психоанализ (то есть измышления о человеческой душе, отправляющиеся от интуиции, а чаще всего — от скудного личного опыта) мне кажется отсталым, хотя Достоевский мне всегда импонирует и я снова обретаю себя в нем.

Вам это покажется преувеличением, но отец современного романа Чехов (рассказы которого на самом деле являются концентрированными романами) — мой самый замечательный друг, когда речь идет о духовной пище, и я так легко угадываю его влияние в произведениях популярных американских писателей. Этот факт делает меня оптимистом: пока будут существовать эти тонкие, полные юмора свидетельства о людях, карающая проза, ирония которой злее кнута,— роман вне опасности, хотя все эпохи и все жанры имели своих самозванцев.

Вот в живописи «жанр кастрюль» в совокупности со старыми мешками и тряпками

уже одной ногой в могиле. Вскоре система живописания ослиным хвостом и распылителем краски тоже скончается. После этого наступит очередь иррациональной дисгармоничной музыки, которую, как предполагают ее авторы, предпочтет человек будущего; эти композиторы горько обманываются, потому что душа не может обойтись без песни. И не за горами падение литературы пустяка, абсурдного анализа мыслей, одолевающих пьяного. Тот, кто полагает, будто можно рассчитывать на долговечность прозы, рожденной под знаком нищеты духа, ошибается. Я верю в роман, в его будущее, как верю в разум, который всегда будет править жизнью человечества.

Каким будет роман? Трудно сказать. Возможно, он будет представлять собой сочетание поэзии с философией, во всяком случае это будет непрестанное прославление того, что в человеке прекрасно, и яростный памфлет против всего, что стремится низвести его до уровня животного. Литература страха, паранойи, порожденной боязнью будущего, в котором станет невозможным неравенство, уже на исходе. Как бы ни было соблазнительно писать о душевных страданиях, об отсутствии веры в честь и закон, роман будущего все же стоит под знаком аполлоновского начала. Если бы мы не верили в это, нам надо было бы найти себе другую профессию.

МОНГО БЕТИ *(Камерун)*

РОМАН И АФРИКА

НОВЫЙ РОМАН И ДРУГИЕ...

Во Франции, где я живу сейчас, в моде «новый роман»: Ален Роб-Грийе и его друзья заполняют газеты статьями, которые похожи на литературные манифесты. По-видимому, это волнует Западную Европу и отражает состояние умов молодых романистов континента. Они устали от косности и шаблонов, порожденных жанром, агонизирующим с тех пор, как Бальзак, Флобер, Золя, Пруст (если называть только самых знаменитых французских романистов), по мнению некоторых, исчерпали его первичную субстанцию. Признаюсь, я не пытался вникать в эти дискуссии отнюдь не из каких-либо обскурантистских соображений, а потому только, что не понимал как следует предмета обсуждения, пока мне совсем недавно не попалась на глаза статья молодого испанского романиста, живущего в эмиграции,— Хуана Гойтисоло. Он разоблачил философские основы, на которых вольно или невольно строится эстетика «нового романа». Если я правильно понял, причиной возникновения «нового романа» (как, впрочем, всегда бывает в искусстве) явилась жажда подлинности, а она, естественно, толкает к стремлению взорвать тесные рамки нашей повседневной жизни, капкан условностей, духовную рутину и все то, что душит человека, отрезая его от истинной реальности; под ней подразумевается, как я думаю, первичное ощущение, неповторимое мгновение, в котором, как две антагонистические крайности, сталкиваются, с одной стороны, чувственное восприятие и, с другой — реальный мир. Момент, как говорят, ослепительный, искрящийся и главное — чистый. Иными словами, таким должно было быть для первого человека (если предположить, что он не произошел постепенно от обезьяны) впечатление от его первой утренней зари. Оно совершенно противоположно опосредствованному восприятию, надуманному, поддельному, извращенному влиянием наших самых суетных потребностей, тех, которые удовлетворяет парализующая рационалистичность, а не глубоких и смутных ощущений, порожденных нашими инстинктами. Итак, смерть восприятию, извращенному рассудком!

Не затрудняя себя изложением всей теории «нового романа», Хуан Гойтисоло останавливается главным образом (и я думаю, не без оснований) на ее враждебности разуму, организующему мир,— этой основе реалистического видения мира и реалистической эстетики (разумеется, в самом широком смысле слова) и, в частности, романа. Подчеркивая, что мираж первичного ощущения может завлечь в мир вымысла, в бред, он тем не менее признает, что, строго говоря, в стране столь большой творческой свободы и неистовости исканий, например во Франции, такое направление, даже несмотря на некоторые нелепости, может привести читателя и автора к определенной степени подлинности. Но верно ли это в отношении какой-либо другой страны — Испании, например? (И он мог бы добавить — Африки.) Как сопротивляться назойливой пропаганде, как срывать всяческие

маски, которые теперь в таком ходу, как выводить на чистую воду ложь, если не мобилизовать разум на службу правде, то есть в конечном счете — на службу подлинности? Вот человек, умирающий от голода или под пыткой; что подлинно — недосказанные и «удивительные» ощущения, которые он испытывает в этом положении, или его сознание, что он умирает от голода или под пыткой?

В Испании, заключает Гойтисоло (и он мог бы добавить — в Африке), подлинным и даже революционным (а это значит — новым) является реализм, дитя разума. Надо видеть, с какой жадностью публика, задыхающаяся в атмосфере «морального порядка» этого режима, расхватывает некоторые романы (ибо они все-таки время от времени появляются), авторы которых изображают действительность реалистически и осмеливаются показывать всесилие феодалов, нищету народа, а также то, как его оболванивают, искусно используя для этой цели суеверия! К тому же реализм свирепо подавляется режимом, который вместе с тем всячески поощряет произведения, уводящие от жизни, от реальности.

Как африканец, я добавлю: все, что подвергает сомнению рационалистический взгляд на человека как центр вселенной, до сегодняшнего дня являющийся единственной опорой в борьбе против угнетения, физической нищеты, невежества, несет в себе угрозу регресса. Позиция агностицизма и отказ от разума могут быть приемлемы только в обществе, которое само считает себя обществом изобилия; для нас они могут быть только средствами одурачивания, так как на нашем пути еще громоздится чудовищная коалиция всех сил зла, и мы сейчас больше чем когда-либо должны становиться под знамена разума — самой благородной человеческой способности, единственной, которая может нас спасти.

ИСПОВЕДЬ СЫНА ВЕКА

Следует ли из этого, что мы очень далеки сейчас от проблем романа? Вовсе нет. Я хотел прежде всего показать частный, случайный характер сомнений, колебаний, пусть очень искренних, которым неправомерно придается всеобщий, мировой характер. Европа переживает кризис романа; но, по моему скромному мнению, это временные затруднения, и они, вероятно, являются следствием нового кризиса европейского сознания, что вовсе не означает обязательности кризиса мирового сознания. Пройдя через этот кризис, европеец вновь откроет возможности того великолепного инструмента, какой он изобрел и назвал романом.

Известно, что когда в Северном полушарии зима, в Южном — лето, когда в одном осень, в другом — весна. Разочаровавшись в романе, европеец становится похож на того французского крестьянина, который, закончив пахоту, жалуется, что для новых работ плуг уже не годится, и, решив его переделать, рискует изуродовать его. А в это время идет за плугом аргентинский крестьянин, совершая самую прекрасную работу земледельца: прокладывает горячие и прямые борозды, так как для этого пришел срок.

Любая теория романа всегда казалась мне интересной и в то же время неверной. Она интересует меня постольку, поскольку я, так же как и все, хочу познакомиться с открытиями других; неверной она мне кажется потому, что любое открытие других в этой области, даже если я хочу его присвоить, бежит от меня, как от враждебного незнакомца,— так чураются вас дети, воспитанные на стороне. В конечном счете если я хочу быть убедительным, то я не мог бы сделать ничего лучшего, как рассказать о моем собственном жизненном опыте, прибегнуть к своего рода исповеди, чтобы извлечь из этого урок.

В 1960 году я был приглашен выступить в Тунисе перед членами культурной ассоциации, состоявшей большей частью из интеллигенции. Я обстоятельно документировал свой доклад о современном положении африканского романа (как если бы речь шла о положении какого-либо коммерческого предприятия), затем постарался показать, что нового принесли с собой в литературу негритянские романисты: не только, говорил я, участие негров в качестве действующих лиц в тех драмах, какие развертываются в Африке (что уже не так плохо, поскольку это первый шаг); что касается мировоззрения, то они совершили радикальную перестановку в иерархии ценностей — открыли мир, в котором негр выступает уже не просто на выходных ролях или как статист (чистильщик сапог, танцор с трещотками, гарсон в кафе, слуга, резальщик сахарного тростника), но и в главной роли, как главное действующее лицо. Под конец я не без удовлетворения отметил, что за-

падный буржуа, которому был выгоден прежний порядок вещей, теперь, с нашей помощью, погружен в бездну ужаса. Каково же было мое разочарование, когда после моего выступления тунисский профессор, председательствовавший на собрании, дружески (о, очень дружески!) обратился ко мне: «Прекрасно! Но лучше было бы, если бы вы сказали нам — радость или муку, гнев или стыд, трудность или легкость испытываете вы, когда рядите ваши мысли, чувства ваших персонажей и вашу страну в одежды, сотканные из французских слов, из французской мысли; ведь в конце концов французский язык не был для вас родным языком, и в вашей душе должно происходить нечто удивительное, когда она подвергается подобной трансформации». То есть они хотели познакомиться не столько с африканской литературой — и даже не с тем, что я пишу,— сколько со мной. Это было, конечно, очень мило с их стороны. Но они требовали от меня слишком многого. Я не могу ни заниматься психоанализом по отношению к самому себе, ни стать «Юной паркой» Валери, в уста которой поэт вложил слова: «Я смотрела на себя и видела, что смотрю на себя».

Если меня попросят назвать моих учителей, которым я обязан тем, что стал именно таким, каков я есть,— это доставит мне большую радость. Мои учителя — французские философы XVIII века, те, кого недоброжелатели называли партией энциклопедистов, и в моем духовном развитии повторилось чудо, которое они совершали при жизни. Они укротили хаос моего интеллекта подобно тому, как некогда подчинили себе сумрачную эпоху и направили ее бурное течение к солнечным долинам прогресса, оставив далеко позади все животное и дикое. Они совершили этот переворот, вооруженные одним лишь человеческим разумом, опьяненные своим колоссальным, только что открытым могуществом. Такими они казались мне в молодости. Они научили меня тому, что разум — это не просто школярское умствование, бесплодная потребность схватывать связь явлений, но в гораздо большей мере — применение высших способностей человека для того, чтобы разрушить фатальность, сломать рутину, положить конец надругательствам, короче — для того, чтобы освободиться и, насколько это возможно, стать хозяином своей судьбы.

В детстве я постоянно находился под уродливым воздействием суеверий, обступавших меня тесным кольцом, словно проклятие. Обряды, ритуальные танцы, заклинания, от которых зависело, как говорили, спасение племени и даже наша личная судьба... Меня очень рано определили в школу, так как она была совсем рядом — у католических миссионеров, чьи испытанные методы и бесконечная благочестивость не мешали им давать воспитанникам солидное образование в начальной школе и еще лучшее — в средней. В моей интеллектуальной одиссее больше всего мне запомнилось то, что благодаря им французский язык очень рано и очень быстро стал моим родным языком. Тем не менее вскоре я был изгнан миссионерами за неспособность, как они говорили, подчиняться дисциплине. Так что французский XVIII век, Вольтера и, особенно, Дидро я открыл уже в гражданском лицее — в то время единственном в Камеруне.

Между тем, поскольку временем для сравнений я, во всяком случае, располагал, я начал понимать, что хотя традиционные верования распространялись все шире (вследствие возрастающего хаоса, а также наперекор влиянию европейских религий), наша участь ухудшалась с каждым днем. Я представлял себе бюллетень о состоянии здоровья моей страны, на котором лихорадочный рост температуры выражался головокружительной кривой; роковая грань стремительно приближалась. Я смутно предвидел, что под влиянием скорее разлагающего, чем разрушительного, воздействия колонизации от нашего племени и от нас самих скоро мало что останется. Я спрашивал себя, не попало ли мое племя в безвыходное положение? Мое желание уцелеть во всеобщей катастрофе становилось, таким образом, еще более безудержным.

Это ощущение угрожающей мне духовной и моральной опасности стало еще сильнее после смерти отца. Мне казалось, что я обезоружен, более наг и беззащитен, чем земляной червь, и все вокруг меня — лишь отчаяние, разрушение, плач, смятение. А циклон продолжал свирепствовать.

Это было во время войны, и племена Южного Камеруна сгибались под тяжестью режима каторжного труда. Сначала для строительства дорог, потом для выполнения других общественно полезных работ и, наконец, просто в угоду колониальным предприятиям администрация добывала почти рабскую рабочую силу с помощью облав на

мужское население деревень. Я как сейчас вижу группу людей в военной форме, которые с быстротой молнии и с громовым шумом набрасываются на нас. Застигнутые врасплох, мужчины выбегали из хижин, пытаясь скрыться в ближнем лесу. Вот два солдата хватают одного из них; после короткой схватки они бросают его на землю и осыпают ударами прикладов. Человек хрипит, как в агонии, а солдаты, наступив на него ногами, обутыми в грубые башмаки, выворачивают ему руки и наконец связывают его. Теперь он может подняться: ему, оглушенному ударами, почти задохнувшемуся, наполовину парализованному, уже не удастся ускользнуть от своих палачей.

Сколько раз мне приходилось встречать на дорогах этот растянувшийся вереницей рабочий скот! До двенадцати или тринадцати лет я не видел никаких других зрелищ — кино, цирка, карнавала,— кроме этих привычных шествий, трагических картин бытия изнемогающего народа. Напрасно я старался заметить на этих отупевших лицах и услышать в речах этих людей, не способных подняться над своим животным состоянием, намек на надежду, я хочу сказать — признаки возмущения. Таковы приметы рабства. Никакая организация, никакая система не могут полностью оградить человека от физического страдания. Но человеческая личность должна обладать резервами моральной стойкости, которые помогут ей выдержать черные дни несчастья. И несостоятельна та цивилизация, та культура, которая не обеспечивает человека этими резервами. Повторяю: приниженность — главная примета рабства и тяжелейшее из бедствий.

Мне вспоминаются вооруженные охранники, которые время от времени великодушно разрешали процессии остановиться; пленники крестились, начинали христианскую молитву и, побормотав несколько мгновений, крестились снова; потом процессия опять отправлялась в путь. Оставшиеся в своих жилищах точно так же совершали обряды, робко вымаливая себе спасение традиционными заклинаниями.

В этих условиях я мог рассчитывать только на самого себя. Надо было что-то предпринять. Чего не сделает человек, который хочет любой ценой уцелеть? Долгое время я ограничивался тем, что держался на поверхности, не позволяя волнам поглотить меня. Если я захлебывался в царившем вокруг меня всеобщем молчании, то на следующий день находил моральную поддержку в чтении. Выдержать, выдержать, выдержать! Не уступать голосам сирен родного племени и колонизаторов. Первый нашептывал мне: «Зачем? Примирись и жди... Может быть, однажды, кто знает, ведь есть Провидение...» Другой приказывал: «Сдавайся, подчинись! Восставать? Абсурдно. Из века в век твои соплеменники не знали другого пути, кроме цепей и рабства...»

Выдержать, пока энциклопедисты не бросят мне канат и не подтянут меня к себе, и тогда начнется мое ученичество, которое пойдет очень быстро.

И вот я владею тайной огромной важности и, конечно, спешу как можно скорее открыть ее моим соплеменникам, сказать им: «К черту все амулеты и гри-гри, коленопреклонения и всякие «аве мария»! К черту прошлое! К черту проклятие Хама — миф, придуманный садистом! Наше спасение теперь обеспечено. Слушайте меня...» Время казалось мне исключительно благоприятным для такого переворота: повсюду виднелись первые симптомы того, что нельзя было назвать иначе, как пробуждением: подземные удары, толчки, время от времени — глухие раскаты грома. Народ пробуждается от тысячелетнего сна; и вскоре, поднявшись, он будет вглядываться в горизонт, ожидая восхода солнца, и, быть может, заметит путеводную звезду своей земли обетованной.

РАДОВАТЬСЯ ИЛИ ОТЧАИВАТЬСЯ?

Зачем скрывать от себя, что именно такими мы были до сих пор? (Когда я говорю «мы», я думаю о первом поколении африканских романистов. Но разве я не принял твердого решения говорить только от своего имени?) Я казался себе пророком без слушателей, чародеем без учеников. В конце концов это положение стало представляться мне таким нетерпимым, что я решил просто-напросто положить ему конец. Есть люди, которые увидели в этом повод для того, чтобы обвинить меня в дезертирстве. Может быть, им больше понравилось бы, если бы я сдался врагу? Или принес бы бесцельную жертву? Так или иначе, это уже совсем другая тема.

Но вернемся к тому, о чем я начал рассказывать. Как я уже показал, первопри-

чиной были не теории, не стремление к эстетическому идеалу, не какая-либо предвзятая идея, но, напротив, порыв, вызванный самой жизнью, почти отчаянная попытка бежать, вырваться ради моего спасения из стен града, чью душу и тело захлестнул потоп. И только после того, как я остановился, чтобы перевести дыхание, и бросил взгляд на пройденный мною путь, я понял, что отныне я в безопасности. Может быть, я и спрашивал себя, было ли мое бегство прекрасным или отвратительным, спрашивал с улыбкой, посмеиваясь над собой,— как вспоминают обычно о миновавшей опасности.

Существование чисто эстетических требований к роману и представление о нем, как о произведении искусства, я открыл только тогда, когда с головой ушел в работу романиста.

Посмотрим, есть ли в этой истории другая мораль.

Народ колоний в момент своего пробуждения ни в какой мере не является аудиторией, расположенной к чтению романов, точнее, он может быть всем, чем угодно, только не ею. В Черной Африке народ большей частью не имеет национального языка, а если этот язык и есть, то без коренного преобразования на нем нельзя создать ничего, кроме импровизаций и легенд. Я стремился стать не бардом своего племени (если у меня вообще было точное представление о назначении моей деятельности), но скорее голосом и совестью Африки, которую я люблю, Африки сегодняшнего или, вернее, завтрашнего дня.

Я начал писать по-французски — на языке наших колонизаторов — совершенно естественно. Прежде всего, разве я не был студентом на факультете «метрополии», как тогда говорили без всякой иронии? Разве там не обращались со мной почти как с незаконным сыном, удостоенным признания? И разве не вдохновляла и не ободряла меня благородная когорта, которой не было в Содоме и Гоморре,— когорта справедливых, она не может не заботиться о чистой совести общества, а позже будет содействовать его оправданию перед судом истории.

Первые африканские романы на французском языке появляются в Париже начиная с 1953 года; их создали очень молодые люди (всем им было меньше 30 лет) — они или учились, или жили вне университетов, в той неопределенной социальной среде, которая была раньше характерна для иностранных студентов, людей поневоле сторонних и немного безответственных — излюбленная добыча богемы и даже постыдных пороков.

Так или иначе, факты говорят сами за себя, не правда ли? Самый первый и самый удручающий из фактов: мои романы читали (если их читали) в Европе и совсем не читали в Африке. Второй, решающий факт состоит в том, что даже в Европе недолгий приступ любопытства вскоре сменился безразличием, затем подозрительностью, и наконец, как говорилось выше, я принял решение — раз и навсегда отказаться от положения, которое слишком выдвигало меня вперед, тем более что я чувствовал, как приближается день, когда, проснувшись, я увижу топор войны, воткнутый перед моей дверью,— если предположить, что враг будет достаточно великодушным и предупредит меня о своем нападении.

А ТЕПЕРЬ?

Конечно, отчаиваться никогда не надо. (Теперь я говорю для других — для последующей волны африканских романистов.) Рассмотрим сначала существующее положение вещей со всей прямотой и попробуем проанализировать его.

Передо мной встают вопросы, прежде всего технические и экономические (я начинаю с самого простого), более или менее связанные с общей проблемой освобождения колониальной страны: к примеру, ни в одной стране Черной Африки нет сейчас ни хорошей типографии, ни настоящего издательства. То есть зависимость нашей культурной деятельности, которая и так уже в долгу перед европейскими языками, из-за технико-экономической скудости еще более возрастает, и благодаря этому малейшая деталь культурного обихода становится слишком дорогой для среднего гражданина, и без того слишком бедного.

Еще важнее политическая зависимость. Для многих наших стран характерна какая-то непонятная косность, из-за которой романистам отказывают в той свободе, в самом широком ее понимании, какая необходима им для творческой работы. И пусть это парадоксально, но если они чувствуют потребность высказать (в форме романа) все, что у них наболело, то они часто дол-

жны искать убежище в странах Европы. Когда будет найден выход и из этого положения (а ведь совершенно необходимо, чтобы однажды это произошло), наступит прекрасная жизнь, не правда ли? Можно будет наконец начать решение настоящих проблем, и вот их далеко не полный перечень.

1. Возможен ли роман на континенте, где нет читательской аудитории (из-за отсутствия национального языка или по причине всеобщей неграмотности)?

2. Вместо того чтобы упорствовать в попытках создания романа, результаты которых могут быть весьма сомнительны, не обратиться ли к жанру, более доступному для нашей аудитории: например, к короткой поэме, где ее привлечет изобилие образов и символов — ведь они облегчают переход от сумеречности, еще омрачающей интеллектуальный кругозор нашей аудитории, к яркому блеску современного солнца, лишь одним из отблесков которого является роман?

3. А если роман возможен, на каком языке писать? Каким бы ни было решение, оно будет источником многих затруднений: пытаться ли описать современный мир — с его чувствами, с его техникой, с его все более новыми и сложными связями,— с помощью местных наречий или, наоборот, попытаться подогнать дух европейских языков к образу мыслей старой Африки? Но ни одно из этих решений немыслимо без преобразования местных языков.

Даже если все эти вопросы долгое время будут оставаться нерешенными, каждый со своей стороны должен совершать безвестные индивидуальные попытки, которые могут в конце концов оказаться ценными, а может быть, даже гениальными, хотя и будут в чем-то случайными, в чем-то неоправданными, как это бывает с каждым начинанием, которое не поддерживается коллективным порывом. Роман, создаваемый изгнанниками, может быть, и существует; в роман без родины, без гражданства я не верю.

Если мне позволят извлечь урок из того, что я сам пережил, то вот он: тем или иным способом, больше, чем в какой-либо другой форме искусства, роман требует как необходимого условия обращения автора к «своему» читателю и его отклика, другими словами — обоюдной связи, диалога, который невозможно передать одними только словами: он как бы пронизан соединительной тканью, особой плотью, сделавшейся нашим достоянием или задуманной в единстве с нами, сотканной из исторического родства или из стремления вместе строить свободное и счастливое будущее.

АНТАЛ ГИДАШ *(Венгрия)*

МОЙ ОТВЕТ

«Общество в тупике — и пора социальных романов прошла. Когда снаружи тьма — светильник зажигают внутри».

Подобные взгляды возникали уже и во второй половине XIX века, когда рабочий класс впервые всерьез поставил под сомнение незыблемость буржуазного строя.

Стало быть, такие взгляды и не удивительны, и не новы. Удивительно, скорее, другое — что все еще находятся люди, считающие их откровением.

В дни социальных бурь, как и вообще в бурю, люди ведут себя двояко (я беру, разумеется, крайние случаи, между которыми есть еще и бесчисленные переходы и оттенки). Один ищет выхода вместе с товарищами, другой, помня только о самом себе, бросает всех на произвол судьбы и пытается спастись в одиночку, не забывая, правда, сочинить тут же и теорию в свое оправдание. Так, например, иные современные художники уверяют, будто искусству нет смысла заниматься устаревшими общественными проблемами, над которыми явно взяли верх вопросы личного существования. Стало быть, вопросы этические важнее социальных — а дальше уже прямой путь к различным видам богоискательства.

Конечно, все это старо, вернее сказать, уже бывало, хотя и каждый раз по-новому проявляется в кризисные времена.

Где-то по такому руслу идет, по-моему, и спор о современном романе. Лично я воспринимаю его вовсе не как дискуссию о жанровой проблеме — тогда она меня совсем не занимала бы,— а как очередную вспышку, пусть даже на специфически литературной основе, очень давнего спора (люди ведут его уже тысячелетия), спора о материализме и идеализме, спора о том,

где она, та самая архимедова точка, опершись на которую можно познать, понять и перевернуть мир, чтобы люди зажили наконец по-человечески.

И в том, что снова возникает такой спор, я не вижу ничего дурного, это значит, что писателям самых разных убеждений и направлений захотелось поговорить друг с другом, это значит, что писателям разных стран есть что друг другу сказать. И как бы страстно ни велся спор — он все равно есть поиск контактов. А стало быть, давайте в спорах устанавливать контакты между художниками разных стран.

Непросто, конечно, романисту, только недавно передавшему в руки читателей два увесистых романа, отвечать на вопрос о том, что он думает вообще о судьбе романа, о том, «быть ему или не быть». Ответ он дал уже, собственно, тем, что написал эти романы, а также и тем, что думает и в дальнейшем в форме широких лиро-эпических полотен высказывать свои раздумья о жизни, изображать то, что показалось наиболее примечательным и важным в ней. А почему возникает стремление к такой форме? Да потому, очевидно, что уж очень хочется установить какие-то широкие взаимосвязи в развитии общества, самому разобраться в них и людям что-то подсказать. Ведь так же страстно стремятся иные ученые нашего времени познать макромир... И все это ради человека! Разумеется, у художника роман никак не отделен от микромира человеческого существа.

Конечно, когда говоришь о форме, то никогда не знаешь заранее, во что она выльется: художнику ведь очень редко удается осуществить сполна свою мечту. Мечта и ее воплощение — это и есть самое мучительное. Мне думается, что в настоящем смысле к этому и сводятся поиски формы... Донести до людей то, что ты хочешь сказать, да так, чтобы они поняли тебя, чтобы ты оказал на них влияние,— тут как раз и нужны самые доходчивые, а стало быть, и самые современные слова, современные образы, самый современный ход мыслей. Нужно так проникнуться чувствами и мыслями твоих лучших современников, чтобы они, прочитав написанное тобой, воскликнули: «Это наше, это наше!» Мало того, хочется еще, чтобы созданное тобой было не пассивным отражением окружающего, но активно призывало к изменению нашей, пока еще очень трудной для людей жизни.

Непримиримость ко злу, мятежность, иначе, современней выражаясь, революционность всегда были свойственны художникам демократическим, связанным с восходящими народными движениями. Эти художники чувствовали себя заодно с широкими массами, а иногда, как, например, Шандор Петёфи, оказывались во главе масс, идущих завоевывать свои права.

Совсем иное дело у художников, так или иначе связанных с уходящими со сцены истории классами. Они — художники, а поэтому — сверхчувствительные инструменты и очень часто склонны видеть в гибели существующего строя гибель вселенной; охваченные ужасом, они стремятся уйти в себя, не желая больше мыслить о судьбах людей и общества или мысля так, будто им все равно суждено погибнуть. Тогда-то их душами и овладевает хаос, тогда-то и приходят они к иррационализму и подменяют осмысление жизни беспорядочным «потоком сознания», усматривая в одних ущербных явлениях суть жизненных процессов.

Таких художников, подчас даровитых, очень жаль. Они растерялись перед сложными, трагическими и героическими событиями своего времени и оторвались от проблем, важных для человечества. (Отсюда и чувство безысходности и упорное утверждение его права на существование).

Ведь трудовое человечество никак не может «уйти от себя», как не может и земледелец отвернуться от земли — пусть с ней связаны тысячи трудностей: он должен сеять и пахать, иначе хлеба не будет, жизни не будет. Думаю, что этим и доказывает он свою нравственность в гораздо большей степени, чем те, кто, «уходя в себя», бесконечно рассуждают о нравственности, правда, чаще всего идя от обратного: изображая безнравственность. При этом они усматривают в ней какой-то биологический детерминизм, примиряются с ней, а на деле без конца пропагандируют ее в романах, рассказах и кинофильмах.

Изучив эту безнравственность до тонкости — не дай бог что-нибудь пропустить!— разделив ее на роды и виды, они составляют чуть ли не таблицу патологических извращений болезненных субъектов и способов развлечений здоровых распутных бездельников, неизбежно выражая всю безысходность их мироощущения, распространяя ее, как вирусы, по миру.

Человечество живет, борется, надеется. Оно очень занято делом. И некогда ему, да

и нет ни охоты, ни оснований сосредоточиваться на всякой патологии, которой с такой страстью и любовной заинтересованностью занимаются некоторые художники нашего времени.

Никто не говорит, что нужно пренебрегать психологией людей, всем многообразием чувств — без этого не существует искусства. (Кстати сказать, не грех задуматься и в этом плане об абстракционизме.)

Никто не утверждает, что следует пренебречь трагическими чувствами, ведь не так-то просто жить в нашу эпоху. Людям нашего времени есть о чем горевать, когда, скажем, на нашем полушарии почти нет семьи, в которой кто-нибудь не погиб бы на войне или в лагерях смерти. Людям нашего времени есть чего бояться, когда над миром нависает угроза термоядерной катастрофы, которая, кстати сказать, предотвращается вовсе не с помощью насаждения страха, а с помощью развития сознательности и гуманных чувств у людей.

Все это так! И тем ответственней задача художников, обязанных не столько фиксировать ужас — а потом трагически, стоически или цинично опускать руки перед ним,— сколько пробуждать в людях добрые чувства, ставить перед ними идеалы, утверждать право на жизнь героической личности, способной на подвиг во имя добра, а не болезненно искривленных, слабых, эгоистичных людей.

Все равно ведь не они будут решать судьбу человечества!

Никто не говорит, что так просто осмысливать события нашей эпохи, эпохи крушения империализма и победы пролетарских революций, эпохи социализма, национально-освободительных революций и эпохи величайшего в истории технического переворота, увы, во многих странах опередившего развитие сознания людей.

Нельзя же забывать, что освобожденная атомная энергия, давшая существеннейший толчок этому перевороту, попала в руки отдельных групп людей и государств, прежде чем гуманная техника социализма смогла обезопасить ее во всем мире. Ведь в беспечных руках социально дефективных людей даже невинная спичка может вызвать пожар, а что уж говорить о мегатонных бомбах.

Но вместе с тем это не умаляет значения вновь открытой энергии, потенциально несущей в себе при верном использовании все возможности для освобождения людей от непосильного труда, гнета, нужды, для создания такого общества:

...Когда любой сумеет брать
Из счастья полными горстями,
Когда за стол закона все
Придут почетными гостями
И солнце мысли, воссияв,
Над каждым домом загорится...

Потому-то и вызывают раздражение те люди (по существу, эпигоны декаденствующих философов начала века), которые в связи с великим открытием науки уныло твердят о дегуманизирующей роли цивилизации вообще, вместо того чтобы использовать ее достижения в гуманных целях.

Конечно, в наше время о вреде цивилизации рассуждают в большинстве своем люди, не причастные к жизни народа. Им, видно, никогда не приходилось копать землю лопатой, толкать тачку, таскать мешки, косить траву, стирать белье, класть кирпич — и все своими руками. Потому и смотрят они так по-барски на развитие цивилизации и техники, которые, несомненно, облегчили жизнь широких масс.

Наш двадцатый век, сокративший с помощью фантастических по скорости средств передвижения даже географические расстояния, уже этим доказал, что человечество должно быть единым, иначе ему все трудней и опасней будет жить на земле.

Так откуда же возникает в такой исторически напряженный час у художников стремление «уйти в себя», в свой микромир, отвернуться от макромира общих жизненных проблем?

Вот уж когда вспоминаются слова Ивана Ильича из жестоко правдивой повести Толстого: «Не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни и... смерти». И не одного человека, а всего мира. За это каждый должен чувствовать ответственность.

Я верю в великую миссию художника!

Понимаю, конечно, что каждый художник выражает себя и свое время в зависимости от мировоззрения, мироощущения и таланта. Одному выпадает счастье представить сравнительно полную картину жизни общества, показать людей во всех их сложных социальных опосредствованиях, другим это не удается, и они бродят по периферии, выхватывают достоверные частности — глубоко и талантливо раскрывая их, но оставаясь при этом все же на периферии, если эти частности им не удается связать с целым.

Мне помнится, Достоевский говорил в

«Дневнике писателя» о центральных людях в искусстве. Что ж, быть «центральным» в этом смысле, я думаю, мечта каждого художника-творца, а удается или нет — другое дело... Только не стоит слабость возводить в идеал.

Сдается, что многие честные художники нашего времени страдают именно из-за того, что не могут стать вровень со временем, не могут по-настоящему осмыслить и показать ширь эпохи, а стало быть, и глубь сознания и чувств человека.

Конечно, обо всем этом можно было бы сказать еще очень много, но пока — довольно. Готовлю более действенный ответ.

Пишу новый роман.

ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ *(США)*

КАКИМ БУДЕТ РОМАН ГРЯДУЩЕГО?

Роман отнюдь не мертв и не находится в состоянии агонии.

По существу, он переживает сейчас переходный период.

В минувшем десятилетии развитие романа несколько приостановилось, он уже не отражал изменений социальной и экономической жизни. Романисты слишком часто стали рассматривать вымысел как самоцель, игнорируя тем самым то решающее воздействие, которое оказывают на человека социальные и экономические условия в изменяющемся мире. В результате роман становился неглубоким и нереалистичным, и это привело к тому, что читатели отвергли его как форму искусства. Ведь они оставались близки к реальной жизни, тогда как романисты предпочитали изолированное существование в некоем неизведанном царстве, созданном их воображением.

О том, что роман переживает ныне переходный период, свидетельствует появление в различных странах многочисленных экспериментальных работ, все они отражают стремление романистов обрести твердую почву под ногами, выбраться из трясины прошлого.

Уже сейчас можно обнаружить отрадные признаки, показывающие, каким будет роман грядущего. Мы все чаще встречаемся сейчас с признанием того, что культурное общение способствует развитию добрососедского духа в отношениях между странами, который, в свою очередь, безусловно, поможет устранению вражды и предубежденности.

Таким образом, есть основания рассчитывать, что литература будущего станет верно служить делу сплочения всех людей в единую семью и вдохновляться верой в то, что на земле непременно воцарится дух всеобщего товарищества. Мир теперь слишком мал, чтобы можно было допустить существование иного, менее достойного образа жизни.

АРМАН ЛАНУ *(Франция)*

«НАТУРАЛИЗМ НЕ УМЕР ТЧК ПОДРОБНОСТИ ПИСЬМОМ» *

«Натурализм не умер тчк подробности письмом». Я хотел поставить фразу в двойные кавычки, ибо знаменитая телеграмма Поля Алексиса, верного оруженосца Эмиля Золя, слишком долго служила противникам натурализма поводом для насмешек. Вот он, дескать, пример наивности и глупости сторонников натуралистической школы! Редко телеграмма вызывала столько смеха! Но я ее цитирую, чтобы повернуть против тех, кто смеялся. Вы не возражаете, если я подниму гранату, пока она еще не успела взорваться, и брошу ее обратно в лагерь противника?

Ибо, мои дорогие мэтры (Жан-Франсуа Ноэль * простит мне, если я прибегну к этому термину, который я позволил себе позаимствовать из его гневных радиопередач), вы устраиваете надо мной настоящий суд из-за Гонкуровской премии и предъявляете мне обвинение в запоздалом натурализме. Премия привела вас в ярость: жюри Академии Гонкуров, видите ли, увенчало лаврами якобы писателя-натуралиста, человека девятнадцатого века, для которого окружающий мир является реальностью. Какой ужас!

Простите меня, но я-то знаю, где вам жмет ногу туфля. И я постараюсь объяс-

* Опубликовано в «Ар» от 27 сентября 1963 года.

* Французский критик.

ниться вежливо, но прямо. Начнем со злосчастного натурализма. Вам отлично известно, что я не являюсь натуралистом. Я не верю в «экспериментальный роман» и не придаю первостепенного значения наследственности, а, как известно, без этих двух понятий натурализм немыслим. Конечно, проблемы наследственности остаются в силе. И совсем недавно многоуважаемый Жан Ростан * подтвердил это с большой страстью. Но «экспериментальный роман» погиб. Вы знаете, что я, как и другие писатели, применяю литературные приемы нашего времени: внутренний монолог и такое прекрасное средство познания, как психоанализ. Ваша атака, мои дорогие мэтры, хорошо сдобрена той самой недобросовестностью, которую вы унаследовали от своих учителей: наш век дает тому много весьма жалких примеров. Вы ненавидите XIX век. Вы ненавидите Гюго. Вы ненавидите Золя. Вы ненавидите Мишле. Один из ваших предшественников (который был незаконнорожденным литературным сыном Золя, сам того не сознавая, и чей талант ограничен был именно этой областью) назвал прошлый век «глупым девятнадцатым веком» **. Термин обернулся против него. Мы знаем сегодня, что девятнадцатый век был великим веком. Если вам не нравится великий век — тем хуже для вас, господа! Вам придется примириться с этим.

Итак, по-вашему, я натуралист? Да, если вы понимаете под этим словом тот факт, что меня интересуют общественные проблемы; да, я придаю первостепенное значение экономическим и социальным вопросам; да, я люблю Жервезу, эту женщину из народа, лучшую из героинь, когда-либо созданных Золя; да, я считаю «Жерминаль» одним из самых великих романов всех времен, поскольку это был первый роман, который вывел на сцену рабочих,— я не принимаю в расчет сентиментальный социализм Эжена Сю и Жорж Санд; да, я наивно считаю содержание романа столь же важным, как и его форму; да, я полагаю, что роман должен быть написан достаточно просто, чтобы его могло прочесть наибольшее число читателей, с тем чтобы идеи, которые он несет в себе, могли бы проникнуть как можно глубже,— что ж, при этих условиях, и только при этих, я признаю себя продолжателем натуралистов.

Ведь вся беда в том, мои дорогие мэтры, что мы учились в разных школах. Беда в том, что вместо университетских дипломов у меня есть лишь свидетельство о неполном среднем образовании, презрительно именуемом «элементарным образованием» (впрочем, я не в такой уж плохой компании, не так ли, мадам Колетт?). Беда в том, мои дорогие мэтры, что с пятнадцати лет я стал «экономически независимым». И я горжусь этим! Беда в том, что в возрасте от пятнадцати до двадцати лет я бродил около дверей лицеев, и мое сердце разрывалось от горя, так как я не мог продолжать учиться: мой отец умер, и я должен был зарабатывать на жизнь. Это вульгарно? Что поделаешь? Тем хуже!

Знаете ли вы, что было моими университетами? Пригородные поезда! Вам никогда не понять, какую поразительную школу можно пройти в пригородных поездах! Вам никогда не приходилось быть разбуженным стуком каблучков молодой женщины, которую вы даже не знаете в лицо, она проходит мимо вашего дома, всегда бегом, потому что боится опоздать к поезду, уходящему в 6 часов 45 минут. Вам никогда не приходилось видеть между пятью и шестью часами утра серые, поблекшие, с несмытыми следами вчерашних забот лица рабочих, едущих в Бийянкур *, хотя они живут в восточном пригороде Парижа: 40 километров от дома до конвейера и столько же обратно!

У меня был друг, он погиб в сороковом году. Он работал на заводах Рено. 80 километров в день. 480 в неделю. 24960 в год. (Нет, я не ошибся, в ту пору еще не было оплачиваемых отпусков.) В течение двух лет он совершал кругосветное путешествие в гадком купе третьего класса. Тогда они еще существовали. И представьте себе, я остался пассажиром именно третьего класса. Я вам кажусь все более вульгарным. Не так ли? (Кстати, «новый роман» очень любит цифры Прекрасный повод для блестящего куска в манере Роб-Грийе! Вы не находите?) Вы не знали ничего этого в том возрасте, который формирует человека на всю жизнь, вам не приходилось видеть эти поразительные социальные напластования, между пятью и десятью часами утра, от каменщика, который должен быть на стройке на рассвете, и до хорошенькой продавщицы с Елисейских Полей. Магазин, где она работает, открывается, правда, в 10 часов, но

* Известный французский биолог.
** Имеется в виду Леон Доде. *(Прим. ред.)*

* Предместье Парижа, где расположены заводы Рено. *(Прим. ред.)*

и ей надо совершить половину кругосветного путешествия в год, чтобы продавать платья, шарфы, клипсы или духи, именуемые Дезирад, Борромеи или Балеары...

Да, моими университетами были пригородные поезда, война и плен. И после этого вы хотели бы, чтобы я не верил в существование внешнего мира и в право людей из народа быть героями романов?

Вашу когорту можно разделить на две группы. Те, кто обвиняет меня в натурализме, недвусмысленно подразумевают под этим изображение жизни народа. Они прекрасно понимают, что я не только «вышел из народа», но никогда «не уйду из него». К ним я не испытываю ни малейшего уважения. Есть и другая группа: это те, кто любит литературу и кто гораздо более склонен впасть в формализм, нежели в натурализм. С ними дискуссия представляет интерес. Они искренни.

Конечно же, я не принадлежу к сторонникам «нового романа». И никогда не буду принадлежать. Потому что так же, как и натуралисты, я верю в социальный роман.

Я склонен полагать, что хлопоты женщины, связанные с получением пособия по многодетности, или тревоги пятнадцатилетнего мальчишки, живущего в многонаселенном доме в квартале дешевых новостроек, значительно более интересны для литературы, чем самый совершенный разрез сознания самого изысканного ума.

Я склонен думать, что такие проблемы, как эксплуатация человека человеком, атомная война (стоит лишь нажать кнопку) или перенаселение планеты через два столетия (тьма голов, точно икринки в банке), являются более важными для романиста, чем проблема романа без сюжета, без интриги и без героя.

Как же вы не видите, вы, считающие себя защитниками авангарда, поборниками прогресса, что эти книги, которые вы так любите и часто с полным на то основанием (я имею в виду Клода Симона и Мишеля Бютора), что эти книги уводят людей нашего времени от главного? Что они служат вехами на пути бегства от трудной действительности? Эх, мои дорогие мэтры, не кажется ли вам, что и вы уподобляетесь торговцам опиумом?

Постараемся быть точнее. Новый роман, как и всякие поиски, *необходим*. Без него литературу может поразить склероз. Новый роман является выражением глубокой потребности определенного числа людей, интересующихся главным образом внутренним миром человека. (Неужели вы можете думать, что я не чувствую Нерваля или Пруста? Я ведь еще и стихи пишу). Но оставьте же роману законное его место, пусть он по-прежнему выражает чувства и мысли людей, интересующихся внешним миром. Друзей ранних поездов.

В литературе две тенденции дополняют друг друга. Литература это не Пруст *против* Золя, а Пруст *и* Золя.

Ибо, хотите вы того или не хотите, нравится это вам или нет, вы не можете запретить художникам описывать ясным для всех языком пейзажи и лица, свою ненависть и свою любовь, рассказывать истории, которые имеют хоть какое-нибудь значение. И через три столетия, так же как и сегодня, будут существовать последователи Бальзака и Стендаля, Гюго и Золя, близкие большинству людей.

Это есть то, что вы, мои дорогие мэтры, называете натурализмом.

В таком случае я согласен: «Натурализм не умер тчк подробности в будущем».

Я. МЮРДАЛЬ *(Швеция)*

О БУДУЩЕМ РОМАНА

**(Заметки на полях
по поводу одной дискуссии)**

Всякий раз, когда писатели начинают обсуждать вопросы теории литературы с чрезмерной страстностью, я настораживаюсь. Возможно, конечно, что они пытаются составить себе ясное представление о собственной работе, но, с другой стороны, не является ли подобная увлеченность спором попыткой уйти от этой работы? Я отнюдь не склонен недооценивать значение теории, но я хорошо помню, что Гете (который любил теоретизировать) справедливо призывал художников творить, а не болтать. Поэтому я отношусь к периодически вспыхивающим дискуссиям о будущем романа (или, как склонны выражаться иные, о смерти романа) с глубоким скептицизмом.

И все же проблема, связанная с художе-

ственной формой романа, существует. И как раз сейчас она встала передо мной во весь рост. Дело в том, что я пишу роман. Мое собственное многословие раздражает меня; проснувшись поутру, я перечитываю написанное накануне и вижу, что все это — лишь искусственно сколоченный текст, ложь и невыносимая риторика. Нагромождение слов. Я сжигаю написанное и начинаю все сначала. Мне нужна более емкая и непосредственная художественная форма. Такая форма, которая соответствовала бы тому, что я стремлюсь показать, и дошла бы до моих современников вопреки засилию телевидения, газет и радио. Мне не терпится схватить красный карандаш и, прохаживаясь между книжными полками, снимать с них собственные и чужие книги и вычеркивать лишние фразы и слова, переделывать заново целые абзацы.

Но я не намерен извлекать из всего этого теоретические выводы: может быть, это мое настроение исчезнет, как только я закончу работу над книгой. А в будущем году я, возможно, приступлю к работе над пятнадцатитомным эпическим циклом. Но сейчас «традиционная» форма романа сковывает меня. Мне нужен совсем другой стиль: более лаконичный, гибкий и ритмичный — более выразительный. Только такая форма отвечает моему замыслу.

Поэтому я не хотел бы устанавливать какие-то общие закономерности на основании моих ощущений в данный момент. Глубокая мудрость заключена в словах Экклесиаста, сказанных более двух тысяч двухсот лет назад: «Составлять много книг — конца не будет, и много читать утомительно для тела».

Что же можно сказать о писательской работе? Позвольте мне определить ее, отталкиваясь от противного. 29 ноября 1963 года на проходившей в Стокгольме дискуссии о будущем шведской литературы сравнительно малоизвестный писатель Торстен Экбум заявил: «Мои рассуждения основываются на следующей оценке языка: он слишком абстрактен, слишком бесплотен, чтобы с его помощью можно было описывать действительность. Единственный правдивый роман, который имел бы право на существование, можно представить себе следующим образом: улица Дротнинггатан, а на ней множество табличек с надписями: глава 1-я, глава 2-я и так далее. Тогда каждый прохожий, прогуливающийся по Дротнинггатану, стал бы героем романа, а критики могли бы наблюдать за гуляющими и писать о них рецензии. Нет, отражение действительности мы должны уступить кинематографии. Сейчас нужно интересоваться новыми экспериментами, психологическими исследованиями... вся шведская литература развивается в неверном направлении. Литература мертва, да здравствует коллаж... С точки зрения возможностей человеческих контактов, конечно, хорошо, что и писатель, и читатели понимают написанное, но этот контакт лишен какого бы то ни было значения для искусства, которое занимается более глубокими и сложными проблемами».

Мои взгляды на литературу почти во всем противоположны сказанному выше. Я воспринимаю разглагольствования Экбума и многих других почти как словоблудие. Или же — чтобы употребить другое выражение, более мягкое,— как признание собственного бессилия и капитуляцию. Когда у меня опускаются руки, например, когда возникают стилистические трудности, я перечитываю подобные заявления и сразу успокаиваюсь: нет, с этим я никогда не соглашусь.

Художественная форма не составляет главной проблемы современной литературы. Несравненно большие трудности связаны с проблемой идейности и передачи этого идейного содержания другим посредством слов. Так, например, какой-нибудь Андерссон, шагающий мимо нас по дороге к Хедланду, отнюдь не абстракция. Недостаточно считать также, что это лишь такой-то и такой-то Андерссон, выполняющий такую-то работу и обзаведшийся такой-то семьей, в ожидании таких-то ближайших событий. Вот он, оторвав взгляд от моря, оборачивается к нам (мы видим морщины усталости вокруг его глаз, чуть отросшую щетину на подбородке). И тут он предстает перед нами именно таким, каков он есть на самом деле: этот Андерссон добросовестно ухаживает за своей лодкой, часто думает, как бы выбрать свободное время для рыбной ловли. Он размышляет о будущем своих детей, выступает на профсоюзных собраниях. У этого человека имеется свое представление (более или менее осознанное) о нашем расколотом мире и о его собственной ответственности. Когда мы говорим, что наше будущее в наших руках, что от нас самих зависит решение вопроса о мире или войне, о водородной бомбе и уничтожении человечества или же о счастливом будущем для наших детей,— одной

лишь светлой надежды и оптимизма здесь недостаточно. С этим вопросом прежде всего связана серьезная ответственность.

Мы знаем это. И конечно забываем об этом: многие — довольно часто, а кое-кто — лишь изредка. Подобно Атланту, Андерссон несет весь мир на своих плечах.

Создалась совершенно новая историческая ситуация, когда каждый сознает, что́ грозит человечеству. Никогда раньше угроза всеобщей гибели не представлялась реальной. И как раз теперь, когда мы способны осуществить давнюю мечту человечества о жизни в условиях изобилия, всеобщего труда и здоровья, вырисовывается другая — трагическая — возможность: гибель всего человеческого рода.

Андерссон шагает дальше по направлению к Хедланду, размахивая коричневой сумкой. Снег скрипит под его сапогами. Темнота медленно окутывает словый лес.

Литературу нельзя отождествлять с трактатами, тезисами, определениями. Но когда Натали Саррот, да и другие говорят о «завербованности» как о чем-то находящемся вне литературы (хотя подчас «завербованность», несомненно, рождала настоящее искусство), когда они говорят: «Никакое моральное давление, никакие соображения, сколь благородны они бы ни были, не могут принудить писателя создавать завербованные произведения»,— тогда основной вопрос о роли идейности перерастает в терминологический спор. Потому что, как бы вы ни назвали это свойство — «завербованностью», «идейной нагрузкой» или же «устремленностью»,— так или иначе, оно присуще Андерссону. А это и есть самое главное. Отсюда разные возможности, отсюда и все трудности.

И вот я сижу за пишущей машинкой. Андерссон бредет мимо меня по дороге в Хедланд, над заливом сгущаются сумерки, а роман мой не подвигается. Да, он никак не подвигается вперед, и я вычеркиваю фразы красным карандашом и сжигаю — один за другим — листки рукописи в кафельной печи.

Найдена химическая формула слез. Изучив эту формулу, мы сумеем вырабатывать жидкость, которая поможет нам промывать глаза, очищая их от мути. Но для создания романов, в которых мир засверкал бы новизной и ясностью и, оставаясь прежним, все же явился бы нам в новом озарении, романов, благодаря которым и авторы их, и читатели, многое для себя открыв, испытали бы радостное волнение, даруемое литературой,— для создания таких романов нет и не может быть рецепта.

БРАНКО ЧОПИЧ *(Югославия)*

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ЛИТЕРАТУРЕ

Как писатель, я представляю страну, которая активно сражалась против фашистских поработителей в ходе минувшей войны, а сейчас сражается за лучшую жизнь, за мир, за равноправие народов, за счастье и свободу всего человечества.

На этих позициях стою и я, ими определяются мои моральные и эстетические взгляды. Эта платформа достаточно широка, чтобы не ограничивать творчества, и позволяет мне как художнику полностью выразить себя.

Я пишу для людей и считаю, что задача литературы заключается в том, чтобы облагородить человека, помочь ему как можно глубже познать и самого себя, и других, открыть ему пути в будущее, научить его лучшей жизни, придать ему мужества, поднять его нравственность, способствовать развитию его интеллекта и его эстетических идеалов, сделать его жизнь богаче.

Все это, может быть, звучит немного по-школярски, но сказать это необходимо, и именно сегодня, когда многие художники теряют перспективу и, подавленные кризисом своего класса или политической системы, при которой они живут, приходят к безнадежному пессимизму, теряют веру и в человека, и в жизнь и все дальше отходят от позиций гуманизма.

Я лично горжусь тем, что имею миллионную армию читателей, но я в то же время знаю, что существуют жизненные проблемы и конфликты, которые интересуют очень узкий круг людей, и поэтому, вполне естественно, что у писателей, изображающих эти области жизни,— небольшой круг читателей. Свое место в литературе, следовательно, занимают и писатели с широчайшей читательской аудиторией, и те, у кого читателей всего несколько тысяч.

Некоторые писатели утверждают, что для них самое важное заключается в том, чтобы выразить в литературном произведении себя,

и что при этом вовсе не имеет значения, будет ли кто-либо такую книгу читать. Мне кажется, что эта высокомерная самовлюбленность в высшей степени негуманна и в основе своей неискренна и лжива. Можно петь и рисовать для своего собственного удовольствия, бывает и такое, но уж если ты сдаешь книгу в печать, то изволь отказаться от аристократического презрения к людям, поскольку эти самые люди вкладывают и свой труд, и свое время, и свои средства для распространения литературных упражнений нашего взбалмошного юноши. Храни свое произведение в ящике письменного стола на пользу и забаву тараканам.

Я думаю, что о кризисе романа сейчас не может быть и речи. Пока человека будут интересовать другие люди, их жизнь и их проблемы, другие страны и даже мир животных, до тех пор роман будет жить или то, что в будущем могло бы полностью заменить роман. А в то, что какой-либо новый художественный жанр и новый способ художественного общения вытесняют роман, поверить трудно. Например, кино и телевидение не смогли вытеснить театр, они лишь помогли ему обогатиться и по форме, и по содержанию.

Так называемый «антироман» напоминает мне, скорее, какое-то наукообразное сочинение по психологии, работу в области психиатрии или нечто подобное. Вполне естественно, что он не встречает никакого интереса у широкого читателя и не может составить серьезной конкуренции существующему роману.

Продолжая традицию классического романа, современный писатель, конечно, должен идти дальше, и закономерно, что он идет дальше, поскольку движение времени, развитие науки и техники, прогресс человечества открывают перед ним новые пути, новые возможности для понимания мира и человека. Писатель, даже если бы он и захотел, не может стоять на месте. Он должен постоянно обогащать свое мастерство.

Я считаю, что место писателя в первых рядах борцов его народа и всего человечества вообще. По-своему и своими средствами он борется за прогресс и защищает позиции гуманизма, сражается за благородное и разумное отношение не только к человеку, но и ко всей живой и мертвой природе вокруг себя, включая сюда и наши завтрашние космические перспективы.

Я думаю, что в литературе было слишком много мистификаций, парадов и злоупотреблений подсознанием и сексом. Однако разум является необходимым и конечным регулятором всей человеческой деятельности и надежной плотиной против разгулявшейся анархии, которая, кое-где распоясавшись, угрожает всем человеческим ценностям.

И так называемый «антироман», коль скоро он отражает подлинные усилия писателя проникнуть в существо человеческой природы, даст известные результаты, которые сослужат службу литературе и художникам. Мне думается, что ни один честный замысел не может не дать какого-либо полезного итога. Так обстоит дело повсюду, в том числе и в литературе.

Писатель и его произведение рождаются среди людей, живут вместе с людьми — и там их единственное и настоящее место.

МАКС ВАЛЬТЕР ШУЛЬЦ *(ГДР)*

О НЕКОТОРЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ РОМАНА

Разве плотнику теперь уже не нужно настилать полы, потому что человек летает так высоко?

Разве писатель не должен больше писать романы, потому что наше время такое сложное?

Я задаю нелепые вопросы, вместо того чтобы сказать, что я не верю в кризис реалистического социального романа. Я живу в Германской Демократической Республике. Волнующий революционный процесс нашего общественного омоложения порождает изобилие тем и материалов для романа. Но он же безвозмездно поставляет нам множество проблем, связанных с содержанием и формой. Потому что наша жизнь, борьба за социализм при существующем антагонистическом расколе нашей нации действительно чрезвычайно сложны. И тем не менее среди всех литературных жанров роман играет важнейшую роль в формировании антифашистского и социалистического сознания.

Сам я только что опубликовал свой первый роман и предпочел бы помолчать перед таким большим форумом. Но доверие ре-

дакции меня все же побуждает высказаться. И если я не хочу предстать перед читателями этаким нахохлившимся воробьем, я должен ограничиться своим, субъективным подходом к проблеме. При этом не обойтись в известной мере без идеального подхода к ее решению.

С подлинными проблемами дело обстоит так же, как с раковинами и жемчужинами. Если лодка полна раковин, это еще не значит, что в них будет хоть одна жемчужина. Иначе говоря, многие явления и мысли, которые представляются проблемами, могут оказаться всего лишь проблемками. Что такое, в общих чертах, по-настоящему интересные объекты для романа? Думаю, это изменения в жизни общества, которых большинство участвующих в этих изменениях людей еще не осознает в полной мере. Вы скажете: «Да, но эта истина уже давным-давно известна». Возможно. Однако с общеизвестными истинами и максимами дело обстоит так же, как с учителями и учениками или же со старшим и младшим поколениями. Младшие охотно следуют совету изучать истину, но выученное они хотят проверить на практике. Младшие (в том числе социалисты младшего поколения) с удовольствием присоединяются к мысли, высказанной Гете в «Фаусте»: «Что дал тебе отец в наследное владенье, приобрети, чтоб им владеть вполне».

Я считаю, что подлинная проблема состоит в том, как проследить эти скрытые изменения в сознании. Романист — не всеведущий господь бог и, как правило, не член и не кандидат в члены политбюро. Но, как социалист, он не может быть нейтральным, он выступает за утверждение гуманной тенденции в развитии общества. Достаточно ли этого, чтобы проследить названные изменения? Наша молодежь образованней и интеллигентней своих отцов. Но иногда эта интеллигентность, привитая образованием, этакой пробкой сидит в носу, лишая нас нюха, и мы перестаем отличать друзей от врагов, перестаем понимать некоторые подспудные, возникающие и отмирающие тенденции в нашем обществе. (Мы ведь идем навстречу заре не по проторенной дороге.)

Здесь возникает вопрос о взаимоотношении между бытием и сознанием. Это взаимоотношение подвластно закону перехода количества в качество. Это тоже азбучная истина. Но, как мне кажется, автор романа легко может забыть эту истину, если не учтет инерции сознания. Точнее, закона естественно-медленного созревания изменений в сознании. С этим дело обстоит так же, как с крыжовником весной. Каждую весну меня поражает крыжовник. Я готов поклясться, что буквально за одну ночь из невидных цветков появляются плоды, вернее, эмбрионы — зеленые, имеющие форму настоящих плодов. Первый крыжовник. Бог знает сколько раз дети и глупцы портили желудки этим противоречием между жаждой удовольствия и доводами рассудка.

Эту аналогию я призвал на помощь, говоря об одной субъективной проблеме, стоящей перед авторами современных социалистических романов; я назвал бы ее детской болезнью или проблемой зеленого крыжовника. Тот, кто находит первые признаки изменения традиционного мышления и традиционного образа жизни, по праву может отдаться радости первооткрывателя. Но он не должен выдавать завязь за зрелые плоды. Надо показать, что у завязи есть перспектива созревания. Для этого достаточно добросовестного описания плодородия почвы и климата. Профилактически рекомендуются литературные наброски, эскизы, журналистские статьи. Отказ от преждевременных пристрастных высказываний, конечно, не погубит нашу репутацию, но, во всяком случае, и не украсит нас, реалистов. Сегодняшнему человеку социалистического общества еще не чужды все опасности отчуждения.

Более объективной проблемой, которая, правда, тоже не может быть разрешена одним человеком, является проблема целостности, всеобщности. Можно ли сегодня изобразить в романе относительно малую часть действительности во всей ее полноте, показав ее важнейшие связи со всей действительностью исторически определенной эпохи? Или, говоря о целостности, от сегодняшних романистов требуют того, что в последний раз было доступно человеку во времена Возрождения, а именно — всеобъемлющей гениальности?

Мне думается, несмотря на то что сегодня всеобъемлющая гениальность стала невозможной, требование целостности не снимается с романа. Здесь напрашивается сравнение с влюбленными. Он говорит: «Ты для меня все». Она говорит о нем то же самое. Да простят мне недопустимое упрощение. Оно призвано лишь проиллюстрировать ту мысль, что целостность (в каждом литературном жанре) может быть найдена только через поэтически возвышенное восприятие действительности и

прежде всего через чувства, а не посредством трезвого рассудка. Целостность — это всего лишь способность искусства добиваться чрезвычайно интенсивного сгущения чувств, умение создавать поэтически насыщенную картину реального мира. Основан этот прием на том, чтобы передать «волшебство атмосферы» с помощью тщательно отобранных деталей, призванных развернуть перед глазами читателя характер и обстановку действия.

Но реализм, а тем более реалистический роман, не исчерпывается сгущением чувств. Мне представляется, что критерий «высоты» реалистического романа определяется двумя координатами: названным поэтически возвышенным (но не теряющим своей реальности) целостным восприятием действительности или представлением о ней и передовой общественной идеей. Иначе говоря: интенсивным сгущением чувств при экстенсивном напряжении мысли.

Только подлинно гуманная передовая социальная идея может стать для писателя мощной опорой, которая позволяет достичь сгущения чувств и осознанно изобразить, что было случайно накоплено подсознанием. Писатель-марксист пишет романы, руководствуясь убеждением, что мир не только подлежит различной поэтической интерпретации, но что он познаваем и изменяем. И все-таки надо сказать, что еще далеко не все созданное писателями-марксистами собрано компетентными теоретиками-марксистами для обработки эстетического поля. Вдобавок, между полями буржуазно-демократической и марксистской теории романа пролегают межи. Местами они столь широки, что на них можно выращивать различные сорта редиски. (Конечно, на этих полосах можно разводить и культуры, свидетельствующие о лучшем вкусе.)

Но что означает сегодня, например, полемика о возможностях «реализма без берегов»? Так и тянет представиться немножко наивным и спросить о конкретном, буквальном смысле этого термина. Где бывают воды без берегов? Как можно придать реализму в качестве определения нечто, чего (в буквальном смысле) не существует в природе? Или надо вызвать духов, способных присосаться к материалистической идее бесконечности? Или следует признать, что берега человеческого существования неизвестны? Или творческая свобода должна быть объявлена лишенной всяких связей, то есть идеологически ни к чему не обязывающей? Или следует свернуть флаг социалистического реализма, чтобы из соображений тактики перейти в тайное наступление? Против кого? Риторические вопросы содержат в себе ответы. И все-таки мне кажется неумным просто отделаться от этой полемики риторическими вопросами. Речь идет о старом споре: что из прогрессивной буржуазной традиции следует перенять и что нет — с точки зрения пользы для марксистской теории и практики литературы. Он и сегодня еще плодотворен, пока и поскольку речь идет о пересечении разных форм гуманистического и антифашистского мировоззрения с социалистическими. При этом речь идет не столько о политике или идеологии (этот момент нетрудно выявить), сколько о соответствующих творческих методах познания действительности. Критерий приятия или отклонения буржуазно-гуманистических и антифашистских форм отношения к действительности или методов ее познания возникает, с моей точки зрения, прежде всего на основе исторического сознания и жизнеощущения. Марксист, стоящий на позиции правящего рабочего класса, неизбежно будет рассматривать некоторые действия и результаты иначе, нежели марксист, находящийся пока еще в оппозиции к старому правящему классу. Но революционно-утверждающее и оппозиционное сознание и жизнеощущение не обязательно и не исключительно определяются тем, живет ли марксист в социалистической или капиталистической стране. Однако как в области литературной политики, так и в области теории в вопросе о том, должна ли традиция быть принята целиком, частично или вообще не принята, решающей, в конечном счете, является степень ее полезности для нашей сегодняшней и завтрашней позиции, а не ее значение, «как таковое», для вчерашнего дня.

Я не знаю, сколько марксистов и немарксистов принадлежит к «безбрежным». Но, кажется, все они стремятся к тому, чтобы продолжать линию Кафки — Музиля — Броха. Оставаясь в своих национальных рамках, я хотел бы лучше упомянуть Кафку в связи с его восторженными приверженцами в Западной Германии, потому что оттуда идет откровенно враждебное нам, представителям социалистического реализма в Германии, веяние «ренессанса Кафки». Кафкой бьют по социалистическому реализму, имея в виду наше социалистическое общест-

венное устройство. И уж, вероятно, особое проявление немецкого убожества состоит в том, что люди, которые имеют демократическое мужество бичевать отчуждение, одновременно нападают на людей, которые имеют революционное мужество с корнем вырывать это самое отчуждение. В теоретических документах мы неоднократно говорим, что свидетельства Кафки об его времени представляются нам слишком значительными, чтобы от них отмахнуться. Его этический ригоризм признает отчуждение как основной факт жизни в капиталистическом обществе. Отчуждение мучит и омрачает его понимание истории. Кафка не может вскрыть его классовых причин. Он не знает, как против него бороться. Но он явно нетерпим к нему. Он протестует методом сгущения красок, чтобы возбудить отвращение к черноте бездны.

Но какое отношение все это имеет к проблеме романа? Мне кажется, двоякое: во-первых, роман это та форма, которая неотрывна от вопроса об историческом сознании и творческом методе именно потому, что он стремится к временной целостности. Во-вторых, в связи с возрастающей дифференциацией человеческого знания в обществе с высоким уровнем техники встает вопрос о том, какие творческие методы познания и какие средства могут сделать роман реалистическим спектром общественной жизни.

С моей точки зрения, главный предмет реалистического романа — это всесторонне представленная человеческая индивидуальность: личность, герой.

Кризис реалистического романа начинается с безысходного сомнения в жизнеспособности человеческой личности, с подавленности, вызванной тем, что общество не может гарантировать этой личности условий для существования. Но в романе социалистического реализма есть место сомнению. Сомнение это заключено не в социальных взглядах. Кто не убежден в победе социализма, тот не придет вместе с ним к победе. Но есть плодотворное сомнение в области творчески-научной. Герой ставит перед собой большую цель. Может ли он ее достичь? Если я методически не повторю этого вопроса, то я тем самым выключу силовое поле между индивидуальным и общественным полюсами. Напряжение спадает. Читатель перестает волноваться за героя и стремиться вместе с ним к цели. Приведенный в действие механическим приводом, герой превратится в марионетку-полубога и станет до смешного неинтересным. Вопрос, в котором заключено сомнение, побуждает к постоянному пересмотру всей реальности. Кто осуществляет этот пересмотр? Мой жизненный опыт, мои знания, моя партийная честность. В зависимости от этого решается, победит герой или погибнет. Внутренняя логика, последовательность в развитии центральной фигуры романа выявляется, как я полагаю, в процессе письма, а не при разработке концепции. И если герой должен погибнуть, если приходится по необходимости (а не из озлобления) прибегнуть к трагической развязке, то это всего лишь одно поражение на пути к победе. Далекая цель становится отчетливее.

Но там, где сомнение в возможностях человеческой личности проникло глубоко в сознание, где нет надежды на идейную социальную критику, там и творческий метод несет на себе печать разрушения личности. Читатель уже не спрашивает и не проверяет, может ли герой достичь далекую, но вдохновляющую цель. Он только спрашивает и проверяет, уходит ли герой все дальше и последовательнее от этой цели, или утверждает, что у него вообще нет цели. Но здесь еще возможно, что абсолютно отрицаемое в действии этическое понятие цели все-таки существует как тенденция. У Кафки его можно найти в отношении 1000 : 1. Я думаю, что в нашем социалистическом обществе это одеяние Кассандры окажется безнадежно устарелым, даже если и не всякое отчуждение нам чуждо. Кроме того, опыт учит, что метод, при котором изображают страшное и отталкивающее, чтобы возбудить к нему отвращение, очень часто приводит к обратному действию.

Писателя, который сегодня придерживается левых тенденций и пишет в манере Кафки, должно удручать, если его произведение отвергают, как ненужное. Но даже если обратное действие и не происходит, ему вряд ли удастся избежать соблазнов этого метода с его отказом от объективной истины, символикой и психологизмом, с его приблизительностью, ограниченным микроскопическим восприятием, бездушием образа, чахлым описанием ощущений и состояний (вместо больших исторических процессов) — короче говоря, всех грехов субъективизма и интеллигентщины. А если он еще опускается до эпигонства, то кафкианский метод приобретает совсем жалкий вид. Эпигоны напоминают три жареные селедки, ко-

торые сидят на заборе. Первая говорит: «Хотела бы я быть галкой, тогда я могла бы летать». Вторая говорит: «А я бы хотела быть двумя галками, тогда я могла бы полетать сама за собой». А третья говорит: «А я бы хотела быть тремя галками, тогда я смогла бы видеть, как я лечу сама за собой...»

Тут я позволю себе оборвать эту мысль и продолжить следующим образом: если роман за отсутствием социально-прогрессивного содержания начинает раздумывать о самом себе, кризис налицо. А если социалистический роман, игнорируя большие проблемы, занимается мелкими и раскатывает их, как тесто для лепешек, то он просто плох. Я поостерегся бы утверждать, что у нас этого не бывает! Я думаю, у нас (у молодого поколения социалистических романистов) еще много камешков в башмаках. Мы, например, рассматриваем творческое отношение человека к труду как основной фактор во взаимоотношениях бытия и сознания. Попытаться изменить это положение означало бы вырыть яму самим себе. Но рабочий день длится восемь часов или даже меньше. А как происходит духовный обмен веществ в свободное время? Занимается ли творчески работающий человек самообразованием и повышением квалификации только на курсах и в кружках, чтобы окончательно отдохнуть от своего трудового дня? Нет, человек, как совокупность общественных отношений, никогда не живет вне связей между ним (как индивидуумом) и обществом. Личное и общественное постоянно находится во взаимодействии. И так называемые интимные сферы жизни в их индивидуально-общественной сущности не могут быть изъяты из романа. Каково общественное значение брака и любви? Как сегодня обстоит дело с равноправием женщины на работе и в семье? Разве нет старых и совсем новых конфликтов между долгом и склонностями?

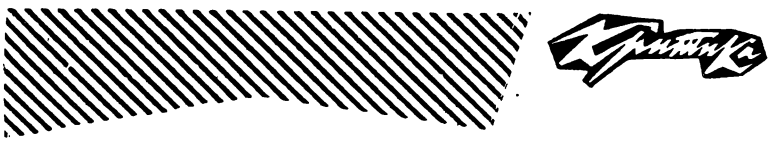
Вместо отчуждения мы выдвигаем все богатство человеческой личности. Социалистическому роману можно было бы предпослать строку из Иоганнеса Бехера: «Пойте песню обо всем прекрасном!»

Понятие «все прекрасное» вызывает мысль о партийности писателя как критика общества. Я не хотел бы повторять уже ставший общим местом тезис, что без партийной позиции социалистический роман невозможен. Но в этой связи я хотел бы затронуть одну, как мне кажется, актуальную проблему: нельзя подменять, другими словами, смешивать социальную критику с субъективной честностью писателя. Мне представляется, что такая честность может, с одной стороны, привести к сентиментальной переоценке, а с другой, к «рессентиментальной» недооценке. Чтобы без обиняков пояснить, что я имею в виду, говоря о «рессентименте», я хотел бы просто привести соответствующее место из «Нового лексикона» Мейера. В нем перечисляются такие понятия, как «эмоциональное возмущение против всего, что принижает чувство собственного достоинства: бессознательное недовольство, тайная неприязнь, антипатия, зависть, чувство ненависти, жажда мести за перенесенное оскорбление». Психология обозначает словом «рессентимент» поведение, основанное на чувстве неполноценности, которое ведет к обесцениванию желанной цели, если ее не удается достичь (басня о лисе, которая называет недостижимый для нее виноград «кислым»).

Некоторые из перечисленных здесь компонентов всегда играют роль в «рессентиментной» критике (и всегда отрицательную).

Что делать, если хочешь завершить работу и видишь, что исчерпал себя, не исчерпав темы? Обычно в таких случаях назначают комиссию. Так я хотел бы поступить и в данном случае. Я, правда, не поклонник заседаний, но мне кажется полезным, чтобы романисты младшего и старшего поколений, живущие в наших социалистических странах, раз в несколько лет встречались на симпозиумах, не считая тех, которые созывает Европейское сообщество писателей. Наша социалистическая родина занимает треть земного шара, а людей насчитывает гораздо больше, чем живет на этой территории. Но наши романы порой еще страдают от провинциальной замкнутости. При всей верности национальной форме и национальным особенностям темы, целостность наших романов много выиграла бы, впитав в себя современный дух пролетарского интернационализма, который должно черпать в живой действительности.

Такие разговоры представляются мне плодотворными. Они обогатят наше знание друг друга и усилят чувство партийной и творческой ответственности за достижение социалистическим реализмом мировых высот литературы.



Е. АМБАРЦУМОВ

МОЛОДАЯ ИТАЛИЯ

(«Постоянство разума» Пратолини и итальянская действительность)

К этому роману стоило бы, вероятно, приложить план-карту Флоренции — настолько он подчеркнуто географичен, настолько сюжет его определенен по месту и времени. Но на плане недостаточно было бы обозначить исторические памятники — они присутствуют в романе лишь как фон, да и то почти всегда незримый. Флоренция Пратолини — это не город-музей, не «царица средневековой Италии», о которой писал Стендаль, не «ирис нежный» Блока, а крупный промышленный центр современной Италии, арена острой классовой борьбы. Читая роман, видишь под ослепительно-голубым небом Флоренции, воспетым поэтами, не привычные контуры соборного купола и башни палаццо Веккьо, а частокол заводских труб. И если уж глаз воспринимает антики, то лишь в сочетании с заполняющими улицы автомашинами (помните у Вознесенского: «Как механики, фрески Джотто отражаются в их капотах»). Именно такая, современная Флоренция, город рабочих кварталов, не исчезает из тех разделов итальянских газет, где говорится о забастовках и других «трудовых конфликтах».

Если определять тематику или, как у нас иной раз говорят, «профиль» произведения, то «Постоянство разума» — это роман о современном итальянском рабочем классе, о становлении молодого пролетария как личности, формировании его классовой морали и политического сознания. А это уже предмет не только литературоведения, но и занятий более прозаических — экономики, социологии, политики. Поэтому, ни в коей мере не претендуя на критический анализ романа, я ограничусь, так сказать, политическим комментарием к той вполне реальной обстановке, в какой живут и действуют герои Пратолини.

Главный герой, Бруно, родился в 1941 году. Уже это «анкетное» обстоятельство придает образу Бруно типичность. По статистике, половина рабочих сегодняшней Италии моложе 30 лет. Стало быть, они одного поколения с Бруно. Жизнь Бруно и его товарищей — это жизнь современного итальянского пролетариата. Когда читатель «Иностранной литературы», перевернув последнюю страницу романа, включит радио и услышит в передаче последних известий из Италии сообщения о новых стачках, митингах, демонстрациях, обо всех тех формах массовой борьбы, которыми столь богата политическая жизнь этой страны, он не ошибется, представив себе среди демонстрантов и стачечников тысячи таких, как Бруно.

Из биографии Бруно можно узнать многое о послевоенной истории Италии. Смутные детские воспоминания об уличных боях партизан против немецких войск и отрядов Муссолини, затем американская оккупация, черный рынок, проституция и нищета, послевоенная экономическая разруха, а затем длительный период высокой конъюнктуры, новые здания фирм, новые промышленные предприятия, новые кафе и рестораны, огни рекламы, зеркальные витрины бесчисленных магазинов, хаотические потоки мотоциклов и автомашин — словом, внешняя сторона

того явления, которому буржуазная печать дала название итальянского «экономического чуда».

Бурное развитие итальянской промышленности за истекшие 10—15 лет потребовало столь же бурного роста наемной армии труда. Произошло резкое перемещение рабочей силы из деревни в город. За сухими цифрами статистики, показывающими эти изменения в облике страны, кроются глубокие перемены в жизни и судьбах миллионов итальянцев. Если в 1951 году в сельском хозяйстве Италии было занято 8 261 тысяча человек, или 42% самодеятельного населения страны, то в 1961 году — лишь 5 898 тысяч, или 28,8%. За эти же годы занятость в промышленности увеличилась с 4 242 тысяч до 5 640 тысяч человек. Особенно возросло число квалифицированных рабочих, инженеров, техников.

Растут школы фабрично-заводского ученичества. Число учеников — таких, каким был Бруно,— возросло со 172 тысяч до 708 тысяч человек. Тем не менее проблема нехватки квалифицированных рабочих рук с каждым годом становится для итальянской экономики все более острой. Таким образом, молодой итальянский рабочий, получивший профессиональную подготовку, думает уже не о том, чтобы найти хоть какое-нибудь место, а о том, чтобы поступить на хорошую работу.

Особенно бурный экономический рост происходил на Севере страны, в промышленном треугольнике Милан—Турин—Генуя, но он затронул и менее развитую Среднюю Италию, в том числе и Тоскану, где происходит действие романа Пратолини, и отсталый Юг.

Но хотя безработица в Италии и сократилась (с 2—2,5 миллионов человек до 1 300 тысяч в настоящее время), она все еще остается серьезной проблемой для рабочих, не имеющих квалификации, то есть прежде всего для той массы крестьян, особенно крестьянской молодежи, которая покидает свои жалкие клочки земли и, как к магниту, тянется в большие города. В романе Пратолини эти люди остались за кадром, но для вчерашней и сегодняшней Италии их судьба — важнейшая социологическая и политическая проблема. Недаром фильм Висконти «Рокко и его братья», повествующий о злоключениях одной такой крестьянской семьи, пользовался огромным успехом у итальянских зрителей, особенно в рабочих кварталах.

Не всем из этих скитальцев удается найти работу на родине: ежегодно от 100 до 200 тысяч человек эмигрируют из Италии. Западногерманские фермы, комнаты для прислуги в швейцарских отелях и ресторанах, французские угольные шахты фигурируют среди мест назначения итальянцев, эмигрировавших из страны за последние годы. Характерно, что больше половины погибших во время катастроф на бельгийских угольных шахтах за последние годы составляют итальянцы.

Такие распространенные в Италии формы эксплуатации, как временные трудовые соглашения, оплата ниже гарантированного минимума, присуждение заниженных квалификационных разрядов, особенно затрагивают молодежь. «Сколько трудящихся и прежде всего сколько юношей и девушек работают в Италии без трудовой книжки, то есть без всякой договорной гарантии, без социального обеспечения, связанные лишь словесными и временными условиями, зависящие от произвола предпринимателя?» — спрашивают коммунисты-социологи Пазолини и Сприано, авторы книги «Заработная плата в Италии». И отвечают: «Невозможно дать точную цифру. Но, очевидно, речь может идти о сотнях тысяч человек, причем не только на Юге».

Как видно, многим итальянским молодым людям, прежде всего неквалифицированным рабочим, живется значительно хуже в материальном отношении, чем герою Пратолини. Но образ жизни Бруно — кино, биллиард, музыкальный автомат, радио, мотороллер, а в виде исключения даже автомашина напрокат — типичен тем, что такие формы использования свободного времени и соответственно расходы на эти цели становятся в нынешней Италии, не говоря уже о других, более развитых капиталистических странах, массовым явлением. Материальные заботы рабочего современного итальянского предприятия уже не сводятся к тому, как бы утолить голод. Юноша, подобный Бруно, старается иметь элегантный вид — конечно, при помощи магазина готового платья; у него есть мотороллер «веспа» или «ламбретта», а может быть, даже (правда, в очень редких случаях) собственная малолитражка «фиат-600», впрочем, в немалой степени потому, что для современных рабочих на Западе,

которые часто живут вдали от места работы, нередко в десятках километров, автомобиль в самом деле не роскошь, а средство передвижения.

Попадись рабочий, подобный Бруно, на глаза какому-нибудь нашему не в меру ретивому блюстителю нравов — он наверняка будет разоблачен, как «стиляга». Еще бы — он то и дело заходит в кафе, любит американские пластинки и даже увлекается рок-н-роллом. Все зависит от того, на какую принципиальную высоту ставить проблему цвета рубашки и ширины брюк. К чести коммунистов Италии, да и других стран они не стали вторить мещанским крикам о «разложении» молодежи, а поставили вещи на свои места. «Я решительно отвергаю и считаю, что мы должны отвергнуть, как смехотворные, все элементы критики в адрес молодежи, которые касаются того, как кто танцует, поет, учится и т. д. Все это — чепуха». Эти достаточно определенные слова принадлежат генеральному секретарю Итальянской коммунистической партии Пальмиро Тольятти.

Состоявшийся в июле 1961 года пленум ЦК ИКП, специально посвященный работе среди молодежи, констатировал, что чаяния и стремления итальянских юношей и девушек благоприятны для партии. Новое поколение идет влево — таков был вывод пленума.

В романе Бруно произносит страстный монолог против существующего в стране строя. Он думает прежде всего не о том, чтобы заработать побольше или, скажем, переехать в квартиру получше. Для него главное — человеческое достоинство, стремление утвердить себя как личность, чему и препятствует капитализм.

Могут сказать: это же в романе. Но вот подлинный документ — опубликованное в одном из журналов ИКП письмо молодого коммуниста Ромоло Скьявацци из Турина, в котором он дает свое объяснение «нетерпимости», как он выражается, к капитализму со стороны юношей и девушек, живущих в наиболее развитых городах Италии.

«По моему мнению,— пишет он,— причина этой нетерпимости, которая приводит к взрыву и открытому бунту, заключается прежде всего в тягостном ощущении отсутствия свободы у молодого человека. Это относится не только к массе молодежи, вынужденной по семейным обстоятельствам отказаться от учебы и пойти на работу, чтобы приносить домой заработок. В той же степени это применимо к молодому человеку, у которого есть возможность учиться, окончить среднюю и даже высшую школу (а у Бруно как раз есть такая возможность.— *Е. А.*)... Иными словами, современный молодой человек понимает, что, будь он рабочим или служащим, с высшим образованием или без него, он всегда будет всего лишь подчиненным, хуже того, зависимым во всех областях своей жизни от железной общественной структуры капитализма».

У Бруно есть работа, но он хочет трудиться на заводе, с которым связана вся жизнь его семьи и его квартала: он хочет получать нравственное удовлетворение от труда. Не правда ли, это уже не пролетарий времен Маркса, для которого работа на капиталистическом предприятии — тяжкий крест, не луддит — разрушитель машин? Для Бруно завод «Гали» — это не купринский Молох, а нечто родное и близкое. «Для тех, кто родился в Рифреди, лучше «Гали» нет ничего на свете,— говорится в романе.— «Гали» — это весь мир, Мекка». Бруно не мыслит себе жизнь без своего завода.

Я не случайно говорю — «свой» завод. Герой романа — не исключение. Всякий кадровый итальянский пролетарий воспринимает предприятие, где он работает, отнюдь не только как собственность капиталистического акционерного общества. И не удивительно: рабочие старшего поколения во время войны защищали этот завод от немцев, которые пытались его демонтировать, и управляли заводом в первые месяцы после освобождения, когда владельцы, обвиненные в коллаборационизме, боялись сунуть туда свой нос; в первый период действия «плана Маршалла» рабочие по нескольку дней, а то и недель не выходили из цехов, спасая завод от закрытия; как же современному рабочему, 20—25-летнему молодому человеку, не считать этот завод своим?

Потому так возмущен Бруно произволом дирекции «Гали», отказом принять его на работу. Кстати говоря, такая дискриминация — обычное дело в итальянских условиях. Литератор Кароччи, редактирующий вместе с Альберто Моравиа журнал «Нуови аргоменти», опубликовал в 1960 году книгу «Обследование «Фиата» — результат опросов рабочих этого крупнейшего в стране промышленного комплекса. В этой книге

печатаются тексты и фотокопии рекомендаций для приема на работу такого, например, содержания: «В дирекцию завода «Фиат-Мирафьори», Турин. Нижеподписавшийся приходский священник настоящим свидетельствует о хорошем поведении синьора (имя рек), 42 лет, который желал бы поступить работать на Ваше уважаемое предприятие. Поддерживая просьбу этого своего прихожанина, нижеподписавшийся обращает внимание на то, что этот прихожанин очень нуждается в работе». Проставьте здесь имя Бруно, подпись его приходского священника отца Бонифация — и перед нами сцена из романа Пратолини.

Реакция итальянской молодежи на подобные акты капиталистического произвола и дискриминации не ограничивается словесными протестами. Молодые рабочие — активные участники классовой борьбы — идут в первых ее рядах. В романе Лори, возлюбленная Бруно, вполне современная девушка, рассказывает ему о том, как она бастовала вместе с другими молодыми работницами крупнейшей кондитерской фирмы «Мотта». Они чуть не оставили всю Италию без сладкого на праздник. Это уже не фантазия писателя, а факт из жизни.

А вот и другой факт, почерпнутый мною из непосредственных впечатлений. Вспоминаю Милан, май 1961 года, огромный зал кино «Амбашатори». Здесь проходит национальная конференция коммунистов промышленных предприятий. Выступает совсем юная девушка, лет семнадцати, хорошенькая, со вкусом одетая. Рассказывает о фабрике мужских рубашек в Болонье, где она работает. Там раньше долгое время не было забастовок, но в конце концов работницы (их 450, в большинстве — молодые девушки) осмелели, потребовали прибавки к зарплате и осуществления профсоюзных прав. Хозяева отказали. Началась забастовка. Она продолжается уже 22 дня. В ходе забастовки многие работницы записались в комсомол. «Мы обязательно победим»,— восклицает девушка. Зал бурно аплодирует.

Между прочим, за последние годы в Италии особенно резко возросло число молодых женщин и девушек, идущих на производство. Типичная современная итальянская девушка уже не ограничивает свои интересы мечтами о собственном семейном очаге, а хочет быть экономически независимой. Итальянские социологи Маркетти и Пиццинато, обследовавшие восемь крупнейших машиностроительных предприятий Милана — столицы «экономического чуда»,— сообщают, что на заводе «Борлетти» женщины составляли 52,8% персонала, на заводе «Сименс» — 68%, на заводе «Фиат»— 59,7% и далее в том же роде. Большинство этих женщин — ровесницы Лори.

В нынешний период участились случаи, когда именно пролетарская молодежь нарушает «классовый мир» на предприятии и, преодолевая недовольство или боязнь кое-кого из старых рабочих, поднимает коллектив на забастовку. Так было, между прочим, на туринском заводе «Фиат-Мирафьори» (основное предприятие фирмы), 80-тысячный персонал которого, оплетенный патерналистской системой «кнута и пряника», в течение нескольких лет, с 1955 по 1962 год, не участвовал в общенациональных забастовках. Обстановка идеологического террора на «Фиате» была доведена до такой степени, что некоторые старые рабочие-коммунисты, отважно сражавшиеся в рядах борцов Сопротивления, на выборах внутренних комиссий * не решались голосовать за список своих, классовых профсоюзов. Разбили лед именно молодые рабочие, как правило, не состоявшие ни в какой партии, но левые по убеждениям. Они не устрашились угрозы увольнения и мощными забастовками побудили всесильного главу «Фиата» профессора Валлетта удовлетворить многие требования рабочих.

При этом важно учесть, что речь идет о молодежи, не участвовавшей в кровопролитной борьбе против фашизма, знающей о движении Сопротивления лишь понаслышке, да и то не всегда (потому что в школе, где учился Бруно и миллионы ему подобных, как пишет Пратолини, обходят молчанием имена Сапаты, Буденного, Листера, Галло — Галло, который сражался в Испании, руководил партизанским движением на Севере Италии, а сейчас является заместителем генерального секретаря Итальянской коммунистической партии уже под своим настоящим именем Луиджи Лонго). Эта молодежь как будто должна быть опьянена внешним блеском «экономического чуда», заражена американской мечтой превратиться в миллионера из чистильщика сапог (в Италии лучше

* Внутренняя комиссия — коллективный орган, избираемый всем персоналом предприятия, отстаивающий его интересы перед предпринимателем и следящий за исполнением коллективных договоров.

сказать — из батрака). Не все же выросли в пролетарском окружении, как Бруно. Тем более если речь идет о детях крестьян, выходцах с отсталого Юга или из не менее отсталых горных районов, для которых любая работа в городе уже была манной небесной.

Действительно, на заре «экономического чуда», в 50-х годах, монополистам удавалось, используя неопытность и политическую незрелость этой молодежи, заглушать классовую борьбу на предприятиях, особенно когда одновременно с заводов изгонялись активисты компартии и прогрессивных профсоюзов, такие как Миллоски из романа Пратолини. Но в современной Италии, где сталкиваются все более очевидное всевластие монополий во всех областях общественной жизни с влиянием компартии — одной из наиболее авторитетных и самой многочисленной из всех марксистско-ленинских партий капиталистического мира,— пробуждение боевого духа у новых слоев пролетариата идет чрезвычайно быстро.

В романе «Постоянство разума» говорится о горячих июльских днях 1960 года. Это важнейшая веха в истории современной Италии и особенно ее молодежи. В тот момент в стране у власти стояло правительство, возглавляемое Тамброни и состоявшее исключительно из членов главной буржуазной партии Италии — христианско-демократической, но опиравшееся при этом на поддержку неофашистов. Это было самое реакционное правительство за всю послевоенную историю Италии. Оно явно вело дело к антиконституционному перевороту по образцу деголлевского. Известный либеральный журналист Горрезио, обозреватель крупнейшей буржуазной газеты «Стампа», в своей вышедшей в прошлом году книге «Италия идет влево» рассказывает, что в те дни некоторые парламентарии из правящей партии, слышие «левыми», предпочитали не ночевать дома, боясь ареста в случае фашистского переворота; среди этих «ночлежников» был и тогдашний секретарь христианско-демократической партии, нынешний премьер-министр Альдо Моро.

Неизвестно, чем бы кончились ночные хождения синьора Моро по знакомым, если бы не итальянский рабочий класс, поднявшийся на борьбу против правительства Тамброни. Начало положили рабочие Генуи — города, удостоенного Золотой медали Сопротивления. Своими манифестациями они сорвали санкционированное правительством намерение неофашистов провести свой съезд в Генуе. Тогда правительство решило отомстить за свое унижение. 6 июля вооруженная полиция разогнала антифашистскую демонстрацию в Риме, 7 июля то же произошло в Реджо-Эмилии, причем пять молодых рабочих были убиты и многие ранены. На следующий день по стране прокатилась мощная всеобщая забастовка, повсюду создавались местные комитеты Сопротивления из представителей всех демократических партий — от коммунистов до социал-демократов и даже христианских демократов. Народ требовал отставки Тамброни. И хотя борьба не обошлась без жертв — общий итог: 12 погибших и сотни раненых,— хотя Тамброни истерически кричал, что не отступит перед «улицей», итальянские трудящиеся отстояли демократию, вынудили правительство уйти.

Луиджи Лонго писал об июльских днях: «Особенно важно, что во всех схватках широкое и самоотверженное участие принимала молодежь — юноши и девушки 17—20-летнего возраста, не входящие ни в какую организацию, не находящиеся под каким-либо политическим влиянием, рабочие, подмастерья, продавцы, официанты, а также молодые безработные, которых статистика называет «ищущими первую работу».

Все это были как раз Бруно и его ровесники, в том числе юноши и девушки, куда более «беспартийные», чем он. Июльские события развеяли мелкобуржуазное представление о современной молодежи как о «потерянном поколении». Итальянская молодежь блестяще выдержала экзамен на аттестат зрелости, продемонстрировала подлинный демократизм и антифашизм.

Но нельзя считать, что эта молодежь уже тем самым обрела антикапиталистическое, социалистическое сознание. Даже про Бруно этого не скажешь. Роман — дневник его исканий, и только к концу герой обретает ясность цели, вступает в партию. Но эволюция молодого итальянца из народа бывает часто еще более сложной, а нередко — незавершенной.

Хотя чаяния и думы основной массы итальянской молодежи направлены, пусть часто неосознанно, к тем же целям, что и деятельность коммунистической партии, хотя к коммунистам молодежь относится сочувственно и с интересом, в отношении партийной принадлежности молодежи обо-

значилась — парадоксальный факт!— обратная тенденция. Коммунистическая партия неоднократно отмечала, что в последние годы произошло замедление притока молодежи в ее ряды. Впрочем, других политических партий страны это касается в еще большей степени. Молодежь как бы остерегается организации, как бы не хочет связывать себе руки традиционными формами политической борьбы. Продолжим цитированное выше высказывание Лонго: «Многие из молодых людей, с отчаянной смелостью вступавшие в рукопашную схватку с полицейскими, открыто выражали свое недоверие ко всем партиям, упрекая их в том, что им неизвестны реальные условия жизни молодежи, что они не знают о ее страданиях и надеждах и поэтому недостаточно учитывают ее нужды и запросы».

Разумность партии, ее (не побоюсь избитого слова) мудрость в том и состоит, что коммунисты не закрывают глаза на эти настроения итальянской молодежи, не занимаются их высокомерным осуждением, а анализируют их, стараются понять, выяснить их причины. Вот одна очень поучительная история.

Летом 1962 года на первой странице коммунистического еженедельника «Ринашита», который редактирует (между прочим, с большим увлечением) сам Тольятти, было напечатано полученное редакцией письмо юноши, скрывшегося под инициалами Ф. Г., письмо очень простое и искреннее. Автор его признавался в своей мечте — узнать все, найти что-то, ради чего стоит жить. Он — студент, изучает архитектуру, любит ее, хочет принести пользу людям. Но как жить дальше? Вступить в коммунистическую партию, с целями которой он вообще-то согласен? Но это помешает его учебе и его работе. Сосредоточиться на любимом деле? Но ведь Маркс как будто осуждал узкую специализацию.

На той же странице был опубликован ответ главного редактора. Тольятти откровенно написал: «Нелегко дать совет этому юноше». Казалось, естественным было бы ожидать, что лидер итальянских коммунистов порекомендует автору письма вступить в партию. Но Тольятти этого не сделал. По его мнению, такой совет был бы слишком поверхностным: партийный билет — это не компас, которого ждет Ф. Г. Тольятти сказал лишь, что поиски и сомнения этого юноши должны побудить всю партию продумать свои обязанности в отношении итальянской молодежи. При этом Тольятти сочувственно заметил: «Знать все... Кто не мечтал об этом, никогда не был молодым».

Поток откликов на письмо Ф. Г. и ответ Тольятти — а это был действительно поток писем молодых людей и людей пожилых, партийных активистов и беспартийных — показал, что большинство читателей правильно поняло Тольятти. Они поняли, что Тольятти, не давая сразу определенного и однозначного совета, призывает молодежь искать, спорить, критически мыслить. Тольятти поставил, таким образом, вопрос о важности для молодежи собственного опыта — жизненного и политического, о закономерности разных путей прихода к идеям социализма, в коммунистическую партию.

Собственно говоря, в этом — разгадка названия и идейный смысл романа Васко Пратолини. Бруно говорит: «Кажется, только мы, молодые, живем во времена разума. Мы должны яростно подчиняться рассудку, если хотим познать мир...» Бруно бросает эту фразу как вызов старшему поколению, своему духовному отцу, старому коммунисту Миллоски. И, объективно говоря, в чем-то Бруно прав. Что привело старое поколение рабочих к коммунизму? Прежде всего классовый инстинкт (хотя потом, в ходе борьбы, выковалось и марксистское сознание). Речь шла о выборе между двумя противоположностями: коммунизм или фашизм. Но с фашизмом у итальянского пролетариата ничего не могло быть общего. Поэтому оставался, по существу, один путь.

Иное дело с поколением Бруно, выросшим в условиях буржуазной демократии, гораздо более гибкой и хитроумной, чем фашистская система, находящей множество способов отвлечь трудящихся от классовой борьбы. Один из таких способов — все усиливающееся распространение «американского образа жизни», внешние атрибуты которого — от острых ощущений на смертоносных автомобильных гонках до отупляющего шума телевизора — строго соответствуют его социальному назначению: убить гражданские чувства, превратить человека в подобие механического существа, живущего и мыслящего (если можно употребить это слово) по установленным сверху стандартам. Чтобы противостоять многообразной буржуазной и реформистской пропаганде, ком-

мунистическая партия в небывалой степени должна обладать силой аргументации. Бруно и его одногодкам претят старые фетиши и слепая вера, только собственный разум приведет их к коммунизму. И, кстати говоря, когда речь заходит о работе среди молодежи, Итальянская коммунистическая партия подчеркивает важность именно этой стороны дела — воздействия на сознательность молодежи, умения убедить молодежь в том, что идеи социализма и только они соответствуют ее интересам и устремлениям.

Молодежь, писал Ленин, «по необходимости вынуждена приближаться к социализму *иначе,* не тем *путем,* не в той *форме,* не в той *обстановке,* как ее отцы». Коммунистическая партия Италии учитывает это указание Ленина.

Но вернемся к письму Ф. Г. и ответу Тольятти. Они дали толчок к очень интересной, острой, особенно откровенной дискуссии. Были не только письма в «Ринашите», многие из которых нельзя читать без волнения; письмо Ф. Г. и ответ Тольятти обсуждались и в комсомоле, и во многих партийных организациях. Были острые споры, не все соглашались с Тольятти, некоторые коммунисты были задеты тем, что он не призвал Ф. Г. вступить в партию. Но, пожалуй, все были едины в признании, что работа партии с молодежью страдает некоторыми серьезными недостатками. Эти недостатки ИКП продолжает критиковать и сейчас. В отчетном докладе на X съезде партии (декабрь 1962 года) Тольятти обращал внимание на «догматические и сектантские позиции, которые тормозят работу и наносят ущерб, ибо лишают ее необходимой убежденности и задора». За примерами можно обратиться к роману Пратолини: вспомните довольно саркастическую сцену первого, несостоявшегося приема в партию Бруно, пришедшего в трудный для партии момент с искренним намерением помочь ей.

Конечно, все это не означает, что молодежь всегда и во всем права. Читатель романа обратит внимание на пылкую революционность Бруно. «Жду нового июля»,— восклицает он. Эти настроения довольно характерны для известной части рабочей и студенческой молодежи, и партия не закрывает глаза на это. Мне вспоминается один молодой коммунист, выступавший на Миланской конференции, о которой я говорил выше. Он резко критиковал классовый профсоюз за «реформизм», как он выражался, довольно скептически отозвался об идее структурных реформ *, выдвинутой компартией. Потом я разговорился с этим юношей. Сейчас просматриваю запись этой беседы и поражаюсь: ну совсем та же биография, что у Бруно! Потомственный рабочий, вырос в рабочем квартале, кончил техническое училище, сейчас работает на крупном миланском заводе электромашиностроения «Сименс». Ему, как и Бруно, около 20 лет. Помню, большое впечатление на меня произвела горячность этого молодого человека и притом его серьезность, я бы сказал — «взрослость» суждений.

Не секрет, что троцкиствующие элементы в самой Италии и идущие по стопам троцкистов китайские руководители не прочь были бы использовать «левизну» некоторой части итальянской молодежи в своих интересах, для подрыва авторитета Итальянской коммунистической партии. Не случайно руководство КПК обвиняет итальянских коммунистов в «ревизионизме», «реформизме» и тому подобных грехах. Оно даже выпустило пухлую книжку, прямо направленную против стратегической линии Итальянской коммунистической партии, в которой утверждает, будто идея структурных реформ — это перепев мыслей Каутского. Одновременно китайские руководители через «своих» людей попытались развернуть подрывную работу внутри ИКП, причем главным своим козырем пекинская агентура считала обвинение руководства ИКП в «недостатке революционности».

Но свои расчеты в отношении ИКП китайские руководители строили на полном непонимании итальянской действительности. За несколькими ренегатами, действовавшими по указке Пекина и исключенными из ИКП, никто не пошел. Не пошла и итальянская молодежь. Как справедливо говорил о юношах и девушках Италии руководитель комсомола Серри, «будучи врагами мелочного реформизма, они отвергают и словесный максимализм...» Пусть не-

---

* Под «структурными реформами» Итальянская коммунистическая партия понимает глубокие преобразования в экономической и социальной структуре капиталистического общества (национализация собственности монополий, демократический контроль над государственной собственностью, аграрная реформа и т. д.), которые должны подорвать всевластие монополий и способствовать приходу к власти трудящихся классов. Структурные реформы противоположны реформизму, поскольку могут быть осуществлены лишь в результате борьбы масс и направлены не к укреплению существующего строя, а в конечном счете к его ликвидации.

которые молодые коммунисты, полные благородного революционного энтузиазма, иной раз тяготятся повседневной работой, с нетерпением «ждут нового июля». Они не мыслят себе жизни вне партии.

Среди откликов на письмо Ф. Г. в «Ринашите» было опубликовано письмо молодого миланского коммуниста Карло Брузони, 23 лет. В этом очень бурном и не очень логичном письме (впрочем, сам Брузони признавал, что он ощущает «хаос в мыслях») он резко критиковал руководящих коммунистов, с которыми ему приходилось сталкиваться, за «реформизм», «узость мышления». В своем письме Брузони восклицает: «...Наши действия рискуют потерять смысл из-за ограниченности наших целей». Но тут же, буквально в следующей фразе, он пишет: «А вообще-то я хотел бы сказать этому юноше — обязательно надо вступить в партию...»

Конечно, пока что таким, как этот Брузони, как герой романа Пратолини, не хватает ясности, широты кругозора. Но это должно прийти, это придет. Поймут они, что революционная борьба немыслима без повседневной, нередко утомительной партийной работы, что идея структурных реформ важна тем, что обеспечивает подлинно массовый, общенародный характер партии, классовые союзы пролетариата. Но и партия, ее руководители понимают определенную закономерность «революционного нетерпения» молодежи, необходимость дать ей нужный ответ. Этот ответ был найден партией и прогрессивными профсоюзами в провозглашенной новой, необычайно популярной сегодня среди рабочих задаче борьбы. Обычный, традиционный, коллективный договор между профсоюзом и администрацией капиталистического предприятия предусматривает главным образом установление определенного уровня заработной платы. А новая задача борьбы итальянского промышленного пролетариата заключалась в обусловливании всех сторон трудовых отношений на предприятии, иначе говоря, в том, чтобы включить в договор размеры сдельной оплаты труда, премий и других доплат к основным ставкам, оговорить в договоре право профсоюза участвовать в приеме и увольнении рабочих, присуждении квалификационных разрядов, в установлении и изменении тарифных расценок и т. д. Вся эта сфера трудовых отношений всегда рассматривалась предпринимателями как «святая святых», причем они использовали ее как орудие шантажа и раскола рядов пролетариата. Так и в романе — Бруно может осуществить свою мечту поступить на завод «Галилео», лишь если публично порвет с Миллоски, откажется от своих коммунистических убеждений. Новая задача партии и профсоюзов, следовательно, означала — открыть свободный доступ на заводы таким, как Бруно, а с ними вместе — и идеям прогресса, создать на промышленных предприятиях вместо полутюремной обстановки атмосферу подлинной демократии.

Насколько важна эта задача, ясно хотя бы из того, что левые силы в Италии определяют ее как «договорную власть» на предприятиях.

В последние два года она стала главным требованием ведущих отрядов пролетариата страны. Под этим лозунгом в течение 8 месяцев итальянские металлурги и машиностроители общим числом 1200 тысяч человек (кстати сказать, в их числе были и рабочие «Гали») вели героическую стачечную борьбу.

На какие только уловки не шли монополии, лишь бы побудить рабочих отказаться от этого требования! Они готовы были даже повысить зарплату в большей степени, чем того добивались бастовавшие металлисты, лишь бы не допускать покушения на свои «исконные» права. Ассоциация промышленников Ломбардии (важнейшая индустриальная область Италии) в специальном циркуляре подчеркивала, что требованиями металлистов «окончательно компрометируется самое элементарное право промышленника быть единственным руководителем своего предприятия...» Но металлисты стояли на своем и добились этого завоевания, беспрецедентного не только для Италии, но и для всей Западной Европы.

Я опять вспоминаю своего миланского знакомого — юношу с завода «Сименс». В тот период требование «договорной власти» только-только конкретизировалось и, во всяком случае, еще не стало задачей борьбы в национальном масштабе. Так вот, этот юноша заявил «Мы, молодежь, хотим бороться не за лишние 5 лир, а за участие рабочих в руководстве предприятиями». Такие, как он, как Бруно, и обеспечили блистательную победу металлистов.

Правда, предприниматели еще не признали себя побежденными. Они препятствуют

осуществлению новых условий коллективных договоров. В самое последнее время они развернули по всей Италии контрнаступление — начали массовые увольнения рабочих, сокращают рабочую неделю и соответственно заработную плату. Поэтому впереди новые бои за реализацию уже отвоеванных свобод, а может быть, и «новый июль», о котором думает Бруно.

В выдвижении и отстаивании идеи «договорной власти» сказывается то «чувство нового», которое присуще итальянским коммунистам. В этом их сила.

Сколько раз итальянская буржуазная печать предсказывала «кризис» коммунистической партии! И всякий раз конфузливо «забывала» об этих своих прогнозах.

Никогда не терять связи с молодежью, держать руку на пульсе времени — в этом неиссякаемый источник живой воды для партии. Но опираться на молодежь политическая партия может лишь тогда, когда ее глаза не закрыты шорами догматизма. Потому и злобствуют старые и новые троцкисты по адресу Итальянской коммунистической партии, что она постоянно сверяет свою политику с действительностью, изучает новые явления, новые общественные процессы.

К коммунистической партии молодежь привлекает еще и то, что на фоне коррумпированных и изолгавшихся буржуазных партий она выделяется своей искренностью и честностью. Руководители коммунистов не льстят молодежи, они говорят о том, что ей еще нужно овладеть марксизмом — незаменимым идейным оружием революционеров, изучить историю партии, чтобы понять смысл и значение борьбы старших поколений. Итальянская молодежь горячо откликается на этот призыв: среди всех ее слоев исключительно велик интерес к марксизму — в крупнейших городах Италии в переполненных молодежью залах с огромным успехом проходят лекционные курсы по истории ИКП, которые читают Тольятти и другие руководители партии.

Коммунистам чужда поза хранителей «абсолютной истины»: они не утверждают, что у них есть готовые ответы на все вопросы. В докладе на пленуме ЦК ИКП, посвященном работе среди молодежи, о котором говорилось выше, член секретариата ИКП Джанкарло Пайетта заявил: «Сомневающейся молодежи мы говорим, что мы не только не боимся, но хотим дискуссии». Собственно говоря, вся политическая линия ИКП — это результат дискуссии, споров, столкновений различных точек зрения, результат творческого отношения к марксизму. «Мы хотим,— говорил недавно один из руководителей ИКП Амендола,— чтобы все члены нашей партии не просто говорили «да» или «нет» политике ее руководства, а постоянно, систематически участвовали в определении и проведении в жизнь этой политики, не боясь пойти против течения или ошибиться».

Но, конечно, воздействие ИКП на молодежь определяется в первую очередь тем, что коммунисты предлагают ей революционную перспективу, перспективу борьбы за лучшее будущее.

Работе коммунистической партии, ее облагораживающему воздействию Италия обязана тем, что ее молодежь сравнительно слабо подвержена таким распространенным на Западе явлениям, как «битничество», что «американский образ жизни» оказался в Италии не столь заразителен. Коммунисты помогают молодежи увидеть цель жизни. И молодежь сторицей оплачивает за это партии.

На последних парламентских выборах в апреле 1963 года Итальянская коммунистическая партия одержала блестящую победу: за нее голосовало более 25% избирателей. По подсчетам социологов, среди молодых людей эта доля была еще выше.

Когда-то Маццини назвал свою организацию революционеров «Молодая Италия». И это было глубоко верно. Сто лет назад молодежь шла за Гарибальди и Маццини, за республиканцами, борцами против иностранного гнета. Сегодняшняя «Молодая Италия» — это коммунистическая партия и ее сторонники.

Думается, главная заслуга автора романа «Постоянство разума» в том и состоит, что он познакомил нас с современной «Молодой Италией».

ПОЛЕМИКА

З. ПАПЕРНЫЙ

ТЕХНОЛОГИЯ НЕПРАВДЫ

Никогда еще не писали о нашей поэзии так много за рубежом, как сейчас. Стремительно растет библиография статей о Блоке, Маяковском, Есенине, о поэтах первых лет Октября и самого последнего времени.

Пишут наши друзья.

Пишут недруги — то с подчеркнутой лояльностью вышколенных оппонентов, то с откровенной неприязнью ко всему, что датировано позднее 7 ноября 1917 года. Пишут академические солидные преподаватели университетов, профессоры, рассматривающие поэтов сквозь «очки-велосипед» заграничной марки; бойкие журналисты, неутомимые коммивояжеры культуры; литературные и окололитературные дамы, убежденные, что именно их салону дано понять до конца пафос Маяковского.

Есть, конечно, в этом своя идеологическая заданность. Литература деловито используется как средство пропаганды. Вместе с тем у идеологии — и своя «технология»: рецепты, приемы, производственные секреты.

У большого писателя есть мысли, идеи, высказывания по самым разным вопросам и поводам. При известном навыке из цитат можно соорудить любую композицию. В руках умельца цитаты — как части сборного «конструктора». Их надо как-то скрепить друг с другом, и вот уже — видимость доказательности.

Цитаты бывают разные — настоящие и фальшивые. Цитаты-лица и цитаты-маски. За одними стоит сам поэт, они несут печать его живой личности, мы узнаем его облик, слышим его голос.

Как говорит Маяковский:

> ...Я
> привожу вам
> просто цитаты
> из сердца
> и из стиха.

Но бывает так: цитата оторвется от своего автора и пойдет, что называется, по рукам. Она уже и сама не помнит, откуда она, проживает у разных людей, вечно на побегушках. И куда ее только не посылают, для каких только целей не используют!

Иногда это высказывание поэта, его прямая речь — искривленная, перетолкованная, направленная по ложному адресу.

Вспоминается отклик на том «Литературного наследства» — «Новое о Маяковском». Выступив на страницах английского журнала «Нью стэйтсмен», автор рецензии, озаглавленной не как-нибудь, а «Правда о Маяковском», К. Кэрол приводил цитату из выступления поэта на диспуте и делал вывод: «Маяковский выступил против традиционного искусства, унаследованного от царской России, он выступил также против нового коммунистического искусства».

Маяковский — против коммунистического искусства? Действительно, что-то новое. В чем же дело? А ничего особенного—обычное баловство с цитатой.

Выступая на диспуте в 1925 году, Маяковский резко критиковал картину И. Бродского за фотографичность изображения. Перед нами — острый спор художников раз-

ных направлений. Ничего против коммунистического искусства Маяковский, конечно, не говорил, наоборот, он гребовал, чтобы работникам коммунистического искусства отвели такое же место, «какое отводится любому работнику в любой области строительства, в области хозяйственной, в области просвещения» и т. д.

Как видим, технология не очень сложная. Маяковский критиковал И. Бродского. И. Бродский — советский художник. Стало быть,— железная логика! — Маяковский выступал против советского искусства вообще. Ни больше ни меньше.

Представляете, какую перспективу открывают подобные силлогизмы?

Порой просто диву даешься: до чего дошло искусство толкования, вернее, перетолковывания цитат. Их читают справа налево, вверх ногами, в обратном смысле, усматривают в них, чего в них нет, не видят того, что есть.

В самом деле, какой иной смысл можно найти в известных словах Маяковского:

Я хотел бы
жить
и умереть в Париже,
если б не было
такой земли —
МОСКВА.

Как будто никаких кривотолков быть не может: поэт расписывается в любви к Парижу и признает, что любовь к Москве еще сильнее.

А вот как «переосмыслил» эти слова в работе «Неизвестный Маяковский» русский художник-эмигрант Юрий Анненков: Маяковский, мол, хочет эмигрировать, но не может. Он больше всего на свете любит славу, а ее за границей, не зная языка, не добьешься. И поэт вынужден оставаться в Москве и гяготиться.

У Маяковского есть стихотворение об «эмигрантских сплетнях». Перебивая друг друга, люди ошарашивают слушателей невероятными новостями. оказывается, русский поэт прибыл в Париж со спецзаданием взорвать Булонский лес, да нет, я его хорошо знаю, и супругу его, княжну, неправда, он не женат, нет, женат — и на императрице. И так далее. В конце стихотворения Маяковский «покорнейше просит» не верить всей этой «эмигрантской нуди».

Мог ли он представить, что пройдут десятилетия, а сплетни будут продолжаться, и на основании парижского цикла его самого объявят чем-то вроде потенциального эмигранта?

На что рассчитывают авторы, пускаясь среди бела дня на такое цитирование со взломом? На то, что, как говорится в упомянутом стихотворении парижского цикла,

Дыра
в ушах
не у всех сквозная —
другому
может запасть!

Есть что-то скучное, действительно «нудное» в этой неправде, которая сама махнула на себя рукой и даже не пытается походить на правду.

В отличие от К. Кэрола и Ю. Анненкова американец Чарльз Мозер больше старается быть убедительным, осторожней обращается с текстом Маяковского. Но и он не обходится без превратных истолкований.

Ч. Мозер пишет в статье «Несентиментальное путешествие Маяковского» о заграничных поездках поэта: «Центром мировой культуры в грядущем станет Москва, думал в те времена Маяковский. Однако к концу 20-х годов Европа в значительной степени оправилась, надежды на немецкую революцию не оправдались, а Москва попрежнему выглядела весьма отсталым городом (см. «Две Москвы»).»

Стихотворение Маяковского действительно называется «Две Москвы». Поэт начинает его словами:

Когда автобус,
пыль развеяв,
прет
меж часовен восковых,
Я вижу ясно:
две их,
их две в Москве —
Москвы.

Но то, что ясно видит Маяковский, отказывается замечать Ч. Мозер. Он разглядел только одну Москву — «весьма отсталый город». Во всем остальном ему зрение отказывает.

В начале Маяковский говорит о Москве вчерашнего дня: кабаки, хулиганье, мат ломовиков. Но —

Не надо быть пророком-провидцем,
всевидящим оком святейшей троицы,
чтоб видеть,
как новое в людях роится.
вторая Москва
вскипает и строится.

Почтамт и здание «Известий», без которых мы не можем себе представить сегодня Москвы,— тогда еще в строительных лесах.

Уже роются тоннели будущего метрополитена — в те дни само это слово звучало непривычно, отдавало экзотикой.

Нет нужды преувеличивать достоинства этого стихотворения Маяковского. Но оно исполнено живого ощущения «лихорадки буден», перемен, резких столкновений старого и нового, вчера и завтра. Новенькое, как будто еще не обжитое слово «метрополитен» оттесняет древнее «митрополит».

А критик, глядя в полглаза, видит лишь одну половину — только то, что относится ко вчерашнему. Он стремится остановить движущиеся «кадры», превратить их в неподвижное фото.

И так он поступает каждый раз. «Две Москвы» он ухитрился превратить в одну — отсталую. В стихотворении «Они и мы» — не заметить «мы», но зато невероятно раздуть восхищение перед «ними». Из всего стихотворения цитируется только:

Дыры —
дразнятся.
Мы
и Франция...
Какая разница!

И вывод — оптимизм Маяковского «не имеет уже той силы». Сначала стихотворение сводится до куцей цитатки, а затем испускается полный сожаления и сочувствия вздох: не та, мол, сила.

Но обратимся к Маяковскому без посредничества Ч. Мозера.

Поэт рассказывает о своем возвращении из заграничной поездки на родину:

Как приятно
со́ снегу
вдруг
увидеть сосенку.
Конешно —
березки,
снегами припарадясь,
в снежном
лоске
большущая радость.

Он не только радуется. Его обступает жизнь трудная, далекая от роскоши. Давка на вокзале, ямы и колдобины: «Загрустил, братцы, я!» И дальше идут строки, расчетливо отобранные Ч. Мозером. Однако за ними — стихи, которые никак ему не подходят:

Но вот.
врабатываясь
и оглядываясь.
как штопается
каждая дырка,
насмешку
снова
ломаешь надвое
и перестаешь
европейски фыркать.
Долой
подхихикивающих разинь!
С пути,
джентльмены лаковые!
Товарищ,
сюда становись,
из грязи́,
рабочую
жизнь
выволакивая!

Если бы Ч. Мозер мог беспристрастно прочитать это стихотворение, а потом — свой комментарий, он вынужден был бы признать: слова о «джентльменах лаковых» имеют к нему, Мозеру, самое непосредственное отношение. Ведь это же он пытается изобразить этаким «европейски фыркающим» наблюдателем Маяковского, который всей своей силой поэта «из грязи рабочую жизнь выволакивает».

«К концу жизни буржуазные удовольствия производили на Маяковского более сильное воздействие»,— пишет он совершенно серьезно, не замечая всей несообразности, всего несоответствия между тем, что он говорит, и тем, о ком идет речь. В доказательство приводится стихотворение «Красавицы», где Маяковский «признается, что он «размяк» — все роскошные женщины в Гранд-Опера кажутся ему привлекательными».

Но если бы Маяковский действительно «размяк» от роскошных, как он выражается, «красавок», вряд ли он кончил бы стихотворение так:

Брошки — блещут...
на́ тебе! —
с платья
с полуголого.
Эх,
к такому платью бы
да еще бы...
голову.

Пользуясь способом Ч. Мозера, легко превратить американские стихи Маяковского... в прославление буржуазного Запада. Взять стихотворение «Бродвей», его первую половину, привести слова: «Тебя ослепило, ты осовел» и заявить: поэт ослеплен масштабом и красотой американского города. Можно еще для пущего правдоподобия процитировать: «Я в восторге от Нью-Йорка

З. ПАПЕРНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЯ НЕПРАВДЫ

города», а главное — не приводить строк, что следуют дальше.

Но
кепчонку
не сдеру с виска.
У советских
собственная гордость:
на буржуев
смотрим свысока.

Как видим, какая-то забота о правдоподобии у Ч. Мозера есть. Он все-таки не сочиняет сам откровенной отсебятины, предпочитая монтаж из цитатных половинок и четвертушек. Его способ сводится к тому, чтобы сконструировать большую неправду из кусочков полуправды. Чувствуется, что ему нравится производить солидное впечатление, выглядеть убедительным.

Но вот Патриция Блейк меньше всего озабочена поисками истины, стремлением к достоверности Ее можно назвать снайпером непопадания. Все, что она пишет о поэте во вступительной статье «Две смерти Владимира Маяковского» (сборник «Клоп» и избранные стихи»), верно при условии, что всюду вместо «нет» будет поставлено «да», а вместо «да» — «нет». Просто удивляться приходится, как она сумела ни разу не столкнуться с правдой, а каждый раз оказывается с ней на разных, противоположных сторонах. Это относится и к мелочам, и к более важным темам.

«Великолепие Кавказа,— сообщает она,— которое трогало Пушкина и Лермонтова, Маяковского лишь удручало».

Ну, что тут можно сказать?.. По автору плачет ликбез. Надо начинать с азов. Приходится просить прощения у читателей и давать самые элементарные советы, например, почитать стихи «Владикавказ — Тифлис», в частности строки:

Я знаю:
глупость — эдемы и рай!
Но если
пелось про это,
должно быть
Грузию,
радостный край,
Подразумевали поэты,

или «Тамару и демона», где поэт как загипнотизированный застывает перед «красотою нетроганой» Кавказа, любуется «воды и пены игранием». Впрочем, педагогически правильней, наверное, было бы начать с детских стихов поэта.

Читаешь Патрицию Блейк и поражаешься ее уникальной способности вдруг сказать именно то, что, казалось, никак не надо бы говорить. Ее статья — своего рода негатив, где черное — белое, а белое — черное.

Можно ли, в самом деле, отказать Маяковскому в темпераменте? В необычности чувства — в «громаде любви, громаде ненависти»? Как будто нет. Но Патриция Блейк отказывает поэту именно в том, без чего он просто не существует.

Слабость Маяковского, заявляет она, «заключается не в чрезмерной страсти, а в отсутствии таковой». И дальше следует рассуждение о том, что Маяковский ощущал в себе «застой, который нуждается в сдвиге». Отсюда его увлечения, отсюда же и его «большевистский энтузиазм». Тут уже спорить с Патрицией Блейк бессмысленно. Потому что спор — столкновение разных точек зрения на какой-то один предмет. Тот же, о ком пишет Патриция Блейк,— вялый, слабодушный, бестемпераментный хлюпик, который пытается себя душевно расшевелить то любовными увлечениями, то революционной тематикой,— образ, свидетельствующий об уровне воображения его создательницы, но к Маяковскому не имеющий никакого отношения.

Мы прочитали пространную статью о поэте и ничего не узнали достоверного о нем; зато явственно и колоритно обрисовался облик автора статьи — Патриции Блейк. И только одно остается неясным: зачем именно ей заниматься именно Маяковским?

В самом деле, стоит ли?

Мы говорим это без малейшего желания обидеть, скорее — с сочувствием, даже соболезнованием, какое только и могут вызвать такие литературно-критические опыты.

У Маяковского в «Про это» есть такая сцена. Поэт врывается в квартиру, где веселятся обитатели, собутыльники, ветераны картежных сражений. Он пытается уговорить их, молит, агитирует.

— Ведь это для всех...
для самих...
для вас же...
Ну, скажем, «Мистерия» —
ведь не для себя ж?!
Поэт там и прочее...
Ведь каждому важен...
Не только себе ж —
ведь не личная блажь...

«Не только себе ж» — вот что он пытается объяснить пьяной компании, непрошибаемо самодовольным людям, слушающим его с недоверчивой улыбкой, как «именитого скомороха» Не только себе ж — в этом весь Маяковский, поэт жадного желания

отдавать, дарить, служить людям, делиться с ними всем — кроме разве что зубной щетки.

Молодой Маяковский предлагает все богатства души — «За одно только слово ласковое, человечье». В той же поэме «Про это» в шутку и не в шутку говорит, что, увидев собачонку у булочной,—

Из себя
и то готов достать печенку.
Мне не жалко, дорогая,
ешь!

В поэме «Хорошо!» серьезно и убежденно доказывает: «Нельзя на людей жалеть ни одеяло, ни ласку», ощущает прилив радости и тут же — «не для вас уделить ли нам?».

В этом его суть, его природа. Но как персонажи из «Про это» — мы, мол, стрелянные воробьи, нас на мякине не проведешь! — с недоверчивой улыбкой относились к поэту многие критики. Не верьте, мол, поэту, он только говорит так, что не для себя, а сам об одном себе и думает. Да и как в это можно поверить? Всю душу — за одно слово. Или — из себя печенку для собаки. Смешно!

Именно здесь — главный пункт непонимания Маяковского, порой даже самого искреннего: в недоверии к тому, что «жить единым человечьим общежитьем» — его личная мечта, его лирика, условие собственного счастья.

Гельмут Улиг выпустил недавно, в 1962 году, в Западном Берлине книжку о Маяковском, которая от первой до последней строки основана на убеждении: все, что Маяковский делал, творил, писал—все для себя лично. Это — «Ich—Mensch», «я—человек». «Он был индивидуалистом», «Он остается индивидуалистом», «Поэзия — это творческое выражение его индивидуализма» и т. д. Все увенчивается выводом: «Несмотря на свое решительное приятие революции, Маяковский был и остался в новом обществе посторонним».

В прошлом году в Западной Германии вышла книга И. Хольтхузена «Современная русская литература» (I. 1890—1940). Как и Г. Улиг, И. Хольтхузен убежден, что Маяковский—это прежде всего «я, себя, сам собою»: хотя он и стал рано сторонником коммунизма и коллективизма — «прежде всего его лирика ультраиндивидуалистична».

В общем, что там ни говори, коммунизм коммунизмом, а своя рубашка ближе к телу. С позиций этой «рубашки» и читается часто Маяковский.

Сам он в автобиографии утверждает, что с детства у него «стихи и революция как-то объединились в голове». А его истолкователи за рубежом, наоборот, твердят о несоединимости стихов и революции. Этот тезис для них дороже самого поэта со всей его судьбой и творчеством.

«Целое десятилетие шумел и блистал Маяковский на первом плане советской литературы,— читаем в одном из таких «пособий».— Он стал линять только с 1928 года, в дни приступа к пятилеткам, крутого сталинского перелома. Тогда он перестал чувствовать себя в центре всеобщего внимания.— «Все равно, скоро сдохну».— «Не поставить ли лучше точку пули в своем конце?»

Обращает внимание полнейшее равнодушие к самому Маяковскому. Будь автор книги «Русская литература» Ив. Тхоржевский хоть мало-мальски внимателен к поэту — он не стал бы иллюстрировать свои рассуждения о конце Маяковского стихами из поэмы «Флейта-позвоночник» (1915), не предпринимал бы подобной пластической пересадки цитаты из одной эпохи в другую.

Но, может быть, нагляднее всего проявился бездушно-деловитый подход к Маяковскому в комментариях по поводу его смерти.

Эмигрантская критика отпевала поэта при жизни, тянула «об упокой его душу таланте». Смерть поэта сразу же «примирила» с ним его вчерашних противников. Она, «конечно, поможет многим, для кого имя Маяковского было синонимом литературного большевизма и житейского беспутства, отнестись с вниманием к памяти поэта»,— заявлял буквально через несколько дней после смерти Маяковского Михаил Осоргин. «Мы все осуждали Маяковского, пока он был жив...» — простосердечно признавался другой эмигрант, Г. Адамович. Но теперь, мол, не стоит слишком торопиться с окончательным приговором.

Н. Оцуп, русский поэт-эмигрант, автор «Литературных очерков», вынужден признать, что Маяковский — «сознательный боец за идеалы, возвещенные Лениным», и тут же утешает себя и своих единомышленников: «Одно, впрочем, сразу обещает успех

попытке разоблачить миф о его неуязвимости: он застрелился».

Свести всю жизнь Маяковского к смерти, перечеркнуть весь его путь самоубийством — вот цель, которую преследовали многие и многие авторы. Тут и «видавший виды П. Н. Милюков» — он писал о разочаровании поэта в успехах коммунизма, и «мадам Кускова», испытавшая вместе с профессором Милюковым силу сатирических ударов Маяковского.

Тот же Ив. Тхоржевский давал такое объяснение смерти поэта: «Когда сатирические пьесы Маяковского «Баня» и «Клоп» не были пропущены на сцену», вот тогда-то, мол, он и застрелился. И «Клоп», и «Баня» были поставлены на сцене театра Мейерхольда, никто их не запрещал. Но это не важно. Требуется доказать, что Маяковский — только жертва революции, что соединиться с ней он не мог и она ничего ему не дала как поэту. Так сказано в идеологическом «решебнике», а каким путем, какой операцией прийти к этому — это уже второе дело.

Глеб Струве пишет в своей «Истории советской литературы» о Маяковском «Революция была для него средством побега от себя, хотя впоследствии уже он сам бежал от революции».

Смерть Маяковского — горестная страница нашей поэзии. Но чего ждать от тех, кто видит в ней лишь «козырную карту», кто сам бежал от революции и никак не может понять, что Маяковский навсегда связал с Октябрем свою судьбу? Чего ждать от тех, кому смерть Маяковского — радость?

Вот Юрген Рюле посвящает свою книжку «Театр в оковах», вполне антисоветскую, «жертвам диктатуры». Здесь и Маяковский, и Блок, и Есенин, и Горький, и другие писатели. Хочется спросить: что ему Маяковский и что он Маяковскому? Ведь он не столько проливает слезы о поэте, сколько обливает грязью все, в чем для поэта смысл жизни. Ему дорог не Маяковский, а его самоубийство.

В другой своей книге «Литература и революция» (1960) он доказывает, что Маяковский, Блок и Есенин — сгоревшие звезды на Октябрьском небосклоне, их свет доходит до нас, как свет умерших звезд доходит,— то есть именно так, как не хотел являться в будущее автор поэмы «Во весь голос».

Западногерманский критик Курт Хохофф, пишет в «Нейе цюрихер цейтунг» о советских лириках. Все они, натурально, только жертвы большевизма. И для полноты картины, для большей, так сказать, округлости концепции сообщает: «Блок кончил жизнь в 1921 году, пустив себе пулю в лоб».

Вот ведь как. Сам не застрелишься — мы тебе поможем. Сами отольем пулю и пустим.

А разве не такое же безразличие к живой судьбе поэта обнаружил Ф. Степун, автор предисловия к прозе М. Цветаевой, изданной в 1953 году в Нью-Йорке? Он цитировал полностью лишь одно ее стихотворение, воспевающее белогвардейскую армию, «добровольчество».

Марина Цветаева — поэт сложного и горького пути. Ничего не стоит надергать из ее стихов цитаты, прославляющие спасительное одиночество, бегство от мира. Но можно ли не расслышать другой голос — поэт словно перебивает себя, и невольно срываются жалобные признания в неприкаянности, в неизлечимой тоске по России:

> А все же с пути сбиваюсь
> (Особо весной!).
> А все же по людям маюсь,
> как пес под луной.

Но вместо сложного портрета писательницы, которая несла одиночество как груз, как проклятье, как горб, маялась «тоской по родине», в лирической сатире «Крысолов» клеймила бездушную бюргерскую сытость, хотела, чтоб ее стих участвовал в борьбе с гитлеризмом, вместо всего этого — грубое извлечение одной белогвардейской идейки. Она вытягивается, как нить из разноцветной ткани, и выдается за всю ткань.

Марина Цветаева вернулась на родину, но жизнь ее оборвалась трагически. Все так. Но то, что для нас — горечь, память о невосполнимых потерях, жертвах войны, эпохи культа, снова оказывается для многих зарубежных специалистов «нечаянной радостью», нечаянной и обманчивой.

И тут обнаруживается перекличка между тем, что пишут критики-эмигранты и их западные коллеги.

Глеб Струве, Ф. Степун, Н. Оцуп доказывают, что революция для поэзии пагубна, что сама идея коллективного строя несет человеческой личности только угрозу. Лирика — заколдованный замкнутый круг, шагнув через него, поэт гибнет.

Эта концепция была передана из рук в

руки европейским специалистам. На многих из них — как будто перелицованные эмигрантские одежды. Порох тут не выдумывается, звезд с неба не хватают.

Н. Оцуп, редактировавший эмигрантский журнал «Числа» (1930—1934), писал в программной вступительной статье первого номера: «Мы присутствуем при непрерывном впитывании Европой каких-то русских влияний, и сами, каждый по мере сил, в какой-то, может быть, еле ощутимой, но все же несомненной степени этому помогаем».

Но то, что у некоторых эмигрантов окрашивалось тоской по родной оставленной земле, под пером западных коллег обретало деловитый и деляческий характер. Тут уж не до сентиментов. Кустарной технологии придан промышленный размах.

Охотно пишут за рубежом о стиле Маяковского. Но — не забывая о главном, что «требуется доказать». Поэт, мол, талантливый, но революция тут ни при чем.

Уже знакомый нам И. Хольтхузен называет крупнейшие произведения Маяковского советских лет — поэма о Ленине, «Хорошо!», «Во весь голос» — и оговаривается: «К формальным достижениям своих ранних стихов Маяковский, конечно, не прибавляет нового. Смелая рифма, особенный поэтический синтаксис и связанная с этим ритмическая «лесенка» поставлены теперь на службу агитации и революционного заказа».

Маяковский любил говорить, что лучшее стихотворение для него — то, которое написано сейчас, стремился идти вперед, перешагивая через себя. А здесь вместо творческого пути — шаг на месте.

Н. Оцуп, признавая силу политической лирики Маяковского, многообразие его сатирических средств, вдруг задается вопросом: а новатор ли Маяковский? Н. Оцупу это не ясно. В общем, он склонен даже ответить утвердительно, но сомневается и упрекает поэта в недостаточной оригинальности.

Не везет Маяковскому в зарубежной критике. То откажут в темпераменте, то, оказывается, и оригинальности маловато.

В качестве примера Н. Оцуп приводит слова — «поэзии мозолистые руки» Казалось бы, что тут сомневаться? Но Н. Оцуп считает, что образ не нов.

«Мне тоже привелось выразить это чувство в следующих строчках «Дневника в стихах».

Всюду свальное, куда ни кинуть:
Новые Гоморра и Содом...
Ну и как по этому не двинуть,
По всему железным кулаком,
Чтобы слезы счастья орошали
Хлеб насущный прописной морали.

Непонятно только одно слово — почему «тоже»? Сравните. «подползают поезда лизать поэзии мозолистые руки» — и, действительно, не слишком оригинальные стихи Н. Оцупа. Много ли тут общего? Разве что чисто внешняя перекличка: «мозолистые руки» и «железный кулак».

Думается, дело тут не в отсутствии вкуса. Того, кто старается отделить Маяковского от его пафоса, кто исходит из формулы: истинный Маяковский — это Маяковский минус революция,— тот утрачивает и верное ощущение его стиха, стиля, звучания. Ему кажется, что «Хорошо!» мало что прибавляет к раннему Маяковскому. Что «агитация» и «лирика» вещи несовместимые. И ему никогда не понять интонации поэта, который, как он сам говорит,

молил,
грозил,
просил,
агитировал.

Ф. Степун в предисловии к прозе Цветаевой пишет о Маяковском — «большом поэте, не за страх, а за совесть превратившем себя в заведующего плановым хозяйством огосударствленной культуры, о глашатае, барабанщике, плакатчике и разносчике правительственной идеологии, достигшем на этом пути новых и притом, как в синтаксическом, так и в ритмическом смысле, бесспорно ценных результатов».

Непонятно: если большой поэт превратился в «барабанщика», как же это он достиг «бесспорно ценных результатов» и именно «на этом пути»? И откуда вдруг появились у него находки «как в синтаксическом, так и в ритмическом смысле» — для того, чтобы только разносить чужую идеологию, всего этого просто бы не потребовалось.

О реализме Маяковского пишут как о чем-то скучном и тяжеловесном. А все, что у него интересного, неожиданного, фантастического,— это, мол, «поверх» реализма.

Гельмут Улиг называет юмор «Прозаседавшихся» «сюрреалистическим». Изображение в «150 000 000» — отчасти реалистическим, отчасти сюрреалистическим.

З. ПАПЕРНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЯ НЕПРАВДЫ

В общем, то, что выходит за рамки арифметической правдивости,— уже не реализм. Если «сидят людей половины» — ясно, о реализме и речи быть не может.

С этой точки зрения, например, начало «Необычайного приключения» — просто букет различных методов.

«В сто сорок солнц закат пылал» — конечно же это сюрреализм. Реализму полагается не больше одного, от силы двух солнц.

«Была жара» — вот это реализм.

«На даче было это» — типичный натурализм.

Смешно бывает читать, когда критики вдруг, открывая в Маяковском фантастику, юмор, гротеск, сплав иронии и лирики, делают большие круглые глаза:— Скажите! Ну, кто бы мог подумать — занимался всякой там агитацией, и вдруг такой сюрприз.

Трудно им понять, что и агитация Маяковского — живая, лирическая, веселая, как он сам писал, агитация со звоном, с фейерверком — прямо противоположна «рифмованной политграмоте», механическому переложению в стихи передовиц и подвалов.

Не секрет, что в прошлые годы у нас хватало любителей сводить поэзию Маяковского к сухой «агитацистике». О нем говорили так, будто он и стихов не писал — а только лозунги. Поэта хвалили — но не как поэта. Забывали его собственные слова: «Наличие задачи в обществе, разрешение которой мыслимо только поэтическим произведением»

Для многих зарубежных толкователей лирика и революция — Сцилла и Харибда, молот и наковальня.

А для догматика это две половинки, которые механически совпадают. Как у Оптимистенки: р-раз — и готово! И тут же никаких вопросов, поисков, противоречий.

Те ищут теневые места и стороны. А этот — как фотограф, создающий яркое круговое освещение, чтобы нигде, не дай бог, не было тени.

Те предпочитают потемки. Этот — вспышки магния.

Маяковский у тех с самого начала обречен. У этого — «постоянно ясен».

Приятно видеть работы наших зарубежных друзей и коллег, где Маяковский похож на себя, где он не выглядит ни самовлюбленным «эгоманом», ни безликим монументом. Назовем здесь работы Тодора Павлова и Василя Колевского в Болгарии, Иржи Тауфера в Чехословакии, Луи Арагона и Эльзы Триоле, Клода Фриу во Франции, Леонгарда Кошута в ГДР, Мартина Нага в Норвегии.

Было бы хорошо, если б собрались исследователи разных стран на международную «Маяковскую конференцию». Для серьезного обсуждения проблем его творчества, его судьбы — прижизненной и посмертной, национальной и мировой.

Итогом конференции явилась бы книга, написанная друзьями поэта, писателями, исследователями разных стран.

К конференции, как это водится, хорошо бы устроить выставку. И специальный стенд посвятить лжетолкователям поэта — фальшивоцитатчикам, любителям «эмигрантских сплетен», и солидным, как Ч. Мозер, и несолидным, как говорливая Патриция Блейк, и шутникам, вроде Хохоффа, возвестившего о самоубийстве Блока, и Юргена Рюле, который проливает по Маяковскому горючие слезы, с трудом удерживая злорадную улыбку.

ПУБЛИЦИСТИКА

Н. ПАСТУХОВ

ЦВЕТОК И СЕМЯ

(Заметки об индийской культуре)

Индия пронесла через века великую духовную культуру своего народа, песни и музыку, эпос и мифы, поэзию и изумительные образцы народного искусства — от микроскопических костяных слоников, умещающихся в горошине, до мраморных кружев величественной усыпальницы Тадж-Махал, фресок Аджанты и скульптурного совершенства Эллоры.

Исследователи Индии называли ее «колыбелью человечества». В этом определении есть свой смысл, если вспомнить, что между третьим и вторым тысячелетиями до нашей эры Индия оказывала огромное влияние на многие страны мира. Далеко за Гималаями и Индийским океаном славились ее изделия — чеканное оружие, тончайшие шелковые ткани, ажурные украшения из золота и серебра. В древнейших исторических описаниях «ведах» (кстати, от этого санскритского слова произошел русский глагол «ведать» — знать, познавать) представлена богатая картина материальной и духовной культуры Индии. За три тысячи лет до нашей эры старинный индийский музыкальный инструмент кин был привезен в Китай, где получил широкое распространение. Этот инструмент существует в Китае и по сей день под названием цин. Известный исследователь Индии Сильвен Леви писал, что «за долгие века она оставила неизгладимый след в жизни четверти всего человечества».

С особым вниманием к индийской культуре относились в просвещенной части российского общества. Все описания этой страны тогда черпались из греческой и латинской литературы. В XII веке на славянские языки было переведено «Сказание об индийском царстве». Через два столетия появилась книга тверского купца Афанасия Никитина «Хожение за три моря». Афанасий Никитин посетил Индию раньше Васко де Гамы. Его книга вызвала в России огромный интерес к этой далекой стране. В 1792 году на страницах «Московского журнала» были опубликованы сцены из драмы великого индийского поэта Калидасы «Шакунтала» в русском переводе Н. М. Карамзина, для которого Калидаса был «столь же велик, как и Гомер».

В XVIII веке русский музыкант и дипломат Герасим Степанович Лебедев посетил Индию. Он выступал с концертами в Мадрасе, а позднее организовал в Калькутте первый индийский драматический театр. Здесь он не только изучал местный язык бенгали, но и написал грамматику бенгальского языка и книгу «Беспристрастное созерцание систем Восточной Индии Брагменов, священных обрядов их и народных обычаев», а также составил сборник народных мелодий «Индостанские и бенгальские арии». Лебедев возненавидел колониализм, сковывавший развитие индийской культуры. Свои взгляды он высказывал вслух, за что был наказан английскими колонизаторами: они подожгли его театр, а самого Герасима Степановича пытались убить. Это заставило его покинуть Индию. Вот что он говорил тогда о колониализме: «Из всего выше нами сказанного довольно явствует, что индийцы нимало не похожи на диких и что более имеют справедливость приписать сию укоризну тем, которые жесточайше с ними обходятся, нежели самые кровожаждущие лютые звери».

Позднее немалую лепту в изучение Индии на Руси внесли П. Я. Петров, написавший книгу «О музыке древних индусов»,

картины и зарисовки русских художников А. А. Салтыкова, В. В. Верещагина и других.

Русская революция 1905 года оказала огромное влияние на пробуждение Азии, и особенно Индии. Именно в этот период начался подъем индийского национально-освободительного движения. Ветеран этого движения Дадабхай Наороджи, бывший в 1906 году председателем партии Всеиндийский национальный конгресс, заявил: «Если Россия героически борется за освобождение, как можем мы — мы якобы свободные граждане Индо-британской империи — оставаться бесправными подданными деспотизма!».

Владимир Ильич Ленин всегда живо откликался на революционные события в Индии, внимательно следил за ходом развития этой страны. «В Индии,— писал В. И. Ленин,— туземные рабы «цивилизованных» английских капиталистов как раз в последнее время причиняют неприятное беспокойство своим «господам». Нет конца тем насилиям и тому грабежу, который называется системой английского управления Индией. Нет нигде на свете — за исключением, конечно, России — такой нищеты масс, хронической голодовки населения. Самые либеральные и радикальные деятели свободной Британии, вроде Джона Морли (Morley) — авторитета для русских и нерусских кадетов, звезды «прогрессивной» (на деле — лакействующей перед капиталом) публицистики,— превращаются в качестве правителей Индии в настоящих Чингисханов, которые способны санкционировать все меры «успокоения» вверенного населения, вплоть до *сечения* политических протестантов!»

Когда в 1908 году английский колониальный суд приговорил к шести годам каторжных работ выдающегося деятеля индийского национально-освободительного движения Тилака и бомбейские рабочие в знак протеста против этого приговора провели политическую стачку, В. И. Ленин писал, что «пролетариат и в Индии дорос уже до сознательной политической массовой борьбы, а раз это стало так, песенка английско-русских порядков в Индии спета!»

Много сделал для развития культурных связей между Индией и нашей страной Лев Николаевич Толстой. Его перу принадлежит известное «Письмо к индусу». Л. Толстой находился в переписке с Ганди. В своих воспоминаниях Ганди писал, что в дни молодости он испытал на себе большое влияние Толстого. Когда он впервые прочел одну из книг Толстого, книги всех других авторов «показались ничтожными в сравнении с независимостью мысли, глубокой нравственностью и искренностью» великого писателя.

В 20-е годы эхо Великой Октябрьской социалистической революции, произошедшей в России, было услышано и в Индии. Вспыхнуло антиимпериалистическое движение. Многие лидеры этого движения находились под влиянием философских идей Ганди, и оно поэтому чаще всего принимало форму кампаний гражданского непослушания. Влияние Толстого сказалось на творчестве ряда индийских писателей, воспринявших, конечно, не только его философию, но и реалистические традиции. Когда в 30-е годы писательская молодежь Индии стала отходить от философии «непротивления злу насилием» и «нравственного самоусовершенствования», влияние толстовского реализма оставалось по-прежнему сильным и действенным.

Теперь в идейном плане молодым индийским литераторам гораздо больше отвечал дух Горького, а его роман «Мать» вдохновлял на создание образов героев, которые видели освобождение Индии в активной борьбе против ее поработителей. Внимание писательской молодежи Индии все больше и больше привлекали марксистские идеи. Именно в это время бурно начали развиваться культурные связи с Советским Союзом. На празднование десятилетней годовщины Великого Октября из Индии прибыли Мотилал Неру и его сын Джавахарлал Неру, ныне глава правительства. Именно тогда Джавахарлал Неру сказал: «Россия и Индия должны жить, как самые лучшие соседи с наименьшим числом спорных вопросов». Позднее Советский Союз посетил Рабиндранат Тагор. В «Письмах о России», давая высокую оценку достижениям советской власти, он, в частности, отмечал, что успехи музыки и театра в России необыкновенны и что «подлинный образ силы там, где из гранитной груди вырывается бурлящий, пенящийся поток, весенними цветами расцветает и становится прекрасным то, что некогда было скована холодом».

ПЕСНИ ХУСРОУ

Индийцы от мала до велика любят музыку. Европейцы не в состоянии сразу понять индийскую музыку, которая отличается по своему строю и тональности от привычных им мелодий. В ней имеется 72 «рага». Но «рага» — не тон, это «серия тонов», или различные музыкальные вариации. Такт в три и четыре четверти известен в Индии. Но в Европе не слышали тактов в семь или одиннадцать четвертей, свойственных индийской музыке.

О музыке Индии писали Арриан, Плутарх, Мегасфен. Последний, например, утверждал в своих мемуарах, что бог Дионис «научил индийцев поклоняться ему и другим богам, играя на цимбалах». Он научил их также танцу сатиров, носившему у греков название «кордакс». Песни и танцы Индии посвящены творцу Брахме, трехликому Шиве, олицетворяющему единый облик созидателя, охранителя и разрушителя; богу Кришне, несущему людям весну и любовь, и его подруге Радхе. Индийские песни и музыка наполнены не только религиозным и мифологическим содержанием. Они неразрывно связаны с жизнью народа. В XII веке поэтические произведения Амира Хусроу, его песни, близкие к народной жизни, оставили глубокий след в индийской культуре. Яркий образ Амира Хусроу описан Джавахарлалом Неру

в его книге «Открытие Индии». Неру увлеченно писал об Амире Хусроу: «Он пел о жизни в ее различных проявлениях, о приходе в дом невесты, о разлуке с любимой, о дожде, после которого выжженная солнцем земля снова рождает жизнь. Эти песни часто поют и теперь, их можно услышать в любой деревне...»

Огромное влияние на творческую жизнь индийского народа оказал Рабиндранат Тагор — поэт и писатель, философ-гуманист, человек горячего сердца, искренний друг Страны Советов. «Если некому осветить тебе путь,—с пламенным призывом обращался Тагор к своему народу,— и в бурную темную ночь перед тобой закрылись двери — зажги свое сердце огнем молнии!» На стихи Тагора создано много народных мелодий. Его «Песню Амины» и сейчас поют почти по всей Индии:

Пчела подбирается к сердцу цветка
В медоносную пору цветенья.
Сказать ей «нет» иль сказать ей «да» —
Тревожат цветок сомненья.
О трепет капризных крыл!
О дар золотого лета!
В страхе, цветок, ты сердце закрыл,
Чуть шевелясь от ветра.
Но песня любви звучит всегда
В горячие дни цветенья.
Ответить «нет» иль ответить «да» —
Тревожат цветок сомненья.

Величайшие памятники культуры Индии — ее храмы — называют «застывшей музыкой». В годы колониализма «застыли» и древние индийские классические танцы. Только после завоевания страной независимости усилиями таких подвижников, как Рукмени Деви, удалось по описаниям, по скульптуре и фрескам возродить эти танцы.

Основа индийских танцев — импровизация. Вот почему индийцы говорят, что их музыка и танцы по природе своей созидательны. Наиболее типичная форма индийского танца — «Бхарата натья». Он обычно исполняется одним или двумя танцорами, преимущественно женщинами. Любовь и преданность — основное содержание «Бхарата натья». Танец «Катаккхали» из Малабара — своеобразная хореографическая драма, которая пронесла свою первобытную чистоту и искренность через века. Он обычно исполняется во время народных празднеств. Участники танца пользуются особым гримом, костюмами и декорациями. Все это позволяет ввести зрителя и слушателя в совершенно новый, необычный мир. В этом танце движения рук и пальцев достигают совершенства, выражая малейшие нюансы настроения. «Катак» и «Манипури»— классические танцы севера. Для первого характерна чрезвычайно сложная ритмическая работа ног. «Манипури» отличается грациозными движениями тела.

Повествуя о древнем происхождении танцев, индийская легенда утверждает, что этому искусству мудреца Бхарату научил всемогущий Брама. Имя Бхарата составлено из начальных слогов трех санскритских слов «бхава» (эстетическое наслаждение), «рага» (основа мелодии) и «тала» (ритм). Вся индийская мифология полна упоминаний о плясках богов и богинь. Без исполнения танцев в Индии не обходится ни одно событие, ни один обряд.

ИСПЫТАНИЕ СИЛЫ ОГНЕМ

Уже пять тысяч лет назад в Индии существовали большие и благоустроенные города Мохенджо Даро и Хараппа. Во время раскопок, когда были обнаружены остатки этих городов, удалось найти изумительные произведения индийского искусства того времени. Оно расцветало вплоть до конца XVIII века. Но двухвековое колониальное господство вызвало упадок национального искусства Индии, художественные традиции страны были нарушены.

Изобразительные искусства стали возрождаться в 20-е годы нашего века, когда индийский народ начал массовую освободительную борьбу против колониализма. В это время появилась плеяда художников-реалистов, среди которых видное место занимали Атул Гхош и Амрита Шергил. В картине «Лодочник» Атул Гхош создал образ, символизирующий силу трудового народа Индии. На переднем плане — атлетическая фигура лодочника. Он уверенно и смело ведет утлую ладью по волнам могучего Ганга навстречу надвигающейся буре. Художник не показал лица лодочника, каждый мог понять, что это — символ борца, который может смело встретить бурю и победить. Недавно индийский народ отметил 60-летие талантливой художницы Амриты Шергил. Она родилась в 1912 году и умерла в 1941 году, когда ей было всего двадцать девять лет. Амрита Шергил училась в школе изящных искусств в Париже и в первые годы своего творчества находилась под влиянием постимпрессионизма. Но очень быстро художница пришла к пониманию того, что европейские буржуазные вкусы заводят искусство в тупик. «Я не думаю,— писала Амрита Шергил своим индийским друзьям,— что вообще смогу работать в Европе. С новым вдохновением начну писать только в Индии». И она вернулась. Прежде чем начать работу, совершила несколько длительных поездок по стране. Вскоре появилась ее первая картина «Мать Индия». На ней была изображена пожилая женщина с худеньким сыном на коленях и болезненной дочерью рядом. Картина явилась немым протестом против тех страданий, какие принес Индии колониализм. Амрита Шергил очень много сделала для того, чтобы творчески объединить мотивы древнего индийского искусства с современной живописью. Она продолжила и еще более развила реализм Атула Гхоша в своих картинах «Три молодые девушки», «На ярмарку», «Качели», «Люди холмов». Своей неутомимой деятельностью, неиссякаемым поиском Амрита Шергил подготовила

Н. ПАСТУХОВ
ЦВЕТОК И СЕМЯ

почву для современной индийской живописи. Ее называют «матерью индийского реализма».

Современные художники Индии, используя и творчески перерабатывая замечательные традиции древнего искусства, стремятся правдиво и многогранно изобразить окружающую их жизнь. Среди них можно назвать Пиранджоя Баннерджи, талант которого завоевал много поклонников не только в Индии, но и далеко за ее пределами. Его картина «Цветок и меч» символична. Художник сравнивает борьбу за свободу с мечом, а обретенную независимость — с цветком. Картина, выполненная в стиле миниатюры могольской школы XVII века, изображает молодого человека, стоящего в профиль, с цветком в одной руке и мечом в другой.

В Индии мне часто приходилось встречаться с другим талантливым индийским художником — Бародой Укилом. Он был одним из самых энергичных организаторов различных советских художественных выставок в Индии и индийских в СССР. Высокого роста, с энергичным лицом и живыми глазами, Укил создал много картин, передающих колорит его родины. Неизгладимое впечатление оставляет акварель по шелку «Испытание силы огнем». Сюжетом служит одна из наиболее драматических сцен из великого индийского эпоса «Рамаяна».

Лучшие произведения индийских художников по своей форме и содержанию носят подлинно национальный характер и являются неоценимым вкладом в сокровищницу мировой культуры. «Индия,— говорил в Дели Барода Укил,— обладает огромными духовными богатствами непреходящего значения... Дни ограниченного национализма прошли, но только безумец может забыть, что всеобщность искусства достижима лишь в том случае, если мы останемся подлинно национальными в своем творчестве».

ОГРАБЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ И ДУХОВНОЕ

Два века англичане не только душили индийскую культуру, но и самым беззастенчивым образом вывозили из Индии произведения искусства — великие шедевры мировой цивилизации. До сих пор вершина мавзолея Тадж-Махал венчается оголенными мраморными плитами. А когда-то эти плиты являлись основанием для гигантского золотого купола. Англичане сняли листы из чистого золота, покрывавшие купол, пополнив богатства своих банков. Они вывезли массу картин, скульптур, художественных изделий. Колонизаторы продолжают грабить памятники культуры и по сей день. Правда, теперь это делается с помощью международных контрабандистских картелей.

Калькуттская таможня занята расследованием дела, в котором замешан один «эксперт» Фонда Форда. Работая в калькуттской «Метрополитэн плэннинг организейшн», он украл 11 древних бронзовых и каменных скульптур. Индийская общественность с возмущением узнала о появлении в некоторых крупных музеях США коллекций индийских памятников. Среди этих музеев— музей Пенсильванского университета, Бостонский музей и нью-йоркский музей «Метрополитэн», где отдел индийского искусства открылся совсем недавно.

Самый настоящий грабеж царит в Баггкейве (штат Мадхья-Прадеш), откуда с большой ловкостью была вывезена часть потолка одного здания с живописной росписью. Недавно в Копаране были похищены четыре скульптуры Найкасы и одна знаменитая скульптура Мигхуны. Из храмов Читрагупты, Лакшмана, Джагадамби похищена 21 каменная скульптура. Из музея Наланды исчезли 188 редких бронзовых скульптур. В одной из коллекций Швейцарии посольство Индии обнаружило скульптурное изображение головы Будды. Считают, что она похищена из музея в Матхуре.

Западные державы обкрадывают Индию и духовно, обедняя и растлевая ее культуру. Индийский народ, сбросивший иго колониализма, строит в своей стране новое общество. В борьбе за создание этого общества важную роль призвана сыграть культура — подлинно народная, гуманистическая. Однако существуют силы, которые мешают укреплению и развитию такой культуры, противопоставляя ей так называемую «современную культуру Запада», а на деле «культурный ширпотреб» самого низкого пошиба.

Из-под полы был распродан в Индии порнографический роман В. Набокова «Лолита», запрещенный индийскими властями. Эту книгу ввез в Индию из США международный контрабандистский картель в количестве нескольких десятков тысяч экземпляров. Индия наводняется порнографической литературой, садистскими детективами.

Несмотря на строгую цензуру, в Индию проникают фильмы, которые развращают молодежь, отвлекают ее от созидания, от стремления осмыслить свою жизнь, от поисков нового. Однажды преподаватель делийского университета с возмущением рассказал мне об одной проделке Информационной службы США в Индии (ЮСИС): работники ЮСИС собрали вырезанные индийской цензурой куски кинофильмов и смонтировали их воедино. Перед зрителем в течение трех часов проходят кадры кошмарных убийств, патологических извращений и сексуальных сцен с порнографическим привкусом. А главный редактор бомбейского еженедельника «Блиц» Руси Каранджиа, ссылаясь на официальные доклады полиции, привел такие данные: за последние пять лет только в Бомбее выросла в сто раз преступность, и главным образом среди молодежи,— убийства, грабежи, изнасилования. Индийскому народу свойственна высокая мораль. Но эта статистика — в какой-то мере результат влияния западных фильмов!

Кино в Индии обладает огромной силой воздействия. Все индийцы от мала до велика ходят в кинотеатры, которые обычно располагаются в торговой части города. По восемь часов бедняки выстаивают в очередях у касс, где продаются самые дешевые билеты.

«ПАТХЕР ПАНЧАЛИ» И «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

В Индии около 80 процентов населения неграмотно; фильм в такой стране для простого человека — нередко единственный источник познания жизни.

На протяжении последнего десятилетия индийская национальная кинематография очень бурно развивалась, и по количеству ежегодно производимых фильмов занимает второе место в мире. Компания «Филм дивижен», контролируемая государством, пытается увлечь население идеями индустриализации, строительства новой жизни во всех областях.

Однако кроме этой государственной компании, производящей документальные фильмы, вся кинопромышленность является частной собственностью. Кинопроизводство в Индии — бизнес. В стране насчитывается около ста студий, которые готовят более трехсот фильмов в год. Коммерческий подход мешает созданию подлинно художественных фильмов. Вместо того чтобы повышать культуру зрителя и воспитывать его эстетические вкусы хорошими картинами, некоторые кинодельцы, заботящиеся лишь о прибылях, создают примитивные сценарии, рассчитанные на увлекательный внешний эффект. Кинообозреватель журнала «Иллюстрейтид уикли оф Индиа» в этой связи писал недавно, что на многих студиях создание фильмов вовсе не считают искусством, а только бизнесом. Но все это не дает оснований утверждать, что индийское кино стоит на неправильном пути. Прогрессивное кино Индии уверенно пробивает себе дорогу. Фильмом Сатьяжита Роя «Баллада о дороге» («Патхер панчали»), по роману покойного Бибхути Бхушана Баннерджи, получившим несколько международных премий, началось новое, реалистическое направление в индийском кино. Сейчас ряды прогрессивных кинорежиссеров выросли. Среди них — Бимал Рой, Мохам Сегал, Радж Капур. Много надежд возлагается на молодого режиссера Ритрика Чоттака. С фильмом Сатьяжита Роя связано несколько примечательных событий. Однажды постановщики «Патхер панчали» пригласили группу журналистов на просмотр. Когда картина кончилась и в зале зажегся свет, мы сидели несколько секунд как завороженные, находясь во власти той жизни, которую увидели на экране. По окончании просмотра постановщики обратились к нам с просьбой поведать общественности о неслыханном оскорблении индийского народа, которое произошло недавно. Мы, рассказали участники фильма, хотели познакомить с «Патхер панчали» американского зрителя. Но на предварительном просмотре фильма в Нью-Йорке местные кинодельцы нас освистали. В этом фильме нет секса, нет убийств, заявили они, в Америке картина не пойдет... Спустя год или два в Дели проходила сессия Всемирного Совета Мира. В один из свободных вечеров индийская делегация устроила демонстрацию фильма «Патхер панчали» для иностранных гостей. В отель «Ашока», где состоялся киносеанс, собрались делегации всех стран мира — за исключением... китайской. На вопрос, почему они бойкотировали этот фильм, один из членов китайской делегации сказал, что «Патхер панчали» — это фильм «индийских лакеев, желающих выслужиться перед империалистами»...

О постановке «Патхер панчали» Сатьяжит Рой мечтал всю жизнь. Каков же сюжет фильма? Отдают в школу мальчика. Старуха, живущая в семье своего брата, уходит из дому. Она ковыляет с рваной циновкой под мышкой, оглядывается вокруг полуслепыми глазами и опять возвращается в дом, где в конце концов и умирает. Девушка-подросток украла бусы. Мать таскает ее за волосы. Словно окаменев, смотрит на них маленький мальчик. Начинается дождь. Девушка со спутанными черными волосами кружится, как волчок, под дождем, поливающим ее разгоряченное тело. Кадры сменяют один другой. Разваливается старый дом. Хозяин уходит искать работу. Его юная дочь бродит по окрестностям, взволнованная неясными и непонятными желаниями. Недолгое время девушка болеет, потом умирает. Возвращается отец. Его безмолвно встречает жена. Он привез подарки и даже нарядное сари для дочери. Жена, уткнувшись в сари, рыдает... Семья покидает дом. Пруд зарастает тиной. Брошенная жестянка, мертвая лягушка и, наконец, вползающая в дом кобра завершают символическую картину распада и разрушения. Балвант Гарги и Б. Д. Гарга, известные индийские кинокритики, коротко изложив содержание фильма, делают вывод: «Патхер панчали» дал решительный отпор тем кинопредпринимателям, которые создали легенду, будто публика хочет видеть только роскошные постановки с пикантными песенками, танцами и мелодраматическими ситуациями. Картина поразительно реалистична и в то же время вся пронизана лиризмом. В фильме нет банальных дуэтов, которые герой и героиня распевают по телефону. Нет роскошных декораций. Мы не видим штампованных ситуаций, мелодраматических приемов. Это первый фильм Сатьяжита Роя. Его оператор никогда раньше не брал в руки киноаппарата, его актеры — герой, героиня, старуха, девушка — никогда раньше не стояли перед объективом».

После «Патхер панчали» Сатьяжит Рой снял более десяти фильмов. Он продолжил «Панчали», дополнив ее фильмами «Апа-

---

Н. ПАСТУХОВ
ЦВЕТОК И СЕМЯ

раджито» и «Апур Сансар». Сквозь призму трагедии одной семьи показано тяжелое положение бенгальской деревни. Однако Сатьяжит Рой нашел и другие тона для изображения деревенской жизни. Картины нищеты, горя и разочарования сменяются картинами радости и надежд. Свою любовь к простым людям Индии Рой сумел показать на экране с большой теплотой и мастерством подлинного художника. Фильмы Роя награждены многими международными премиями.

В 1951 году, когда в Индию приезжали В. Пудовкин и Н. Черкасов, Пудовкин в беседе с индийскими коллегами как-то сказал: «Вам нужны фильмы о простых людях, об их подлинной жизни, а не о похождениях кинозвезд в искусственном, выдуманном мире... Индии нужно создать нечто такое, что было бы ее собственным, особым вариантом на общечеловеческую тему. Это творческая задача. Но вы должны забыть все, что вы видели вне Индии,— следуйте своим собственным представлениям, своему народу, своему пейзажу». И это обращение попало в цель, нашло отклик у многих кинематографистов.

Ахмад Аббас создает фильм о рабочих чайных плантаций, принадлежащих англичанам, об их тяжелой доле и борьбе за свои законные права. Песня сборщиков чая из этого фильма, который называется «Рахи», сейчас исполняется на всех плантациях.

Индийский зритель любит и высоко ценит советские фильмы. Они убеждают его в превосходстве социализма — самого справедливого и гуманного человеческого общества на земле. Но надо сказать, что благодаря усилиям некоторых кинодельцов приток советских фильмов в Индию и широкий их показ на экранах часто тормозится, что вызывает вполне законный протест широких кругов общественности. О том, как оценивает индийский зритель наши картины, свидетельствует недавний кинофестиваль советских фильмов, который проходил в Дели. Журнал «Линк», давая оценку фестивалю, писал, что творчество мастеров советской кинематографии во многом отличается от того, что делают в других странах, в частности на Западе. Для них характерны скупая, почти аскетическая простота, полное пренебрежение ко всякого рода психологическим выкрутасам и показной эмоциональности, которые столь обычны для произведений кинорежиссеров буржуазных стран.

«Чтобы дать оценку этим фильмам,— пишет далее «Линк»,— не надо быть многословным. Достаточно отметить одно их качество — искренность. Кое-кому на Западе подобная манера может показаться старомодной, но факт остается фактом, именно она, эта простая и искренняя манера,— объяснение успеха, сопутствовавшего фестивалю. Наивно думать, что фон, на котором развиваются те или иные события в советских фильмах,— голая пропаганда. Вглядитесь в лица присутствующих в зале, обратите внимание на их радость и счастье, и вам многое станет ясным».

Почему в Индии говорят о порочном влиянии западного кино? Ведь не все западные фильмы так уж плохи. Дело в том, что на кинорынки стран Азии и Африки сбываются картины, которые не пользуются успехом ни в Европе. ни в самой Америке. Советские фильмы по своему гуманному звучанию гораздо ближе индийскому зрителю — наследнику одной из самых высоких культур человечества. Советская кинематография оказывает благородное влияние и на создателей индийских фильмов.

Рядом с индийским кино шагает национальная драматургия. И надо сказать, что здесь, как нигде чувствуется влияние нашей культуры. Ведь индийский театр начал свою историю с того момента, когда в Калькутте появился Герасим Лебедев. Индийские режиссеры и актеры черпали вдохновение у Тургенева, Достоевского, Островского, Чехова, Толстого и Горького. Режиссер Индерлал Дас, руководивший Малой театральной труппой, поставил в Дели на языке хинди пьесу Чехова «Три сестры». Чеховские одноактные пьесы пользуются большим успехом в любительских театральных кружках школ и колледжей. Отмечая столетие со дня рождения Чехова, студенты города Лудхиана поставили «Предложение». Персонажей, подобных тем, кого высмеивает Чехов, можно встретить и в современной действительности. Постановки таких пьес, как «Ревизор» Гоголя и «На всякого мудреца довольно простоты» Островского, проходят в Индии с неизменным успехом. В постановке «Ревизора» на индийской сцене Бобчинский и Добчинский изображены как местные индийские дельцы. А Хлестаков хвастает тем, что он «обедал с Джавахарлалом Неру». Взрыв хохота в зале! В репертуаре Малой театральной труппы в Калькутте самое почетное место занимает «Мать» Горького. Режиссер и драматург Умнатх Бхаттачарджи осуществил постановку пьесы «На дне»: импровизированная ветхая сцена, захламленная жалким скарбом, сырые лачуги, мрачные фабричные трубы на заднем плане — знакомая картина калькуттских трущоб. Души людей изломаны, жизнь исковеркана. Алчный домовладелец, философствующий странник, актер, рабочий — все эти характеры встречаются и в индийской жизни. Индийские режиссеры и актеры вдохновенно играют в пьесах русских классиков.

К ЗАВЕТНОЙ МЕЧТЕ

Большой расцвет переживает индийская прогрессивная литература. Она пробивает себе дорогу в борьбе с реакцией, с влиянием западного модернизма, в борьбе с догматическим подходом к явлениям жизни и национально-освободительному движению.

Процесс пробуждения прогрессивной литературы начался в конце девятнадцатого века. В произведениях того времени находили отражение рост национального самосознания народа, желание развивать собственные традиции, а не литературные сти-

ли, навязанные английскими колонизаторами. И если английское влияние сказывалось на произведениях, которые писались по-английски, то национальные традиции бурно возрождались в литературе на языках хинди и бенгали, урду и маратхи, гуджерати и пенджаби, ассами и орья, кашмири и телугу, малаялам и каннада.

Вопреки усилиям колонизаторов воспитать верную себе интеллигенцию, духовный бунт начался именно в ее среде. Она возглавила в литературе борьбу против колониализма и феодализма и доводила до сознания масс смысл лозунга «Свараджья»— «Наше право на самостоятельность». Большое влияние на индийскую литературу оказала Великая Октябрьская социалистическая революция. Но англичане воздвигли вокруг Индии высокую стену, стараясь оградить страну от всяких связей с Советской Россией и, в частности, с советскими республиками Средней Азии. Характерно, что даже в наши дни есть силы, которые из кожи вон лезут, чтобы продлить «добрую» английскую традицию — изолировать эти республики от всех стран Востока.

Но «английская стена» рухнула в годы второй мировой войны. Именно в этот период индийские писатели начали ставить в своих произведениях острые вопросы социальной борьбы.

В Индии по инициативе ряда известных писателей — Саджада Захира, Прем Чанда (его называют в народе «индийским Чеховым»), Мулк Радж Ананда — создается Ассоциация прогрессивных писателей. В 1942 году эта Ассоциация сформировала единый антифашистский фронт в индийской литературе.

После завоевания независимости в Индии образовалось два лагеря: писатели-демократы и писатели, тяготеющие к буржуазной культуре Запада. Писатели-демократы своим пером помогают народу вести борьбу за некапиталистический путь развития и создание государства национальной демократии. Происходящая в Индии перегруппировка политических сил и поиски дальнейших путей развития ставят серьезные задачи перед прогрессивными писателями.

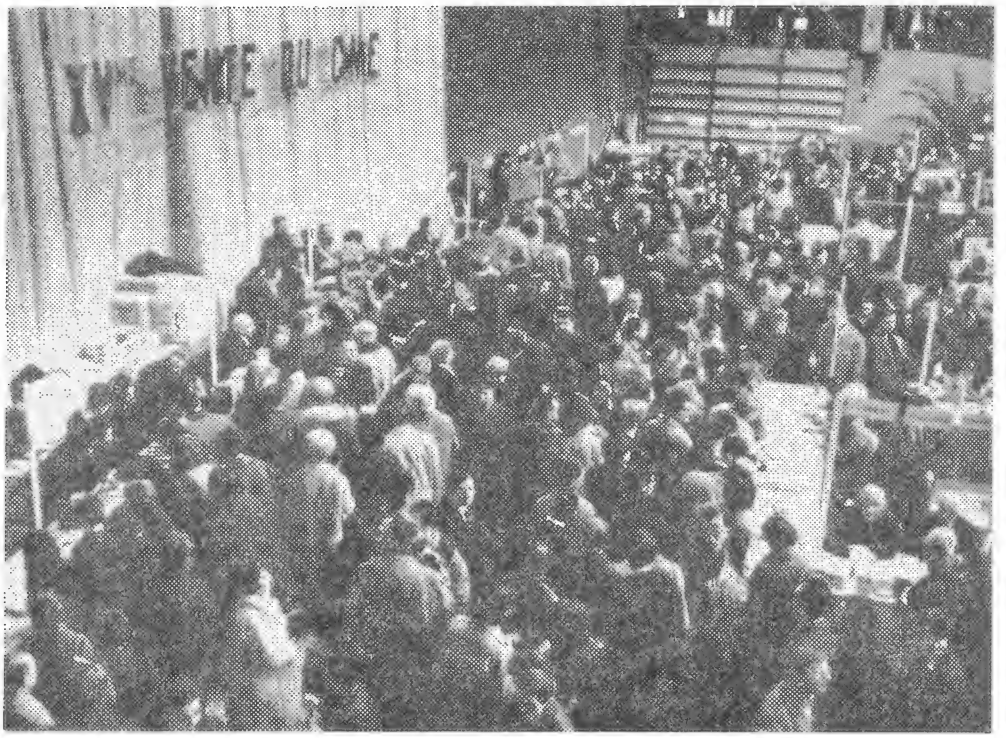
Обострение индийско-китайских отношений пытались широко использовать писатели-реакционеры, которые начали раздувать антикоммунистическую истерию, проповедовать национализм и шовинизм. Писатели-демократы, которые воспитывали в массах чувство интернационализма, укрепляли великую и нерушимую дружбу с китайским народом, попали под обстрел не только со стороны внутренней реакции, но и китайской пропаганды, обвинившей их во всех смертных грехах. Все это поставило индийских прогрессивных писателей в исключительно трудное положение.

Сейчас в Индии проходит деятельная подготовка к конференции писателей-коммунистов. В ходе этой подготовки индийские писатели-коммунисты обсуждают современное состояние литературы Индии: какое влияние она оказывает на культурную жизнь народа; как она помогает вести его к заветной мечте — социализму; что необходимо сделать для того, чтобы индийские писатели играли более активную роль в жизни стран Азии и Африки.

Индийское литературное движение является одним из участков антиимпериалистической борьбы. Конечно, общественные идеи индийских писателей-коммунистов отличаются от взглядов Тагора, Прем Чанда, Икбала, Валлатхола. Но писатели-коммунисты считают их величайшими мастерами художественного слова и признают, что они своими гениальными произведениями внесли демократическое и национальное сознание в индийскую литературу. Овладение марксистской теорией помогает индийским писателям-коммунистам отличать те силы, которые зовут вперед к подлинной демократии и социализму, от тех, которые хотят заставить Индию погрязнуть в предрассудках, обычаях и привычках, давно потерявших всякое значение.

В Индии появляется много талантливых произведений. Однако есть и книги, отмеченные печатью схематизма, сектантства. Писатели-коммунисты отвергли порочную точку зрения, будто творить можно только в башне из слоновой кости, не участвуя в политической жизни страны. Но с другой стороны, некоторые впали в другую крайность — они считают необходимым ограничить литературу исключительно рамками политических проблем и даже политических кампаний. Индийский писатель Саджад Захир в этой связи сказал: «Мы вовсе не считаем, что талантливые писатели не должны заниматься пропагандой и писать агитационные материалы. Ведь даже великий Пикассо создал голубя мира! Но создание пропагандистского материала не должно быть единственной задачей писателя. Литература углубляет наше знание жизни во всем ее богатстве и многообразии, более того, она дает нам эстетическое наслаждение, делает нас более человечными. Поэтому область литературы так же безгранична, как и сама жизнь. Наш марксистский метод призван помочь углубить и расширить наше понимание жизни, проблем общества и личности, нашего культурного наследства, проблем нашей страны и всего мира. И все же такого понимания недостаточно для творчества. Это всего лишь сырье, всего лишь семя, которое, пройдя через созидательный процесс в сознании художника или писателя, вырастет и превратится в прекрасный цветок. Поэтому нельзя путать цветок и семя».

Этими словами талантливого писателя, страстного борца за новую Индию я и хочу закончить свои беглые заметки об индийской культуре.



Книжный базар Национального комитета писателей Франции в парижском Дворце спорта.

ПУБЛИЦИСТИКА

ЖАК МАДОЛЬ

ДЕВИЗ — ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Национальный комитет писателей (НКП), родившийся в боях Сопротивления и вот уже двадцать лет ведущий борьбу за независимую национальную французскую литературу, каждый год устраивает большой книжный базар, который дает возможность писателям установить контакт с самой широкой читающей публикой, с подлинным читателем, одним словом, с народом.

В 1962 году этот базар состояться не мог, потому что мы тогда жили в обстановке террора ОАС и не хотели подвергать наших посетителей опасным инцидентам, которые имели место, например, на открытии одного из массовых собраний сторонников мира. В прошлом году мы встретились с другого рода трудностью: не могли найти подходящего помещения и вынуждены были отказаться от мысли о базаре, ибо для него требуется очень большая площадь. Раньше у нас был Зимний велодром, но те-

перь он снесен. В нынешнем году нам удалось разместиться во Дворце спорта, у Версальских ворот (кстати, мы уже использовали это помещение в 1961 году).

У нас есть обычай проводить книжный базар под эгидой какого-нибудь знаменитого писателя, французского или иностранного, чей юбилей совпадает с годом открытия выставки. На 1964 год приходится четырехсотлетие со дня рождения Шекспира. Кажется, лучшего и желать нечего, но все же мы выбрали не эту дату. В 1964 году исполняется 50 лет с начала первой мировой войны и 20 лет с момента освобождения Франции. Национальный комитет писателей, разумеется, не мог пренебречь ни одной из этих дат, тем более что большинство членов комитета в прошлом находились в рядах Сопротивления. Итак, наш книжный базар в этом году должен был почтить память писателей, павших в начале войны 1914 года, тех, кто погиб за свободу родины в 1944 году, и всех тех, наконец, кто ушел от нас за последние двадцать лет.

Среди писателей — ветеранов первой мировой войны мы особо выделили Шарля Пеги, Алена Фурнье и Эрнеста Псишари. Можно не разделять политических или религиозных убеждений этих трех литераторов, но есть некие общие достоинства, присущие им всем,— прежде всего талант. О Пеги можно сказать, что он стал только после смерти по-настоящему известен. Поколение за поколением не перестают читать и перечитывать его книги, а его смерть в бою до такой степени явилась увенчанием и логическим завершением его писательского пути, что его имя напрашивалось само собой. Ален Фурнье, в сущности, автор одной-единственной книги «Большой Мольн», романа, который не перестают читать до сих пор; Ален Фурнье донес до юношей нашего времени весть от тех, кто был так же молод и полон надежд в канун 1914 года. Что же касается Псишари, внука Ренана, то в «Путешествии Центуриона» он выразил мысли некоторой части молодежи, которая в первых же боевых сражениях напоролась на вражеские штыки. И если позднее некоторые люди воспользовались его именем, чтобы воспеть грубое насилие, то нельзя упрекать в этом его самого.

Список писателей, погибших за освобождение Франции, открывают три имени: Сент-Экзюпери, Жан Прево и Жак Декур. Первый исчез в бескрайнем небе, подобно одному из своих героев,— думаю, что об Экзюпери мне нечего говорить советским читателям, они его прекрасно знают. Второй, убитый в сражении под Веркором, уже имел за плечами имя романиста и критика, поставившее его в первые ряды литераторов того поколения. А Жак Декур, геройски павший под пулями карательного отряда, был основателем НКП и еженедельника «Леттр франсез», который и доныне — пусть неофициально — остается органом Национального комитета писателей.

Наконец, из тех, кто умер за последние двадцать лет, я назову в первую очередь Жана-Ришара Блока, Элюара, Пьера Куртада, Ива Фаржа, Франсиса Журдена — который был замечательным председателем НКП,— преждевременно умершего Франсуа Моно и Тристана Тцара. Был у нас и стенд, посвященный Жану Кокто. Этот недавно ушедший из жизни поэт и художник никогда не принадлежал к числу наших единомышленников, но он был связан с нами слишком тесными узами дружбы и симпатии, и мы не могли не отметить его память.

Но пора перейти к ныне здравствующим, к тем, кто был рядом с нами и, независимо от того, состоял ли он членом НКП, хотел общаться со своими читателями. Разумеется, я не могу перечислить всех. И возможно, мой выбор будет несколько произвольным, за что я заранее прошу меня извинить. Но, в конце концов, по месту и почет,— вот Арагон, наш бывший председатель, о котором можно без преувеличения сказать, что он всегда является душой НКП. Арагон — среди своих книг, последние из которых отнюдь не являются наименее значительными. Достаточно назвать поэму «Одержимый Эльзой». Вокруг писателя — непрестанно обновляющаяся толпа почитателей. До тех пор пока часы не пробили пять, невозможно было подойти к его стенду, таким плотным кольцом обступили его те, кто хотел услышать от него словечко, получить автограф. Тут же рядом производилась подписка на совместное собрание сочинений Арагона и Эльзы Триоле.

На сей раз болезнь удержала Эльзу Триоле дома. Но она все же незримо присутствовала здесь, на этом свидании писателей с их читателями.

Среди остальных, следуя алфавитному порядку, назову Пьера Абраама, продававшего произведения своего брата Жана-Ришара Блока,— это превосходный редактор журнала «Эроп», основанного Роменом Ролланом и завоевавшего с тех пор широкую популярность во Франции и за границей. Затем Артюр Адамов, драматург, давший нам «Весну семьдесят первого года» и «Антологию Коммуны»; Эмманюэль д'Астье — автор литературных портретов великих людей; романисты Эрве Базен, Жан-Луи Бори и Мишель Бютор, один из корифеев того самого «нового романа», о котором так страстно спорят не только во Франции.

Я назвал уже столько имен, что в нерешительности останавливаюсь. Многих я, конечно, могу забыть, и притом лучших. Но все-таки ни Жана Кэйроля, творчество которого навсегда отмечено жестоким воспоминанием о лагерях, ни Жана-Пьера Шаброля, воспевшего в «Одержимых богом» севеннских кресть-

ян, оказавших сопротивление Людовику XIV, забыть невозможно. Не забуду я и рисовальщика Жана Эффеля, поэта Макса-Поля Фуше, романиста Гамарра, поэта Эжена Гийевика.

Как видите, список слишком велик. Но я все-таки не могу не почтить Французскую академию и пропустить имя Андре Моруа, а также имя Армана Лану — лауреата Гонкуровской премии за нынешний год — и имя Франсуазы Саган. Речь идет не о какой-то узкой группе или школе. Каждый значительный французский писатель занял свое место среди нас, даже те, кто пришел к нам из самых далеких краев,— темнокожие прозаики и поэты из «Презанс африкэн», перелагающие на наш язык поэтические впечатления и жизненный опыт, дарованные иными небесами.

Необходимо понять, что книжный базар НКП — это коллективное творчество целого народа, который знает своих писателей и в их книгах узнает самого себя. И поэтому успех базара измеряется не только числом и масштабом участвующих в нем писателей, но и притоком публики, причем публики, принадлежащей ко всем слоям французского общества. По правде говоря, никогда еще приток этот не был так велик. Наши читатели, по всей вероятности, с нетерпением ждали открытия традиционного книжного базара после двухлетнего перерыва. В день открытия было зарегистрировано около 40 тысяч посетителей и продано 12 тысяч книг.

Может быть, некоторых читателей удивит соотношение этих цифр. Получается, что три человека из четырех не купили ничего. Чтобы этот факт стал понятен, я прежде всего должен сказать, что наш базар ни в коем случае не коммерческое предприятие. Правда, ежегодный книжный базар является для НКП главным источником денежных ресурсов, позволяющих ему, например, каждый год присуждать какому-нибудь французскому писателю единственную в своем роде премию — «Премию единодушия». Оригинальность ее состоит в том, что несогласие даже одного члена комитета делает невозможным присуждение этой премии. В нынешнем году ее лауреатом была Анн Филип, вдова знаменитого актера Жерара Филипа. В книге под заглавием «Только одно мгновение» она рассказала о том, что представляла собой их любовь. Вокруг Анн Филип толпилось множество людей, желавших получить надпись, сделанную ее рукой на форзаце книги.

Люди пришли сюда не только затем, чтобы купить книгу, которая нередко у них уже имеется, но и затем, чтобы своими глазами увидеть любимого писателя, поговорить с ним,— а это как раз и есть тот контакт, к какому мы стремимся, именно то, что в гораздо большей мере придает определенный смысл нашему базару, чем материальная выгода, которую может извлечь из него НКП. Многие кинозвезды, любимцы публики, охотно предложили нам свое содействие — взялись помогать некоторым писателям. Так, рядом с Рено Жювенелем оказался Пьер Брассёр; Жаклин Дюэм рекламировала книги Мориса Дрюона; Жан Маре распоряжался у стенда Жана Кокто; Мишель Морган помогала Арману Лану продавать его книгу, отмеченную Гонкуровской премией; Мадлен Озрэ улыбалась рядом с Пьером Абраамом. Ничто другое не могло бы нагляднее доказать братство различных искусств и вместе с тем — единство читателей с писателями и их произведениями.

Вот коротко о том, что такое ежегодный книжный базар НКП. В этом году нам пришла счастливая мысль — отменить порядок, при котором за книгу платят непосредственно продавщице. Каждый посетитель получал при входе большую корзину для своих покупок, а при выходе возвращал ее и рассчитывался в одной из многочисленных касс, расположенных у дверей. Как ни велик Дворец спорта, он все же не смог вместить огромную толпу, теснившуюся перед входом все пять часов подряд. Ни долгое томительное ожидание у дверей, ни плохая погода не могли испортить настроения.

В глазах светилась радость — и писатель и читатель радовались возможности побыть несколько минут вместе. Написанная и прочитанная книга подготовила их к этой встрече. Один из них долгие часы сидел с книгой, другой — перед чистой страницей, которую предстояло заполнить, потому что ему необходимо было что-то сказать. Но кому? Нет такого писателя, который, работая, не думал бы о незнакомом читателе. Он хочет бросить призыв — потому что это всегда призыв (хотя слово «призыв», во всяком случае на французском языке, стерлось от слишком частого употребления),— но не знает, к кому он попадет. Это буквально бутылка в море. Конечно, мы получаем в ответ несколько статей в газетах и журналах, наш издатель сообщает нам, сколько экземпляров книги продано; иногда приходит письмо, помогающее различить среди множества читательских анонимов одно определенное лицо; или мы встречаемся с кем-либо, кто нас читал. Но все это спорадические, эфемерные, случайные встречи.

Здесь же, на книжном базаре НКП,— совсем другое дело: к нам приходит множество читателей, мы можем разговаривать с ними, правда, не так долго, как хотелось бы, но все же говорить по душам и глядя друг другу в глаза. Между автором и тем, кто читает его книгу, всегда возникает диалог, но в нем, к сожалению, трудно понять реплику собеседника. Мы испытываем властную потребность хоть раз в год окунуться в

гущу реальных читателей, ответить на их заданные вслух вопросы. Вот в чем главное значение книжных базаров НКП. И никакая другая организация во Франции не способна поднять такое дело. Ибо писателей и читателей НКП объединяет не общее пристрастие к искусству сочинительства, не снобизм, процветающий на других книжных распродажах, а нечто совсем иное. У нас тоже есть общий идеал, и этот идеал — прогресс, демократия, одним словом, человечность.

Правда, как я уже говорил, не все писатели, собравшиеся во Дворце спорта, придерживаются совершенно одинаковых убеждений. Среди них есть коммунисты, борющиеся за социализм, чьи убеждения отражены в их романах, даже если они написаны не на политические темы. Немало единомышленников этих писателей мы находим и среди публики. Но есть здесь и другие, верующие и неверующие, которых объединяет неприятие действительности, какой она является в западных демократиях и так называемом «свободном мире». Они тоже стремятся к освобождению человечества, даже если порою понимают это освобождение иначе, чем коммунисты. Таких людей мы также видели и за стендами и в публике. Но удивительное дело, писатели, расположившиеся в зале в алфавитном порядке, так, чтобы их было легко найти и узнать, образовали перед лицом посетителей как бы единый фронт. То же самое и в публике: как узнать, кто такие стоящие передо мною мужчины и женщины, интересующиеся тем, что я пишу,— коммунисты они или нет? Мы все здесь еще раз объединились, как во времена Сопротивления. Именно в этом и состоит дух НКП, а можно ли отрицать, что в 1964 году это нужно Франции, как никогда!

В нынешнем году у нас было совершенно определенное чувство, что для наших читателей книжный базар — праздник, и им очень не хватало этого базара те два года, когда он не состоялся.

Когда медленно рассеялись массы посетителей, когда мы остались одни за пустыми стендами, словно на поле сражения, покинутом армиями, у нас возникло такое ощущение, будто мы еще раз одержали победу. Победу над равнодушием и апатией, над угрожающим нам порою глухим отчаянием. Мы бросили клич. Он был услышан. Любовь к хорошей литературе не угасла в гуще нашего народа, и каждый раз, когда к этому представляется возможность, дает о себе знать. Люди, прошедшие перед нами в этот день, на сотни разных ладов проявили эту любовь и еще раз напомнили нам, чего ждет народ от литературы: она должна помогать человеку жить и бороться. Мы снова оценили меру ответственности писателя. Я уверен, что каждый из нас ушел из зала немного другим, так же как другими ушли и наши многочисленные посетители. Все увидели, что они не одиноки, что их не единицы. Диалог, которого мы хотели, состоялся. Искусство и народ еще раз тесно соприкоснулись друг с другом, и если народ получил от этого некоторую пользу, то, я убежден, искусство выиграло еще больше.

Книжный базар НКП — это акт веры в человека. И его успех — это не успех какой-нибудь организации или группировки, а успех всего французского народа, одно из наиболее своеобразных и устойчивых проявлений его духа.

АВСТРИЙСКИЙ ХУДОЖНИК АКСЕЛЬ ЛЕСКОШЕК

РАССКАЗЫВАЕТ О СЕБЕ

По рисованию в седьмом классе мне вывели за первое полугодие двойку. Кроме того, в школе вообще решили, что могут обойтись и без меня. Поэтому я продолжал учение «частным образом», то есть дома. Летом мне пришлось держать экзамены, на которых я (к собственному удивлению) получил высшую оценку «отлично». После первого моего рисунка учитель рисования, стараясь проверить меня, проделывал надо мной (как я понял позднее) различные опыты. Он предложил мне, например, нарисовать сразу же красками, без предварительных набросков, вазу с цветами и всякие другие предметы. Затем он заявил: «У вас ярко выраженный талант». И все это после моего полного провала за полгода до того.

Когда я выдержал экзамены на аттестат зрелости, родители не разрешили мне поступить, как я собирался, в художественную академию. По их мнению, это легло бы позорным пятном на весь наш род, из которого издавна выходили только офицеры и крупные чиновники. Ожесточенная борьба завершилась договоренностью — я закончу юридический факультет, но после этого посвящу себя живописи. Совершенно ясно, конечно, что договоренность эта была для меня невыгодной — в лучшем случае я терял пять лет жизни. И если принять еще во внимание пятилетнюю службу в армии, включая годы первой мировой войны, и ранение в голову, которое мучит меня чуть ли не всю мою жизнь, совершенно очевидно, что начало моей художественной карьеры очень задержалось. Кроме того, в школу прикладного искусства меня не приняли из-за того, что у меня был «испорчен почерк». Предпочтение отдавалось тем, кто являл собой более податливый материал для обучения.

Поэтому я сначала поступил в художественную школу в Штирии и всегда буду благодарен профессору Шрёдтеру за его увлекательную и в то же время добротную манеру обучения, заложившую солидную основу моих художественных знаний, на которую я опираюсь и сегодня. Эта рано усвоенная мною основательность подхода свойственна и тем работам более позднего времени, которые, как кажется, несколько отличны от прочих моих произведений.

Для того чтобы освоить технику репродуцирования, научиться рисовать обнаженное тело и изучить разные шрифты, я посещал в Вене институт, где можно было учиться графике. Вскоре меня больше всего заинтересовала гравюра на дереве и меди. Но от последней мне пришлось отказаться — для меня это было слишком дорого. В технике обоих этих видов искусства меня привлекал непосредственный ручной труд, занимавший в них большое место; он, на мой взгляд, предохранял от легковесности. Художественная гравюра на дереве не терпит больших форматов, большие полотна я создавал в красках — акварелью и маслом. Я очень любил рассказывать и всегда страстно увлекался книгами (был случай, когда моя жена ворвалась в книжную лавку, откуда я никак не мог уйти, и заявила: «Другие жены вытаскивают своих мужей из ресторанов, а я — из книжной лавки!»). Поэтому мне легко было прийти к мысли о том, что есть смысл взяться за иллюстрирование книг и изготовление экслибрисов. Но, поскольку в тех условиях, какие существовали после первой мировой войны, в особенности в Австрии, прожить на это было невозможно, я также писал для «Арбейтервилле» в Граце; писал рецензии — сначала на спектакли драматических театров, затем на кинокартины и, в конце концов, на постановки опер. В 1925 году я основал рабочее кабаре «Роте троммель», в котором без гонорара, как и я сам, выступали юные рабочие. Мы совместно сочиняли скетчи, готовили декорации (их у нас было немного) и, если было необходимо, вытаскивали из тощих кошельков, чтобы поддержать кабаре, собственные деньги. Но наше кабаре было закрыто фашистом ландесхауптманом Ринтеленом в 1928 году.

Потом я три года работал художником-декоратором в Аугсбурге. После моего возвращения оттуда меня приняли на работу в редакцию «Арбейтервилле». В феврале 1934 года я участвовал в боях и вместе с многими товарищами был брошен в тюрьму*. Затем — подпольная работа по заданиям компартии, опять арест, тюрьма и лагерь заключения. По сравнению с нацистскими лагерями режим в австрийских, пожалуй, не был строгим. В марте мне удалось уехать за границу. Я находился в Швейцарии до декабря 1940 года, потом снова оказался в тюрьме. В Швейцарии я познакомился с хорошими образцами западного

* Имеются в виду революционные выступления против роспуска фашистами рабочих организаций

искусства. Самому мне работать не давали, и я уехал в Бразилию.

Годы, проведенные в Бразилии, стали переломными в моем творчестве. Четырнадцать лет я не брался за кисть. Там же я получил возможность работать и рисовать. Бразильские художники приняли меня как своего брата, вернувшегося после разлуки, и уже в 1942 году я смог устроить свою первую, хоть и небольшую, выставку. Это был успех, и успехом своим я обязан трогательной товарищеской помощи бразильских художников, скульпторов и писателей. Они всячески старались мне помочь, не только покупая мои картины, но и рекомендуя другим их покупать. Друзья связали меня с издательствами, поручившими мне подготовить иллюстрации к пяти книгам (все пять — произведения Достоевского), нашли для меня учеников и, наконец, добились моего назначения профессором в одно из учебных заведений академии художеств.

Моя манера? Она меняется с годами и в зависимости от задач, которые передо мной встают. Эти задачи возникают в связи с моей личной жизнью, с изменениями, происходящими в развивающемся, прогрессирующем мире. В книжных иллюстрациях стиль определяется жанром книги и писательской манерой автора. Это можно заметить и по иллюстрациям, подобранным для вашего журнала. Иллюстрации к «Подростку» отличны от иллюстраций к «Братьям Карамазовым», последние в свою очередь отличаются от иллюстраций к «Игроку». Особый подход требуется и в связи с тем, для кого издается книга. Даже в рамках одной книги манера меняется в зависимости от степени моей заинтересованности в том, что нужно проиллюстрировать. Сказывается моя увлеченность, мои политические симпатии, моя любовь или ненависть.

Эта любовь (в данном случае, естественно, без ненависти) проявляется также в моих зарисовках природы, растений, написанных акварелью, пастелью или красками. Я люблю жизнь во всех ее проявлениях. В этом даже заложена опасность для меня. Я очень увлекаюсь жизненной деталью, и если не слежу при этом внимательно за собой, вся сложная взаимосистема выразительных средств, необходимая для художественного воплощения, распадается на части. И вообще, ведь рисование еще и ремесло, и, как таковое, оно подчиняется законам диалектики. Не одна только проблема содержания возникает перед тем, кто орудует кистью и красками, пером или тушью. В конечном счете содержание и форма должны прийти к некоему синтезу. Иногда, однако, а это часто случается при весьма значительном содержании, общее решение находится в области формы. Ясно одно: там, где особая, специфическая форма не была подвергнута испытанию, так сказать, на разрыв, там и содержание слабое и незначительное. Это можно видеть совершенно отчетливо, сличая последовательные варианты решения одной темы. Путь художника к завершению рисунка похож на подъем в гору. Не выходит так, может быть, выйдет иначе, попробуем-ка с другой стороны.

Тема сама навязывает себя художнику. Выбор ее определяется его визуальным, духовным и умственным опытом. Кроме того, определенные политические ситуации требуют решения определенных проблем как в области содержания, так и в области формы, что придает теме соответствующее выражение. При этом нужно быть осторожным. Чем важнее по своему содержанию тема, тем менее допустимо, чтобы художник, а также его заказчик удовлетворялись таким выполнением, которое не оказывает самого сильного воздействия на

Иллюстрация к роману Ф. Достоевского «Подросток».

Иллюстрация к роману Ф. Достоевского «Подросток».

ум и сердце будущего зрителя.

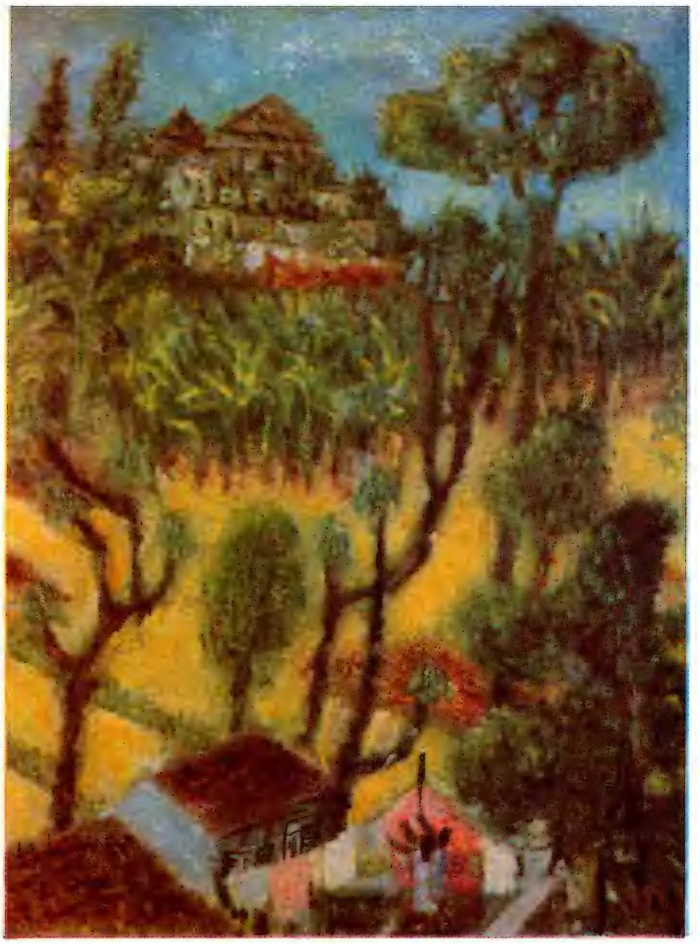
Не все всегда и повсюду может быть выражено одним и тем же способом. Люди не придерживаются единого мнения, они различно подходят к искусству и не все эстетически достаточно развиты, чтобы его всегда и во всем понимать. Едва ли возможно, хотя и очень желательно, создавать картины, в равной мере понятные для всех, и при этом оставаться хорошим художником.

В настоящее время, точнее, вот уже два года, я работаю над циклом красочных линогравюр под названием «Каин». Поскольку простейшее, само собой напрашивающееся решение меня не удовлетворяет, требуется много времени, чтобы закончить эту работу. Этот цикл на одиннадцати листах, выполненный в четырех красках, я покажу на осенней выставке графики в связи со своим семидесятипятилетием; надеюсь также выставить книжные иллюстрации, относящиеся ко всем периодам моего творчества. Это будет мой отчет перед современниками и перед самим собой. Если мне позволит состояние здоровья, я хочу сделать еще несколько рисунков тушью. Они будут направлены против бюрократизма. Опираясь на гетевского «Фауста», я изображаю бюрократов в виде лемуров. Да, забыл упомянуть, что цикл «Каин» увенчивается изображением мира на земле. Я надеюсь, что моя работа будет хотя бы скромным вкладом в борьбу народов за мир.

Иван и Алеша. Иллюстрация к роману Ф. Достоевского «Братья Карамазовы».

Удивительная рыба
(Масло) Рио де-Жанейро, 1944

Оба в отставке
(Масло) 1955

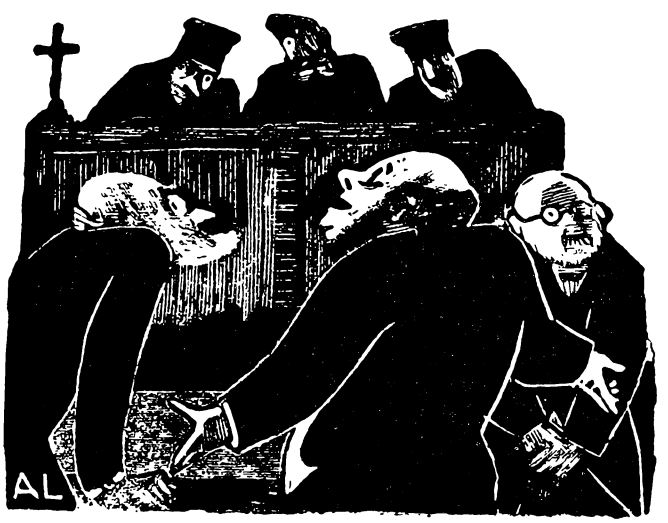


В штате Нитерой
(Масло) Бразилия, 1947

Жилища негров
(Масло) Рио-де-Жанейро, 1945

Правосудие. Иллюстрация к роману Ф. Достоевского «Братья Карамазовы».

Иллюстрации к книге Ульриха Бехера «Бразильский романсеро».



Медицинские эксперты. Иллюстрация к роману Ф. Достоевского «Братья Карамазовы».

Пенсионер в запущенном саду. Иллюстрация к книге Ульриха Бехера «Бразильский романсеро».

Иллюстрации к книге Ульриха Бехера «Бразильский романсеро».

Книрием и комета. Иллюстрация к пьесе Иоганна Непомука Нестроя «Злой дух Люмпацивагабунд».

Цвирн позирует художнику. Иллюстрация к пьесе Иоганна Непомука Нестроя «Злой дух Люмпацивагабунд».

Ждем вас снова будущей весной. Иллюстрация к изданию пьесы Иоганна Непомука Нестроя «Злой дух Люмпацивагабунд».

Встреча Цвирна с Книрием. Иллюстрация к пьесе Иоганна Непомука Нестроя «Злой дух Люмпацивагабунд».

Три друга снова вместе. Иллюстрация к пьесе Иоганна Непомука Нестроя «Злой дух Люмпацивагабунд».

МАЙК НЬЮБЕРРИ

ЙЕХУ СО СНАЙПЕРСКИМИ ВИНТОВКАМИ

(Главы из книги)

«Враг № 1 — интеллигенция»

С течением лет я проникся презрением к так называемым интеллигентам, которых сейчас полным-полно в правительственных учреждениях в Вашингтоне, среди преподавательского состава наших крупных университетов и среди литераторов.

Генерал Роберт Вуд, председатель Американского совета по вопросам безопасности

Я — противник интеллигенции.

Медфорд Эванс, координатор «Общества Джона Берча», бывший редактор «Фэктс форум»

Современный интеллигент — это человек, обремененный познаниями, которые ему не под силу осмыслить.

Сенатор Карл Мундт

Среди тех, кто говорит с гарвардским акцентом, коммунистов больше, чем среди людей в рабочих комбинезонах.

Роберт Уэлч, основатель «Общества Джона Берча»

Достопочтенный Говард Смит, член палаты представителей от штата Вирджиния и автор «закона Смита», ставшего краеугольным камнем антикоммунистического законодательства, показал, что он хоть и противник коммунистов и интеллигентов, но зато человек с чувством юмора. Как известно, конгресс отклонил робкий призыв президента Кеннеди к созданию Федерального совета по вопросам искусства (единственная функция которого должна была заключаться в том, чтобы выяснить, можно ли что-нибудь сделать в этой области); считается, что такое решение было принято благодаря акциям Смита, столь склонного к юмору. В припадке бурного веселья сей конгрессмен заявил в палате представителей, что если так уж необходимо изучать искусство, то почему бы, в таком случае, не изучать покер? Ведь игра в покер — тоже искусство, потешался Смит. В официальном отчете о заседаниях конгресса отмечено, что палата гоготала вместе с ним. В результате предложение Кеннеди было осмеяно и провалилось.

И все же конгрессмен Смит, несмотря на его доблестные усилия, не являет собой настоящего противника интеллигенции. Этот его добродушно-вульгарный юмор (как раз в духе тех застольных острот, какими обмениваются в своих клубах бизнесмены) скорее восходит к традициям бэббитов *, в глазах которых интеллигент — мишень для насмешек, никчемный и неумелый человечишка, попросту женоподобный хлюпик по сравнению с Настоящим Мужчиной, умелым и бывалым, знающим свое дело. Ученость, быть может, и неплохая штука, когда она на своем месте, скажем, как книга на ночном столике,— но только не в среде Настоящих Мужчин. Подобное представление об интеллигенте широко распространено: именно так рисуют его в бесчисленных речах, произносимых на собраниях «Ордена Вепрей», «Ордена Лосей» ** и прочих орденов, заменяющих американцам геральдику...

Впрочем, Бэббит не был особенно зловредным. Преуменьшая роль интеллекта, он делал это не из ненависти и не из страха, порождающего ненависть. Бэббитам той

Окончание. Начало в № 5.

* Бэббит — герой одноименного романа Синклера Льюиса. Его имя стало олицетворением мещанской тупости и косности среднего американского буржуа.

** Два из многих распространенных в США объединений предпринимателей, обставляющих свои собрания с театрализованной пышностью.

поры была свойственна известная терпимость и скромность, которую кое-кто может истолковать как зависть.

Что же касается современных противников интеллигенции, то они убийственно серьезны. Началось «светопреставление», утверждает бывший преподаватель юридического факультета университета «Нотр Дам» Кларенс Мэнион, недавно ставший членом Национального совета «Общества Джона Берча». «С ними дьявол»,— говорится в «Американском справочнике для антикоммунистов» о «мягких, вкрадчивых, велеречивых людях — интеллектуальных противниках антикоммунистов». «Либеральная демократия...— орудие дьявола»,— заявляет Эндрью Литл в журнале «Нейшнл ревью». Бывший ближайший сотрудник Маккарти в сенатской подкомиссии по расследованиям и бывший главный обвинитель в комиссии палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности Дж. Б. Мэтьюс считает, что его коллеги-преподаватели «вскормлены сосками, которые пихали им в рот заботливые представители «Нового курса» и «Справедливого курса» *. Руководитель организации «Крестовый поход христиан» священник Билли Джеймс Харджис клеймит «целеустремленных и прожженных разрушителей, захвативших контроль над большинством средств массовой информации — газетами, журналами, радио, телевидением, книгоиздательским делом и даже киосками и библиотеками». Ни одно из этих высказываний отнюдь не свидетельствует о той позиции невмешательства, которая была характерна для противников интеллигенции в прошлом... Для нынешних правых интеллигент уже сам по себе подозрителен. Современные антиинтеллектуалы стремятся запретить интеллект, запретить мысль, запретить историю. Один из редакторов «Нейшнл ревью» Томас Молнар в своей книге «Упадок интеллигенции» предрекает, что интеллигент будет исключен из общественной жизни и лишен всякого влияния на общественную мысль: «Право же,— убеждает он,— интеллигента надо подвергнуть чистке и вытрясти из него большую часть духовного наследия...»

Однако этот антиинтеллектуализм нового толка принимает парадоксальный характер, ибо жизнь настолько усложнилась, а наука настолько расширила горизонты интеллекта, что воинствующий обскурантизм такого рода может удовлетворить лишь самых неприхотливых. Нынешнему противнику интеллигенции необходимо запастись степенью доктора философии. Собственно говоря, половина из них эту степень имеет. В наши дни противник интеллекта стремится стать в высшей степени интеллигентным. Ему это необходимо. По иронии судьбы «Общество Джона Берча» считает основной задачей своей организационной деятельности создание «научных кружков», и, что самое интересное, в этих кружках изучаются марксистские первоисточники. Полки библиотек заполнены книгами тех, кто добивается запрещения книг. Именно те люди, которые в минувшие годы ратовали за запрещение книг, сейчас принадлежат к числу наиболее плодовитых авторов. Огромные издательства, сети книжных магазинов, тонны литературы — таковы характерные атрибуты современных противников интеллигенции. На смену политическим сборищам и примитивной поджигательской агитации прошлого пришли антикоммунистические «семинары» и «школы». Во всех этих мероприятиях чувствуется известная рафинированность, претензия на ученость.

Поль Бланшар, всесторонне изучивший этот вопрос, пришел к выводу, что антиинтеллектуализм сочетается с антикоммунизмом:

«В кампании за запрещение книг с коммунистической тенденцией отчетливо чувствуется враждебность к интеллигенции в целом. Политические деятели, использующие антикоммунистические настроения, апеллируют также к предрассудкам, которые укоренились среди людей необразованных по отношению к тем, кто читает серьезные книги, трактующие о коренном преобразовании общества. Эта кампания выходит далеко за пределы критики в адрес коммунизма...»

Наглядный пример тому — позиция бывшего председателя организации «Америка — прежде всего», а в настоящее время председателя Американского совета по вопросам безопасности генерала Роберта Вуда, видной фигуры в возрождающемся движении правых. Непременный и чрезвычайно активный участник всех кампаний за усиление цензуры генерал Вуд откровенно демонстрирует, как можно использовать антиинтеллектуализм в политических целях:

«С течением лет я проникся презрением к так называемым интеллигентам, которых сейчас полным-полно в правительственных учреждениях в Вашингтоне, среди преподавательского состава наших крупных университетов и среди литераторов».

Специально о коммунизме говорится только в связи с политическими симпатиями «розовых» интеллигентов. Правые выдвигают обвинение против интеллигенции в целом как определенного слоя общества, виновность которого безусловна при любых политических воззрениях. Потому-то генерала не отпугивает парадоксальность его собственного утверждения, что среди литераторов полным-полно интеллигентов, ведь враждебное отношение к интеллигенции для него равнозначно враждебному отношению к коммунизму.

Этот парадокс не помешал также одному из теоретиков антиинтеллектуализма Медфорду Эвансу написать высокоинтеллектуальный очерк под заглавием «Почему я противник интеллигенции». В настоящее время Эванс — координатор «Общества Джо-

* Официальное название программ, провозглашенных Рузвельтом и Трумэном.

на Берча» в Техасе; ранее он был редактором «Нейшнл ревью» и принадлежащего нефтяному магнату Г. Л. Ханту «Фэктс форум», но оставил эти должности для того, чтобы стать советником генерала Эдвина Уокера. Работал он также и в комиссии по атомной энергии у адмирала Льюиса Страусса в качестве одного из руководителей отдела безопасности. Занимая эти должности, он, вероятно, все время оставался «противником интеллигенции». Весьма забавно, когда на это звание претендует такой человек, как Эванс: ведь по долгу службы в Комиссии по атомной энергии ему приходилось определять лояльность и интеллектуальный уровень некоторых крупнейших ученых страны. На основании материалов, поступавших в личные дела таких людей, как Роберт Оппенгеймер, Эдвард Теллер, Гарольд Юри, Лео Силард, выводы должен был делать «противник интеллигенции» Медфорд Эванс.

У д-ра Дж. Б. Мэтьюса ненависть к интеллигенции вспыхивает ярким пламенем, когда он упоминает о «захудалых бродячих историках», вроде Ричарда Ровера и Артура Шлезингера-младшего, а также о «философе-богослове» Рейнгольде Нибуре. По его словам, «незаслуженная» репутация Нибура объясняется тем, что тот умеет «приятно возбуждать чувства участниц собраний «Христианской ассоциации молодых женщин», мороча им голову своей неудобоваримой и бессмысленной диалектикой». Однако с особенной яростью он обрушивается на интеллигентов, преподающих в университетах:

«Нет никаких оснований предполагать, что если бы последние тридцать пять лет все колледжи и университеты в Соединенных Штатах были закрыты, положение в стране было бы сколько-нибудь хуже, чем сейчас,— во всяком случае, с точки зрения разумного подхода к проблеме коммунизма».

Сей рьяный апологет антикоммунистических расследований, подводящий под них философскую базу, утверждает, что всему виной «дарвиновская гипотеза», а также воззрения интеллигенции, «отравляющие умы и подрывающие нравственные устои». «Так пусть же продолжаются расследования!» — восклицает он.

Основатель «Общества Джона Берча» Роберт Уэлч демонстрирует свой антиинтеллектуализм, обрушиваясь на «снобов-интеллектуалов», которые «выдают свою незрелость и слюнявую инфантильность за глубину мысли». Он заявляет:

«Мы предупреждаем недоучек со степенью доктора философии и рафинированных любителей модерна, считающих поэзию изобретением Т. С. Элиота, что не поддадимся ни на какие попытки сделать нас ультрасовременными... Они (интеллигенты) все больше и больше загрязняют своими гнилыми идейками поток человеческой мысли...»

К этой гневной филиппике по адресу «либерального псевдоинтеллектуализма» присоединился и «летописец правой молодежи» г-н Стэнтон Эванс. В своей книге «Университетский бунт» Эванс заодно атакует и тех, кто верит в «номинализм, позитивизм и прагматизм». Особенно же не дают ему покоя «либерализм» и «отсутствие религиозности у преподавателей общественных наук».

Другой воинствующий противник интеллигенции, редактор «Нейшнл ревью» Уильям Бакли, бичует «идеологию современного либерализма». Любопытно, что Бакли — наиболее утонченный интеллигент среди консерваторов — употребляет слово «интеллектуальный» лишь как отрицательный эпитет. Он подчеркивает разницу между «трусливыми хлюпиками», как он именует интеллигентов, и генералом Эдвином Уокером, в котором видит олицетворение стойкости. Бакли утверждает, что генерал лишь повторил тезис, «выдвигаемый журналом «Нейшнл ревью» с самого момента его возникновения». Хотя, по мнению Бакли, генерал высказал эту мысль не очень удачно («он недостаточно продумал свою идею и грубо ее выразил»), он в отличие от «жалких хлюпиков» — настоящий герой, человек действия. «А вот теперь его забрасывают грязью и высмеивают люди, которые и стакана касторки не выпьют, чтобы помочь своей стране»,— возмущается Бакли.

Откуда такое смешанное со страхом презрение к интеллигентам?

Шурин Уильяма Бакли и один из соредакторов «Нейшнл ревью» Л. Брент Бозелл (кстати, он подвизался у Маккарти в роли «автора-невидимки») указал на источник этой философии антиинтеллектуализма в своем программном выступлении в Мэдисон-сквер-гарден на собрании организации «Молодые американцы — борцы за свободу». «Эпоха Просвещения,— заявил Бозелл,— вот источник всех наших бед. Либерализм уходит корнями в старую-престарую ересь, именуемую гностицизмом. Ее поборники верили, что спасение человека и всего общества в целом возможно здесь, на земле». Эту «ересь» — «гностицизм», — восходящую к «бурной эпохе Просвещения», следует навсегда изгнать из истории и «преобразовать душу человека путем хирургического вмешательства».

«Очистим Запад»,— призывает Бозелл, выделяя эти слова курсивом. Таким образом, «вычищать» нужно не интеллигентов, а ту скверну, которую они собой олицетворяют,— то есть духовное наследие, восходящее к эпохе Просвещения.

Журнал «Букмэн» («консервативный еженедельник», как именует этот орган его редактор Расселл Керк, являющийся также одним из редакторов «Нейшнл ревью») поместил статью под названием «Мрачная эпоха Просвещения», в которой развивает эту мысль Бозелла. Автор статьи, преподаватель Детройтского университета Питер Стэнлис пытается установить «связь между философией эпохи Просвещения и современ-

ным политическим абсолютизмом», то есть марксизмом, хотя вообще-то не только с ним одним... Так же, как и Бозелл, Стэнлис верит, что источник всех бед современного мира — эпоха Просвещения с ее «автаркическим рационализмом», увлечением «естественными науками» и «теорией природной доброты человека»:

«Будучи наследниками эпохи Просвещения, многие западные теоретики, занимающиеся общественными проблемами, не сознают того, насколько вера в материализм и естественно-научные методы подхода к человеку сближают их с коммунизмом. На Западе многие разделяют веру Руссо в то, что человек от природы добр, причем вера эта сочетается у них с материалистическим принципом, согласно которому окружающая среда оказывает решающее влияние на индивидуум. Эти принципы составляют основу их мировоззрения. Случайные расхождения, вытекающие из партийной принадлежности, узконациональных интересов и разных точек зрения на способы достижения социальных целей, совершенно незначительны по сравнению с этой общностью в отношении коренных принципов. Идеями эпохи Просвещения пронизана общественная мысль Запада, и это сбивает с толку наших государственных деятелей или делает их несостоятельными, когда они пытаются вести идеологическую войну с марксистской тиранией, отвергая ее с точки зрения нравственной. Запад больше не может придерживаться наполовину позитивистских, наполовину христианских взглядов».

Столь же «несостоятельны» и опасны, с точки зрения Стэнлиса, «идеи философов эпохи Просвещения — Гоббса, Локка, Шефтсбери, Хартли, Юма, Пристли и Годвина в Англии; Декарта, Спинозы, Лейбница, Кондильяка, Гельвеция, Дидро, Вольтера, Гольбаха, Руссо и Кондорсе на европейском континенте». По какой-то причине в этот «черный список» не внесены те американцы, которые унаследовали идеи эпохи Просвещения,— Джефферсон, Пейн, Франклин, Раш, Эмерсон, оба Адамса (младший и старший), Дуглас и Авраам Линкольн. Как бы то ни было, предлагая этот список, Стэнлис разъясняет смысл категорического требования Бозелла «очистить Запад» от идей Просвещения.

Кто-то пошутил, что правые хотят «закрыть» XX столетие. Однако если принимать тезис Бозелла всерьез, как это делает «Нейшнл ревью», неизменно провозглашая его под звуки фанфар, то, пожалуй, может создаться впечатление, что надо «закрыть» не только XX столетие, но и несколько предыдущих.

Из всего вышесказанного вовсе не следует, что противник интеллигенции сам не является интеллигентом. Так, например, Роберт Уэлч известен как «бизнесмен интеллектуального толка». Он обожает шахматы, есть у него и некоторые другие «особые пристрастия». Упомянем также, что д-р Дж. Б. Мэтьюс — бывший профессор. Что касается Аллена Золла, особенно горячо ратовавшего за запрещение книг, то многие поколения его предков были уважаемыми, богатыми и образованными людьми. Генерал Вуд тоже не лишен некоторой эрудиции. Медфорд Эванс окончил колледж, а Уильям Бакли-младший имеет диплом Йельского университета.

И все же требование подвергнуть интеллект «чистке» — одно из излюбленных их заклинаний. Но как же осуществить эту «чистку»? И для чего? Один из редакторов «Нейшнл ревью» Томас Молнар, считающийся *персона грата* среди проповедников философии антиинтеллектуализма, в своей работе «Упадок интеллигента» приводит следующие доводы в доказательство необходимости такого рода «чистки»:

«Для того чтобы интеллигент мог участвовать в споре не столько с идеологических позиций, сколько с философских, его, безусловно, надо лишить значительной доли духовного наследия. Другими словами, до тех пор пока он стоит на той точке зрения, что его философские воззрения должны определяться идеологией, все его размышления будут бесплодны; мало того, он не сможет контролировать процесс претворения идей в действительность».

Таким образом, идеология мешает человеку выработать философские воззрения. А раз так — к стенке идеологию! Молнар предлагает начать эту чистку с науки: «Мы должны помнить, что современная наука, по выражению Ницше, выбросила человека из центра мироздания на его периферию». Далее наука предала человека, «обещав ему утопию». Подобно марксизму — а по Молнару, «основной тезис марксизма — это устранение отчуждения» — наука проповедует, что человек может преодолеть созданные отчуждением препятствия и сделать так, чтобы «судьба его не зависела от случая»; за этот тягостный грех наука должна подвергнуться «чистке». Вслед за наукой «чистке» следует подвергнуть и рационалистическую мысль. Молнар пишет: «Любая попытка произвести переоценку ценностей, которыми обычно определяется политическая жизнь и самое существование человека, обречена на провал, коль скоро она делается с чисто рационалистических позиций», ибо историю вершат с помощью «нравственного видения», а не «рационалистических систем». Итак, наука и рационализм повержены в прах. Следующий объект «чистки» — гуманизм. «В известном смысле,— пишет Молнар,— крах интеллигенции есть крах западного гуманизма и либерализма, в основе которых лежит древнегреческий способ мышления». Стало быть, «развитие западной концепции либерального общества исторически связано с гуманистической точкой зрения на индивидуум».

Гностики также способствовали формированию той самой «гуманистической точки зрения на индивидуум», к которой Молнар относится так подозрительно. Но в тяж-

ком грехе формирования западного гуманизма повинны не только древние греки и гностики. В нем всегда были повинны, и повинны сейчас, «интеллектуалы» — «всевозможные гуманисты, идеологи, либералы и марксисты, а также их противники, которые существуют в том же самом мире отвлеченных рассуждений». Итак, не только интеллигенты, но и «их противники»! Коль скоро гуманизм охватывает столь широкий горизонт философской мысли, виноваты и его сторонники и его противники. Кто же, вернее, что же останется после «чистки», которой требуют правые философы?

Теория — последнее прибежище интеллигентов, причем не какая-нибудь определенная теория, а теория вообще. Следовательно, долой теорию! — заявляет Молнар.

«Из всех терминов, применяемых для определения научного подхода к проблеме, термину «теория», разумеется, принадлежит решающая роль. Ибо не может быть никакой науки, никакого, даже элементарного, исследования, если нет гипотезы, затем материализующейся в теорию. Именно теория составляет философскую основу утопизма, предполагающего, что человечество должно достичь такой степени совершенства, которая позволит ему полностью распоряжаться своей судьбой».

Таким образом, «нравственное ви́дение», долженствующее, по словам Молнара, сулить спасение роду человеческому, сводится, по существу, к отказу от идеологии — отказу от теории, отказу от гуманизма, отказу от рационалистического мышления, отказу от науки — словом, к некоей призрачной системе, в которой фактически отброшено и все то, что еще осталось от нравственных принципов.

«По иронии судьбы только *сила,* причем сила, прикрытая лицемерием и источающая елей, может навязать обществу добродетель, и это будет добродетель притворная...»

Молнар вторит сенатору Барри Голдуотеру, утверждая, что «история отнюдь не являет собой картину торжества добродетели...», и добавляет: «Это обстоятельство подводит нас непосредственно к проблеме *силы* и ее применения той или иной страной. Смиренно признаю, что в этом всегда была, есть и будет основная проблема международных отношений». В заключение Молнар обрушивается на интеллигенцию: «Интеллигенты наших дней в ужасе воздевают руки при виде разрушения, в котором они не умеют распознать его близнеца — созидание. А все из-за того, что они воспитаны на одностороннем гуманизме, и поэтому им не хватает воображения».

Итак, да здравствует разрушение! Долой гуманизм! И да продолжится очищение!

Если у нас создается впечатление, что философия антиинтеллектуализма не является чем-то новым в истории, то это, по словам самого Молнара, объясняется «неизбежным союзом правых с реакцией и фашизмом». Молнар неоднократно и вполне откровенно подчеркивает эту связь:

«Как бы бесстрастно ни разъяснялось в лексиконах слово «консерватор» (будь то консерватор в области философии, политики или культуры), идеологические битвы последних двух столетий привели к тому, что консерватизм, по существу, отождествляется с отсталостью, отрицательным отношением к переменам и прогрессу, даже с «реакцией» и, наконец, с «фашизмом». Не так уж важно, окажется ли это отождествление (или, по крайней мере, обобщение) состоятельным, если подвергнуть его тщательному анализу: суть в том — и ее никак нельзя игнорировать,— что невозможно составить представление об интеллигенте консервативного толка, не проследив его связи или даже родства с другими категориями «экстремистов», упомянутыми выше».

Естественно, что Молнар излагает свою позицию с некоторыми колебаниями и оговорками, но основной тезис его эссе под названием «Интеллигент как реакционер» подтверждает наличие такого «неизбежного союза» между правыми интеллигентами и крайней реакцией. Таким образом, философ антиинтеллектуализма удостоверяет «родство» между консерватизмом и фашизмом, хотя и считает это родство не очень удачным по следующей причине: «Коль скоро между консерваторами и так называемыми правыми экстремистами заключается союз, массы (представителями которых являются эти последние) погребают в своих недрах консервативные идеалы». Далее он пишет: «Фашизм и родственное ему движение, вместо того чтобы опираться на существующую элиту, кончили тем, что породили новую элиту — неуверенную в себе, но заносчивую, не знающую свободы, искусственно созданную, растленную; эти «партийные интеллигенты», то есть нацистская иерархия, ценили философию только на словах. Гитлер и Муссолини «не имели цели», не имели «единой партийной идеологии».

Книга Молнара и работы, на которых она основана, свидетельствуют о родстве между европейскими фашистами и американскими правыми, выступающими против интеллигенции. По мнению Молнара, проблема насилия и взгляд на применение силы государством — вот два основных фактора, из-за которых этот «неизбежный союз» пока нельзя считать окончательно закрепленным. Аналогичную теорию выдвигают в своей книге «Бунт совести» Аннедоре Либер, Вилли Брандт и Карл Дитрих Брахер. В этой работе излагается главным образом история «консервативного» подполья в нацистской Германии. Авторы пишут и о том, какую форму принимал антиинтеллектуализм в первые месяцы после установления в Германии фашистского режима.

«Прежде всего новое правительство (нацисты) провело «чистку» университетов и школ, запретило все инакомыслящие газеты и журналы, а также произведения писателей, не согласных с идеями фашизма, и стало варварски сжигать книги».

Варварство, разумеется; впрочем, варварство с известным интеллектуальным расчетом! Его целью было упростить, «очистить» немецкую мысль.

Все те, кто ратует за проведение подобной «чистки» в Соединенных Штатах — сторонники маккартизма, комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, апологеты закона Маккаррэна, а также противники интеллигенции из числа правых,— питают жгучую ненависть к демократии и либерализму, не говоря уже о марксизме. Они хотели бы «оградить интеллект от опасности», заточив его в темницу, где он пребывал до эпохи Просвещения. Таким образом, противники интеллигенции в Америке сродни идеологам фашизма. Метод последних в значительной мере сводился к раздуванию антиинтеллигентской истерии. Так же, как и в наши дни, эта истерия зачастую сочеталась с антикоммунизмом, ибо антиинтеллектуализм и антикоммунизм — политические близнецы.

Германия, по словам Эрики Манн, превратилась в школу варварства, однако наставниками варваров были так называемые «культурные» люди.

Комментируя этот факт, Джон Кафи, профессор американской истории в Калифорнийском университете (Лос-Анжелес), писал:

«Намеренно или нет, но антикоммунизм в Соединенных Штатах в значительной мере сопряжен с контролем над мыслями, сковывающим разум. Он представляет собой прежде всего атаку на инакомыслящих, усиленную кампанию за конформизм, причем в первую очередь — за конформизм в области мысли и верований».

В соответствии с нашими традициями наиболее распространенным методом навязывания этого конформизма являются расследования, проводимые в комиссиях конгресса и судах. Официально считается, что цель этих расследований — борьба против подрывных сил. Однако профессор Кафи замечает: «В ходе расследования проверяются главным образом убеждения данного лица, его идеи и верования. Проверке подвергается его духовная сущность». А это значит, что, используя борьбу против коммунизма в качестве повода и систему расследований в качестве метода, подозреваемого интеллигента подвергают проверке с целью выяснить, не расходятся ли его мнения с общепринятыми и нет ли у него каких-либо идей критического свойства. Антиинтеллектуализм становится более осмотрительным: он выступает сейчас в обличии судебного расследования. Костры из книг на манер Геббельса — дело прошлого. Однако, отмечает Кафи, поскольку в ходе антикоммунистических расследований мысль фигурирует в качестве преступницы, а интеллект — в качестве ее соучастника, такого рода расследования неизбежно стимулируют антиинтеллигентские настроения. С точки зрения организаторов расследований и тех правых, которые пытаются эти расследования оправдать, подводя под них «идеологическую базу», логика и разум — вещи подозрительные, ибо, как явствует из высказываний д-ра Дж. Б. Мэтьюса, Медфорда Эванса и других правых, сам интеллигент для них тоже фигура подозрительная.

Кафи считает, что «неистовство цензуры в области литературы и искусства» — один из результатов методологии антикоммунизма. Он приводит следующий пример:

«...Члены Совета графства в Лос-Анжелесе подняли тревогу по поводу одной из фресок на стене зала, в котором они заседают. Кое-кому из них показалось, что длинные кожаные одежды, в которых американские пионеры охотились на пушного зверя, чем-то напоминают русские кафтаны, и они поставили вопрос о том, чтобы замазать эту фреску».

Далеко же мы ушли от той самостоятельности и независимости мышления, которая отличала Джефферсона, Эмерсона и Линкольна!

Сбитый с толку американец

> Современная идеология правых направлена не против одних только коммунистов, а против сторонников демократии и прогресса.
>
> *Томас Молнар, редактор «Нейшнл ревью»*

> Либерализм — это измена.
>
> *Журнал «Райт»*

> А почему бы не провести несколько судебных процессов по обвинению в измене? Самое подходящее место для таких процессов — Гайд-Парк, и на то есть много причин. До него к тому же удобно добираться из Хайаннис-Порт, из государственного департамента, из Индепенденса и Геттисберга *.
>
> *Томас Андерсон, Национальный совет «Общества Джона Берча»*

Парикмахер из Бронкса был человек робкий. Это был пожилой мужчина, тяжко трудившийся всю жизнь и под конец ее ставший гордым обладателем собственной парикмахерской в городе Стэмфорде, штат Коннектикут. И он не желал терять свою гордость.

---

* Гайд-Парк, штат Нью-Йорк,— фамильное владение Франклина Рузвельта; Хайаннис-Порт — частный дом Джона Кеннеди; Индепенденс — владение Гарри Трумэна; Геттисберг — ферма Дуайта Эйзенхауэра.

Окончательное решение он принял в пятницу. Он проснулся до рассвета, зевая, поднялся с постели, оделся и по темным ночным улицам дошел до Нью-хейвенского вокзала. Там он сел в поезд, который должен был привезти его в Стэмфорд, где находилась его новенькая, сверкающая чистотой парикмахерская, у входа в нее красовался шест, раскрашенный по спирали в красный и белый цвета *, а внутри поблескивали белым кафелем стены. Здесь он был властелин, пусть и не очень величественный, но все же властелин, представитель свободной инициативы, по крайней мере, здесь он был сам себе хозяин.

По пути из Бронкса в Стэмфорд поезд делал остановку в Нью-Рошели. До той роковой пятницы это была для нашего парикмахера просто-напросто плохо освещенная промежуточная станция. Однако в тот день, 22 сентября 1950 года, по мере приближения к этой остановке его все больше и больше охватывал страх. Его трясло. На лбу у него выступил пот. Началось это еще с понедельника — всякий раз при виде Нью-Рошели тревога стискивала ему горло холодной липкой рукой. Впрочем, прежде тревога обычно рассеивалась. Он отводил глаза от названия станции, углублялся в чтение утренней газеты, и страх понемногу проходил.

Но в это утро парикмахер не мог совладать со своим страхом. Он уважал законы, никогда в жизни не нарушал ни одного из них. Да, бог свидетель, уж его-то лояльность не оставляет сомнений, и он сам отдаст себя в руки властей.

Парикмахер собрал все свое мужество, робко поднялся, чувствуя на себе осуждающие взгляды других пассажиров, и сошел с поезда. Со станции он торопливо зашагал в местный полицейский участок, чтобы зарегистрироваться.

В прошлый понедельник муниципальный совет Нью-Рошели принял постановление, получившее название «малого закона Маккаррэна» и предписывавшее всем членам коммунистической партии, которые жили в этом городе, работали в нем или регулярно через него проезжали, в течение десяти дней зарегистрироваться в полицейском участке. Постановление было принято под влиянием законопроекта Маккаррэна, который именно тогда обсуждался в конгрессе. Лейтенант полиции Морис Келли, преисполненный служебного рвения, вот уже несколько дней сидел за своим рабочим столом в ожидании обладателя партийного билета, который пожелает зарегистрироваться. Никто не являлся, и лейтенант уже потерял всякую надежду, как вдруг в участок вошел парикмахер из Бронкса.

— Я хочу зарегистрироваться,— объявил он.

Утренние газеты сообщали под большими заголовками о принятии законопроекта Маккаррэна в палате представителей подавляющим большинством голосов и мрачно предрекали, что вето, которое собирается наложить на него президент Трумэн, будет отклонено сенатом. Выходило, что гражданину, уважающему законы, не остается ничего другого, как пойти и зарегистрироваться.

Лейтенант Келли воспрял духом.

— Вы хотите зарегистрироваться!

— Да,— ответил парикмахер.

— Разве вы коммунист? — скептически спросил лейтенант.

— Коммунист? Разумеется нет! — возмущенно ответил парикмахер.— Никакой я не коммунист. Я лояльный республиканец!

— Так зачем же вам регистрироваться? — уныло вздохнув, поинтересовался лейтенант Келли.— Ведь регистрироваться должны только коммунисты, имеющие партийные билеты.

— Коммунисты, имеющие партийные билеты? — спросил парикмахер.

— Ну да,— сказал лейтенант Келли.

Парикмахер обалдело попятился.

— А мне казалось, там было сказано, что регистрироваться должны все, имеющие постоянные проездные билеты,— пробормотал он едва слышно.

Совершенно неправдоподобная история, скажете вы? Но она произошла на самом деле, и о ней писала на другой день газета «Нью-Йорк таймс». Заметка эта, не сопровождаемая никакими комментариями, была заключена в рамку и вставлена в текст послания президента Трумэна, налагавшего вето на законопроект Маккаррэна.

Эммануэль Селлер, конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк, не счел эту историю неправдоподобной. Он опасался, что закон Маккаррэна — хотя официальной его целью было запрещение коммунистической партии и контроль над ее деятельностью — может фактически быть использован для запрещения демократической партии и установления контроля над ней. При обсуждении поправки, дополнявшей закон Маккаррэна (так называемого законопроекта о контроле над коммунистической деятельностью, который был принят в 1954 г.), в палате представителей произошла перепалка между двумя конгрессменами — демократом Эммануэлем Селлером и республиканцем Чарлзом Холлеком (штат Иллинойс).

Селлер: Если мы запретим коммунистическую партию, то какая у нас гарантия в том, что республиканцы, находясь у власти, не запретят демократическую партию, или наоборот?.. Мне не нравится та часть законопроекта, которая предусматривает запрещение партии,— она явно не соответствует конституции.

---

* Такой шест служит вывеской парикмахера.

Холлек: Полагаю, джентльмену следовало бы понять, что, как подчеркивается в самих формулировках законопроекта, коммунистическая партия не есть политическая партия. Это международный заговор с целью уничтожить как вашу партию, так и мою.

Селлер: Да, но козыри-то в ваших руках. Ведь вы стоите у власти. Вы можете провозгласить любую партию чем угодно — стоит вам только издать соответствующий закон. То же самое вы можете проделать с демократической партией. Вы можете объявить, что любая партия, которая выступает против высоких таможенных тарифов или считает, что расходные статьи в бюджете могут превышать доходные, представляет собой подрывную организацию... Поэтому вы точно таким же манером можете сказать, что следует запретить демократическую партию.

Тревога, высказанная конгрессменом Селлером, была не случайна: в то время сенатор Маккарти (пытавшийся с помощью политических средств добиться той самой цели, достижение которой с помощью юридических средств обеспечивал закон Маккаррэна) громко вопил, что демократическая партия запятнала себя «двадцатью годами измены». Впрочем, над опасениями Селлера только посмеялись. Почти все его коллеги-демократы проголосовали за поправку к закону Маккаррэна, предусматривающую «контроль над коммунистической деятельностью».

Однако Селлера высмеивали не все. «Уолл-стрит джорнэл» в примечательной редакционной статье горячо поддержала конгрессмена-демократа, заявив, что разделяет его тревогу. Мало того, эта газета, являющаяся рупором Уолл-стрита, выразила опасение, что ее могут заклеймить как «коммунистическую» и заставить зарегистрироваться в соответствии с законом Маккаррэна. В редакционной статье говорилось:

«Одно из положений закона Маккаррэна состоит в следующем: если какое-нибудь лицо выразит готовность осуществлять цели коммунистической партии, это будет считаться доказательством сотрудничества данного лица с коммунистическими группировками. Судя по всему, коммунистическая партия, вероятно, желает бороться против детской преступности. Но ведь и наша газета тоже!»

Если даже «Уолл-стрит джорнэл» опасалась, что на нее будет распространен закон Маккаррэна, то участники профсоюзного движения имели еще больше оснований для тревоги. Характерно, например, такое высказывание Объединенного профсоюза мясников и разрубщиков туш:

«Если коммунистическая партия будет запрещена, то вполне можно предположить, что рано или поздно будет предпринята попытка запретить и профсоюзное движение».

По иронии судьбы, в данном случае труд и капитал, так сказать, объединились, чтобы встать на защиту прав коммунистической партии. Впрочем, по зрелом размышлении приходишь к выводу, что и профсоюз, и буржуазная газета выступили в защиту собственных интересов. Их выступления были актом самообороны, ибо они понимали, что закон Маккаррэна с легкостью может быть применен и к ним.

Как формулировки закона Маккаррэна, так и политическая линия его авторов не оставляют сомнений в том, что обязательная регистрация членов коммунистической партии, предусматриваемая этим законом,— не самоцель, а всего лишь средство, ведущее к более отдаленной цели.

Подтверждение этому мы находим в «Американском справочнике для антикоммунистов», автор которого Фрэнк Кэпелл спрашивает: «Кто помогает врагу?» И сам же отвечает:

«Буквально миллионы американцев принадлежат к организациям (коммунистического) фронта или помогают им. *Такие люди зачастую куда опаснее заядлых коммунистов:* они прикрываются «завесой респектабельности», и поэтому в них не удается распознать фактических коммунистов» (подчеркнуто мной.— *М. Н.*).

Выдвинув столь мощный аргумент, автор справочника в назидание антикоммунистам приводит далее перечень организаций «коммунистического фронта», в число которых, по его мнению, входят: «Американская ассоциация гуманистов», «Американская ассоциация секуляристов», клуб кинолюбителей «Синема 16», «Комитет борьбы за демократическую Испанию», «Международная лига борьбы за права человека», «Фонд Фелпса-Стокса», «Союз студентов за мир», «Международная женская лига борьбы за мир и свободу» и, разумеется, «Женщины, боритесь за мир».

Священник Билли Джеймс Харджис, руководитель «Крестового похода христиан», распространяет обвинение в коммунистическом заговоре на весь американский народ. «Я бы обвинил в предательстве вас — именно вас, простой народ, а не политических деятелей, министров и лидеров»,— заявляет он. Впрочем, иной раз Харджис дает более конкретный перечень «предателей»:

«...Журнал «Тайм», Национальный совет церквей, «Вашингтон-пост», «Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения» и все другие либералы и интернационалисты, вместе взятые...»

Итак, «либерал» — основной противник? Стало быть, в терминологии правых слово «либерал» попросту подменяет собой слово «коммунист»? Нет, «либералам» уготован свой ад, отдельно от коммунистов. Эндрью Литл пишет в «Нейшнл ревью»: «Либеральная демократия — часть общехристианской драмы, но при этом она орудие дьявола!» Ну, а дьявола надо изгонять вместе с его прислужником — равенством. Ибо «равенства не существует ни в природе, ни в обществе, ни в обещанной людям за-

гробной жизни. Слово «равенство» лишь порождает несбыточные иллюзии, а это и есть стратегия дьявола».

Поскольку дьявольские отродья, верящие в «либеральную демократию», проникли всюду, преданный своему делу и толковый антикоммунист может обнаружить измену в любом месте, где станет ее искать. «Психиатрия — это измена»,— уверяет Антони Дж. Мэрион в своей книге «Всемирный заговор». Члены организации «Сыновья и дочери золотой звезды» предостерегают своих соотечественников, что проведение прививок против полиомиелита, для которых употребляется вакцина д-ра Солка,— результат «коммунистического заговора». Руководитель полувоенной ультраправой организации «Воины креста» Кеннет Гофф (в последнее время он также активный участник «Христианского антикоммунистического крестового похода» *) считает, что фторирование воды свидетельствует о «беспрестанном проникновении коммунизма» в жизнь страны. По мнению священника Харджиса, «измена гнездится в Национальном совете церквей». Бывший сотрудник ФБР Дэн Смут полагает, что «подлинно подрывное движение» действует «в американских школах». Д-р Джон Линдсей твердит, что Организация Объединенных Наций не что иное, как «порождение дьявола»; ему вторит Роберт Моррис, заявляя, что ООН «безбожная» организация. Бывший заместитель министра Спруилл Брэйден, с недавних пор активный деятель «Общества Джона Берча», называет помощь иностранным государствам «делом рук антихриста» и заявляет: «Помощь иностранным государствам — вероломство, а то и измена». Сенатор от штата Миссисипи Джеймс Истлэнд, сменивший Маккаррэна на посту председателя сенатской подкомиссии по вопросам внутренней безопасности, считает Верховный суд США «величайшей угрозой для нашей конституции». Наконец Джон Эдгар Гувер искусно суммирует все эти обвинения в одно: подлинная опасность, утверждает он, исходит от «псевдолибералов».

«Либерализм — это измена»,— напрямик заявляет журнал «Райт». Стремясь придать этим примитивным обвинениям философскую утонченность, Уильям Бакли-младший в своей книге «Вперед — подальше от либерализма» пишет, что «либерализм» и «демократия» — синонимы. Демократия, по существу, «последнее прибежище либерализма». Не то чтобы Бакли решительно отметал демократию. По его словам, «демократия — неплохая форма правления», но в то же время «это вовсе не обязательно хорошая форма правления», и потому «претензии, выдвигаемые во имя демократии, вся эта показуха, к которой прибегают либеральные идеологи, попросту иллюзорны». Как мы видим, сей теоретик, пытающийся говорить бесстрастно-рассудительным тоном, невольно использует фразеологию завзятых головорезов. Чтобы разгромить «навязчивую идею либералов» — демократию, с точки зрения Бакли, необходимо «уничтожить эту самую штуку, именуемую либерализмом». Практической помощи в осуществлении своих надежд Бакли ожидает от сторонников расовой сегрегации. «Кризис на Юге становится все острее,— пишет он,— и, возможно, впервые приведет к серьезному срыву длительной кампании за всеобщее избирательное право, ибо, если сегрегацию удастся сохранить, это произойдет, вполне вероятно, благодаря тому, что демократия будет попрана в результате дальнейшего «ограничения числа избирателей» на Юге». Бакли радуется тому, что в таком случае «самому принципу либерализма будет брошен закономерный вызов».

Столь же решительно, но только прибегая к типичной для политикана риторике, обрушивается на демократию сенатор Барри Голдуотер, заявляя, что она представляет собой не что иное, как «тиранию масс». В своей книге «Совесть консерватора» он спрашивает: «Разве творцы (конституции) стремились к созданию демократии?» И отвечает: «Едва ли, ибо наша беда — загнивание общества, а это результат того, что оно делало больше упора на демократию, нежели на республиканизм».

«Как же это произошло?» — вопрошает Голдуотер и сам же отвечает: «Это отчасти объясняется тем, что нас надули». Кто именно? «Изменники и, пожалуй, трусы, которые время от времени занимали ведущие посты в нашем правительстве» и стремились к миру. А мир, по мнению Голдуотера,— это аномалия, и к нему незачем стремиться, «если только вы не замышляете измены».

Таким образом, как заявил Томас Молнар, политика правых фактически направлена «не против одних только коммунистов, а против сторонников демократии и прогресса».

Д-р Фред Шварц, руководитель «Христианского антикоммунистического крестового похода» пишет: «Кто они, эти люди, которые разрабатывали и продолжают разрабатывать подобную политику (правительства США),— изменники или просто слепцы, не ведающие о замыслах коммунистов?»

Приведем также характерное высказывание отставного генерала Чарлза Уиллоуби, который ныне подвизается в Вашингтоне в качестве лоббиста от организации «Крестовый поход христиан» и руководит деятельностью нескольких правых групп, а в прошлом был начальником разведки при штабе Макартура и по сей день имеет большие связи в Пентагоне. Касаясь проблемы, затронутой д-ром Шварцем и сенато-

---

* В первой части этой публикации, напечатанной в № 5 журнала, в названии этой организации допущена ошибка (стр. 241, строка 27 снизу). Следует читать: «Христианский антикоммунистический крестовый поход».

ром Голдуотером, отставной генерал рубит с плеча, ибо солдату робость не к лицу. Уиллоуби откровенно заявляет:

«Почти тридцать лет внутренняя и внешняя политика Америки была направлена к одной лишь цели — созданию единого фронта коммунизма. Для этой цели разграблялось национальное богатство страны, безжалостно и бессмысленно посылались на смерть ее молодые сыны».

Таким образом, излюбленное выражение Маккарти относительно «двадцати лет измены» осовременено — генерал толкует уже о тридцати годах. Впрочем, Уиллоуби критикует и самого сенатора: «Даже покойный сенатор Маккарти добирался по большей части лишь до самой периферии заговора», его «сбили с ног» прежде, чем ему удалось разоблачить «изменников, свивших себе гнездо в Пентагоне». Коммунисты в Пентагоне? Да, разумеется, утверждает генерал. Ведь нельзя же считать коммунистом только того, кто верит в социализм или состоит в коммунистической партии!

Ну как не вспомнить парикмахера из Бронкса! Нет, с его стороны это была не просто истерическая выходка. Ведь коль скоро будет создан прецедент в отношении коммунистов, сама теория антикоммунизма и его практика приведут к тому, что карательные меры станут применяться также к некоммунистам и даже к противникам коммунизма.

Эта точка зрения находит дальнейшее свое подкрепление в высказываниях Джона Эдгара Гувера.

Подобно генералу Уиллоуби, Гувер считает, что псевдолибералы представляют собой «смертельную угрозу», еще более опасную, чем сами коммунисты. Правда, «фактическая численность коммунистической партии сократилась», пишет Гувер, но это еще не означает, что патриотизм уже «одерживает верх в борьбе против подрывных элементов». Напротив, «ничто не может быть дальше от истины», ибо «в настоящее время подрывное движение фактически представляет собой смертельную угрозу, куда более страшную, чем об этом можно было бы судить на основании одной только численности коммунистической партии»; теперь, добавляет он, «угроза эта страшнее, чем когда-либо». Отсюда мораль: чем меньше коммунистов, тем большую угрозу они собой представляют. Дэн Смут, бывший административный помощник руководителя ФБР, а ныне лектор сети неомаккартистских организаций, согласен с заявлением Гувера. Смут пишет:

«Практически все влиятельные «либералы» в Америке, хотя они и считают себя антикоммунистами, хотят создать общество того же типа, к какому стремятся коммунисты».

По этой логике все либералы, безусловно, подозрительные личности, «и есть достаточно оснований полагать, что они нарушат или вступят с другими в заговор с целью нарушить» какой-нибудь из запретов, налагаемых законом Маккаррэна,— ведь люди эти, как заявил Гувер, «представляют собой смертельную угрозу». Чтобы оказаться жертвой этого закона, либералу — будь то псевдолиберал или любой иной — вовсе не обязательно совершить какой-нибудь явный проступок; закон Маккаррэна составлен так, что нет ни малейшей необходимости доказывать виновность лица, подпадающего под его действие, в совершении какого-нибудь явного проступка.

В своей книге «Внешняя политика для Америки» Голдуотер заявляет, что «победа над коммунизмом — основная непосредственная задача американской политики», а стало быть, она является «преобладающей в том смысле, что любая другая цель, какой бы достойной она ни была сама по себе, должна быть ей подчинена: мир... свобода... справедливость... процветание...»

Вообще-то и «свобода», и «справедливость», да и самая демократия бренны. Ведь независимо от того, «нравится нам это или нет, мы участвуем в смертельной схватке». Те же, кто этого не желает или придерживается мнения, что демократия может предоставить какие-то иные выходы, помимо «смертельной схватки», по логике Голдуотера, безусловно виновны.

«Мне все равно, говорим мы о коммунизме, социализме, эгалитаризме, монархизме, диктатуре или — прошу прощения — о «Новом курсе», «Справедливом курсе» или о «Политике новых рубежей»*. У всех у них есть один общий признак».

Комментируя эти высказывания, сенатор Карл Мундт, который был членом комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, а сейчас подвизается в сенатской подкомиссии по вопросам внутренней безопасности, заявил 17 августа 1961 года во время прений в сенате США, что либералы «корчатся от страха, когда мы, упоминая о социализме и коммунизме, даем понять, что между либерализмом, с одной стороны, и социализмом и коммунизмом, с другой, имеется некоторая связь. Конечно имеется! Они тесно связаны и взаимно переплетаются друг с другом. Это идеологические близнецы».

Один из редакторов журнала «Нейшнл ревью» Уиллмур Кендалл в своем эссе «Белиберда и свобода слова» поет отходную Биллю о правах **, заявляя, что «Билль

---

* «Политика новых рубежей» — официальное название политического курса, провозглашенного Дж. Кеннеди.

** Билль о правах в США — первые 10 поправок к конституции 1787 года, принятые континентальным конгрессом и провозглашавшие ряд элементарных буржуазно-демократических свобод для американских граждан.

о правах, по существу, меняет весь характер нашей конституционной системы... Какой смысл было включать его в конституцию?» — вопрошает Кендалл. Надо сказать, что Кендалл недаром обрушивается с такой яростью на Билль о правах. Он правильно усматривает в нем суть нашего демократического наследия. Далее Кендалл пишет:

«Другими словами, я твердо убежден, что классическая попытка отстоять свободу слова как обязательный принцип, применимый к любому обществу... представляет собой образчик дурной политической философии, причинившей к тому же немало вреда. Поэтому чем меньше будет говориться о свободе слова, тем лучше».

Кендалл высказывает вовсе не отвлеченные идеи, «применимые к любому обществу». Его мишень — американская демократия и «Билль о правах — эта жалкая, кое-как сколоченная пристроечка» к американской конституции. В заключение Кендалл откровенно заявляет:

«Начинаешь подозревать, что подлинным выражением американской традиции служат не пышные тирады по случаю 4 Июля* и не наши учебники по конституции, авторы которых не перестают кудахтать по поводу так называемых гражданских свобод, а нечто гораздо более простое — обычай изгонять человека из города, предварительно обмазав его дегтем, вываляв в перьях и протащив по улицам».

«Нейшнл ревью» пишет, что Кендалл ранее «возглавлял латиноамериканский отдел в государственном департаменте и в центральном разведывательном управлении». Таким образом, его высказывания — не просто перлы красноречия безответственного экстремиста, как это может показаться на первый взгляд, а изложение философских воззрений признанного представителя респектабельного консерватизма, человека, который вполне компетентен излагать политические взгляды представителей основного направления консервативной мысли.

И разве, утверждая, будто сутью американской демократии является обычай «изгонять человека из города, предварительно обмазав его дегтем, вываляв в перьях и протащив по улицам», он не требует уничтожить конституционные гарантии, обеспечиваемые Биллем о правах, а то и устроить над ними суд Линча?

Тех, кому наш вывод покажется чрезмерно суровым, отсылаем к журналу «Нейшнл ревью» («ответственному» консервативному органу, как именуют этот журнал его редакторы). В этом органе помещена статья под заголовком «Должны ли мы применить «импичмент»** к Эрлу Уоррену?» Она написана Л. Брентом Бозеллом, работавшим в качестве «автора-невидимки» сперва на Маккарти, а затем на Барри Голдуотера. Бозелл критикует кампанию «Общества Джона Берча» против председателя Верховного суда США Эрла Уоррена, которого «берчисты» требуют предать суду по обвинению в преступлении против государства. Автора статьи не устраивает эта кампания, поскольку, с его точки зрения, «мера наказания, которой требуют ее участники, совершенно не соответствует серьезности преступления».

Какова же должна быть мера наказания? В редакционной статье «Нейшнл ревью» разъясняет:

«В общем и целом г-н Бозелл считает, что председателя Верховного суда *не следует* судить в порядке применения «импичмента», хотя, быть может, он и заслуживает повешения».

Естественно, что такого рода заявление вызвало некоторое беспокойство даже среди консервативных читателей. В ответ на это журнал «Нейшнл ревью» снова разразился редакционной статьей — на сей раз для того, чтобы уверить публику, будто все это писалось просто «шутки ради», «для забавы», «для смеху», «в чисто юмористическом плане» и что «редактор вышеозначенного журнала чуть не умер со смеху», узнав, что кто-то мог подумать, будто он и вправду предлагает повесить председателя Верховного суда.

Продолжая веселиться, «Нейшнл ревью» саркастически замечает:

«Куда девалось чувство пропорции, свойственное американцам? Следующий шаг, видимо, будет таков: кто-нибудь и вправду возьмет да *повесит* Уоррена! Ведь это было бы *ужасно*, не правда ли?»

Подобного рода зловещие «шутки» вполне в духе такого человека, как Уильям Бакли-младший; видя перед собой перспективу всеобщего ядерного уничтожения, этот фаталист изрекает со вздохом: «Умрем — так умрем». Идеологи правых считают, что конец так или иначе близок, ибо, как утверждает Бакли, «болезнь Запада смертельна», стало быть, необходимы самые суровые меры. А если демократия препятствует их осуществлению — пусть сгинет демократия!

Однако планы идеологов правых, предрекающих нам гибель, обречены на провал, ибо наша конституционная система опирается на чрезвычайно крепкие традиции, а наше демократическое наследие прочно вошло в систему этических ценностей нации. Для всякого, кто открыто выразит хоть некоторое сомнение в том, что создатели конституции глубоко верили в ее действенность или в то, что установленные ими законы священны, такой шаг будет политическим самоубийством.

---

* Национальный праздник США — день принятия Декларации независимости 4 июля 1776 года.

** Особая судебная процедура, применяемая в отношении некоторых высших должностных лиц США и заключающаяся в том, что палата представителей возбуждает уголовное дело, а сенат рассматривает его и выносит приговор.

Именно понимая это, Кендалл надеется уничтожить наше демократическое наследие иным путем: лишить демократию конституционных гарантий и таким образом выхолостить закон, оставив от него одну видимость. Вот потому-то журнал «Нейшнл ревью» берет под обстрел не конституцию в целом, а Билль о правах, именуя его «жалкой, кое-как сколоченной пристроечкой» к конституции. «Так называемый Билль о правах», заявляет Кендалл,— всего-навсего «позднейшая доделка, все равно что окраска крыльца, когда дом уже построен. Если эту пристройку, уродующую здание американской конституции, уничтожить, сама конституция останется в неприкосновенности; мало того, страна будет избавлена от скучных процедур, навязываемых демократией».

Бакли открыто критикует «свободное общество», он считает, что нерешительность этого общества объясняется избытком «свободы».

Характерно при этом, что сами правые без конца твердят о свободе. Возьмем хотя бы несколько названий правых организаций: «Книжные магазины свободы», «Школа свободы», «Молодые американцы — борцы за свободу», «Свобода в действии». Сенатор Голдуотер утверждает, что людям надо «обеспечивать свободу», а не всякие там демократические социальные мероприятия: «Я не за то, чтобы расширять систему социальных мероприятий,— я предлагаю расширить рамки свободы». На практике же пресловутая «свобода», о которой разглагольствуют правые, означает для них свободу проводить расследования в отношении своих политических противников, пригвождать их к позорному столбу, клеймить, запрещать их деятельность и в конце концов бросать в тюрьмы. Заимствуя название одной из глав книги Эванса «Университетский бунт», можно сказать, что «свобода» эта в конечном итоге есть «свобода для консерваторов».

Бакли, которого сенатор Голдуотер провозгласил «лидером (консервативного) движения», показывает истинную цель законов, предусматривающих контроль над мыслями: налагать ограничения не только на «коммунистов», «марксистов» и «либералов всех мастей», но также на конституцию США и, конкретно, на самую ее сердцевину, то есть на Билль о правах.

Так, например, в ходе затеянных маккартистами расследований (в частности, в комиссии по расследованию антиамериканской деятельности) Билль о правах не раз выворачивали наизнанку, то есть вместо того, чтобы использовать его для защиты гражданских прав, применяли в качестве орудия наказания. Так неоднократно бывало, когда лица, в отношении которых проводилось расследование, стремились использовать Пятую и Первую поправки, обеспечивающие гражданам США такие конституционные привилегии, как свобода слова, право не отвечать на вопросы и не давать показания против самих себя. Этих лиц обвиняли в «неуважении к конгрессу», хотя все их «преступление» заключалось в том, что они искали защиты у закона.

С помощью подобных, а также более изощренных методов под Билль о правах ведется подкоп; в итоге конституцию лишают демократических гарантий, а ведь именно этого и добиваются правые идеологи и правые политические деятели. Обозреватель «Нейшнл ревью» Джеймс Бернем в своей книге «Конгресс и американская традиция» категорически заявляет: «Между демократической доктриной и конституционным принципом нет решительно никакой логической связи».

Такое истолкование конституции настолько подрывает права личности (в том виде, как они гарантированы Биллем о правах), что возникает вопрос: что же, по существу, остается от демократии, кроме лишенной всякого содержания внешней формы правительственной организации и схемы устройства бюрократического аппарата власти? Ведь в результате этого процесса самая форма конституционной демократии превращается в прикрытие для узаконенного конституцией фашизма.

Такие идеологи правых, как Рассел Керк, хотели бы запретить не только Билль о правах. Керк заявляет:

«Я считаю, например, что мы причинили ущерб нашему политическому порядку, введя всеобщее голосование, прямые первичные выборы, избрание сенаторов народом и другие меры, рассчитанные на то, чтобы заменить представительное правительство прямой демократией».

В сущности то, что предлагают правые,— это дорога к фашизму, а ведь самое это слово легло таким позорным пятном на совесть человечества, что отпугивает даже правых. Так, например, сенатор Голдуотер возмущается «умышленной попыткой изображать всех консерваторов как фашистов» и заявляет, что это «оскорбительно и гнусно»... «Я не сочувствую ни одной из групп, которая предлагает применять силу и насилие или нечестные пути для изменения американской системы правления»,— утверждает он.

Однако эти протесты не сводят на нет ущерба, нанесенного попытками правых расчленить демократию,— независимо от того, намеренно они идут дорогой фашизма или нет. Ведь сущность каждой политической формы определяется ее конкретным содержанием, а не термином, которым она обозначается.

Пожалуй, парикмахер из Бронкса, напуганный законом Маккаррэна, поступил не так уж глупо. Ведь если корень всех наших бед — вера в демократию, кто из нас без греха?

...Закон Маккаррэна создает особенно серьезную угрозу для демократов — мы имеем в виду как членов демократической партии, так и демократов в широком смысле этого слова. Таким образом, все опасения конгрессмена Эммануэля Селлера, что закон Маккаррэна, хотя он направлен якобы только против коммунистической партии, может быть с легкостью использован и против демократической партии, были не напрасны. Напомним его слова: «Вы можете провозгласить любую партию чем угодно, стоит вам только издать соответствующий закон. То же самое вы можете проделать и с демократической партией».

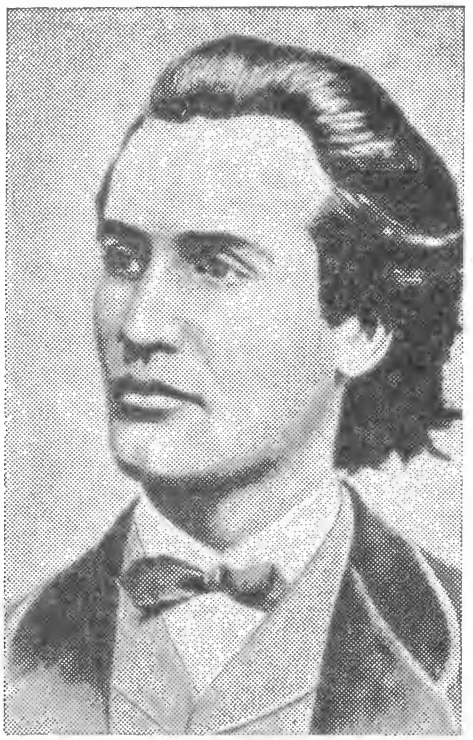
Одно из положений закона Маккаррэна уполномочивает президента в период вводимого им же чрезвычайного положения заключать членов «коммунистических организаций» в концентрационные лагеря. Такие лагеря уже созданы, и это — зловещее подтверждение обоснованности тех опасений, которые высказал Селлер. Первоначально министерство юстиции сообщило, что выделены средства на строительство шести лагерей — в Уикенберге и Флоренсе, штат Аризона; Эль-Рино, штат Оклахома; Тула-Лейк, штат Калифорния; Эйвон-Парк, штат Флорида, и Аллентаун, штат Пенсильвания; суть в том, что число людей, на которых рассчитаны эти лагеря, значительно превышает предполагаемое число членов коммунистической партии. Спрашивается, для кого же министерство юстиции держит в готовности эти концлагеря? Председатель входящего в АФТ — КПП всеамериканского профсоюза обслуживающего персонала отелей, ресторанов и буфетов Хьюго Эрнст следующим образом отвечает на этот вопрос:

«Сегодня концлагеря, быть может, рассчитаны на коммунистов, но завтра их могут использовать для «либералов-некоммунистов» и для участников профсоюзного движения».

И в самом деле, у этих концентрационных лагерей не может быть никакого иного назначения...

Возможно, что парикмахер из Бронкса, напоминающий в своей наивности героев Чаплина и не способный разобраться в политической казуистике, хоть он и стал ее жертвой, являет собой символ рядового американца, невольно оказавшегося под перекрестным огнем в той схватке, зачинщики которой стремятся задушить нашу демократию.

Перевод с английского
С. МИТИНОЙ



ПРАВДА СЕРДЦА

К 75-летию со дня смерти Михаила Эминеску

Три четверти века отделяют нас от последнего дня жизни Михаила Эминеску, три четверти века, наполненных такими событиями, в водовороте которых бесследно исчезли многие «властители дум». Имя Эминеску не исчезло. Наоборот, его поэзия завоевала мир, имя поэта поистине стало великим. В своих стихах он говорит с нами как современник. Не перестанет он говорить и с последующими поколениями. Ибо Эминеску-гражданин зовет к высоким идеалам; как поэт-лирик, он раскрывает волнующий мир человеческих переживаний, и вся его поэзия является ярчайшим выражением творческого гения румынского народа.

Эминеску — поэт переломной эпохи. Он родился два года спустя после яркой вспышки надежд на свободу, равенство и братство, которые принесла его народу революция 1848 года. Он видел грандиозное зарево Парижской коммуны и угадал в ней конец века буржуазного господства. Но ему не дано было провидеть век грядущей социальной справедливости, начало которого знаменовала Коммуна. Он хотел, чтобы все человечество было единым, но в мире бушевали национальные и социальные распри. Он необычайно остро чувствовал ложь и гнилость показного буржуазного благополучия, но был мало подготовлен, чтобы уверовать в мощь гегемона нового века. Поэтому Эминеску гневно клеймил сущее, поэтому же его идеалы были умозрительными. Поэтому он был романтиком-бунтарем, ищущим выхода из века пошлости, из трагического разлада между личностью и обществом.

В биографии поэта не было ничего романтического, ничего необычайного, может быть, кроме тех лет странствий, когда Эминеску, совсем еще мальчик, но уже осознавший себя поэтом, бросил гимназию и отправился блуждать по стране. Но об этих годах мало что достоверно известно: грузчик, конюх, суфлер... Потом годы студенчества в Вене, кратковременное пребывание в Берлине. Возвращение на родину— Яссы, разъезды в качестве школьного инспектора, должность смотрителя библиотеки, затем Бухарест и многолетняя поденщина в газете. Длительная болезнь. Смерть. И обо всей этой жизни можно сказать словами самого поэта: «Раз поэзия — значит, нищета». Но за внешне небогатой событиями биографией скрывается яркая и страстная жизнь поэта, беспримерное горение духа. Уже семнадцатилетним юношей он посмел бросить мещанам-буржуа, презревшим идеалы сорок восьмого года, гневное обвинение:

Вот вы, дыша зловоньем, лежите, как в могиле,
На ложе вашей жизни, что сами осквернили,
Растленны и грязны.

Вы пали ниц покорной, запуганной толпою
Пред шайкою, что правит и жизнью и судьбою
Униженной страны.

И, видя мысленным взором свободолюбивых итальянцев, возглавляемых Гарибальди, поэт восклицал:

Восстаньте! Над вселенной поет труба свободы.
Ее могучий голос гремит, будя народы,—
Так лев рычит во мгле.

Земля — для всех! Свободны все существа
живые!
Свобода! Справедливость! То не слова
пустые —
Мы зрим их на земле.

(Перевод В. Левика)

Как романтик, Эминеску обращался к прошлому. Но в прошлом его народа для поэта священными были поколение, подготовившее революцию 1848 года, вождь народного восстания Хория, господарь Мирча Храбрый, отстаивавший свободу своей родины от турецкого нашествия. Воскрешая образы прошлого и противопоставляя их современникам, утратившим идеалы, презревшим землю отцов, родной народ, его язык и обычаи, Эминеску призывал проклятия на головы политических болтунов и фанфаронов, которые «на спине народа пляшут и справляют пир великий», на головы негодяев и трусов, для которых бог и вера «только золото и праздность», и мечтал о том времени, когда с лица земли исчезнут «толпы этих наглых подлецов». Гневные провидческие строки завершают его «Послание третье»:

О, приди, могучий Цепеш*, и, тяжелый
сон развеяв,
Раздели их на две шайки — на безумцев
и злодеев,
В две огромные темницы заточи их
без раздумья
И сожги огнем священным и тюрьму,
и дом безумья!

(Перевод И. Миримского)

Эминеску воскрешал старинные предания и сказки. И это была дань гению народа, бессмертной народной поэзии. «Если в вечно юных произведениях античности,— писал он,— полных изящества, правды, точных мыслей, мы находим целительное средство против интеллектуального упадка, то не забудем, что и в наши времена существует подобный вечно омолаживающий источник — народная поэзия, как наша, так и окружающих нас народов». В народном творчестве Эминеску искал и находил первозданную чистоту чувств, безграничные богатства языка, пленительную гармонию форм, которые он переносил в свою поэзию. Таково знаменитое его стихотворение «Что ты, лес, качаешься...»

— Что ты, лес, качаешься,
Ветви свесив до земли?
Ветер стих, дожди прошли...
— Оттого качаюсь я,
Что проходит жизнь моя.
Дни за днями все короче,
И длиннее стали ночи.
Свищет ветер в сучьях голых,
Гонит прочь пичуг веселых,
Дует, свищет, гонит лето.
Знать, зима уж близко где-то...
Как же ветви мне не гнуть?
Птицы к югу держат путь,
Ласточки, за стаей стая,
Прочь уносят, улетая,
Счастья моего крупицы...
Мчатся друг за другом птицы,
В дальней шири голубой,
Взяв мечты мои с собой,
Тают, как мгновения...
И теперь осенняя
Пустота осталась мне,
Чтоб я мог наедине
Коротать весь день-деньской
С собеседницей-тоской...

(Перевод А. Штейнберга)

В философско-поэтических построениях Эминеску ощущается трагизм, набрасывающий тень «угрюмства» на его поэзию. Но то была тень эпохи, которая издевалась над идеалами поэта, которая вынуждала его чувствовать себя чуть ли не отщепенцем. О гении Эминеску с полным правом можно сказать словами Александра Блока:

Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!

Эминеску писал: «Правду я ищу лишь в сердце — вот оно, мое призванье!» И правда его сердца была правдой народной. Вот почему он теперь всеми и повсюду понят и возвеличен.

Ю. Кожевников

* Влад Цепеш — валашский господарь, жестоко расправлявшийся с боярами — предателями родины.

НАШ ДРУГ МАРТИН АНДЕРСЕН-НЕКСЕ

К 10-летию со дня смерти писателя

Писать о Мартине Андерсене-Нексе — замечательном писателе, произведения которого известны во всех странах мира, трудно. О нем написано уже очень много. В нашей стране его книги, которые выходили в русских переводах и на многих языках других народов СССР, отдельными изданиями, в сборниках, в собрании сочинений, знают и любят читатели самых разных возрастов и профессий. Недавно новым изданием вышел один из лучших его романов — «Дитте — дитя человеческое», трагическая история датской женщины-батрачки, погибшей в возрасте двадцати пяти лет от непосильной жизни. Это одна из книг того «эпоса пролетариата», о котором Нексе думал и над которым работал всю свою жизнь. Смысл этого эпоса, как говорил сам Нексе,— в пробуждении народных масс, в осознании пролетариатом своего права на борьбу за лучшую жизнь.

Мне хочется добавить сегодня несколько черточек к человеческому портрету Мартина Андерсена-Нексе, которого я хорошо знала.

Дружить с ним было легко. Он, называвший себя «сыном Октябрьской революции»,

а советскую страну — «своей матерью», горячей любовью любил Советский Союз, наш народ. Поэтому естественно, что каждый советский человек, с которым сводила его жизнь, становился его другом. Среди многих и многих его советских друзей я горжусь тем, что моя дружба с Мартином и его женой Йоханной насчитывает около тридцати лет.

Во время приездов Нексе в Советский Союз мне частенько приходилось быть его переводчицей. Задача далеко не легкая. Говорил он необычайно образно, красочно, и я всегда боялась, что не сумею донести до слушателей все богатство оттенков его речи, его истинно народный юмор.

Каждый раз, приезжая к нам, Нексе взирал на все хозяйским глазом, лицо его буквально светилось, когда он видел новые успехи советских людей. Летом 1939 года он приехал в Москву после двухлетнего перерыва. Ему только что исполнилось семьдесят лет. Рассказывая мне о замеченных им радостных переменах в нашей жизни, о новом строительстве, новых магазинах, он как-то сказал: «Ты знаешь, мне часто приходится выступать с речами в разных странах, но вчера я впервые выступал по телевидению, и это было *здесь, в Москве*». В моей памяти навсегда запечатлелись эти подчеркнутые им слова, исполненные радости и гордости за то, что это было именно «здесь, в Москве».

Он неоднократно говорил мне и другим друзьям, как, наблюдая за величественным строящимся зданием социализма, он прежде отмечал, что в нем не хватает то дверей, то окон, то внутренней отделки. А теперь он видит: здание близится к своему завершению.

Но, радуясь нашим успехам, Нексе не стеснялся и критиковать недостатки и даже браниться—ведь все, что происходило у нас, касалось его лично, было его кровным делом. Широко известна история о том, как, увидев в одном колхозе грязных коров, он засучил рукава, вооружился щеткой, вымыл коров, а затем выругал скотника и пригрозил, что тому придется плохо, если и в следующий свой приезд он обнаружит те же безобразия.

Письма его вплоть до самого последнего времени были деловыми, обычно он очень аккуратно отвечал на все вопросы о своих романах и статьях, готовившихся к печати, делал конкретные предложения. И вместе с тем писал очень тепло, не забывая просить меня обязательно передать приветы советским друзьям.

Нексе всегда радовался весне, и особенно в последние годы. Незадолго до смерти он писал мне из Дрездена, что зимой было очень много снега, но пронеслась буря и снег исчез. «Это чудесно, ибо я — старый человек, не выношу более снега, льда, мороза».

Нексе страстно любил жизнь, жизнь природы и жизнь людей, радовался обновлению природы и обновлению человеческого общества. Именно поэтому после окончания второй мировой войны он поселился в Германской Демократической Республике — ведь здесь, замечал он, «я ежедневно вижу ростки нового».

О Нексе нельзя говорить как об умершем — такой несокрушимый памятник воздвиг он себе своими книгами и всей своей жизнью революционера. Он навсегда останется живым в сердцах читателей, в сердцах тех, кому посчастливилось знать его и общаться с ним лично.

Н. Крымова

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

НОВОЕ В ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУР ВОСТОКА

Библиографические заметки

Каждый, кто знаком с развитием ориенталистского литературоведения в Советском Союзе, не может не заметить, что годы 1962—1963 стали для советских востоковедов в известном смысле переломными. Дело не только в том, что в эти годы было опубликовано значительно больше работ, посвященных литературам народов Востока, но и в том, что сделан шаг вперед — от описательных методов к подлинному литературоведческому исследованию, к теоретическим обобщениям.

Этот переход был подготовлен всем предшествующим развитием науки. Уже давно, сразу после Октябрьской революции, с самого начала формирования советского востоковедения выдающиеся филологи-востоковеды старшего поколения, овладевая марксистской методологией, замечали несоответствие между требованиями жизни и изучением восточных литератур, обращенным обычно к далекому прошлому. Заслугой академиков И. Ю. Крачковского, А. П. Баранникова, В. А. Алексеева и В. А. Гордлевского является решительная постановка вопроса о необходимости изучения новых литератур Востока; своими трудами они начали осуществлять эту задачу и подготовили научные кадры, способные довести ее до конца.

В то же время новый подход к изучению классического литературного наследства, к его критическому освоению в свете современности, связан с именами писателей и ученых республик Советского Востока, особенно Садриддина Айни и Мухтара Ауэзова. В своих очерках о классиках таджико-персидской поэзии Айни воскрешает их, «как живой с живыми говоря».

Нельзя не упомянуть и работы академика Н. И. Конрада, в которых восточные литературы рассматриваются в связи с мировым процессом, а тщательный филологический анализ служит основой для историко-теоретических обобщений, для постановки и разрешения проблем художественной специфики литературы.

Однако до последнего времени в изучении литератур народов Азии и Африки продолжала преобладать описательность.

Оживление теоретической мысли в гуманитарных науках после XX съезда партии, связанное с преодолением догматизма и других последствий культа личности, оказало благоприятное воздействие и на востоковедение. Большое значение имела дискуссия о становлении реализма в литературах Востока, продолжавшаяся около пяти лет,— сначала на страницах журнала «Проблемы востоковедения», а затем на всесоюзной сессии востоковедов-литературоведов в Институте народов Азии АН СССР в марте 1961 года.

Эта дискуссия во многом опиралась на проведенную в 1957 году Институтом мировой литературы АН СССР научную сессию о реализме в мировой литературе. В своей заключительной речи И. И. Анисимов тогда отмечал: «Наше представление о закономерностях развития всемирной литературы без полного и всестороннего учета того вклада, который внесло развитие литератур Востока, вне широкого сравнительно-исторического изучения литератур Востока и Запада неизбежно остается неполным и искаженным».

При всей спорности отдельных точек зрения, высказывавшихся в ходе дискуссии востоковедов, все ее участники сошлись на том, что коренное противопоставление друг другу Запада и Востока ведет к неверному пониманию литературного процесса.

Классическая восточная поэзия—это вовсе не выражение некой «особенной души Востока», это вовсе не вечные мотивы «соловья и розы» или потусторонних мистических озарений, как об этом часто пишется во многих работах западных ориенталистов. На примере всех больших восточных литератур

было доказано, что наиболее выдающиеся представители этих литератур ориентировались в своем творчестве на действительность, развивали реалистические элементы во всех жанрах. Прославленная лирика Востока еще задолго до нового времени изображала живые чувства, реальные переживания, социальный протест человека своей эпохи.

Хотя реалистическая литература, сформировавшаяся на Востоке, особенно в таких странах, как Турция и Япония, бесспорно испытывала воздействие Запада, однако источником ее были сами жизненные условия, сложившиеся на рубеже XIX—XX веков, и писатели опирались на реалистические тенденции, издавна существовавшие внутри самих восточных литератур. Реалистическая литература Запада не породила реализма в литературах Востока, а лишь ускорила его развитие, наложила свой отпечаток на творчество восточных писателей-реалистов.

Дискуссия о реализме вплотную подвела исследователей к проблеме общности процессов в литературах Востока и Запада. Это был серьезный шаг вперед от фактографического описательства к литературоведческому обобщению. Вполне естественно поэтому, что в результате дискуссии о реализме встала более общая задача повышения теоретического уровня ориенталистского литературоведения.

Обзор работ, вышедших в 1962 и 1963 годах, может в известной мере служить смотром первых итогов нового этапа в изучении советскими учеными литератур Востока.

Прежде всего следует остановиться на серии «Литература Востока», публикуемой Институтом народов Азии АН СССР, и на курсе «История литератур зарубежного Востока», подготавливаемом Московским университетом.

В серии «Литература Востока» вышли четыре книги: В. Сорокин, Л. Эйдлин — «Китайская литература», А. Герасимова, Г. Гирс — «Литература Афганистана», И. Серебряков — «Пенджабская литература», И. Брагинский, Д. Комиссаров — «Персидская литература». При всем различии авторского почерка книгам этим присущи общие черты. Это научно-популярные работы, и поэтому авторы старались писать их живым языком, иллюстрируя свой рассказ примерами, но не перегружая текст учеными сносками и филологическими деталями. Вместе с тем для общедоступного изложения пришлось разработать концепцию многовекового литературного процесса, решить вопросы периодизации, показать борьбу передовых и консервативных, реакционных тенденций в литературе, борьбу «двух культур» в странах Востока, выявить индивидуальное своеобразие писателей. Авторы этих работ должны были наметить пути решения основных проблем национальной литературы, о которой они писали.

Все книги, входящие в эту серию, состоят из двух разделов: меньшего — о классическом наследстве и большего — о новой и новейшей литературе. Классическое наследство, как точно сформулировано в очерке китайской литературы в самом названии раздела — «живые традиции»,— рассматривается в первую очередь с точки зрения того, что является непреходящим в творчестве классиков. Таким образом, первый раздел знакомит читателя с острейшей проблемой соотношения традиций и новаторства, имеющей особо актуальное значение на современном этапе развития восточных литератур. (Заметим в этой связи, что именно данная проблема составляет самую суть такого замечательного романа, как «Гора» Рабиндраната Тагора.) В разделе о новейшей литературе и современных писателях основное внимание уделяется упорным поискам нового, хотя не всегда успешным, но всегда ведущим вперед, к росту и совершенствованию мастерства. В очерке о пенджабской литературе этот раздел так и назван: «В поисках пути».

Научное значение серии состоит в том, что отныне востоковеды, авторы монографических работ об отдельных писателях, произведениях и периодах разных национальных литератур Востока имеют возможность проводить свое частное исследование, исходя из обобщенного целого, содержащегося в историческом очерке данной национальной литературы.

Серьезное научное значение имеет и университетский курс, первый выпуск которого — «Литература древнего Востока»,— составленный В. Б. Никитиной, Е. В. Паевской, Л. Д. Позднеевой и Д. Г. Редер, вышел в 1962 году. За ним последуют второй выпуск — средневековая — и третий — новая и новейшая литература.

Книга «Литература древнего Востока» вызвала многочисленные отклики советских и зарубежных востоковедов, неоднократно обсуждалась в Москве и в Ленинграде. При частных недостатках книги она, по всеобщему признанию, удовлетворяет поставленным задачам, которые формулируются в авторском введении: «...показать процесс развития литератур этих народов и его единство на основных этапах — от племенных, через литературы эпохи народностей к литературам национальным; выяснить соотношение устной и письменной литератур, взаимосвязь и взаимовлияние различных литератур, раскрыть проблему народности, становления художественных направлений и методов».

В книге рассказывается о древнеегипетской, шумерской, ассиро-вавилонской, хеттской и урартской, финикийской, древнеиранской, древнеиндийской и древнекитайской литературах. Таким образом, не отвлекаясь от своеобразия каждой отдельной литературы, авторы по существу вскрывают самый генезис литературного процесса. Исходя из горьковского положения о фольклоре как источнике письменной литературы, авторы разработали проблематику переходного периода от устной к письмен-

ной литературе, к началам индивидуального писательского творчества.

В последние годы было опубликовано несколько исследований, касающихся литератур Индии. Прежде всего это сборник «Избранные труды русских индологов-филологов» (составитель и ответственный редактор И. Д. Серебряков), где помещены статьи выдающихся русских ученых И. П. Минаева, С. Ф. Ольденбурга, Ф. И. Щербатского и др., дающие довольно полное фактологическое представление о древнеиндийской литературе.

Год назад вышли также две работы по древнеиндийской литературе: краткий очерк «Древнеиндийская литература», носящий научно-популярный характер (автор И. Д. Серебряков), и капитальное исследование П. А. Гринцера «Древнеиндийская проза (обрамленная повесть)».

В живо написанной книге, опирающейся на последние исследования, в частности индийских ученых, И. Д. Серебряков исторически последовательно освещает основные произведения древнеиндийской литературы, которые, как пишет автор, «занимают все более значительное место на полках наших библиотек». Главное внимание И. Д. Серебряков уделяет идейному содержанию, считая его определяющим моментом развития литературы; вместе с тем он показывает художественное своеобразие, с которым гуманистическая идея выражена и в величественном эпосе «Махабхарата» и «Рамаяна», и в новеллах «Панчатантры», и в классической драме Калидасы, и в лирике Бхартрихари. При этом автор выявляет народные истоки и тенденции классического наследия.

Исследование П. А. Гринцера посвящено одной проблеме — жанру «обрамленной повести» (типа «Панчатантры», «25 рассказов Веталы» и т. п.). Подвергнув критическому рассмотрению основную литературу вопроса, автор создает свою концепцию этого жанра, исходя из социально-исторических предпосылок и художественной специфики его. В десяти тезисах в конце книги формулируются основные выводы; в частности, П. А. Гринцер пишет о месте «обрамленной повести» в мировой литературе:

«Влияние санскритской «обрамленной повести» сказалось на развитии некоторых жанров европейской и восточной литератур. Сюжеты индийских сборников проникали в иноязычные литературы и фольклор как устным путем, так и при посредстве письменных переводов и переделок. Определенное воздействие оказали также специфические приемы рамочной техники, например, на произведения круга «Книги Синдбада» и «Тысячи и одной ночи», на итальянскую новеллу Возрождения. Особые композиционные черты (рамка, форма «казуса» и т. п.) позволяют в некоторых случаях считать древнеиндийскую «обрамленную повесть» источником отдельных фольклорных циклов».

Преимущественно новой и новейшей литературе Индии посвящены три сборника: «Драматургия и театр Индии», «Поэзия народов Индии», «Современная индийская проза» (все сборники под редакцией И. Рабиновича и Е. Челышева). Частично в этих сборниках освещаются и темы, относящиеся к древней литературе и к произведениям классиков XIX века главным образом в связи с проблемой традиций и новаторства. Таковы, например, статьи В. Г. Эрмана «Теория драмы в древнеиндийской классической литературе», Н. В. Глебова «Национальные и демократические мотивы в классической поэзии урду» и др. В одном из этих сборников помещен первый в советском востоковедении очерк ассамской литературы (А. С. Сухочев). В различных статьях всех трех сборников прослеживается становление реализма в индийских литературах.

В вышедшем в 1963 году сборнике «Вопросы китайской филологии» шесть статей посвящены литературоведческим проблемам. Из них хочется отметить, в частности, статью А. А. Антиповского о малоизвестных интереснейших романах раннего Лао Шэ и ярко написанную монографию Л. Е. Черкасского «Поэзия Цао Чжи», в которой дан художественный анализ творчества классика II—III веков, а также поэзии того времени (так называемой «цзяньаньской»).

И наконец, две книги, написанные в жанре литературных портретов, посвящены турецкой и персидской литературам. Одна из них — Р. Фиша «Писатели Турции — книги и судьбы». В публицистически заостренной форме автор знакомит нас с писателями разных поколений, которых объединяет стремление говорить правду и готовность жертвовать ради этого собственной жизнью: Т. Фикрет, О. Вели, Н. Хикмет, С. Эртем, С. Али, О. Кемаль, С. Дервиш, А. Несин, Ф. Эрдинч. С некоторыми из них автор встречался, что придает еще большую живость его рассказу. Приложенная библиография русских переводов произведений турецких писателей, с одной стороны, поможет читателю отыскать сами произведения и познакомиться с ними, а с другой — показывает, как много еще не переведено на русский язык.

Вторая книга — В. Б. Кляшторина «Современная персидская поэзия» — рассказывает о литературе 40—50 гг. нашего века. Дается характеристика семи поэтов «нового направления» (так называемой «новой поэзии» — «ше'ре ноу»). Тонкая наблюдательность и способность к точному поэтическому анализу помогли автору воссоздать индивидуальные портреты Сайе, Хасана Хонармандди, М. Омида, Надера Надерпура, Сиявуша Кесраи и двух поэтесс — Жале и Симин Бехбахани, а вместе с тем показать то общее, что объединяет этих писателей, несмотря на значительные идейные и стилистические различия.

К сожалению, ограничившись рассмотрением лишь одного течения, автор не вполне оправдал название книги, оставив в стороне творчество некоторых других видных современных поэтов, в частности замечательного лирика-«традиционалиста» Шахрияра. В результате мы не получаем ответа на вопрос, почему большое впечатление на современ-

ного читателя производит столь традиционная жанровая форма, как газель — явление, свойственное не только Ирану, но, скажем, и Пакистану (достаточно напомнить о газелях Фаиза Ахмада Фаиза, исполненных совершенно нового содержания).

В коротком обзоре поневоле приходится ограничиться лишь отдельными замечаниями о вышедших книгах. Важно то, что они свидетельствуют о повышении теоретического уровня советского востоковедения. Все эти книги направлены к единой цели: приобщить советского читателя к идейно-художественным богатствам Востока.

И. БРАГИНСКИЙ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

КНИГА О ПИСАТЕЛЕ-РЕВОЛЮЦИОНЕРЕ

Miroslav Krleža. Urednik Akademik Marijan Matković. Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1963.

В литературе каждого народа бывают юбилеи, которые становятся событиями общенационального значения. В югославской литературе минувшего года одним из таких событий стало празднование семидесятилетия со дня рождения и пятидесятилетия творческой деятельности выдающегося писателя Мирослава Крлежи. К его юбилею появилось много книг, статей, воспоминаний, среди которых почетное место принадлежит вышедшему в Загребе сборнику статей о Мирославе Крлеже. Эта своеобразная антология критических работ выпущена Югославянской академией наук и искусств к семидесятилетию писателя, «слово которого,— как говорится в посвящении,— долгие годы революционизировало наших наиболее сознательных современников и, неизменно живое, участвовало и участвует в строительстве нашей социалистической культуры».

Мирослав Крлежа — значительная фигура в югославской литературе. Глубокое знание жизни, бесконечное презрение к «хозяевам», призыв к изменению условий существования миллионов людей придавали его произведениям, по словам В. Глигорича, ту «трагическую актуальность», ту жизненность и убедительность, которые в течение пяти десятилетий столь волновали и продолжают волновать его современников.

Среди югославских писателей XX века, пожалуй, не найдется равного Крлеже по силе и широте таланта, по глубине мысли, по мощи интеллектуального и художественного влияния на современников. Можно смело говорить об эпохе Крлежи в югославской литературе.

Творчество Крлежи, начало которого восходит к кануну первой мировой войны, разностороннее. Он — автор нескольких романов, многочисленных новелл, статей, очерков, им создано несколько книг стихов и, наконец, написаны оригинальные драмы, занимающие постоянное место в репертуаре югославских театров.

Советскому читателю М. Крлежа известен по однотомнику избранных произведений, изданному в Москве в 1958 году, куда вошли его роман «На грани рассудка» (1938), пьеса «Господа Глембаи» (1928) — одна из частей драматической трилогии о крахе аристократического семейства Глембаев — и три новеллы.

Полное собрание сочинений М. Крлежи, выпускаемое сейчас в Загребе, составит сорок томов. Писатель продолжает работать с неувядаемой творческой интенсивностью.

В солидном томе Югославянской академии собраны статьи хорватских, сербских, словенских, македонских писателей, критиков, публицистов, ученых — с точки зрения составителей, лучшее из того, что написано о М. Крлеже в период с 1917 по 1963 год «пятью поколениями югославских критиков». Изданию сопутствует полная библиография произведений Крлежи.

Среди авторов книги мы находим имена замечательных литераторов-революционеров, павших в борьбе с нацизмом: Веселина Маслеши, Иво Брнчича, Ивана Горана-Ковачича, Августа Цесарца (известно, что одна из статей о Крлеже была написана Цесарцем в 1923 году для советского журнала «Зрелища»; она недавно обнаружена и переведена с русского А. Флакером).

Несколькими статьями представлены академики В. Глигорич, М. Богданович, М. Матković, Й. Видмар, Б. Крефт. Редколлегия использовала заметки о творчестве Крлежи и воспоминания о первых встречах с ним писателей Р. Маринковича, О. Давичо, Г. Крклеца, Д. Цесарича, Ю. Козака, М. Франичевича, Д. Матича и других. Интересные статьи о роли Крлежи в развитии югославского театра написал недавно умерший известный режиссер Бранко Гавелла. Литературному стилю М. Крлежи посвящены статьи д-ра И. Франгеша и П. Губерины. Словом, составители и редакторы старались возможно шире представить критическую литературу о творчестве писателя, распола-

гая материал по хронологическому и жанровому принципу.

В сборнике больше всего «повезло» Крлеже-драматургу. Значительный интерес вызывают исследовательские, обобщающие работы М. Матковича «Заметки о драматургии Крлежи» и З. Берковича «Некоторые особенности драматургии Крлежи».

М. Маткович, известный современный драматург, анализируя различные аспекты творчества Крлежи-драматурга в разные периоды, начиная с ранних символико-экспрессионистских «Легенд» (1913—1918) и кончая многоплановым реалистическим триптихом о Глембаях (1928—1931), дает картину формирования эстетики писателя.

Интерес к театру Крлежи в какой-то мере заслонил от исследователей его прозу. В сборнике напечатано сравнительно мало статей о романах и новеллах. Анализ романов Крлежи — «Возвращение Филиппа Латиновича» (1932), «Банкет в Блитве» (1938—1962), «Знамена» (1962) — подчас носит несколько схематический характер и сводится в основном к передаче содержания. Между тем эти книги дают великолепный материал для постановки вопроса о сатире Крлежи, о ее специфике, о его поисках в жанре романа (в статье В. Глигорича, например, содержится мимоходом брошенное замечание о романе-эссе и философском романе у Крлежи, а его «Банкет в Блитве» является превосходным примером романа-памфлета, в котором писатель подверг беспощадному осмеянию германский фашизм). Проза Крлежи дает возможность углубить и расширить выводы исследователей о влиянии на него Достоевского, влиянии, которое писатель постоянно ощущал, хотя и относился к Достоевскому, по-видимому, в разное время по-разному.

Не остались в стороне эссеистика и публицистика Крлежи, столь значительные для него жанры. Жаль, однако, что нет в сборнике статей о журналистской деятельности писателя, о его работе в «Пламене», «Книжевной републике», «Данасе», «Печату» — изданиях, сыгравших немалую роль в развитии прогрессивной югославской журналистики 30-х годов.

Творчество Крлежи — обширное и благодарное поле для исследователя. Нет сомнения, что книги его привлекут к себе внимание критиков разных стран, ибо во всем своем творчестве он оставался «последовательным, непримиримым борцом против лжи, фарисейства, лицемерия и ханжества» (В. Глигорич).

В своих дневниках 1950 года Крлежа писал: «Нет ни одного человека, умеющего логично мыслить, который не был бы склонен принять ленинское определение партийности литературного творчества по той простой причине, что это определение есть живая формула живого пролетарского дела и живой пролетарской действительности, следовательно, живого пролетарского литературного творчества» (Загреб, «Форум», № 6, 1963). Опыт русской революции, образ Ленина стали для Мирослава Крлежи светлым маяком, первые лучи которого зажглись уже в журнале «Пламен» в 1919 году и ярко засияли в его книге «Поездка в Россию, 1925».

Знакомство нашего читателя с Крлежей, начатое в 1958 году, к сожалению, не было продолжено. Между тем пора бы увидеть на русском языке новое, более полное издание сочинений этого замечательного мастера литературы югославского народа.

А. РОМАНЕНКО

«МУДРОСТЬ» ГОСПОДИНА ПОЛДИНИ

Goda Gábor. Poldini úr. Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó, 1963.

Список произведений Габора Годы длинен, хотя до освобождения Венгрии от фашизма лишь немногие его рассказы могли быть напечатаны, да и то после того, как над ними основательно потрудились ножницы цензуры. Наши читатели знакомы с творчеством Габора Годы по сборнику «Паноптикум» и отдельным рассказам, напечатанным в журнале «Иностранная литература», и могли оценить тонкий юмор и бичующую сатиру талантливого венгерского писателя.

Но Габор Года пишет не только рассказы, его перу принадлежат повести и романы. В произведениях на современные темы Года направляет оружие своей сатиры на разоблачение главным образом таких пережитков, как бюрократизм, чинопочитание, мещанская пошлость, частнособственнические инстинкты.

Последний роман Габора Годы «Господин Полдини», по словам самого автора,— это жизнеописание человека, который во что бы то ни стало хотел быть нейтральным. Полдини — мещанин и обыватель. Цель его жизни — прожить незаметно, уютно, без хлопот, избегать всякой ответственности и, упаси бог, не скомпрометировать себя какими-либо заявлениями и высказываниями, из которых окружающие могли бы сделать вывод о его взглядах на жизнь.

Но Габор Года отнюдь не хочет показать человека просто ничтожного. Писатель разоблачает Полдини, показывает тот вред, который подобные обыватели причиняют окружающим людям и обществу.

Содержание романа может быть пересказано немногими словами. Действие в основном развертывается в дни контрреволюционного мятежа осенью 1956 года в Будапеште. Господин Полдини, человек уже немолодой,

семейный, примерный служащий, занимающий не слишком высокую и не слишком низкую должность в архиве большого учреждения, старается во что бы то ни стало быть нейтральным и ничем себя не скомпрометировать, сохранить свою жизнь, свою семью и занимаемое им место при любом исходе совершающихся событий. Ему это удается. Но он становится виновником гибели честного человека, коммуниста, обратившегося к нему с просьбой приютить его на ночь. Полдини не отказывает Чувайде, он даже предлагает ему остаться, однако тут же предупреждает об опасностях, которые якобы угрожают ему в доме, где живет Полдини. Чувайда отказывается и уходит, а через несколько дней его тело, изрешеченное пулями, находят на окраине города.

Два человека говорят Полдини в лицо, что он виновник смерти Чувайды, и один из этих двоих — Шандорка, сын Полдини. Разговор отца с сыном, пожалуй, одно из самых сильных мест романа. Шандорка кипит негодованием, он обвиняет отца во лжи, в лицемерии, в убийстве. Однако слишком глубокие корни пустили в нем пример и воспитание отца. И отец это знает. «Если ты действительно слышал весь разговор с Чувайдой,— говорит он Шандорке,— и тебе показалось, что я подло, хитро и низко — привожу твои слова — поступил с этим человеком: поманил его вкусным ужином и свежим постельным бельем, а потом выгнал в ночь, темноту и опасность, так почему же ты не ворвался в комнату, почему не крикнул: «Папа, не гони этого человека!»? Почему?» Не искушенный еще в хитростях, Шандорка не может ответить на этот вопрос.

Полдини не чужды муки совести. Он даже пытается покончить с собой, но автор так описывает эту попытку, что читателю без всяких объяснений видно: Полдини лишь кокетничает своим раскаянием и никогда в действительности не решится на такой шаг.

Излюбленный стилистический прием Габора Годы — сатирика — несоответствие между серьезным тоном повествования и ничтожностью описываемого. В начале первой главы автор предупреждает читателей, что дает им в руки произведение психологического характера, где будут не только показаны поступки героя, но и раскрыт его внутренний мир. Господин Полдини всегда находит обтекаемые формулы, которые могут быть по желанию восприняты в том или ином смысле. Он, например, очень любит пословицы. Сослуживцы считают Полдини человеком умным, осторожным, заслуживающим доверия, они повторяют его крылатые словечки, и каждый из них делает нужные для себя выводы.

В первые же дни контрреволюционного путча, когда все горячо обсуждали и комментировали происходящее, Полдини изрек лишь одну короткую фразу: «Гуси, когда их много, и свинью заклюют». Кого он подразумевает под гусями и кого называет свиньей? — недоумевали сослуживцы, но выражение, употребленное Полдини, так всем понравилось, что пошло порхать из уст в уста. «Цыплят по осени считают», «Тише едешь, дальше будешь» и другие пословицы хорошо отвечали или, лучше сказать, никак не отвечали на поставленные вопросы, что и надо было Полдини. Даже на прямой вопрос: «А вы как считаете, господин Полдини, это революция или контрреволюция?»— он ухитряется ответить ничего не значащими словами: «Я думаю об этом то же самое, что и каждый здравомыслящий человек».

Роман «Господин Полдини» читается легко. Года, как всегда, пишет остроумно. И все-таки книга производит впечатление некоторой незаконченности. Дочитав последнюю страницу, невольно спрашиваешь себя: «А что же дальше?» Автор морально разоблачил оппортунизм своего героя, но разоблачил перед читателями, а не перед другими персонажами романа. Для них Полдини остается таким же уважаемым, безупречно корректным человеком, ему даже предлагают повышение, от которого он отказывается не по скромности, как считают сослуживцы, а потому, что предпочитает оставаться в тени, не взваливать на свои плечи никакой ответственности.

Может быть, Габор Года собирался показать, что люди, подобные Полдини, все еще живут неразоблаченными, и подчеркнуть таким образом их опасность?

Е. БОЧАРНИКОВА

ЗЕМЛЯ УХОДИТ ИЗ-ПОД НОГ...

Jorge Reis. Matai — vos uns aos outros. Lisboa. Prelo, 1963.

Роман «Убивайте друг друга» — первенец португальского писателя Жоржи Рейса.

Читатель открывает книгу, и ему кажется, что он имеет дело с обычным детективным романом.

В провинциальном городке Вилья Велья в доме нувориша Мануэла дус Сантуса за столом собрались: банкир, священник, врач, начальник полиции и др. Десять хищников, принадлежащих к «сливкам общества». Внезапно, после обильного ужина, умирает хозяин. Тайна убийства раскрывается только в конце романа: убийцей оказалась жена Сантуса. Это она дала мужу противопоказанное сочетание лекарств, вызвавшее отравление и смерть. Это она настаивала на

ведении следствия, подозревая убийц в «друзьях» мужа (для этого было достаточно оснований), и сама попала в расставленные ею сети. «Убивайте друг друга»,— говорит Сантьяго своему приятелю, заканчивая следствие по делу об отравлении Мануэла дус Сантуса. Эти его слова стали названием книги.

В романе не оказалось ни преднамеренного убийства, ни злоумышленника. По существу и детектив Жоржи Рейса оказался не обычным «детективом». Убийство Сантуса и поиски убийцы послужили автору только поводом для разговора на более серьезные темы.

Сила и сущность романа Жоржи Рейса — в его острой социальности, в трезвой оценке соотношения сил в стране.

Мануэл дус Сантус и его «друзья» не просто персонажи занимательной детективной истории, невротики и патологические типы. Это — продукт и оплот салазаровского режима. Сеньоры сантусы — «выскочки», нувориши из уголовников, захватившие ключевые позиции в экономике и политике. Они превратились в крупных землевладельцев и коммерсантов, собственников домов, кафе и баров. Они присвоили землю мелких арендаторов и вытеснили мелких торговцев. Занимая крупные политические посты, они продают страну оптом и в розницу.

Было время, когда они делали ставку на Гитлера. Кричали о «крестовом походе в защиту Европы», о «защите цивилизации». После разгрома германского фашизма они снова стали уповать на Англию. Бог, которому они поклоняются,— нажива. «Теперь время сантусов»,— говорит один из персонажей романа. Но царить они будут не вечно. Автор развенчивает оптимизм фашистов, которые долго повторяли: «Положение в Португалии стабилизировалось», «Никакие силы в стране не способны свергнуть фашистский режим». Сейчас даже наименее дальнозоркие вынуждены признать: «Так было. Но теперь исчезает всякая видимость стабильности». Чувствуя, что земля уходит из-под ног, сантусы не заботятся о будущем. «После меня хоть потоп»,— говорят они.

Симптоматичны и настроения, бытующие среди служилой интеллигенции. Автор уделяет ей в романе особое место в лице следователя и его друга Лампеана. По их собственному уверению, служат они в государственном аппарате «в силу обстоятельств». Они многое видят и осуждают. Они знают, что фашистский режим обречен, но сами активно не действуют. Они ждут, чтобы сантусы перегрызли друг другу глотки. И советуют им: «Убивайте друг друга». Но трудовой люд: рабочие, крестьяне, ремесленники, прогрессивная интеллигенция — творцы истории, истинные сыны своей земли, как называет их автор, ничего не прощают сантусам. «Может ли народ уважать нас, простить нас, ведь мы обращались с ним хуже, чем с вьючной скотиной?» — признается в момент «просветления» одна из героинь романа. Рабочие устраивают забастовки и демонстрации, крестьяне поджигают имения крупнейших землевладельцев, писатели разоблачают салазаровцев в своих книгах.

Час возмездия близится! Земля будет принадлежать ее сыновьям, униженным и оскорбленным, тем, кто родился и вырос на ней. Тем, кто обрабатывает ее в поте лица...

Ибо все будет любовью!
Любовью
к ближнему,
любовью
к самому чудесному,
к жизни!

Эти слова, вынесенные на обложку, служат ключом к роману.

Книга Жоржи Рейса стала рядом с наиболее значительными произведениями, изобличающими салазаровский режим,— с вышедшим в 1958 году романом Мануэла да Фонсеки «Сеара ди Венту» и романом крупнейшего португальского писателя, умершего весной 1963 года, Акилину Рибейру «Когда волки воют» (недавно он переведен на русский язык). Написав предисловие к роману Жоржи Рейса «Убивайте друг друга», Акилину Рибейру как бы передал молодому писателю эстафету борьбы против хищников, терзающих страну, как стая волков. И Жоржи Рейс, которого мы до сих пор знали только как очеркиста, критика, автора рассказов и хроник, с честью принял эту эстафету от старшего поколения португальских писателей. Он не только критически относится к существующему в Португалии порядку, но и видит будущее, верит в живые силы народа, борющегося против гнета и эксплуатации.

После выхода в свет романа Жоржи Рейса его издатель Вириату Камилу был арестован. Сам автор романа вынужден жить в эмиграции. Но португальские писатели встали на защиту собрата по перу. Союз писателей Португалии присудил роману Жоржи Рейса премию «Камилу Кастелу Бранку». Такой высокой награды удостоивались немногие: Виржинию Феррейру, Фернанду Ботельу,— три-четыре имени, и среди них — Жоржи Рейс. Видно, террор и репрессии не в силах заставить умолкнуть голос писателя, если это — голос народа.

Н. ТУЛЬЧИНСКАЯ

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

СССР ГЛАЗАМИ ДРУГА

Известная писательница Димфна Кьюсэк неоднократно бывала в Советском Союзе. Результатом ее последней поездки летом 1961 года явилась недавно вышедшая в свет книга, названная «Каникулы среди русских». В ней собраны путевые впечатления, воспоминания о встречах с советскими людьми. Писательница побывала в Москве и Ленинграде, в Казахстане и Сибири, в Армении и на Черноморском побережье.

«У Димфны Кьюсэк,— подчеркивает Памела Хэнсфорд Джонсон в газете «Санди таймс» по поводу выхода книги «Каникулы среди русских»,— тонкое поэтическое восприятие окружающего. Пишет она чрезвычайно живо». По словам рецензента, это искренняя и правдивая книга о Советском Союзе.

АВСТРИЯ

РОБЕРТ ЛИБКНЕХТ — ХУДОЖНИК

Посетители выставки изобразительного искусства в венской «Галерее молодого поколения» смогли недавно ознакомиться с произведениями живописца и графика Роберта Либкнехта — одного из сыновей Карла Либкнехта.

Известный австрийский художник Аксель Лескошек следующим образом охарактеризовал творчество шестидесятилетнего Роберта Либкнехта, проживающего в Париже с тех пор, как нацисты вынудили его покинуть Германию: «Он очень человечен, об этом свидетельствуют его работы. Гуманизм Роберта Либкнехта глубоко социален».

По мнению Лескошека, представленные на выставке многочисленные графические работы Роберта Либкнехта, его портреты и картины выполнены великолепно, интересны по содержанию и по композиции. Его творчество реалистично и потому понятно каждому.

«К сожалению, на выставке не были представлены наброски Роберта Либкнехта из цикла «Роза Люксембург». Только в ка-

Рисунок Роберта Либкнехта.

(Газета «Фольксштимме»)

талоге посетители могли видеть созданные художником изображения великой революционерки», — отметил Аксель Лескошек.

АНГЛИЯ

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ ЭЙЗЕНШТЕЙНА

В течение двух месяцев в Лондоне была открыта советская выставка рисунков Сергея Эйзенштейна.

Один из основных разделов выставки составляли наброски Эйзенштейна к фильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный», которые привлекли внимание английской публики. Оценивая их, рецензент журнала «Сайт энд саунд» писал: «Гениальность, с которой Эйзенштейн заранее умел изобразить на бумаге самое существенное для фильма, вызывает желание ознакомиться со всеми без исключения рисунками кинорежиссера».

В других разделах выставки были представлены рисунки, посвященные театру, балету, опере, цирку, эстраде; много карикатур и жанровых зарисовок, в том числе выполненных цветным карандашом во время поездки в Мексику. По словам английских критиков, все они «дышат юмором и жизнерадостностью, что вообще присуще рисунку Эйзенштейна».

Выставка пользовалась огромным успехом. За последние годы ее видели во Франции, Италии, Швеции, Дании, ГДР и ФРГ.

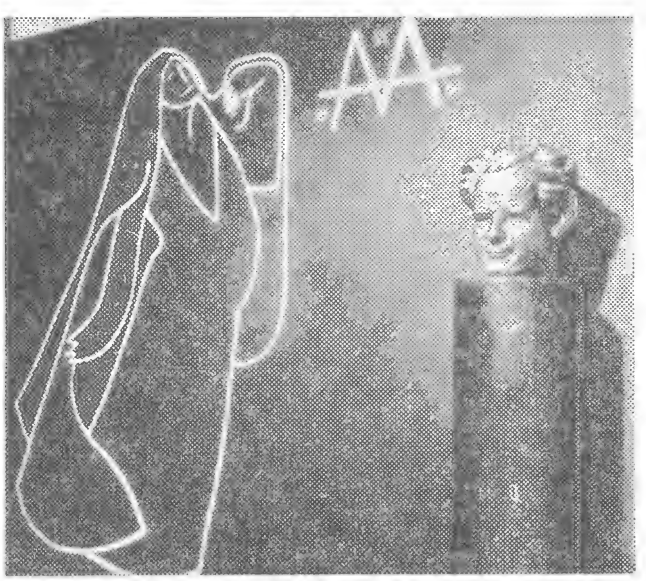
БЕРНАРД ШОУ И АНГЛИЙСКОЕ ПРАВОПИСАНИЕ

Проблемы языка и стиля всегда занимали замечательного английского драматурга Бернарда Шоу. Особо ратовал он за реформу и упрощение английского правописания. Шоу неоднократно возвращался к этому вопросу, предлагая создать новый алфавит английского языка из 40 букв по фонетическому признаку. (См. сообщения в «Иностранной литературе» № 8, 1956; № 5, 1957 и № 3, 1958).

Со свойственным ему остроумием писатель продемонстрировал необходимость реформы языка на примере слова «fish» (рыба). Если следовать более чем странной «логике» существующего английского правописания, то графическое изображение этого простого слова можно изменить до неузнаваемости. Шоу рассуждает следующим образом. Букву «f» (ф) можно было бы заимствовать из слова «laugh» (смех), в котором звук «ф» выражен буквами «gh». Следующий звук (и) берется из слова «women» (женщины), где ее роль выполняет буква «о». Остается звук «ш», который можно взять из слова «nation» (нация), где он выражен буквосочетанием «ti». Все вместе дает... «ghoti»!!!

Как известно, Шоу не только добивался проведения реформы алфавита, но и завещал деньги на ее осуществление.

Скульптурный портрет С. Эйзенштейна работы английского скульптора Фреды Бриллиант, установленный при входе на выставку.



БИРМА

ГОТОВЯТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ

В Рангуне недавно открыт институт иностранных языков. Как сообщает бирманский журнал «Форвард», студенты института изучают русский, французский, немецкий и японский языки. Здесь готовят национальные кадры переводчиков и филологов.

БОЛГАРИЯ

О ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЬНИЦ

Литературный обозреватель еженедельника «Народна култура» пишет о новых произведениях болгарских писательниц.

Поэтесса Елисавета Багряна выпустила сборник «От берега к берегу», куда вошли поэтические произведения, воспевающие труд болгарского народа на новостройках, а также лирические стихи и стихи о поездке в Бразилию. Критика дает высокую оценку поэме «Кремиковская увертюра».

В Софии состоялась выставка произведений изобразительного искусства, посвященных Сентябрьскому антифашистскому восстанию 1923 года. Здесь воспроизведен рисунок художника Юлия Минчева «Борьба».

(Журнал «Огни Болгарии»)

Недавно увидели свет новые книги стихов Доры Габе, Благи Димитровой и Василки Хинковой. Все они, по свидетельству обозревателя еженедельника, посвящены сегодняшней социалистической действительности Болгарии. Лиана Даскалова закончила работу над поэмой «Люблю этот город» о шахтерском Пернике; в этой поэме с большой теплотой и задушевностью говорится о Георгии Димитрове.

Роман Веры Мутафчиевой «Летопись смутного времени» знакомит с деятелями болгарского Возрождения конца XVIII века.

О встречах с советскими поэтами и прозаиками во время поездки в Советский Союз рассказывает в книге очерков «Встречи» Лиляна Стефанова.

ВЕНГРИЯ

СТРАНА ПОЭЗИИ

День рождения венгерского пролетарского поэта Атилы Йожефа впервые в истории страны в этом году отмечался как День поэзии. Прошел он торжественно и празднично. На большом, торжественном вечере, организованном Союзом венгерских писателей, литературоведы Миклош Саболчи и Михай Цине рассказали об успехах венгерской поэзии. Затем поэты читали свои стихи, авторы подписывали читателям экземпляры своих книг.

Ко Дню поэзии был приурочен выпуск сборников стихов наиболее популярных поэтов. Многие газеты и журналы вышли со специальными приложениями, посвященными празднику стихов.

«У нас в стране любят читать рассказы, романы, повести,— писала в этот день газета «Непсабадшаг». — Однако Венгрия по праву считается страной поэзии, и потому больше всего у нас любят стихи, которые называют «возвышенным» литературным жанром... На поэзию нового века, века социализма, ложится ответственная задача — формирование личности человека социалистического общества. И мы уверены, что с этой задачей она достойно справится».

ГДР

ЗА ЧИСТОТУ И ПАРТИЙНОСТЬ ПРОЛЕТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В издании «Диц-ферлаг» вышел трехтомник, в котором собраны речи, беседы и интервью товарища Н. С. Хрущева по вопросам культурной политики после XX съезда КПСС. Предисловие написано товарищем Вальтером Ульбрихтом.

Пресса ГДР особо выделяет те места в речах Н. С. Хрущева, обращенных к писателям, где он призывает деятелей литературы к активной борьбе за новую жизнь, за воспитание человека нового общества. Газета «Нейес Дейчланд» в статье, посвященной выходу сборника, подчеркивает, что, опираясь на ленинское учение о марксистском понимании искусства и литературы, Н. С. Хрущев с принципиальных позиций защищает чистоту и партийность пролетарской культуры. Выступление Н. С. Хрущева на VI съезде СЕПГ, говорится в статье, особенно ценно для творческих работников искусства и литературы ГДР.

ПЛАКАТ — БОЕВОЕ ОРУЖИЕ

Недавно в Немецкой академии искусств состоялась выставка плакатов, которые выпускались к народным выборам в ГДР. Посетителей выставки особо заинтересовал исторический ее раздел, где экспонировались предвыборные плакаты Коммунистической партии Германии в годы Веймарской республики, сообщает корреспондент журнала «Бильденде кунст». В то время такие художники, как Джон Хартфильд, сделали плакат острым политическим оружием революционной борьбы.

В настоящее время в ГДР предвыборный плакат рассказывает о достижениях немецких трудящихся в строительстве новой жизни, призывает их быть активными созидателями нового общества. «Хороший плакат,— пишет корреспондент «Бильденде кунст»,— привлекает внимание миллионов людей к важным общественным проблемам, побуждает их к глубоким раздумьям и активным действиям».

Плакат с выставки в Немецкой академии искусств «Мы любим нашу республику» Х. Вендта и Г. Ванка.

(Журнал «Бильденде кунст»)

«БУМАГИ АНДРЕАСА ЛЕНЦА»

В издательстве «Пауль Лист-ферлаг» вышел исторический роман Стефана Гейма «Бумаги Андреаса Ленца». В прологе писатель коротко рассказывает о судьбе сержанта американской армии Андреаса Ленца, который погиб в самом конце второй мировой войны. В начале 1944 года Гейм вместе с Ленцем во время маневров на территории США случайно обнаружили могилу деда Ленца, погибшего в 1863 году в ходе войны между северными и южными штатами. Дед сержанта, носивший одно с ним имя, был участником революции 1848 года в Германии, откуда вынужден был бежать в США после поражения революции.

Когда окончилась война в Европе, вдова сержанта Ленца передала писателю письма, заметки, карты и другие бумаги знаменитого деда Андреаса Ленца. На этом материале, как явствует из пролога, и возник роман Гейма.

«Бумаги Андреаса Ленца» — широкое историческое полотно, в основном посвященное событиям революции 1848 года в Германии. Среди героев романа — Маркс и Энгельс, многие другие исторические личности. Стефан Гейм работал над романом в течение пяти лет. «Меня заинтересовала тема германской революции,— сказал писатель в интервью журналу «Нейе берлинер иллюстрирте».— Многие ее проблемы перекликаются с современностью».

Уже после выхода книги из печати Гейм беседовал с корреспондентом еженедельника «Зоннтаг». Во время беседы писатель неожиданно признался, что вся история, изложенная в прологе, выдумана им: на самом деле не существовало ни американского сержанта, ни его знаменитого деда Андреаса Ленца. «Книга, однако, исторически верна, хотя не все происходило так, как в ней описано»,— заявил писатель.

«ВОЛК СРЕДИ ВОЛКОВ» НА ЭКРАНЕ

Корреспондент журнала «Фильмшпигель» сообщает о ходе съемок фильма по роману Ганса Фаллады «Волк среди волков», которыми руководит режиссер Ганс-Иоахим Каспржик. Роман этот привлек творческих работников кино тем, что дает возможность показать широкую панораму жизни немецкого общества в середине 20-х годов.

«Мы не занимаемся модернизацией Фаллады,— заявил Каспржик корреспонденту,— а стараемся верно передать атмосферу того времени. Для этого мы воспользовались даже кинодокументами».

Новый фильм вскоре выйдет на экраны.

Кадр из фильма «Волк среди волков».

(Журнал «Фильмшпигель»)

ФРГ

СТРАННАЯ «АНТОЛОГИЯ»

В Мюнхене вышел сборник «Шедевры русской литературы» в переводах и с комментариями некоего Макса Хиршберга. Этот «труд» подвергся резкой критике рецензента еженедельника «Цейт», который язвительно высмеял его антинаучный и явно безответственный характер.

Рецензент уличает Хиршберга в незнании хронологии и реалий русской литературы: автор путает даты, называет летописца Нестора «святым»... «Слово о полку Игореве» Хиршберг бойко переводит четырехстопным хореем с парной рифмой, безбожно перевирая при этом смысл, пишет рецензент. Антинаучная классификация, которой руководствуется автор, приводит к тому, что в разделе «Русская религия и мистика» объединяются Пушкин, летописец Нестор и Толстой. «Слово о полку Игореве» попадает в раздел «Древнерусские сказки и легенды», к описаниям «старой русской жизни» относятся произведения Шолохова и «Мать» Горького.

Уничтожающей критике подвергнуты и хиршберговские «комментарии» к текстам. По свидетельству рецензента, характеристики писателей, представленных в «антологии», сводятся к тому, что им присваивается эпитет «истинно русский».

ГРЕЦИЯ

СБОРНИКИ ПОЭЗИИ ЯННИСА РИЦОСА

Афинское издательство «Кедрос» выпустило в свет новые сборники стихотворений известного поэта, переводчика русской и советской поэзии Янниса Рицоса — «Показания» и «Двенадцать стихотворений о Кавафисе». В сборник «Показания» вошли несколько десятков не публиковавшихся ранее стихотворений, написанных Рицосом с 1938 года. По словам рецензента газеты «Вима», это в большинстве своем стихотворные миниатюры, «дающие правдивое представление о своей эпохе. Будничной и неброской кажется на первый взгляд творческая манера автора, однако за этой обманчивой непритязательностью кроется мир настоящей поэзии, мягкой и проницательной».

Второй сборник посвящен выдающемуся греческому поэту Константиносу Кава-

Яннис Рицос.
(Газета «Авги»)

фису, столетие со дня рождения которого широко отмечалось недавно по всей Греции. В своих стихах Рицос размышляет о трудной жизни Кавафиса, о судьбах его поэзии, о призвании и долге каждого художника.

Вслед за этими двумя сборниками любители поэзии Рицоса получили третий — необычный — сборник его стихотворений: в записи на граммофонных пластинках. Поэт сам читает свои стихи из цикла «Бессонница».

ДАНИЯ

«ТРИ ПИСАТЕЛЯ»

Под таким названием вышла в свет книга Ханса Шерфига, содержащая литературные портреты трех мастеров слова, которые были его близкими друзьями,— Нурдаля Грига, Бертольта Брехта и Ханса Кирка. По словам рецензента газеты «Ланд ог фольк», книга Шерфига — не просто литературоведческое исследование, но и серьезный и смелый вклад в идеологическую дискуссию с теоретиками Запада.

Во всех трех очерках Шерфиг полемизирует с представителями буржуазного «формалистического лагеря», которые изображают писателей, вставших на сторону рабочего класса в его борьбе, как людей, идейно заблуждающихся.

Григ, Брехт и Кирк были очень разными художниками; при этом их объединяли отчетливо выраженные социалистические убеждения, пишет Шерфиг. Утверждения об «однообразии» этих писателей совершенно необоснованны — каждый из них был ярким, интересным и своеобразным художником.

ДРВ

АВТОРЫ ПЬЕС — РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ

В стране прошел конкурс на лучшую пьесу, организованный Ассоциацией театральных работников. Как отмечает вьетнамская печать, наряду с известными драматургами в нем приняли участие не профессиональные авторы — рабочие, крестьяне, солдаты, учителя. Лучшие из пьес, поступивших на конкурс, отмечены премиями и рекомендованы к постановке.

ИЗРАИЛЬ

ИНТЕРВЬЮ С АВИ-ШАУЛОМ

Издающийся на арабском языке прогрессивный израильский журнал «Аль-Джадид» поместил интервью с Мордехаем Ави-Шаулом — видным израильским писателем и переводчиком произведений мировой литературы на язык иврит. Им переведены произведения Джека Лондона и Ярослава Гашека, Томаса Манна и Бертольта Брехта, Аттилы Йожефа, а также современного венгерского писателя Белы Иллеша. Большая часть того, что написано им самим, взята из арабской жизни, отметил редактор журнала.

На вопрос, чем его привлекает арабская тематика, Ави-Шаул ответил: «Я хотел бы чувствовать себя счастливым в одном государстве с арабами. Я хочу жить с ними в одном доме, хочу, чтобы они радовались нашим радостям, а мы радовались их радостям, чтобы они не были для нас чужими. Беда еврейских писателей в том, что они пишут об арабах именно как о «чужих». Далее Ави-Шаул рассказал, что подготовил к печати сборник новелл. Герои этих новелл — дети евреев и арабов.

Современные молодые израильские писатели, по словам Ави-Шаула, видят образец для себя в творчестве старейшего литератора Шемуэля Агнона, у которого есть как книги на религиозно-исторические темы, так и серьезные реалистические произведения, написанные в последние годы. Ави-Шаул с похвалой отозвался о молодом драматурге Насиме Алони, который, в отличие от многих других, не поддался модернистским влияниям. Антивоенные мотивы звучат в произведениях Ицхака Орбиза.

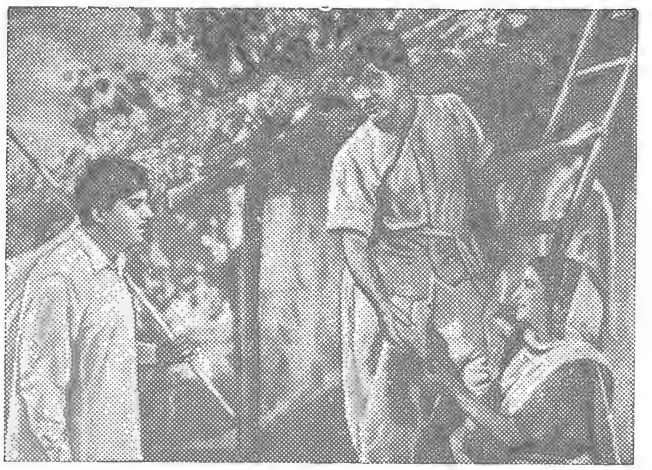
Одной из основных проблем современной израильской литературы является, по мнению Ави-Шаула, борьба с шовинизмом, который, «словно призрак, сидит на ее груди».

ИНДИЯ

ФИЛЬМ ПО РОМАНУ ПРЕМ ЧАНДА

Печать сообщает о выходе на экраны страны фильма по роману Прем Чанда «Жертвенная корова». Фильм поставлен известным режиссером Трилоком Джетли.

По отзыву обозревателя газеты «Хиндустан таймс», фильм «сделан в лучших национальных традициях». В нем правдиво изображена жизнь индийской деревни, трудная доля ее беднейших обитателей. На экране оживают герои любимой книги индийских читателей.



Кадр из фильма «Жертвенная корова».
(Журнал «Филмфэр»)

Фильм получил общую высокую оценку критики, которая особо выделяет тот факт, что в нем занято много талантливой молодежи.

ИОРДАНИЯ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

В Иерусалиме издается единственный иорданский литературный журнал «Аль-Уфук аль-Джадид» («Новый горизонт»), который знакомит своих читателей с произведениями местных и зарубежных арабских писателей и поэтов, с новинками иностранной литературы. Недавно вышел специальный номер журнала, посвященный современной арабской поэзии.

ИРЛАНДИЯ

ШОН О'КЕЙСИ ВЕРИТ В БУДУЩЕЕ

Вышел последний том автобиографии Шона О'Кейси «Закат и вечерняя звезда». Как отмечает корреспондент «Дейли уоркер», беседовавший с известным драматургом, эта книга проникнута жизнеутверждающим оптимизмом.

В ходе беседы О'Кейси заявил, что он всегда был и остается горячим сторонником Советского Союза. Буржуазные газеты обвиняют Советский Союз во всех смертных грехах, трубят о его недостатках, не замечая в то же время бедности и отчаяния, которые царят в капиталистических странах у них под самым носом. «Советский Союз исправляет свои недостатки, да они и не идут ни в какое сравнение с глубокими, открытыми ранами нашего общества,— заявил О'Кейси.— Я не сомневаюсь, что в Англии тоже будет социализм. Все меняется в этом мире, в нашей стране — тоже. Теперь я в большей степени коммунист, чем когда-либо прежде».

По сообщению газеты, друзья О'Кейси работают над фильмом о жизни писателя, в роли которого снимается Шон Коннери.

ИТАЛИЯ

ПРИШЕЛ ЛИ КОНЕЦ ЛИТЕРАТУРЕ?

На страницах итальянской печати ведется дискуссия об авангардистских направлениях в литературе. В ходе ее прозвучали высказывания, будто литература, как таковая, неизбежно обречена на скорое исчезновение, ибо она якобы «исчерпала свою историческую миссию» и потому всякие поиски вообще ни к чему. Современный человек, мол, будет стремиться к самовыражению уже посредством не литературных произведений, а технических форм и конструкций—от новых автострад до ракет.

В связи с подобными заявлениями известный миланский журналист Альфредо Тодиско обратился с просьбой высказаться к видным писателям — Моравиа, Биджаретти, Бассани, Беллончи, Чекки, Де Фео, Моранте, Пазолини, Силоне и Паннунцио. Ответ был единодушным и вполне обнадеживающим: никто из этих писателей не думает, что человек, до тех пор пока антропологически он остается таковым, откажется от своего стремления к самовыражению путем художественного творчества.

Либеро Биджаретти в газете «Паэзе сера» задает по этому поводу вопрос: какое отношение может иметь современный технический прогресс — синхротрон, ракетная техника, а также высокие достижения кибернетики — к нынешней функции литературы? Достижения науки и техники удовлетворяют материальные и интеллектуальные запросы человека, пишет Биджаретти, но все же остаются и всегда будут оставаться вне сферы влияния литературы и искусства. Как ни избито выражение «духовные ценности», продолжает писатель, оно остается в силе.

По мнению Биджаретти, ошибка защитников авангардистских направлений в итальянской литературе состоит не столько в том, что они борются за новаторство исключительно в области формы, сколько в том, что они увеличивают путаницу, перенося дискуссию на внелитературную почву. «Не исключено,— заявляет писатель,— что литература должна отражать важные достижения техники, не исключено и то, что она может находить в них источник поэтического вдохновения, однако

вовсе исключено, чтобы эти явления сами по себе могли рассматриваться как художественные».

«ВОЗДУХ, КОТОРЫМ ТЫ ДЫШИШЬ»

Уже первый сборник рассказов Луиджи Дави, в прошлом рабочего, под названием «Гимкана—Кросс» заставил говорить о нем как о талантливом молодом писателе. Недавно в Турине в издательстве Эйнауди вышел новый сборник рассказов Дави—«Воздух, которым ты дышишь». В нем собраны лучшие рассказы, написанные Дави в последнее время. В одном из них — «Зе́мли вина» — переданы впечатления городского рабочего, который проводит свой двухдневный отпуск в деревне и убеждается, что труд крестьянина нисколько не легче труда рабочего. Герои другого рассказа, носящего название «Обвал», покидают старика отца в деревне и отправляются в город на поиски работы и счастья.

«Творчество Луиджи Дави дает возможность читателю заглянуть в мир фабрик и в мир деревни,— пишет рецензент журнала «Вие нуове».— Последняя книга—несомненная его удача».

КАНАДА

НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕАТР

В подвале одного из фабричных зданий города Торонто перед сценой установлены ряды скамеек—здесь, в малоприспособленном помещении дает спектакли независимая театральная труппа «Уоркшоп продакшнз».

Недавно, по сообщению театрального обозревателя газеты «Кенэдиен трибюн», этой труппой была поставлена новая пьеса Джека Уинтера «Перед Компьеном», посвященная Жанне д'Арк.

Героиня пьесы не похожа на ту Жанну д'Арк, которую обычно изображают в западных фильмах и спектаклях. Это простая крестьянская девушка, речь ее насыщена народным юмором. Действует Жанна отнюдь не по «наитию свыше».

Джек Уинтер в своей пьесе, по свидетельству обозревателя, не только резко осуждает захватническую войну, но и гневно бичует тех, кто с узкоэгоистических позиций высмеивает людей, стремящихся к высоким идеалам.

Обозреватель отмечает успех театрального коллектива «Уоркшоп продакшнз», достигнутый несмотря на большие материальные затруднения, с которыми ему, как и другим театральным труппам, упорно отстаивающим свое стремление честно служить искусству, приходится постоянно сталкиваться в странах Запада.

КИПР

ЛИТЕРАТУРА СВОБОДОЛЮБИВОГО ОСТРОВА

Литература Кипра, история которой насчитывает более трех тысячелетий, тяготеет к литературе Греции, там печатаются произведения писателей-киприотов. На Кипре нет своих издательств — еще одно следствие коварной, антинародной политики английских колонизаторов.

Литераторы Кипра, которых на острове около ста, объединяются вокруг двух ежемесячных журналов: «Киприака хроника» и «Пневматики Кипрос». Первый журнал выпускается преимущественно молодыми писателями, стремящимися познакомить читателей с новыми произведениями национальной и мировой литературы. Журнал помещает также материалы о культурной жизни острова, об исследованиях в области фольклора, о театре, кино, изобразительном искусстве. Редакция «Киприака хроника» ютится на квартире одного из сотрудников, все средства, получаемые от распространения журнала, уходят на его печатание. Второй журнал, «Пневматики Кипрос», освещает главным образом проблемы классической драматургии.

Литераторы Кипра участвуют в общественной и политической жизни страны, активно борются за национальную независимость своей родины.

Повесть Васко Пратолини «Семейная хроника» экранизирована режиссером Валерио Цурлини. В главных ролях—Жак Перрен и Марчелло Мастройянни (на снимке).

(Журнал «Филмз энд филминг»)

ЛИВАН

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АРАБСКОГО ВОСТОКА

В арабских странах высоко ценят фундаментальный биографический справочник, который содержит сведения о 250 арабских писателях.

Как сообщает корреспондент журнала «Аль-Адиб», автор справочника ливанский ученый Юсуф Ас'ад Дагер готовит к изданию второй его том, который будет включать около 450 биографий арабских писателей. «Оба тома,— пишет корреспондент,— составят большую энциклопедию писателей арабского Востока».

МОНГОЛИЯ

ЮНЫЙ ПОЭТ

На полках книжных магазинов появилась книга стихов, озаглавленная «Моей маме», автору которой Тумэнжаргалу всего 15 лет. Он учится в школе и занимается в литературном объединении при Дворце пионеров в Улан-Баторе.

Первое стихотворение юного поэта появилось в печати в 1961 году. С тех пор он часто печатался, многие его стихи и песни полюбились молодым читателям.

В сборник Тумэнжаргала наряду с лирическими стихами вошли стихи, посвященные советским космонавтам — «Брату Титову», «Гагарин»,— а также поэтические строки, адресованные героической Кубе и африканским сверстникам поэта.

«Стихи Тумэнжаргала пленяют музыкальностью, четкой ритмикой, своеобразным раскрытием внутреннего мира детей,— пишет рецензент газеты «Соел утга зохиол».— Книга юного поэта, несомненно, будет иметь большой успех у наших маленьких читателей, да и не только у маленьких...»

ОАР

ПЕРЕВОД КНИГИ СОВЕТСКОГО УЧЕНОГО

Как сообщает корреспондент журнала «Аль-Адиб», управление по вопросам культуры Лиги арабских стран издало фундаментальный труд известного советского востоковеда академика И. Ю. Крачковского «История арабской географической литературы».

ПОЭМА ОБ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Поэт Амир Мухаммед Бухейри — один из основоположников жанра героической поэмы в арабской литературе, автор нескольких героико-эпических поэм.

Недавно, как сообщает печать, вышло его новое произведение — поэма об освободительной борьбе египетского народа. Она написана оригинальным размером, который близок традиционной арабской метрике. Действие поэмы начинается в годы второй мировой войны, когда в Египте взметнулось пламя национально-освободительного движения, приведшего в конце концов к революции 1952 года. В финале произведения — эвакуация английских войск из Египта и национализация Суэцкого канала.

Критика дает высокую оценку художественным достоинствам поэмы Бухейри, в частности, реалистическому изображению жизни народа Египта в годы антиколониальной борьбы.

ПОЛЬША

ФИЛЬМЫ ДЛЯ ГОЛУБОГО ЭКРАНА

Польское телевидение подготовило к двадцатилетию ПНР несколько документальных и художественных фильмов для показа в юбилейные июльские дни, сообщил на страницах газеты «Трибуна люду» кинорежиссер Ежи Боссак. Первые часы свободы, победа над фашизмом, напряженные годы восстановительных работ, успехи социалистического строительства — все это собрано в полуторачасовом фильме «Минута воспоминаний», смонтированном из 14 различных кинолент, ныне ставших уже историческими.

Вскоре польское телевидение сможет каждую неделю показывать своим зрителям новый телевизионный фильм, сообщила корреспондент еженедельника «Эк-

---

В Объединенной Арабской Республике недавно создано первое государственное кинопредприятие — «Генеральная компания по производству арабских фильмов». Первый фильм «Бейна аль-Касрейн», выпущенный государственной компанией, поставлен по одноименному роману известного египетского писателя Нагиба Махфуза. В нем рассказывается о восстании египетского народа против английских колонизаторов в 1919 году. На снимке: кадр из фильма «Бейна аль-Касрейн».

(Журнал «Аль-Муссавар»)

ран» Барбара Казьмерчак. С помощью кинематографистов производство телевизионных фильмов в стране достигнет нескольких десятков в год. Среди них будут фильмы, поставленные по выдающимся произведениям польской и мировой литературы, фильмы, снятые журналистами во время поездок по странам мира, а также исторические, приключенческие и научно-фантастические фильмы.

Недавно польские телезрители имели возможность познакомиться с одним из первых фильмов научно-фантастической серии — «Губернатор», поставленным Станиславом Кокешом. Его герои — профессор-изобретатель, марсиане...

В несколько ином плане задуманы фильмы той же серии — «Доцент Хаммлер» и «Первый павильон», над которыми работает режиссер Януш Маевский. Оба фильма объединяет образ прогрессивного ученого, профессора Фосса, который в обоих случаях предотвращает использование великих открытий нашего века во вред человечеству.

ТВОРЧЕСТВО ТАДЕУША КУЛИСЕВИЧА

Когда Бертольт Брехт увидел рисунки Тадеуша Кулисевича к пьесе «Кавказский меловой круг», то сказал, что они «заставляют по-новому воспринимать мир». Эти слова выдающегося немецкого драматурга, по мнению обозревателя «Трибуны люду», можно отнести ко всему творчеству Кулисевича — одного из самых популярных графиков в сегодняшней Польше.

Состоявшаяся недавно выставка работ Кулисевича, на которой художник отчитывался за 34 года творческой деятельности, имела, по выражению обозревателя, сенсационный успех. На ней было представлено около 400 работ художника, относящихся к различным периодам его творчества. В тридцатые годы, в буржуазно-помещичьей Польше Кулисевич циклом рисунков «Шлембарк», получившим название от деревушки на

Рисунок Тадеуша Кулисевича «Гашка».
(Газета «Трибуна люду»)

склонах Карпат, во всеуслышание заявил о нужде, в которой жила польская деревня.

Война и оккупация нашли отражение в цикле необыкновенно выразительных рисунков «Варшава 1945», в которых руины польской столицы стали символом разрушений и жестокости. В послевоенные годы Кулисевич участвует своим творчеством в восстановлении страны.

На выставке представлены большие циклы рисунков художника, созданные в результате его многочисленных зарубежных поездок: «Индия», «Мексика», «Бразилия», «Венецианская лагуна».

«Черно-белые рисунки Кулисевича были цветными»,— пишет рецензент, и это не парадокс, а признание высокого мастерства художника. Переход к цвету у Кулисевича был неизбежен — к этому, по словам рецензента, вела вся логика развития его яркого таланта. Посетители выставки увидели впервые экспонировавшиеся цветные рисунки.

Характеризуя творчество Кулисевича в целом, рецензент пишет: «Кулисевич — выдающийся художник, его искусство — глубоко содержательное и истинно гуманистическое. В центре его находится человек — живая равнодействующая общественных и исторических условий. Сила искусства Кулисевича — в полной экспрессии наблюдательности, в редком благородстве формы».

РУМЫНИЯ

АВРАМ ПРОЦАП НЕ ПОГИБ...

Герой нового романа Михая Бенюка «Исчезновение рядового человека» — литературовед Аврам Процап, человек прогрессивных взглядов. Накануне второй мировой войны он присоединяется к рабочему движе-

нию. Начинается война, Процап попадает на Восточный фронт, сдается в плен. Он добровольно вступает в ряды первой румынской дивизии, созданной на территории Советского Союза. Жизнь Процапа обрывается в боях на одном из участков фронта, за несколько дней до полной победы над фашизмом...

Румынская критика отмечает необычность композиции романа Бенюка. Автор предлагает читателю неожиданное изменение сюжета — предположим, Процап не погиб на фронте, он живет сегодня в Румынии под другим именем, он знаменитый поэт или академик. В войну умерло лишь прошлое Процапа. Ныне народная власть предоставляет интеллигенту все возможности для свободного творческого труда.

По словам рецензента еженедельника «Газета литерарэ», замысел Бенюка состоял в раскрытии преемственности революционных идеалов своего героя, который не мог не стать участником великих событий, приведших к победе в Румынии нового социального строя. «Это современная книга, которую Бенюк посвящает простому человеку, творцу революции»,— пишет рецензент.

СЕНЕГАЛ

«НЕГРИТЯНСКИЕ ПИСАТЕЛИ ВСЕГО МИРА»

Как сообщает печать, известный писатель Сембен Усман выступил с инициативой издания цикла книг «Негритянские писатели всего мира». По его мнению, это даст возможность негритянским писателям широко рассказать о проблемах, стоящих перед африканскими народами, сбросившими колониальное иго. Инициативу Усмана поддержали многие негритянские деятели культуры. Как стало известно, уже вышел первый том цикла — антиколониальный роман Альбера Бевиля «Лягушки с горы Кимбо».

США

Кадр из фильма «Победители». *(Журнал «Вие нуове»)*

СОЛДАТЫ НЕ ХОТЯТ ВОЕВАТЬ...

Режиссер и продюсер Карл Формэн, как сообщает печать, закончил съемки фильма «Победители», рассказывающего историю подразделения американских солдат в Европе во время второй мировой войны. Действие фильма происходит в Англии, в Германии, во Франции, в Бельгии и в Италии. На экране оживают такие события, как бомбардировка гитлеровцами Лондона и высадка союзников на юге Италии. По словам обозревателя, режиссер стремится показать отвращение солдат к войне, желание простых людей всех стран жить в мире.

Печать сообщает, что участникам съемочной группы приходилось преодолевать различные затруднения, в частности, сопротивление милитаристских кругов США, которым не нравится «антипатриотическая» направленность фильма.

«СТАРОМОДНЫЙ» ПИСАТЕЛЬ

В литературном мире США уже давно присматриваются к скромной фигуре писателя Джона Чивера, который всегда избегал рекламной шумихи. Чивер известен как автор коротких рассказов, а также романа «Семейная хроника Уэпшотов», вышедшего в 1958 году, за который писателю была присуждена литературная премия «Нэшнл бук эворд».

Главные действующие лица романа — братья Моузес и Коверли Уэпшоты, представители средней американской буржуазии. Они же являются героями недавно вышедшего нового романа Чивера «Скандал у Уэпшотов», который представляет собой продолжение первого.

По признанию критики, нарисованная автором картина «американского образа жизни» довольно неприглядна. Его герои духовно опустошены, развратны, морально подавлены. Семейные и судебные скандалы, частые в этой среде, как бы вытекают из духовных качеств ее представителей.

Чивер пишет в реалистической манере, и этого оказывается достаточным, чтобы рецензент еженедельника «Тайм» обругал его «старомодным». В то же

время рецензент не может не признать, что изображенная Чивером семейная хроника американской средней буржуазии настолько точна и беспощадна, что «напоминает овидиевский ад со всеми его демонами».

ФИНЛЯНДИЯ

ДЕБЮТ РАБОЧЕГО-ДРАМАТУРГА

По сообщению обозревателя газеты «Кансан уутисет», недавно на сцене Народного Рабочего театра в Хельсинки была поставлена комедия «Карл Чугунноголовый». Это был сценический дебют рабочего-драматурга Эско Корпилинна.

Пьеса Корпилинна, по отзывам критики, очень современна, хотя построена на историческом материале. «Завербованные под разными предлогами солдаты Карла XII в ходе военных действий начинают мыслить самостоятельно, растет их отвращение к войне, к убийствам,— пишет обозреватель «Кансан уутисет».— Они отказываются выполнять приказы своих начальников и самого короля, избивают вербовщика и уходят домой. Но появляется новый вербовщик, который ищет новых «добровольцев», ибо войны, к сожалению, продолжаются...» Обозреватель дает высокую оценку пьесе «Карл Чугунноголовый».

ФРАНЦИЯ

«ДУХОВНАЯ ЗРЕЛОСТЬ МАССОВОГО ЧИТАТЕЛЯ»

Как сообщает печать, Франция наводнена сейчас чрезвычайно дешевыми книгами карманного формата, выпуском которых заняты 14 французских издательств.

Было бы наивно думать, что издатели пошли на выпуск дешевых книг, имея в виду интересы читателей. Напротив, находясь в тяжелом финансовом положении, наиболее предприимчивые из них решили открыть для себя новые рынки сбыта, снизив цены на книги и увеличив тиражи. И издатели не ошиблись: в среде французских трудящихся существует огромная тяга к знаниям и культуре, что обусловило колоссальный спрос на дешевую книгу. Однако издателям, которые вначале ограничивались в основном выпуском приключенческих книг, очень скоро пришлось подчиниться требованиям нового, массового читателя. Они вынуждены были перейти к серийным изданиям классиков мировой литературы, большой литературы современности. Начало новому направлению в деятельности издательств было положено такими прогрессивными издателями, как Пьер Сегер с его карманными сериями «Поэты сегодня», «Кино сегодня», «Друзья прогрессивной книги». Теперь помимо классической и современной художественной литературы в этой серии издаются книги по искусству, философии, истории, экономике и политике. Существует серия, в которой издаются произведения Карла Маркса, Владимира Ильича Ленина, Джона Рида; выпущен «Манифест Коммунистической партии». Читатели получили произведения русских писателей — Тургенева, Толстого, Чехова. Ожидается выход в свет автобиографической трилогии Горького.

«Многочисленные анкеты и исследования показывают необычайный рост интереса к книге у французских трудящихся, особенно у молодежи,— пишет корреспондент газеты «Юманите».— К издателям нескончаемым потоком идут критические отклики, просьбы, требования читателей. И это — свидетельство духовной зрелости нового массового читателя Франции».

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА ЛЕОНА МУССИНАКА

В Париже вышла книга Леона Муссинака о Сергее Эйзенштейне, которая, по словам рецензента газеты «Юманите», потрясает своей простотой, человечностью и правдивостью. Это была последняя книга недавно скончавшегося Леона Муссинака — писателя, критика, деятеля кино и театра.

Как известно, Муссинака и Эйзенштейна связывала долголетняя дружба. В книге дан анализ творческого пути Эйзенштейна, рассказано о том, как он работал над своими фильмами. Авторский текст перемежается с впервые публикуемыми письмами Эйзенштейна к Муссинаку — из Москвы и Мексики, из Швейцарии и Германии. Здесь же расска-

Сцена из спектакля «Карл Чугунноголовый» в Народном Рабочем театре.

(Газета «Кансан уутисет»)

зано об их многочисленных творческих встречах.

В книгу вошли также статьи Эйзенштейна о киноискусстве, отрывки из киносценариев и рисунки к ним режиссера, большое количество фотографий.

И еще одна любопытная деталь: книга открывается главой из мемуаров Эйзенштейна «Товарищ Леон» — о Муссинаке. «В книге,— пишет рецензент «Юманите»,— можно одновременно ознакомиться с работами Муссинака об Эйзенштейне и Эйзенштейна о Муссинаке».

ЦЕЙЛОН

ЗА ЕДИНСТВО ПИСАТЕЛЕЙ

Подписанием совместной декларации сингалезских и тамильских писателей закончилась работа конференции в городе Канди, созванная Союзом прогрессивных писателей и Лигой поэтов. На конференции были обсуждены важнейшие проблемы тамильской и сингалезской литературы.

Тамильские и сингалезские писатели, говорится в декларации, пришли к выводу, что им прежде всего необходимо объединиться — во имя культурного, экономического и социального прогресса, показав тем самым пример другим представителям двух народов Цейлона. Участники конференции призвали всех писателей страны в своих произведениях правдиво отображать жизнь как сингалезского, так и тамильского народов, помогать им бороться за лучшую жизнь. Они осудили произведения тех литераторов, которые находятся под влиянием западной культуры и оторваны от национальной жизни.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«НОЧЬ ВЫТЕСНЯЕТСЯ УТРОМ»

Вышел новый роман Карела Птачника «Ночь вытесняется утром»; он завершает трилогию, начатую книгой «Год рождения 1921» (второй том трилогии назывался «Город на границе»). Выходу последнего тома посвящена статья критика и литературоведа Яна Петрмихла, опубликованная газетой «Руде право». В новом романе, по словам рецензента, Птачник рассказал о событиях, происходящих в небольшом чешском городке, и показал через них процесс исторического и общественного развития в новом, народно-демократическом чехословацком государстве.

Петрмихл пишет о большой общественной значимости романа, его актуальности, называя при этом Птачника «серьезным историком наших дней».

ЭФИОПИЯ

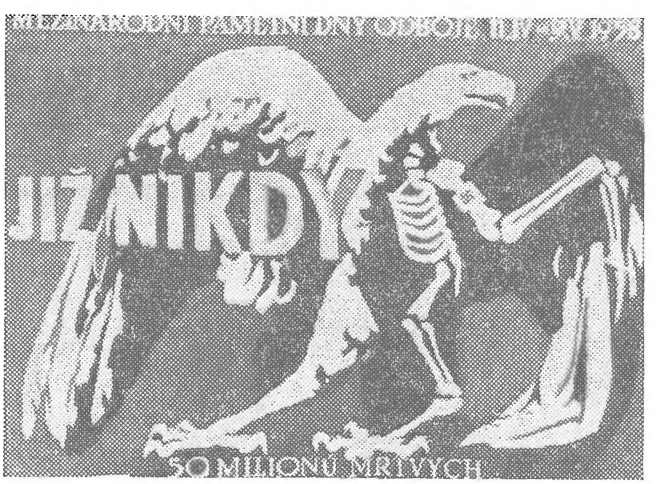
ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЛОГО

В монастырях Эфиопии хранится множество древних рукописей, которые содержат сведения о зарождении эфиопской литературы, рассказы об историческом прошлом страны... До последнего времени содержание большинства из них было неизвестно даже специалистам.

Ныне составлением описи этих рукописей, их переводом и изданием заняты ученые недавно созданного в стране специального научно-исследовательского института. За короткое время существования института его сотрудники собрали уникальную коллекцию книг на различных языках, создали обширную библиотеку из произведений, посвященных историческому прошлому Эфиопии. Ведется запись произведений эфиопской музыки, народных песен и стихов.

Антивоенный плакат с выставки известного чехословацкого графика В. А. Шлоссера, состоявшейся недавно в Праге. «Никогда больше — 50 миллионов убитых».

(Газета «Руде право»)



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЮЛИАН КАВАЛЕЦ — JULIAN KAWALEC (род. в 1916 г.) — польский писатель. Автор сборников рассказов «Тропинки среди улиц» («Ścieżki wśród ulic», 1957), «Шрамы» («Blizny», 1960), «Поваленный вяз» («Zwalony wiąz», 1962), повести «В солнце» («W słońcu», 1963).

Повесть «К земле приписанный» («Ziemi przypisany», 1962) получила Вторую премию на литературном конкурсе 1962 года, проводимом основными польскими издательствами.

ВИЛЬЯМ ХЕЙНЕСЕН — WILLIAM HEINESEN (род. в 1900 г.) — датский писатель с Фарерских островов. Автор романов «Черный котел» («Den sorte gryde», 1949), «Потерянные музыканты» («De fortable spillemaend», 1950), сборника рассказов «Волшебный свет» («Det fortryllede Lys», 1957), под таким же названием в 1961 г. в СССР вышел сборник его рассказов и других произведений.

Публикуемые стихи взяты из сборника стихов «Гимн и песня гнева» («Hymne og harmsang», 1961).

ИНГЕР ХАГЕРУП — INGER HAGERUP (род. в 1905 г.) — норвежская писательница — прозаик, поэтесса и литературный критик. Автор сборников стихов «Дальше» («Videre», 1945), «Мой кораблик плывет дальше» («Mit skip seiler», 1951), популярной детской книжки «Как странно» («Sao rart», 1950) и многих других книг.

Публикуемое стихотворение взято из сборника «Строчки с ветром» («Strofer med vinden», 1958).

АРТУР НИЛЬС ЛУНДКВИСТ — ARTUR NILS LUNDKVIST (род. в 1906 г.) — шведский писатель, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», лауреат Малой Нобелевской премии 1961 года.

Автор многих романов, сборников рассказов и стихов. В последние годы им создан роман «Переживания Ориана» («Orians upplevelser», 1960), сборник стихов «Мгновения и волны» («Ögonblick och vägor», 1962), сборник рассказов «Бок о бок» («Sida vid sida», 1962).

Публикуемое стихотворение взято из сборника «Городские песни» («Stadens sånger», 1963), в который вошли стихи различных шведских поэтов.

ЭРИК БЛОМБЕРГ — ERIK BLOMBERG (род. в 1894 г.) — шведский поэт, искусствовед и переводчик. Автор более десяти стихотворных сборников. Стихи, опубликованные в номере, взяты из сборника «Городские песни» («Stadens sånger», 1963), в который вошли стихи различных шведских поэтов.

ХАРРИ МАРТИНСОН — HARRY MARTINSON (род. в 1904 г.) — шведский поэт. Автор повести «Крапива цветет» («Näsnslorna blomma», 1935), сборников стихов «Летучий голландец» («Spökskepp», 1929), «Пассат» («Passad», 1945), «Цикада» («Cikada», 1953), философской поэмы «Аниара» («Aniara», 1959) и др.

Публикуемые стихи взяты из сборника «Карета» («Vagnen», 1960).

ЛАРС ФОРСЕЛЬ — LARS FORSELL (род. в 1928 г.) — шведский поэт. Автор многочисленных поэтических сборников, драматург. Последние пьесы «Воскресная прогулка» («Söndags promenden», 1963), «Принц Хатт под землей» («Prins Hatt under jorden», 1963).

Стихотворение «Десять солдат» взято из сборника «Вертись, моя земля» и другие песни» («Snurra min jord och andra visor», 1958).

КАРЛ ВЕНБЕРГ — KARL VENNBERG (род. в 1910 г.) — шведский поэт, лауреат Малой Нобелевской премии 1963 года. Автор сборников стихов «Гимн и голод» («Hymn och hunger», 1937), «Соломенный факел» («Halmfackla», 1944), «Поле зрения» («Synfält», 1954) и других книг.

Публикуемое стихотворение взято из антологии поэтов старшего поколения «Вечерняя поэзия» («Dikter mot aftonen», 1962).

ТОМАС ТРАНСТРЁМЕР — TOMAS TRANSTRÖMER (род. в 1931 г.) — шведский писатель. Первый сборник «Семнадцать стихов» («Sjutton dikter») вышел в 1954 году. Стихотворение, опубликованное в номере, взято из сборника «Полнеба» («Den halvfärdiga himlen», 1962).

ЙЕНС БЬЁРНЕБУ — JENS BJØRNEBOE (род. в 1920 г.) — норвежский писатель, автор сборников стихов, романов, радиопьес. Наиболее известны его романы «Йо-

нас» («Jonas», 1955) и «Злой пастырь» («Den onde hyrde», 1961).

Опубликованное стихотворение взято из сборника его стихов «Ариадна» («Ariadne», 1953).

ИСИКАВА ИЦУКО (род. в 1933 г.) — японская поэтесса; литературную деятельность начала в журнале «Гендайси но кай» в послевоенное время.

Стихотворение «Перед императорским дворцом» взято из ее сборника стихов «Трехразовая клятва в день», вышедшем в 1959 году.

ЯМАДА ИМАДЗИ (род. в 1912 г.) — японский поэт; сотрудничал в журнале «Рекитэн».

Публикуемое стихотворение взято из сборника стихов «Дорога» (1959).

ИНОУЭ ТОСИО (род. в 1922 г.) — японский поэт; сотрудничает в журнале «Сакка».

Публикуемое стихотворение напечатано в сборнике стихов «Радуга над полями», вышедшем в 1959 г.

ИВАМОТО СЮДЗО (род. в 1908 г.) — японский поэт; свою литературную деятельность начал в 1925 году, сотрудничал в журнале «Сакка».

Публикуемые стихи взяты из его сборника стихотворений «Избранное» (1960).

КУРОДА САБУРО (род. в 1919 г.) — японский поэт; примыкал к группе поэтов «Сэнгоха», сотрудничает в журнале «Гендайси но кай».

Стихотворение «Я стал совсем другим» взято из сборника стихов «Еще выше» (1960).

ОТА ТЭМПЭЙ (род. в 1927 г.) — японский поэт; сотрудничает в журнале «Рэнга си», примыкает к группе поэтов «Сэнгоха».

Стихотворения «След самолета» и «Извещение о переезде» взяты из сборника стихов «Избранное» (1959).

КИДЗИМА ХАДЗИМЭ (род. в 1928 г.) — японский поэт; сотрудничал в журнале «Гендайси но кай».

Публикуемое стихотворение взято из сборника стихов «Избранное» (1959).

ПУНЬЯКАНТЕ ВИДЖЕНАИКЕ — PUNYAKANTE WIJENAIKE — цейлонская писательница.

Публикуемые рассказы взяты из сборника «Третья женщина» («The Third Woman», 1963).

ЭДВАРД ОЛБИ — EDWARD ALBEE (род. в 1928 г.) — американский драматург. Автор пьес «Случай в зоопарке» («The Zoo Story», 1958), «Ящик с песком» («The Sandbox», 1959), «Американская мечта» («The American Dream», 1960), «Кто боится Вирджинии Вулф?» («Who's Afraid of Virginia Woolf?», 1961—1962), «Баллада о печальном кафе» («The Ballad of the Sad Cafe», 1963) по мотивам романа Кэтрин Маккалерс.

Пьеса «Смерть Бесси Смит» («The Death of Bessie Smith») вышла в 1959 году.

ЖАК МАДОЛЬ — JACQUES MADAULE (род. в 1898 г.) — французский писатель — поэт, эссеист, литературный критик, автор многих исторических, философских работ и монографий о писателях. Им написаны книги «История Франции» («Histoire de France», 1943—1945), «Грэхем Грин» («Graham Greene», 1949), «Достоевский» («Dostoiewski», 1955), «Что говорит Эльза» («Ce que dit Elsa», 1961), поэма «Ленинграду» («A Léningrad», 1960) и др.

Публикуемая статья написана для нашего журнала.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Б. И. РОЗЕНЦВЕЙГ** (отв. секретарь), **М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский** Технический редактор **В. Л. Шачнев**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 04205. Сдано в производство 31/II-64 г. Подписано к печати 23/V-64 г.
Бумага 70×108$^{1}/_{16}$ = 9,0 бум. л.; печ. л. 24,66+1 вкл. Зак. 707

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394